

мастера современной прозы

ФРАНСИСКО АЯЛА





МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ



МОСКВА «РАДУГА»
1986

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ • ИСПАНИЯ

Редакционная коллегия:

Анджапаридзе Г.А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Челышев Е. П.

ФРАНСИСКО АЯЛА

ИЗБРАННОЕ

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО

ББК 84.4Ис
А11

Составление и предисловие *И. Тертерян*
Редактор *Н. Матяш*

Аяла Ф.

А11 ИЗБРАННОЕ. Пер с исп. /Составл. и предисл. И. Тертерян.— М.: Радуга, 1986.—352 с.—(Мастера современной прозы)

Сборник представляет советскому читателю одного из старейших мастеров испанской прозы; знакомит с произведениями, написанными в период республиканской эмиграции, и с творчеством писателя последних лет, отмеченным в 1983 г. Национальной премией по литературе. Книга отражает жанровое разнообразие творческой палитры писателя: в ней представлена психологическая проза, параболически-философская, сатирически-гротескная и лирическая.

А $\frac{4703000000-215}{030(05)-86}$ 49—86

ББК 84.4Ис
И(Исп)

Произведения, вошедшие в настоящий сборник, опубликованы на языке оригинала до 1973 г.

© Составление, предисловие и перевод на русский язык издательство «Радуга», 1986

ИБ № 2314

Редактор *Н. Матяш*. Младший редактор *Л. Серикова*. Художник *Т. Толстая*. Художественный редактор *А. Купцов*. Технический редактор *А. Пряничкова*. Корректор *В. Лебедева*. Сдано в набор 6.VI.85. Подписано в печать 12.XII.85. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль. Печать офсет. Условн. печ. л. 20,46. Усл. кр.-отт. 40,92. Уч.-изд. л. 22,64. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1249. Цена 2 р. 60 к. Изд. № 1861. Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Zubovskiy bul'var, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Воровская, 28.

ПУТЬ ФРАНСИСКО АЯЛА

Художественность — понятие сложное и не раскрытое до исчерпанности. Что, в самом деле, мы имеем в виду, когда привычно употребляем слова: «художественное произведение», «высокохудожественный» и т. п.? Глубину мысли, понимания человеческого характера, свежесть и самобытность видения мира? Любое из этих, как и другие качества, может оказаться для нас, читателей, самым главным. Но в литературе — искусстве слова — есть одно обязательное условие художественности: это именно искусство слова, владение родным языком во всех его регистрах.

Однако на практике были и есть замечательные писатели, которые пробивались к современникам и потомкам, не то чтобы минуя это условие, но не считая его для себя первым — первым становилось знание жизни, идея, умение воплотить идею в сюжет, в поступки и конфликты персонажей. И, наверное, во всех литературах есть писатели, для которых владение словом оставалось целью и главным достижением творческой жизни. Их обычно именуют «тончайшими стилистами», «мастерами художественной речи». Разумеется, писатель не может быть назван мастером, если его речь бессодержательна; самый виртуозный стиль призван передать некую концепцию действительности. Но в произведениях писателей, о которых мы говорим, концепцию создают и выражают не столько фабула, события, характеры персонажей, сколько то, что передается деталью, репликой, стилистическими нюансами, словесным ритмом, — то есть атмосфера, эмоциональный ток, бегущий по сцеплениям слов. Концепция удерживается силой притяжения, рожденной единством выбранного и тщательно выдержанного стиля.

Таков один из старейших ныне испанских прозаиков Франсиско Аяла. Судьба его, личная и творческая, была нелегкой, признание, сегодня никем не оспариваемое, пришло поздно.

Аяла принадлежал к поколению, вступившему в литературу незадолго до гражданской войны. После поражения Республики он, убежденный республиканец, эмигрировал в Латинскую Америку. До войны Аяла, что называется, «ходил в начинающих», хотя и считался среди них одним из наиболее талантливых и подающих большие надежды. Все, что он написал в эмиграции, для испанцев

долгие годы оставалось, по его словам, «в полумраке». Правда, за рубежом Испании в 40-е годы именно писатели-эмигранты представляли испанскую литературу, за Пиренеями оставалась пустошь, вырубленный лес культуры. Но внимание было приковано к фигурам прославленных изгнанников—таких, как Хуан Рамон Хименес, Рафаэль Альберти, Рамон Гомес де ла Серна, Хосе Бергамин,—сравнительно молодой Аяла был известен лишь узкому кругу испаноязычных читателей и знатоков-испанистов. А затем, в 50-е годы, вдруг открылось, что в Испании подросло и вступило в жизнь новое поколение, отказывающееся принять в наследство франкистский режим, раздел нации на победителей и побежденных, и внимание всецело переключилось на эту молодую поросль. Теперь эмигранты оказались в тени, испанской литературой стала считаться прежде всего та литература, что создавалась внутри страны.

И только в 70-х годах появились возможности для реальной ликвидации раздела внутри национальной литературы Испании. К несчастью, многие писатели, скончавшиеся в изгнании,—среди них Хуан Рамон Хименес, Луис Сернуда, Леон Фелипе, Педро Салинас, Макс Ауб, Педро Гарфиас, Сесар Мария Арконада—вернулись в лоно родной культуры лишь своими творениями. Но Франсиско Аяла, как и Рафаэль Альберти, как и некоторые другие писатели-эмигранты, вернулся на родину и был радостно встречен литературной общественностью. Всех их теперь в Испании издают, изучают, увенчивают премиями...

Франсиско Аяла родился в 1906 г. в Гранаде, детство провел в предместье Альбайсин, воспитом Федерико Гарсиа Лоркой. С самым поэтом Аяла познакомился и подружился значительно позже, в Мадриде, став литератором. Но в детстве он видел те же праздники, слышал те же песни и рассказы, что и великий поэт. Два семейных клана боролись на глазах мальчика, первенца многодетной семьи, и семейные традиции отпечатались в его сознании. Мать происходила из знаменитой в Гранаде либеральной семьи ректора местного университета, выходящая из низов, ставшего крупным врачом, который своей самоотверженностью во время эпидемии чумы (последней в Испании) вынудил короля, отнюдь не одобрявшего свободомыслия и демократизма гранадского ректора, все-таки наградить его орденом. Дед умер еще до рождения Франсиско, но жил в семье благодаря портретам, письмам, документам, а главное—бесконечным рассказам матери, обожавшей своего отца. Посмертному влиянию деда Аяла обязан и тем, что рано утратил веру и на всю жизнь укрепился в атеистических и республиканских, либерально-реформаторских взглядах.

Напротив, семья отца была ортодоксально католической и вообще чрезвычайно консервативной. Если родители Аялы до конца жизни сохранили мир и взаимную любовь, чему способствовали кротость отца и удивительно благородный, мягкий и вместе с тем строго нравственный характер матери, то уж дяди, кузены и прочие родственники вели непримиримую идейную борьбу. Она затрагивала вопросы не только политические и религиозные, но и вполне житейские. В семье ректора воспитывалось уважение к труду, в семье отца труд считался несчастьем и позором. Отец Аялы—типичный андалусский «сеньорито»-барчук—ухитрился растратить три крупных состояния (свое, жены и доставшееся в наследство от брата), не будучи притом ни мотом, ни гулякой, а исключительно по непрактичности и неприспособленности даже к труду управления своим имуществом. Детство и юность Аялы были оравлены нехватками, нашествиями кредиторов, страданиями матери из-за унижений, вызванных бедностью. К счастью, мать воспитала старшего сына тружеником, всю жизнь до глубокой старости делившим свое время между преподаванием, научной (Аяла весьма уважаем как социолог и политолог) и литературной работой. В целом Франсиско Аяла пошел по пути, намеченному традицией материнской семьи. Впервые после эмиграции посетив Испанию в 1960 г., он даже уклонился от встречи с родственниками из другого клана: «...ведь в гражданскую войну они, разумеется, заняли свое место в

подходящем им лагере, но мой-то лагерь был противоположным»¹. Несмотря на свое происхождение, отец Аялы был расстрелян франкистами в первые месяцы войны (видимо, из-за того, что два старших сына занимали видные посты у республиканцев), а младший брат, семнадцатилетний юноша, несколько позже казнен франкистами как дезертир. И все-таки семейные узы объясняют нечто важное в творчестве Аялы: когда он уже в эмиграции начал писать о гражданской войне, он не мог отрешиться от чувства причастности судьбам и других (это отнюдь не умаляет неугасимой ненависти к Франко и франкизму, которой пропитаны мемуары, выпущенные им на склоне дней). Его семьей была вся Испания, любой испанец — победитель или побежденный — мог оказаться родным по крови. Аяла писал не только о конкретных человеческих судьбах — своей, своего отца и брата, расстрелянных франкистами, своих двоюродных братьев, рукоплескавших франкистам, — но и об общей истории страны.

Но пока до этого еще далеко. Семья переезжает в поисках хотя бы скромного постоянного дохода в Мадрид, Франсиско поступает на юридический факультет и одновременно осуществляет свое заветное желание — сочиняет и вскоре (с 1925 г.) начинает печататься. В Мадриде он завел много друзей в литературных кругах, охотно посещал кафе, «тертулии» (так называются вечерние дружеские сборища), и особенно часто тертулию в редакции журнала «Ревиста де Оксиденте», где цвет интеллектуального общества каждый вечер собирался вокруг философа Хосе Ортеги-и-Гассета. Атмосфера и художественные пристрастия этого кружка наложили явный отпечаток на прозу Аялы тех лет, и в частности на сборник рассказов «Боксер и ангел», выпущенный в 1929 г. издательством «Ревиста де Оксиденте».

Рубленая, «телеграфная» речь рассказа «Скончавшийся час» в 20-е годы казалась удивительно созвучной динамизму современности. Сходные стилистические опыты знала и советская проза той эпохи (достаточно назвать «Голый год» Б. Пильняка, повести и рассказы Артема Веселого). Здесь нельзя исключить и прямого влияния. Ведь Хосе Ортега-и-Гассет, наставник и издатель Аялы, еще в 1925—1926 гг. публиковал на страницах своего журнала первые переводы на испанский язык рассказов Всеволода Иванова и Лидии Сейфуллиной².

Поражает яркая метафоричность ранних рассказов Аялы. Это тоже примечательная черта художественного вкуса эпохи. Еще в 1914 г. в «Эссе на эстетические темы в форме предисловия» Ортега-и-Гассет объявил метафору «ячейкой прекрасного»³. В 10—20-е годы метафору сделал главным орудием своих эксцентричных литературных опытов Рамон Гомес де ла Серна, чьим творчеством Аяла восхищался. А в 20-е гг. почти все поэтические течения в Испании культивировали метафору, в основном визуальную, то есть рождающуюся из неожиданного уподобления далеких друг от друга зримых образов. «Итак, цветок поэтического образа распускается на полях зрения», — говорил Федерико Гарсиа Лорка⁴. И в рассказах Аялы распускаются иногда диковинные цветы: «Механик... доит автомобиль», «Дверь моего дома кинулась мне навстречу. ...Она похлопала меня по плечу».

Но есть у раннего творчества Аялы источник еще более влиятельный и несомненный, чем эстетические манифесты и поэтические опыты современников. Это кинематограф, немое кино. Сюжеты обоих представленных в нашей книге рассказов связаны с кино: герой первого проводит час в кинозале; Полярная

¹ Fr. Ayala. Recuerdos y olvidos. Madrid, 1982, t. I, p. 37.

² См. подробнее об издании советской литературы в Испании 20-х гг.: В. Кулешова. Испания и СССР. Культурные связи. 1917—1930. М., 1975.

³ Х. Ортега-и-Гассет. Эссе на эстетические темы в форме предисловия. — Вопросы философии, 1984, № 11, с. 149.

⁴ Ф. Гарсиа Лорка. Об искусстве. М., 1970, с. 100.

Звезда, любовь к которой доводит героя второго рассказа до самоубийства,— скорее всего, прославленная шведская киноактриса Грета Гарбо. Но и вообще образность этой прозы сформирована кинематографом. Рассказы напоминают киносценарии, в особенности «Скончавшийся час»: вначале камера панорамирует, затем выхватывает из «массовки» и дает крупным планом выразительные, как тогда говорили, «типажные» фигуры.

«Для меня, как и для всего моего поколения,— вспоминает Аяла,— кино было фундаментальным переживанием. Оно, можно сказать, родилось вместе с нами и стало частью нашей жизни... Моя страсть к кино превратилась в ненасытную и сохранилась такой на десятилетия, до сего дня. В те времена я с товарищами по литературным занятиям восхищался русским кино, фильмами Шарло (так называли Чарли Чаплина.— И. Т.), Бастера Китона, всякими киноэкспериментами...»¹

Для творчества Аялы важно было, конечно, не то, что он с друзьями смотрел много фильмов. Важно было особое отношение к кинематографу у художников той эпохи. Русские поэты уловили и выразили это отношение очень рано и точно. А. Блок еще в 1909 г. в стихотворении «Искусство—ноша на плечах...» писал:

И грезить, будто жизнь сама
Встает во всем шампанском блеске,
В мурлыкающем нежно треске
Мигающего сипетá!
А через год—в чужой стране:
Усталость, город неизвестный,
Толпа,—и вновь на полотне
Черты француженки прелестной!..

Совпадение настроения и даже деталей (городская толпа, усталость—и прелестная женщина на экране) с рассказом Аялы «Полярная Звезда» не должно удивлять—тут много от общего для людей 10—20-х годов восприятия кино как призрачной грезы, пробуждающей воображение художника и становящейся для него истинной жизнью. Если в обыденности человек, влюбившийся до отчаяния в кинозвезду, покажется смешным и нелепым, то в свете этого особого восприятия киноискусства он предстанет мечтателем, поэтом, презиравшим житейскую суету. Еще больше точек соприкосновения между «Полярной Звездой» и записью либретто фильма по несохранившемуся сценарию В. Маяковского «Закованная фильмой» (1918)—роль художника, влюбившегося в кинозвезду, в этом фильме играл сам Маяковский.

При этом, как правило, вполне осознавалась натужная мелодраматичность и даже пошлость массовой кинопродукции: в описании сцен из фильма с участием Полярной Звезды можно уловить легкую иронию, родственную той, что с предельной четкостью выразил О. Мандельштам:

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

.....
Так начинается лубочный
Роман красавицы графини.

И все-таки:

Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

Так же «тревожнее и веселее» бьется сердце у героев рассказов Аялы, когда гаснет свет в кинозале. Сладостная иллюзорность искусства доходит до предела,

¹ Fr. Ayala. Recuerdos y olvidos, t. I, p. 121—122.

жизнь кажется более «шипучей», чем за порогом кинотеатра, и зрителю может даже почудиться, что он вот-вот встретится с кинозвездой в ее будуаре или в своем кабинете.

Но всякий кинофильм кончается, и греза рассеивается. В биографии Аялы такой киногрезой оказался весь ранний период творчества, о чем он сам впоследствии писал: «Но вместе с моей юностью быстро исчезла и обстановка, когда игра с образами, с метафорами, со словами доставляла чувственное удовольствие, и мы радовались и удивлялись миру, и нас забавляло стилизовать его. Все это поэтическое цветение, в котором я участвовал на свой лад, внезапно иссякло...»¹ Иссякло, потому что жизнь внезапно обрела серьезный и даже грозный облик.

Осенью 1929 г. (вскоре после выхода в свет сборника «Боксер и ангел») Франсиско Аяла получил стипендию для годичной стажировки в Берлинском университете. Оттуда он присылал статьи в мадридскую газету «Эль соль». Аяла был образованным и проницательным политологом: уже в январе 1930 г. он напечатал статью «Германский нацизм», в которой рассказал испанскому читателю, тогда еще ничего толком о фашизме не знавшему, о реальности коричневой угрозы. Статьи на эту тему он публиковал и позднее. Гитлеровцы их заметили. Об этом свидетельствует такой факт: в 1934 г., когда Аяла уже был в Испании профессором, его берлинский знакомый, профессор-романист, пригласил его прочитать лекцию по испанской литературе. Аяла прибыл в Берлин, но лекция была отменена по требованию министерства иностранных дел на том основании, что в одной из последних статей Аяла неодобрительно комментировал гитлеровский план аншлюса Австрии. Подразделение штурмовиков даже оцепило аудиторию, чтобы воспрепятствовать контактам испанского гостя с немецкими студентами².

По возвращении на родину после стажировки Аяла занял кафедру и одновременно начал работать в правительственных учреждениях. Гражданская война застала его в Латинской Америке, куда он был приглашен для чтения лекций. Он немедленно вернулся на родину, без колебаний занял место в рядах республиканцев и всю войну до последнего дня работал в республиканских учреждениях, выполнял важные дипломатические поручения за границей. Литературу в эти годы Аяла как бы отложил в сторону: отчасти не хватало времени и сил, которые были отданы политической деятельности, но еще более важная причина — отсутствие литературной почвы под ногами. Одна эстетическая эпоха бесповоротно кончилась, другая в сознании Аялы еще не началась. Стиль 20-х годов был неуместен, предстояло найти, выработать, прочувствовать свой новый стиль. Это для Аялы стало возможным лишь после окончания войны, в эмиграции, первое десятилетие которой он провел в Буэнос-Айресе.

Все испанские писатели, оказавшиеся в эмиграции, искали способы выразить свое отношение к случившемуся, рассказать миру о пережитой национальной трагедии. Тема у всех была одна, но решали они ее по-разному: некоторые на основе личного опыта, непосредственно обратившись к событиям войны или предшествовавшим ей годам, другие предпочли отдалиться во времени, недавнее прошлое слишком жгло руки.

Франсиско Аяла поначалу выбрал этот второй путь, но побудило его, думается, главным образом стремление осмыслить гражданскую войну философски и исторически, не ограничиваясь злобой дня. В Буэнос-Айресе сразу же, с 1939 г., он начал работать над серией рассказов на исторические сюжеты. Первым был

¹ Fr. Ayala. La cabeza del cordero. Buenos Aires, 1949. Proemio, p. 8.

² Fr. Ayala. Recuerdos y olvidos, t. I, p. 177—178.

написан «Околдованный» (и даже издан отдельной книжечкой в 1944 г.), затем «Объятие», к ним присоединились другие, и составилась сборник «Узурпаторы» (1949). Как прозаик Аяла предстал в этой книге неузнаваемым. Никакой рубленой речи, никакой цветистой метафоричности. Легкая, едва ошутимая архаизация языка, соответствующая историческим сюжетам, и холодновато-эпическая интонация, соответствующая глубинному замыслу автора. Ведь центральная тема сборника, выраженная и в заглавии,—это узурпация власти, отчуждение власти, становящейся антигуманной и губительной не только для других людей, но и для самого властителя.

В центр повествования Аяла помещает фигуры либо исторические — король Энрике III Слабый (1379—1406); король Педро I Жестокий (1334—1369) и его незаконнорожденные братья, один из которых, Энрике, звавшийся по своему замку — Трастамара, отнял у Педро трон и жизнь; король Карлос II Околдованный (1661—1700), со смертью которого пресеклась Габсбургская династия и Испания после долгой и разорительной «войны за испанское наследство» стала добычей французских Бурбонов, — либо вымышленные, но исторически правдоподобные, как Инквизитор и его жертвы. Некоторые из этих сюжетов уже привлекали внимание испанских писателей, особенно романтиков, и дали жизнь хрестоматийным произведениям (роман Мариано Хосе де Ларры «Паж дона Энрике Слабого», «Исторические романсы» Анхеля Сааведры, герцога Риваса, драма А. Хилья-и-Сарате «Карлос II Околдованный»). Аяла использует эти с детства любимые им произведения как источники, но трактует свои сюжеты совсем иначе, в сугубо неромантическом духе. С романтиками его роднит разве что вольное обращение с историческими фактами, сочетающееся с реконструкцией исторической атмосферы и заимствованием отдельных деталей у хронистов. Король Энрике, несмотря на свою болезненность, не был таким уж одиноким и беспомощным, он вел несколько успешных войн и не раз жестоко подавлял своих надменных и алчных вассалов. Леонор де Гусман была действительно убита по приказу мстительной вдовствующей королевы, но не сразу, а через год после смерти короля Альфонса XI. Дон Фадрике был не старшим братом, а близнецом Энрике Трастамары. А вот Карлос II, по-видимому, и вправду выглядел и вел себя как слабоумный, хотя на портрете Луки Джордано ему придан импозантно-гордый вид, свойственный его предкам — королям из Австрийского дома. Но, надо полагать, дегенеративность его поведения бросалась в глаза, если при дворе монахами были устроены церемонии «изгнания дьявола», получившие скандальную огласку в Европе.

Однако цель Аялы — отнюдь не педантичная точность фактов и не романтическая идеализация каких-нибудь фигур (так идеализированы дон Педро Жестокий в романсах Сааведры или Карлос II в драме Хилья-и-Сарате). Аяла хочет извлечь из исторического повествования нравственный и философский урок современности. Для этого он прибегает к сгущению деталей, некоторой модернизации психологии (сны Инквизитора).

Можно попытаться провести некоторые прямые параллели между историческими событиями, изображенными Аялой, и современностью. Слабость законной власти, нищета несчастного короля Энрике, богатство и своеволие его наглых вассалов, подкарауливающих смерть владыки от истощения, могут ассоциироваться с осадой республиканского Мадрида. Еще прозрачнее аналогия в «Объятии» — в те же месяцы Аяла написал небольшой исторический трактат, сопоставлявший гражданскую войну 1936—1939 гг. и борьбу за власть в XIV в., тоже выигранную исключительно благодаря иностранной интервенции (в тот раз — французской). Что касается «Инквизитора», то до эмигрантов время от времени доходили слухи об отступничестве бывших соратников, служивших теперь Франко с рвением, присущим обычно ренегатам. Один случай настолько потряс Аялу, что и через сорок лет он посвятил ему много страниц в своих

воспоминаниях и отдельный очерк под заглавием «М. Гарсиа Моренте, или Дальше некуда». Думается, что этот эпизод и дал толчок работе над рассказом «Инквизитор», а прототипом главного героя послужил Мануэль Гарсиа Моренте, декан философского факультета Мадридского университета.

Аяла близко с ним сошелся в предвоенные годы. Это был человек, как тогда казалось, прочных либеральных и атеистических воззрений, способный даже на антиклерикальные демонстрации. В 1937 г. он с разрешения республиканского правительства выехал для чтения лекций за границу. Каково же было удивление республиканцев-эмигрантов, когда они узнали, что из Парижа он тут же отправил письмо Франко с описанием ужасов республиканской зоны и заверениями в верноподданнических чувствах. Но это еще что! Слова «дальше некуда» относятся к другому письму Моренте, адресованному мадридскому епископу, которому он сообщал, что ночью в парижском отеле к нему явился Иисус Христос (детали «явления» соответствовали описанию, данному святой Тересой из Авилы). Либеральный профессор услышал «слово Божие», обрел утраченную веру и возжелал стать священником. Посвящение в сан свершилось, едва Гарсиа Моренте вернулся в Испанию, и на кафедре франкистского университета он поднялся уже в сутане. Но и на этом Моренте не остановился. Он начал писать книги, проповедуя «истинно испанский идеал христианского рыцаря»; стал одним из наиболее активных апологетов «испанского духа» — понятия, положенного в основу франкистской пропаганды первых десятилетий режима. Размышляя над тем, как мог так переродиться свободомыслящий, казавшийся разумным и уравновешенным человек, Аяла приходит к выводу: «Социальное землетрясение — война — с сопровождающими его бедствиями и расстройством привычного порядка вещей рождает гротескно-патетичные поступки, искажая лики людей, как в кошмарном сне»¹.

Ключ к рассказам цикла «Узурпаторы» — не прямые отождествления; поиски прототипических ситуаций — только подспорье пониманию. Аяла подчеркивает, что он воссоздавал далекие исторические события «без прямых отсылок к нашему собственному каинскому опыту». Без прямых отсылок, повторяю, но опосредованно весь томик «Узурпаторов» — это «мрачное размышление о феномене гражданских междоусобиц и вообще борьбы за власть»². Выделим слова «каинский опыт» — они были произнесены еще до войны и многократно повторены после. Еще Антонио Мачадо в стихотворении «По землям Испании» сказал, что «...здесь тот кусок планеты, где Каина в ночи блуждает призрак грозный». Тема испанского «каинства», то есть нетерпимости, раздоров, взаимной ненависти, периодически доводивших страну до гражданских войн по религиозным, национальным или идеологическим мотивам, — эта тема стала ведущей у испанских писателей 60—70-х годов. «Несомненно, это были конфликты религиозные или идеологические, но только «каинизм», древняя испанская яростная страсть, может объяснить их длительность и жестокость», — пишет Хуан Гойтисоло³. Точно так же, как имманентно присущую национальному характеру и определившую всю историю Испании зловещую черту, трактует «каинство» Карлос Рохас в публицистической книге «Диалоги для другой Испании» (1966) и в романах «Асанья» (1973), «Долина павших» (1978)⁴, «Сон о Сараево» (1982). «Узурпаторы» Аялы, по существу, начинают в послевоенной литературе новый виток разработки этой глубоко застрявшей в национальном сознании темы, которую сейчас чаще всего обозначают как тему «национальной самокритики» и которая нередко подменяет необходимый исторический анализ конкретных

¹ Fr. Ayala. Recuerdos y olvidos. Madrid, 1983, t. II, p. 215.

² Ibid., p. 102.

³ J. Goytisolo. España y los españoles. Barcelona, 1979, p. 97.

⁴ См.: К. Рохас. Долина павших. М., «Радуга», 1983.

социальных и политических причин гражданской войны. Впрочем, Аяла вполне отдавал себе отчет в социальной природе испанской трагедии и уже в следующей книге доказал это. Однако в сборнике «Узурпаторы» он сосредоточился на ином аспекте событий — историко-философском.

Если некоторые рассказы сборника — «Объятие», «Инквизитор» — связаны с современностью более явными нитями, то другие, в особенности «Околдованный», достигают весьма обобщенного символизма. Есть нечто кафкианское в этом отрешенно-бесстрастном описании настойчивости и хитрости, затраченных человеком, чтобы пробраться по извилистым «коридорам власти» и убедиться в конце концов, что эти коридоры ведут в никуда, к подножью трона, занятого идиотом, играющим с обезьянкой, убедиться, что королевская власть безлична, осуществляется как бы сама собой и нелепо ждать от нее какого-то внимания к твоей персоне, решения твоего дела — надо забыть о своих планах и претензиях, забыть вообще, в чем состояло это дело, и предоставить жизни идти самой по себе, так же бессмысленно и бесцельно, день за днем, как часы и дни «околдованного» монарха.

И так же король Энрике Слабый, собрав все свои гаснущие силы, проявив однажды решимость и волю, убеждается затем, что происходящее все равно не в его власти, что хотя никто не оспаривает его королевский титул, но сам он подчинен объективно существующему, непрекращаемому порядку вещей.

Кафкианская атмосфера этих рассказов — не случайное совпадение мотивов. Аяла познакомился с новеллами Кафки еще в 20-х годах — они печатались в испанском переводе в журнале Ортеги-и-Гассета «Ревиста де Оксиденте». А вскоре после того, как Аяла обосновался в Аргентине, ему было заказано редактирование тома произведений Кафки, переведенных на испанский язык Д. Фогельманом, бежавшим от гитлеровской оккупации. Эта работа совпадала с сочинением «Околдованного».

Было и другое творческое влияние, по-видимому «повинное» в тяготении Аялы к символической многозначности. Еще во время первой, довоенной, поездки в Аргентину он завязал прочную дружбу с Хорхе Луисом Борхесом. В мемуарах Аяла упоминает долгие разговоры с Борхесом на литературные темы. А в это время — самый конец 30-х — начало 40-х годов — аргентинский прозаик переживал решающий перелом: он, как и Аяла, замолчал на несколько лет, почувствовав, что веселый авангардизм 20-х годов, одним из лидеров которого он был и у себя на родине, и еще раньше, в Испании, рухнул в пропасть новой исторической ситуации; он отказался от дерзкой визуальной метафоричности первых поэтических опытов и начал писать рассказы, основанные на интеллектуальной метафоре, метафоре-символе¹. Самый знаменитый сборник философско-символических рассказов Борхеса — «Вымыслы» — вышел в Буэнос-Айресе в том же 1944 г., что и «Околдованный» Аялы, но отдельные рассказы печатались раньше, притом и Борхес и Аяла публиковали свои новинки на страницах одного и того же журнала «Сур».

Взгляд издали, из истории, и как бы сверху, с высоты философского обобщения, помог Аяле приблизиться к недавно пережитому, обрести стоическое спокойствие духа, чтобы писать художественную прозу о войне, участником которой он был и которая надолго лишила его родины. Рассказы о войне были сочинены сразу же после исторических рассказов, но в силу обстоятельств оба сборника — и «Узурпаторы» и «Баранья голова» — увидели свет в 1949 г. Новая книга, хотя в целом сосредоточена на современности, не лишена также историко-философских мотивов, сближающих ее с «Узурпаторами». Такова очевидная аналогия, проведенная в заглавной новелле, между исходом республиканцев из

¹ См. подробнее в кн.: Хорхе Луис Борхес. Проза разных лет. М., «Радуга», 1984.

франкистской Испании и изгнанием морисков в 1609 г., то есть потомков арабов, живших на отвоеванных испанцами землях, искусных земледельцев и ремесленников. Этот акт религиозной нетерпимости расстроил испанскую экономику. Благодаря подобной аналогии образ гражданской розни не замыкается в границах биографии персонажа или даже хроники одной эпохи, а расширяется до гигантских исторических масштабов. Но вообще-то в новеллах сборника сходный эффект достигнут без специальных исторических экскурсов, только средствами стилиа.

В новеллах из сборника «Баранья голова» Аяла не говорит о себе и не использует прямо личный опыт. Протагонисты рассказов вовсе не похожи на него, Франсиско Аялу, встретившего войну вполне сложившимся и твердо знающим свое место в схватке человеком. А тут — среднего интеллектуального калибра, обычные, но разные по характеру люди: относительно интеллигентный и совестливый герой «Тахо», неглупый, но цинично-бессовестный герой «Бараньей головы», открытый, искренний и грубоватый герой «Возвращения»... Их участие в гражданской войне было определено не столько убеждениями и сознательным выбором, сколько течением обстоятельств: где находился в день франкистского мятежа, у кого какая семья и т. п. И происходят с ними самые малозначительные, невыразительные события: герой «Тахо» за всю войну убил только одного противника, да и того случайно, с перепугу. Но автор этих людей и все, что с ними происходит, разглядывает, что называется, «на просвет», не упуская мельчайших, застрявших в их памяти и душах деталей. И в результате такое дробление психологического рисунка, кажущееся временами даже утомительным из-за прихотливого синтаксиса фразы, приводит к укрупнению изображенного: случайная гибель парня, даже не на поле боя, а в винограднике (а сколько милисианос героически пали во время сражений!), воспринимается как то, чем она на самом деле была и должна считаться, — как трагедия всего народа; один, к тому же не имевший трагических последствий, донос (а сколько доносов послужили причиной расстрелов!) превращается в свидетельство ненависти и нравственного растления.

Итог этого пристального, как бы под микроскопом, рассмотрения нескольких душ и нескольких общественных ситуаций выражен заглавием одной из новелл — «Тахо». Слово это по-испански значит «разрез». Так зовется и самая длинная река, пересекающая Пиренейский полуостров с востока на запад на две части. Тахо как образ гражданской войны, рассклещей Испанию пополам, на два непримиримо противостоящих берега, возникал и у других испанских писателей того же поколения: близкий друг Аялы в 20-е годы Сесар Мария Арконада в Москве выпустил роман о войне под тем же названием — «Тахо».

Новеллы сборника построены так, что этот разрез герои осознают внезапно, как будто до этого участвовали в событиях бездумно, по какой-то социальной инерции. И всякий раз это происходит не в горячке боя, а после войны, когда ненависть должна бы уже улететь.

Лейтенант Сантоалья попал на Арагонский фронт главным образом потому, что муж его сестры был фалангистом, а его дед — генералом, который рвался присоединиться к мятежникам, засевшим в толедской крепости Алькасаре и ожидавшим подхода франкистских войск. Война лейтенанту тягостна, а после случая в винограднике невыносима, но только годы спустя в бедном домишке убитого им Анастасио, осознав, что означает фраза его матери: «Я ведь даже боялась, что он не погиб и его до сих пор где-нибудь...» — Педро Сантоалья понял, что происходит в стране и сейчас, где-то рядом с его мирной жизнью, понял, что между его семьей и миллионами Анастасио с их семьями разверзнута пропасть.

А от чего бежит герой «Возвращения»? Что его так потрясло? Ведь он провоевал всю войну и был готов к тому, что в Испании наказывают, преследуют,

мстят. А обнаружил гнилую, застойную тишину. Но под этой грязью такую силу былой, неугасшей ненависти, какой он вовсе не ожидал. И это не только ненависть бывшего приятеля, но и его, героя, ненависть к человеку, которого он по привычке считал другом, хотя и презирал за мелкие слабости. Конечно, Аболедо донес на приятеля не из-за сестры и даже не из зависти—это лишь случайные бытовые предлоги. Они были смертельными врагами, потому что герой—нормальный, чистый юноша, а Аболедо—палач в душе. Война и предоставила каждому пройти свой путь.

Можно сказать, что, вернувшись, герой глубже понял войну, чем в военные годы, когда им владели энтузиазм товарищества и плакатная простота лозунга «бедняки против богачей». Лишь теперь он понял, как давно и глубоко пустила война корни в души людей, он увидел, пользуясь метафорой Аялы, «Тахо», но не между армиями, а внутри общества, внутри нации.

Герой «Бараньей головы», мирный, преуспевающий коммерсант, попадает в странную ситуацию и вдруг осознает, что война, которую он вроде бы и забыл, живет в нем, только социальный конфликт, в котором он действовал, руководствуясь классово-эгоистическими интересами, теперь кажется ему внутрисемейной драмой. Но все помнится, и продолжается внутренний суд и тяжба со своими и с чужими. Давит, жжет, лишает сна совесть—потому что дело не в желудке, не ел он эту проклятую баранью голову. Оскаленная мертвая голова—символ прошлого, напитанного кровью, не только недавней гражданской войны, но и преследования морисков и каких-то чужих неведомых гражданских войн, на которых марокканские Торресы погибли в муках, как и альмунькарские.

Композиция сборника не случайна. Вначале идет «Послание»—своего рода пролог. Действие происходит еще до войны, но шпиономания и надежда выслужиться, вспыхнувшие у рассказчика, самодовольное невежество его родственника, мистицизм сестры—все это создает атмосферу большого общества. Сам Аяла писал, что «война уже пряталась в серой обыденности этой жизни... и нерасшифрованное послание объявляло именно гражданскую войну, и ничто другое»¹. Затем идет рассказ «Тахо», действие которого происходит во время войны и вскоре после ее окончания. За ним следуют «Возвращение» и «Баранья голова»—в обоих действие происходит через восемь-девять лет после окончания войны. Среди персонажей есть и республиканец-эмигрант, и франкист, только что снявший военную форму, и перебежчик, ибо по-настоящему побежденными, нравственно раздавленными оказываются те, кого считали победителями. Но в «Бараньей голове» брезжит слабый свет, намечается выход из тупика братоубийства: когда герой подумал о семье своего крамольного и несчастного дяди без ненависти, а с непривычным для себя сочувствием, ему полегчало. Мертвая баранья голова вышла из него. С болью, перестрадав, но испанцы должны извергнуть кайнство из своих душ, преодолеть раскол нации на победителей и побежденных. Таков итог книги, главную тему которой автор сформулировал как «гражданская война в сердцах людей»².

Эмигрантская судьба Аялы сложилась довольно благополучно. Из Аргентины он переехал в Пуэрто-Рико, где основал один из лучших литературно-критических журналов испаноязычного мира—«Ла торре». Потом много лет преподавал в различных университетах США; когда вышел на пенсию—к этому времени ситуация в Испании коренным образом переменялась,—вернулся на родину и поселился в Мадриде.

Не все испанские писатели-эмигранты оказались способны заинтересованно

¹ Fr. Ayala. La cabeza del cordero. Proemio, p. 14—15.

² Ibid., p. 14.

воспринимать новую для них действительность; многие — и их нельзя упрекать — так и застыли с глазами, обращенными в прошлое. Но Аяла как раз принадлежал к другой, немногочисленной группе художников, для которых сегодняшний мир сохранял все богатство красок. Он написал два небольших романа: «Собачий смерти» (1959) и «Дно стакана» (1962) — о диктатуре в маленькой вымышленной латиноамериканской стране, несколько сборников рассказов, навеянных впечатлениями от путешествий, от быта Аргентины и США, от встреч с изменившейся родиной — с Испанией эпохи индустриализации и так называемой либерализации режима. В основе рассказа, как правило, маленькое, почти анекдотическое происшествие, нередко подлинный случай. «История макак», например, воспроизводит эпизод, о котором еще в довоенные годы рассказывал писателю его дядя, служивший в колониальной администрации на острове Фернандо-По. Фоном этой пикантной истории Аяла сделал свои личные впечатления от быта в тропиках, полученные в Пуэрто-Рико. Зерном, из которого вырос «Наш безвестный коллега», стал тоже довоенный разговор с крупным испанским писателем Рамоном Пересом де Аяла, однофамильцем автора, но размышления о феномене «взрыва» массовой литературы придали значительность давним сетованиям взыскательного к себе прозаика.

Для повести «Похищение» Аяла заимствовал фабулу не более не менее как у Сервантеса: без неожиданного финала история повторяет новеллу, рассказанную козопасом («Дон Кихот», ч. I, гл. 51), даже имя похитителя сохранено — Висенте де ла Рока, только у Сервантеса он бывший солдат, вернувшийся из итальянского похода, но тоже повидавший Европу, как и сегодняшний «иностраный рабочий». Эта маленькая литературная дерзость подтверждает и подчеркивает принадлежность к сервантесовской традиции, ощущаемую в стиле Аялы.

Как и раньше, стиль рассказов Аялы приводит к укрупнению событий. Анекдот становится поводом для серьезных социально-нравственных выводов. Ведь тема «Похищения», конечно, не легкомыслие девушек, падких на внешний блеск, а утрата моральных ориентиров, бездумная жестокость, извращение понятий о чести и дружбе. В «Истории макак» распутство одной бабенки, цинизм и изворотливость одного-двух мужчин, отчаяние третьего свидетельствуют о моральной опустошенности целого социального слоя.

В 70-е годы творческие намерения Франсиско Аялы заметно изменились. Перелом, впрочем, не был столь уж непредвиденным и резким, поскольку в новую книгу — «Сад наслаждений» (1972) — писатель включил несколько рассказов, написанных значительно раньше. Вернее будет сказать, что подспудно в творчестве Аялы всегда была струя философско-художественной символики, но теперь она вырвалась на свободу. Испанский литературовед Андрес Аморос так сформулировал ведущую тему зрелости художника: «Говоря кратко, это человек сегодня... При этом Аяла не абстрагируется от современного мира, а смотрит на него широко открытыми глазами. ... И в глубинах его он видит гниль разложения, но также, несмотря ни на что, возможность очищения, новую, еще слабую и трепетную надежду»¹

Само название книги — «Сад наслаждений» — указывает на обобщенный образ человеческого существования, ибо восходит к знаменитому, хранящемуся в музее Прадо триптиху Босха, созданному художником на исходе жизни — и, видимо, призванному синтезировать понимание бытия. Так и Аяла в старости обегает взором высоты и низины своей и вообще людской жизни. Бросается в глаза, что и стиль его в этой книге меняется: вместо дробного психологического рисунка — лаконичные выразительные штрихи.

¹ A. Amorós. La narrativa de Francisco Ayala. en: Historia y crítica de la literatura española. VIII. Epoca contemporánea. 1939—1980. Barcelona, 1981, p. 532—533.

В центре триптиха Босха — многофигурная композиция. Это и есть собственно «сад земных наслаждений». По бокам — Рай и Ад. Как всегда у Босха, многочисленные детали содержат эзотерическую символику и остаются по сей день поводом для разнообразных гипотез и догадок. Особенно необычен Ад, искусствоведы даже прозвали эту часть триптиха «музыкальным адом», так как в центре его демоны терзают грешников при помощи музыкальных инструментов. Один из исследователей, Марио Бусальи, видит в этом сомнение в ценности культуры и вообще считает, что «на третьей доске художник намеревался воплотить не столько идею наказания в потусторонней жизни, сколько тоску человеческого существования, растраченного в удовольствиях и невозвратно оторванного от первоначального блаженства»¹.

Книга Аялы состоит из двух разделов. О первом, перекликающемся с центральной композицией Босха, представление дают «Вырезки из вчерашнего номера газеты «Лас нотисиас», выдуманные, но почти неотличимые от подлинных. Упомянутые имена нарочито сбивают с толку читателя, но ведь неважно, где именно случилось происшествие — в Париже, Мехико или Нью-Йорке. Это собирательный образ западного мира с его социальными язвами, нечистыми страстями, неискупленными страданиями, тщетными попытками упорядочить жизнь.

Во второй части книги — Эдем и Ад, которые человек хранит внутри себя. В мемуарах Аялы объясняет остроту переживания радости и горя своим природным темпераментом: «Эта напряженность чувств есть проявление той нетерпеливой, властной жадности к жизни, которая никогда, даже сегодня, в глубокой старости, меня не оставляет...»²

Аяла знает, что «рай» и «ад» не так уж отдалены друг от друга: каждый их носит в душе. Это и воспоминание об утраченном навеки блаженстве детства, и тоска, одолевающая в зрелости. Полнота жизни, делающая мир ослепительно прекрасным, не исключает страдания, но страдания очищающего. Как и на картине Босха, у Аялы появляется музыкальный инструмент, но музыка не только терзает, но и спасает, примиряет с миром. Скромный кларнет провозглашает аллилуйю подлинному «саду земных наслаждений», дарованному человеку.

Книга Аялы строится на противопоставлении: социальный ад — нравственный рай. Такая антитеза характерна для многих художников-реалистов, критически относящихся к современному буржуазному обществу. Важно, однако, отметить, что для Франсиско Аялы Эдем — не только память о детстве, не только переживание искусства, но и реальные человеческие отношения взаимопомощи, братства и любви, которые могут возникнуть и уцелеть даже в социальном аду.

И. Тертерян

¹ M. Bussagli. Bosch. London, 1967, p. 30—31.

² Fr. Ayala. Recuerdos y olvidos, t. I, p. 41.

ИЗ КНИГИ

«БОКСЕР И ЕГО

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»



EL BOXEADOR Y EL ANGEL

MADRID, 1929

Скончавшийся час

Мельчору, с братской любовью

I

Город, вращающаяся сцена. Поскрипывает немного.

Городской рассвет — расцвет новых афиш, реклам и плакатов. Свежих. Влажных от утренней росы, как чистое белье.

Это расстеленные простыни, тонкие и холодные. Это полотенца, стирающие сонливость со школьников, идущих стайками в школу.

Голоса афиш, гордые крики петуха возвещают утро. Яркие крики, высокие, как звук корнета, незамутненно трепещут на сетчатке глаза. (Сегодня я взял красные чернила. И синие. И зеленые. Целый лист заполнил я словом «афиша», красным, зеленым, синим, чтобы увидеть, удалось ли мне передать ощущение городского рассвета.)

Городской рассвет слаб, малокровен, он еще держится за стены, однако в нем есть и твердость, и четкость, и ярость. Здания возносятся в небо, словно ими выстрелили из пушки. Звенят железные мосты. Поют провода.

Тяжко, натужно дышат заводы. И по-сельски тихие сцены есть тут — механик лежит на земле, доит автомобиль...

Потом — испарения. Вись. Тучи дыма. Разные звуки.

Фабричные трубы смещают горизонт. Надувают брюхо неба, словно воздушный шарик. Окрашивают его в тяжкие серые тона.

Темно. Тихая луна — светящаяся реклама. Трость на моей руке напоминает женскую руку. Она покорна. Безмолвна. Легка.

Но успешно останавливает меня перед властными знаками и указаниями города.

Вокзал. Беговая дорожка. Фабрика. Велодром. Цирк. Гимнастический зал. Кинематограф.

Город, вращающаяся сцена.

Капитан. Вечно поет. Или свистит. Или читает стихи. Там, вдалеке...

Глаза у него синее любого камня его коллекции. Лоб высок и четырехгранен — восток, север, юг, запад. Он осенен славой и флагами всех существующих стран.

Несомненно, он потерял корабль — морской ли, небесный — и укрылся в городе, отрешившись от горизонтов любезной сердцу географии.

Но в ушах его, прибрежных раковинах, навек сохранился шторм.

(Пока идет дождь, он — у стойки. Пронзительно свищет пар. Капитан напевает сквозь зубы морскую песню.)

Он улыбается детям. Хотя бы для того, чтобы к ним не прилипла фальшь, которая уже грозит им.

Словно эквилибрист, идет он по краю тротуара. Не оступаясь. Не выпуская трубки.

Боксер. Белые зубы. Низкий лоб.

Ринг на каждом меридиане. Тупые улыбки. Рукопожатия, тоже тупые.

Он ничего не помнит. Он ничего не помнит. Но... рядом с ним шествует менеджер!

Негр. Улыбка от уха до уха. Как у многих, как у всех городских, на нем котелок, нахлобученный по самые брови, а в руке — портфель. (В другой — бамбуковая трость. Обе руки — в желтых перчатках.)

Словно великий танцор, он ловит и сливает в мелодию набор нестройных уличных звуков — крики, гудки, звоночки трамваев, дребезжанье витрин.

Витрины — одна за другой — привлекают его, как и афиша цирка.

Он улыбается от уха до уха.

Крестьянин. Важный, неторопливый, темнолицый. Глаза глядят вниз, взор остер.

(Уже лет десять, как он переехал в город.)

Мотоциклист. Поджар. Заряжен электричеством. Так и соз-

дан, чтобы лететь против шерсти шероховатых шоссе. Преисполнен иронии, движется резко.

Глаза, увеличенные очками, привыкли схватывать на лету контуры предметов.

Чистые и четкие дорожки, словно пояс, охватывают его стан.

Улыбка Дон Жуана, улыбка чемпиона сверкает перед аппаратом.

Китаец. Извилист. Прыток. Быстр. Сквозь убогий облик блещут молнии.

Ширмы, книги, фонарики? А, да, и это — когда трепещет синяя птица носового платка.

Солдаты. Все на одно лицо. Все шагают в ногу. Все серьезные. У всех — ружье на плече.

Один угол отпускает их, другой — глотает, выравнивая в струнку.

Птица летела над ними и вдруг исчезла. Она помогала им шагать, как помогает плыть кораблю маленький и совершенный морской винт...

...Солдаты. Солдаты. Солдаты...

Девочка — Анита — вся в белом — скачет через скакалку. Носочки с каемкой, электрические волны. Прыг-скок!.. Прыг-скок!.. Школьный двор. Скакалка окружает ее сиянием, как цыганскую мадонну в цыганском селенье, на деревянном столбе, с фонариками... Электрическая скакалка.

Большие глаза из-под воды.

(Из-под воды? А, вон что! Чистый и тихий пруд детских глаз.)

Из-под воды, светлой-светлой.

«Тебе какую карту?» — спросил я.

Анита взяла короля пик и положила в кармашек.

В белый кармашек с вышитым — алым — сердцем.

Город, вращающаяся сцена.

Вокзал. Беговая дорожка. Фабрика. Велодром. Цирк. Университет. Гимнастический зал.

И кинематограф.



Все часы разладились. Били не в лад и колокола, исклеванные петушками флюгеров.

Часы били мертвенно и глухо. Удары падали вниз, словно птицы, словно спелые яблоки.

Но, в конце концов, кинематограф емок. Он может позволить себе шутки ради сместить время, как зеркало смещает пространство. Разве не встречаем мы самих себя в витрине напротив?

Ах ты, боже мой! Те, кто шел в лавку, встретились с теми, кто шел из лавки. Ну и дела!

Карл Великий, прекраснородый император, забыл свой меч на подставке для палок рядом с тросточкой Чаплина.

Чаплин—сам Гамлет—вышел на сцену с этим мечом, не споткнувшись о тело Полония.

Воцарилось смятение. Часы показывали сверхурочное время.

Тик-так!.. Тик-так!.. Тик-так!..

Наконец пробил запоздавший, недавно скончавшийся час. (Отзвук его отозвался в каждом сердце.) Час, у которого светлые глаза и лицо манекена.

В дверь заглянула печальная Улыбка—такая, как у всех. Бледные щеки, веер. Рука в белой перчатке, горлица на ветру— «Приди за мной, приди!..» и так далее. Она обращалась ко мне, как обращается к ветру развешанное белье. Ко мне? Почему же это? Не может быть. И однако...

Я обернулся к соседу справа.

— Простите, это меня?

Он трижды кивнул и сам улыбнулся.

Я подумал: «Значит, меня зовут. Какая-то дама. Из тех, которыми я так восхищался в детстве на карнавалах. Дама. Надо ей угодить».

Голова моя клонилась, словно ослабела пружина, и печально подрагивала, кидая скорбные взгляды на дощатый пол.

Рывок. Голова выпрямилась. Взор мой, словно ружье, выстрелил с отдачей в экран.

...Дама скончавшегося часа исчезла, как не бывало.

Теперь экран был закрыт железным мостом. Мост сильно дрожал. По нему и шли, и ехали.

Увидев автомобили, я захотел на улицу. Меня потянуло туда. Я больше не мог сидеть здесь. Весь дрожа, я вышел. Сердце мое кипело.

Меня толкали. Пинали. Швыряли. Я терялся, а порой застывал в изумленном раздумье.

(Иона бежит за трамваем, а тот его не глотает.

Звоночек падает в лужу и быстро тонет.

Пустота.)

Дверь моего дома кинулась мне навстречу. Она обрадовалась. Она похлопала меня по плечу.

Необъяснимая тяга повлекла меня в спальню. Словно мне нужно было что-то проверить. Словно хотелось убедиться, что я забыл портфель дома, а не на улице.

...Посреди комнаты я остановился. Я задумался. Я не знал. Не знал, к чему такая спешка.

(Чушь. Чепуха. Как это нелепо и порочно — приподнять покрывало, легкий подол постели! Кровать моя была белой, пышной, ленивой. Ах ты, что за глупость! Ничего не попишешь...)

Я провел ладонью по лбу. Я не знал, в чем дело.

И еще: проверить выключатель. Да будет свет! Однако...

Выключателя я не нащупал. Очевидно, я заблудился.

Я пробовал выловить рыбку из аквариума, но она ускользнула сквозь пальцы. Если вскипятить воду, рыбка прыгнет, как лошадь в цирке. Но я кипятить не стал.

В конце концов, помню, я пощупал себе пульс, немного тревожась. Однако рука искрилась электричеством, она обжигала, как металлический прут.

Я выплеснул на пианино лейденскую банку. Посыпались звуки-искры.

Взрослые ноты и юные их подружки. (Совсем еще девочки, прямо для Сикстинской капеллы.)

Ах! Ох! Ах и ох!

Всю ночь мне снились шахматные партии.

III

На следующий день, под вечер, я по внезапному стечению мыслей понял причину моей беды.

(Радужные, радостные слезы брызнули на стол. Шесть полных блюдец...)

Я внезапно вспомнил скончавшийся час, вселивший в меня тягу к бледности, вееру и руке, чайке на горизонте экрана. И я догадался, что искать надо — ну конечно! — в самой сердцевине девятнадцатого века.

Сердцевина девятнадцатого? Разверстый гранат столетия... Перед моим взором встал дом, которого, при всей его величавости, никто никогда не замечал. Все шли мимо него; никто на него не глядел.

Теперь — только теперь — открылась мне его прелесть, его особая сущность. В нем было что-то от пещеры Монтесинос¹.

Я вышел на улицу, преисполненный решимости. Шел я быстро. Бодро. (Виадук. Люди. Еще люди. Еще. Снуют как челнок.)

А посредине этого всего — я, в спешке.

Кто-то тихо окликнул меня. Голос пролетел над моим плечом, и я не обернулся.

¹ Пещера, описанная в «Дон Кихоте». — Здесь и далее примечания переводчиков.

Кто-то окликнул меня снова. Голос кольнул ухо. Пришлось прислушаться.

— Куда ты идешь?

— Я иду искать Мерседес... Да, да, с восковым лицом... Но это неважно.

Ответ мой пел в моем сердце. Иначе сказать я не мог. Другого ответа не было.

— А, вон что! Но ты одет как обычно.

— Она сама приходила за мной. В кинематограф, ты подумай! Кроме того, у меня нет выходного костюма.

— Хотя бы усы!.. Усы по меньшей мере.

Я шагал, не отвечая. Все это было не нужно. Главное — сделать, сделать...

Вдруг (незаметно, неожиданно для себя самого) я дошел до роскошного, мраморного подъезда. Что за чудо!.. Тишина. Молчание билось в висках. Я зажмурился и... Грот. Пещера. Влажная тьма. Грудь мою теснит. Вот оно!

Проходя мимо белых львов, ослабившихся в улыбке, я снял шляпу. Поклонился одному. Поклонился другому.

Звонок у двери позолочен. Позолочен и звон, канувший в тихий пруд. Как же иначе? По воде идут круги. Рыбы перепугались.

Не рука, а какое-то устройство открыло мне дверь.

Мои прозрачные следы отпечатались на мраморной лестнице, испещренные светом.

Гостиная! Здесь пахло затхлым, словно ее не открывали с прошлого века, со всех прошлых веков. Когда я вошел, воздух вздрогнул. Гардины, поправлявшие подвязку, мгновенно опустили подол, а спящие зеркала проснулись, чтобы в их воде задрожало мое отраженье. (И все же их исцарапали острые грани XX столетия!) Книга, лежащая на консоли, развлекалась тем, что сама перелистывала страницы. Двукрылое окно сердечно затрепетало боковыми створками.

Маска Бетховена на меня не взглянула. И фарфоровый голубь.

А вот чучело собаки — сокровище семьи, не желавшей расстаться с любимой болонкой, — подмигнуло мне стеклянным глазом, как добрый друг. (Собака — друг человека.)

На столе, мал мала меньше, стояли семь бумажных птичек. Я наклонился, подул на самую большую, и все они улетели в камин.

Окно сказала:

— Ах, я еще живо, хотя энтомолог — архитектор накрепко меня приколол. Иначе бы и я умело летать.

Я.

— Нет, не стоит. Стекла могли бы разбиться. Нет, не стоит.

Кашлянули часы. Циферблат их был синюшно-бледен, страшен, весь в прожилках. Я испугался, как бы они не показали ушедшего часа. Как бы не открылся их корпус—корпус на ножке—и не появилась бы Улыбка, с веером, в перчатках. Бледная. Печальная. Заплаканная.

Одна секунда! Другая! Третья!.. Страх наливался неизбежностью, становился слишком тяжким.

К тому же кипарис в саду исцарапал платину неба и потолок пейзажа сильно потрескался. Окно, в лихорадке, держало под мышкой барометр.

Огромный глаз часов метал из-за моноklä мелкие стрелы в невозмутимую маску Бетховена, родителя мўки.

Бетховен.

— Измученная душа. Узница. Дочь воздуха.

Голубь.

— Распахни-ка грудь, окошко. Я продену туда свою свободу.

Я.

— Свобода. Марсельеза. Паровозный дым былых времен.

Часы закашлялись. Как жаль! Чахотка, не иначе.

А растроганный Бетховен повернулся к фарфоровой голубке:

— Вынь из моей бронзы этот гвоздь, взгляд правого глаза! Я и так узнаю в тебе Утешителя¹.

Потом он сказал мне:

— Этот недвижимый взгляд околдовал меня. Какая жестокость!

Голубка пыталась оправдаться:

— Я не смогу отвести взгляда, пока из меня не вынут булавку. Я сказочная принцесса, поверьте... Если бы моя воля... Ах, если бы моя воля!..

Что до собаки, было ясно: соломенное сердце страждет, и скоро, обезумев, она станет ловить себя за хвост.

Автобус неба двигался от облака к облаку, от остановки к остановке.

Страх подсказывал мне, что Она появится неизбежно. (Улыбка. Бледность. Веер.) По телу бегали мурашки. Я не решался даже закрыть глаза.

Какой-то порыв толкнул меня. Почти подвиг. Я схватил под мышку собачье чучело и выбежал из гостиной.

(Собаку надо было спасти—она мигнула мне стеклянным взглядом, она мой друг.)

Бежим. Скорее. Скорее.

Я смазывал собственные следы на мраморной лестнице. Меня опять вел свет.

¹ Святой Дух изображается в виде голубя.

Гром? Грохот двери? Улица. Виадук. Бегство.

...Но люди заметили мое волнение. Все знали уже, что из какого-то дома украдено чучело собаки. И неслись за мной, улюлюкая.

Осы-крики настигали меня.

Я несся вперед.

Собака сидела у меня под мышкой. Иногда она мелко дрожала. Но голову держала прямо!

Толпа стала больше. Больше. Больше. Больше. Толпа!

Добежать до того угла. И до того. Углы раздвигались и сдвигались, как ширмы.

Светящиеся рекламы сочились синькой и кровью. Цвета их меня обличали. Они бежали за мной по краю фасадов, грозно указуя перстом.

А манекены в витринах—и они, мерзавцы!—хватали меня тросточкой за руку, пытаясь остановить.

Небеса над моей головой закрылись, потемнели.

Гром—грохот двери, гром—грохот двери. Буря заперла все врата небес.

Улица поспешно стреляла в них. Из пушек—по бастиону.

Улица была длинной—слишком длинной для бега.

Я не оглядывался, чтобы не потерять ни секунды. И не выпускал собаки.

Но крики и шаги преследователей висели на моем плече.

Улица—все уже и уже—гнала меня к щели, к обрыву, в тупик. А тогда...

(Рекламы сонно замигали. Рекламы задыхались.)

Лучше было бы разбить голову об один из сорвавшихся углов. Спрятаться за одной из ширм, покрытых буквами реклам, как надгробные плиты. Да что угодно. Деться куда-нибудь.

IV

Ограда. Зеленые копыя. Зеленый сад. Школьный. Открытый.

Я дышал, как паровоз: «Ух! Ух! Ух!»

Преследователи потеряли след и пролетели мимо. Паутина полутьмы застлала им взор. Не иначе!

(Капли дождя—редкие, крупные—пробивали в эту минуту первую мглу.)

Быть может, то было чудо.

Анита скакала через скакалку в школьном дворе. Скакалка расцвела елочными лампочками. Чудо?

С собакой под мышкой я прыгнул в круг скакалки. Смеясь, но не радуясь. Не чувствуя ничего.

Анита подумала, что я дарю ей игрушку. Руки ее опустились. Лампочки погасли.

В вечерней тьме виднелись лишь алые волны — дрожащие кольца каемочек на носках — и светлые глаза под зыбкой водой невинности.

Полярная Звезда

Однажды утром он вышел из дому, чтобы отдохнуть от резкого света любви (он, как и все, был очарован кинозвездой) в зеленом свете парка, целительном свете, который хранят сады на этот самый случай.

Подойдя к аллее, он чуть не утопил свои чувства в излучине серой асфальтовой реки, извилистой и неизменной.

Остановила его лавина велосипедов и летящих по воздуху волос. Перед ним замелькали розовые девичьи ноги — одна, другая, одна, другая — и победоносные бюсты под тесными свитерами. Резиновые кольца шин стерли его порыв, а легкая цветочная стая никеля, плоти, ветра, словно вентилятор, сдула с него печаль.

Через мгновение все это исчезло.

I

Он откинулся в кресле, прислонившись головой к карте мира — мечте, вписанной в чертеж. Стол перерезала наискосок стая открытых книг, больших и малых (трепетнокрылые чайки, слетевшие с географической сини сквозь сетку меридианов, подобную спицам зонта). Книги повествовали о путешествиях — арктических и африканских, древних и новых, на самолете и в лодке.

За окнами проплывали облака, словно кто-то неспешно расстилал одеяла. Бродячие аэростаты, длинные белые крики, затерявшиеся в вышине.

Пониже царил индустриальный пейзаж: фарфоровые изоляторы, белые птицы с лиловой электрической шейкой, сидели на каждом столбе, за прутьями проводов, а фабрики, отряхивая со стекол отблески заката, пускали вдогонку за облаками тускло-черный дым.

Тем временем книги на столе—скорее духом своим, чем буквами,—навевали мысли о льдах, о скалах, о моторных лодках.

На шкафу одинокой звездой сонно кивал старинный глобус в круглой клетке небесных сфер.

...Он стал набрасывать на листе алые линии. Перо неспешно выпускало кровь из перерезанных жил, а бумага, испещренная штрихами, становилась похожей на план каких-то дорог или самых разных линий метрополитена.

Несказанная радость овладевала им, рука отражала зыбкость мыслей, мечущихся и мерцающих, которые не удалось остановить и на мгновенье.

Вдруг он застыл, подняв перо, словно красноклювый петух, намеревающийся клонуть тень жука на стене.

Столько времени проплавав в море ускользящих мыслей, он наконец поймал одну, поставил на якорь, и она дышала запахом далей, водорослей, улыбок.

Он вздрогнул, вернувшись в настоящее. Сегодня, теперь, сейчас, была премьера ее новой ленты. Перед глазами, так близко, что контуры расплывались, не попадая в фокус, возникли плакаты, рекламы, светящиеся буквы. Его Звезда—скандинавская, полярная—должна была снова явить свои приключения, позы и взоры.

Молот радости застучал в его груди, а в комнате воцарилась та полная пустота, которая бывает в дни свиданий.

Он посмотрел на часы. Всегда спокойные и точные, сегодня они ошибались, пульс их участился. Пришлось поминутно сверять время по огромным часам суток, чья ускользящая скорость сильно мешала ему.

Он взглянул снова. И еще раз. (Как идилично прекрасны и взгляд его, и часы!) Секунды мурашками щекотали душу, он часто моргал.

Море на карте затопило алые страны; книги, тихо позвякивая, отряхали крылышки.

Он нарисовал улитку, пружину, несущуюся вдаль. Левая рука, до той поры лежавшая недвижно, как пресс-папье, ожила и, жадно шевеля всеми суставами пальцев, потянулась к другому краю стола, а потом предалась несказанному наслаждению, ощупывая пленку—срезанный завиток, изогнутый кусочек целлулоида, испещренный по краю дырочками, словно телеграмма.

Он встал (у кресла, ломило спину; пленка поддрагивала, как струйка крови) и подошел к окну, чтобы посмотреть на просвет крупный план Звезды, упиваясь оттенками едва заметной, микроскопической улыбки.

Кадрик выпал из рук и, кружась, опустился на пол. (В глазах

неподвижно застыл индустриальный пейзаж.)

Как радовался он в дни премьер, в дни новой встречи!

Он вынул из бумажника билет, зеленый прямоугольник, купленный накануне, подержал в дрожащих пальцах (такой-то ряд, такое-то место) и снова положил в карман.



Медленно, окольными путями, он приближался к афишам. Двухцветные киноафиши тревожили его, как ширма. Кроме того, они грубо предвещали—нет, искажали облик Звезды, и этого вынести он не мог.

Зато светящиеся рекламы, синие и серебристые, воссоздавали ее движения, ее неповторимость и радость. Вспыхивали они внезапно, как ее улыбка, исчезали неожиданно, как она сама.

Прежде чем войти, он подождал, как обычно, чтобы погасили свет, а по экрану пронесся международный ветер надписей. Так бросался он в море любви, куда неслись реки с запада и востока, с севера и с юга.

Яхты—легкие перья—четко чертили штрихи над стаями лодок. Кружили юркие миноносцы с номером, прикованным к борту. На крейсер шли матросы; снежный пейзаж напоминал о женских плечах. (Вихрем пронеслась пара конькобежцев, руки сплетены, ноги—врозь.)

Хроника кончилась, дали свет.

Заскользили заглавия ленты, где играла его Звезда.

Когда окно экрана озарила заря и Утренняя Звезда воссияла в одеждах света, влюбленный содрогнулся от счастья до самых своих глубин, ему сдавило грудь, а душу затопило трудное чувство нездешнего и недостижимого.

О Полярная Звезда кинематографа, немыслимая краса, как ты далека и как много твоих изображений! Твоя немая песнь в бесчисленных залах влечет к берегам экрана восторженный прибой джазовых звуков, а голубые отблески глаз, нежно глядящих то вправо, то влево, завораживают влюбленную душу. Герой наш себя не помнил, стараясь поймать острое разящего взгляда, а поймав, растворялся в блаженном небытии.

Лента скользила полоской спрессованных чувств, трепетавших в такт его пульсу.

Как и следовало ожидать, бледно замелькали эпизоды погони. Испуганное лицо Звезды тонуло в пучине экрана или пропадало, словно слабый след, между створками разных планов, легкими белыми крыльями смыкавшимися за ее спиной.

Едва миновала нелепая опасность, возникла другая, непредвиденная: что-то случилось в будке. То ли подвел проектор, то ли киномеханик, этот коварный мифологический персонаж, но ровно трепещущая лента резко дрогнула — раз, другой, — а с нею вместе и сердце влюбленного. Фильм сбился с ритма, Звезда переломилась надвое и перевернулась ногами вверх, головою вниз, словно в страшном сне. Прекрасное лицо, озаренное улыбкой, замаячило у самой земли.

...Проектор одумался, и все встало на свои места.

Очарование вернулось в блеске мельчайших деталей.

Взоры влюбленного пылали страстью, словно петухи перед боем, когда Звезда (наконец, наконец!) осталась одна в своем будуаре.

Она зажгла свет, а он, в смятенье, увидел, что она раздевается, обещая тем самым осуществить его заветную мечту.

Вода в ванне дрожала трепетно и нежно, в такт его чувствам. Часы от волнения остановились, а потом понеслись вскачь, потому что Звезда снимала одно одеяние за другим.

Засияла заря ее плеч с электрическим отблеском, и, морского сиреной у берегов зеркального моря, она подняла холодные, беспомощные руки. Бледные змеи ног, как его карта, были испещрены сеткою синих линий...

Вот и все.

Звезда подняла взор, по-видимому, смутилась и бесследно исчезла, повинувшись велению сюжета.

Влюбленный остался ни с чем, раздосадованный и беспокойный, словно двери спальни закрыли перед ним завесой ледяной воды.

III

Следующий день — день мелких ошибок, сто раз начатый заново, — он провел отрешенно, погрузившись в себя, и потому его мысли и действия были медленны, как рыбки аквариума.

Он вглядывался в какие-то ничтожные предметы и с трудом, не сразу, отрывался от них.

Когда настал час, он, сам того не желая, почти машинально, вышел из дома и долго шел куда-то.

Окраина подарила ему предвечерний свет. Большие дома не поддавались тревоге, они стояли прочно. Незастроенные участки щеголяли спортивными поясами оград, а новенькие тротуары чертили план красивых будущих кварталов.

Чем дальше он шел, тем холоднее все казалось, переходя от белого к серому. Дома стали четче и богаче, проталины гаражей уступали место особнякам. (Но сердце города, пронзенное проводами, было еще далеко.)

Реклама какой-то фирмы привлекла его внимание, он обернулся и не заметил ничего необычного в сочетании трех цветов. Однако с этой минуты она повторялась на каждом углу.

...Водопад соблазнительно-влажной музыки обрушился на него; рядом стоял большой шатер из белой парусины. Он подошел поближе. Сразу за входом танцевали по двое солдаты и матросы, высоко поднимая руки, а внизу позвякивали шпоры и птичьей стаей мелькали обшлага брюк. Музыка текла и текла, словно поток.

Влекомый любовью, он прошел мимо. Все так же, ничего не решая заранее, оказался в фойе кинотеатра, перед афишей, и поразился тому, как искажен привычный жест Звезды.

Толпа, валившая в зал, унесла с собою и его.

Внутри, в зале, влюбленный принялся листать альбом своих чувств, придирчиво проверяя вчерашние открытия. Он отмечал мельчайшие движения сердца, уместившиеся между предвкушением радости и восторгом подтвердившейся догадки.

Когда настал нужный миг, он понял смысл сцены, столь несчастливо прерванной накануне. Все встало на свои места, хотя оказалось мимолетным и незначительным.

Здесь и сейчас он мог положиться лишь на ту недолговечную верность, которой и не бывает нигде, кроме кино. Однако сцена раздевания вызвала в нем такие же пылкие чувства, слегка окрашенные злостью.

Не в силах сдержаться, он встал и вышел из зала, преследуемый шепотками.

Дома выступали из мрака лишь оправа глобуса да край стола — остальное утонуло во мгле, но комната видела, как белым призраком возник он на пороге и, нервно шаря по стене, стал искать выключатель.

Лампочка, словно свежий плод, возникла в привычном воздухе будней, а он, нерешительно и несмело, добрался до кресла, держась за стол, как за спасательный круг, тяжело опустился на сиденье и принялся приводить свою скорбь в порядок, крутя и терзая случайный листок бумаги.

Наконец он резко развернул листок и вознесся духом. Вот оно, внезапное озарение отвергнутых влюбленных!..

Шкатулка, где он хранил кадры из ее фильмов, со скрипом явилась на свет и щедро преподнесла ему горсти прозрачных стружек, вороха дрожащих завитков.

Он поднес к ним зажженную спичку, и хищное пламя мгновенно охватило эту коллекцию воспоминаний. Груда целлюлоида превратилась в цепкий, незабываемый запах.

Однако память не отмылась, прилипла к сердцу пленкой жира, резиновой перчаткой. Оставалось одно: перекрутить ленту задом наперед, неумолимо избавляясь от чувств, вызванных каждым кадром.

Но он на это не решился. Ему претили те неизбежные ошибки, которые возникают, когда мы пытаемся победно смотреть на прошлое, ибо настоящее принесло нам лишь позор.

Он и пытаться не стал.

...Ах, если бы у него сохранился хотя бы один ее портрет, просто для утешенья!

Он сжег все — все как есть, — постыдно спеша, чтобы обогнать раскаяние.

IV

Он боялся, что в нужный миг тормоза воли откажут. Внутри себя он ощущал еще кого-то, словно там затаился пленник, и его страшило, как бы тот не совершил чего-нибудь непоправимого или хотя бы неприличного.

Но выхода не находил.

Каждый день его болезненно удивляло, что девицы, которых он случайно встречал, совсем непохожи на Звезду, небесную и хрупкую, словно ангел.

Однако в этот день он удивился особенно сильно, совсем потерялся, даже руки его не слушались.

Он решил покончить с собой — так продолжаться не могло — и, не дожидаясь совета, направился к мосту.

Город дарил ему на прощанье кинематографические пейзажи, кадр за кадром (что могло быть лучше?), но они чуть-чуть дрожали, трепетали едва заметно.

Никогда еще не был он в таком покорном мире. Краски гасли, трогая сердце, — одни темнели, другие светлели, оставляя лишь белое с черным, шахматную доску вечности. Ветер сгонял с деревьев нежные звуки и спящих птиц, распускал волосы плакальщиц-крон, подгонял кораблики листьев в тихих лужах.

А он ощущал одно измерение тела — его поверхность. О радость мира, которым ты овладел!

Он подходил все ближе к гребням волн. На мосту он низко нагнулся и подумал, что упадет, как растрепанный том с этажерки.

Потом он закрыл глаза (черная бездна, исчерченная молниями), протянул руки—антенны страха—и бросился вниз.

Тотчас же он с удивлением понял, что плавает в воздухе, который ласково подхватил его. Бог кинематографа снимал его падение замедленной съемкой.

Он спускался мягко, до липкой сладости нежно, освобождаясь в беззвучном танце от неуклюжих движений, пока не поплыл с той мерностью, с какою плывет под водою рыба.

Прямо. Наклонно. Параллельно земле. Ноги врозь. Руки—в стороны, как у пловца.

Опустившись вниз, он разбился, словно фарфоровая кукла. Последнюю мысль и последний взгляд он обратил к Звезде. Она говорила с ним, она была близко. Ангел—восковой манекен, не видимый никому другому,—наконец снизошел к нему.

Небесное создание промакнуло его подпись белым платочком и ясной улыбкой.

Вот и все.

ИЗ КНИГИ

«УЗУРПАТОРЫ»



LOS USURPADORES

BUENOS AIRES, 1949

Немощный

«Руй Перес уже возвращается»,— выдохнули пересохшие губы короля, и веки его снова бессильно опустились на расширенные зрачки. Из рощи, пробившись сквозь неумолчный шум водяной мельницы, донесся едва различимый и вскоре захлебнувшийся в воде звук охотничьего рога. Он ждал— вот захлюпала грязь под копытами лошадей, раздался топот подков, приглушенный опавшей листвой, и наконец зацокали копыта по вымощенному камнями двору.

Недвижный, бессильно откинувшись, вытянув руки и ноги, с бесконечным терпением король ждал. Там, внизу,— суматоха конюшен, скрип дверей и засовов, неясный, раздраженный шум перебранки и наконец на лестнице— все ближе и ближе— шаги егеря. И как только тот предстал перед королем, спросил дон Энрике¹:

— Ответь мне, Руй Перес, что случилось с моей рыжей кобылой, почему она пришла прихрамывая?

Егерь спокойно притворил дверь королевских покоев, молча вытянул перед ложем своего господина добычу— прекрасную цаплю. Бросив потом трофей на скамью, он сказал:

— Сеньор, не стоит волноваться. Заноза попала в переднюю левую ногу, но коновал уже лечит ее. Как же скоро узнал мой господин, что его любимая кобыла прихрамывает!

— Руй Перес, проклятый! Целый день все скакать и скакать. Для чего?

¹ Энрике III (1379—1406)—сын Хуана I и Леонор Арагонской, король Кастилии (1390—1406), за свою болезненность получивший прозвище Немощный, в советской историографии часто переводимое как Слабый.

Слабая вспышка ярости подбросила короля на его походной кровати; локтем иссохшей руки опершись на соломенный матрас, он выпрямил спину и приподнялся, но тут же вынужден был отказаться от усилия—голова его снова упала в подголовье.

И тогда заворочалась в своем углу кормилица Эстефания Гонсалес, не шевелившаяся весь день, и поспешила к королю. Ее проворные руки поправили складки ворсистого одеяла и влажные волосы, сбившиеся на пылающий лоб больного. Он жалостно улыбнулся: «Старенькая моя, безумная матушка Эстефания!» И затих, а кормилица безмолвно вернулась на свое место. Чтобы чувствовать себя увереннее, королю было достаточно ее присутствия, немного присутствия Эстефании, чье молоко вскормило его худосочное детство. Присутствие кормилицы как будто возвращало ему жизненные соки, которыми с каждым глотком молока двадцать один год назад плотно сбитое тело женщины питало тельце новорожденного. Увы! Кто в те времена мог вообразить, что произойдет всего лишь через несколько лет? При дворе так никогда и не узнали причину проклятия, но в одно и то же время, с разницей в несколько дней, злая лихорадка разрушила кости короля-ребенка, навсегда подточила его здоровье, а кормилица состарилась раньше времени: та, что была свежей и привлекательной, быстро утратила свою горделивую осанку и разум, руки и ноги ее ослабли, а речи стали бессмысленными... Говорят, будто, увидев мать в таком бедствии, другой ее сын—настоящий, кровный, тот Энрике Гонсалес, что вырос на задворках замка, защищенный от издевательств окружающих гневом короля, всегда готового использовать свою власть, дабы прикрыть беззащитность молочного брата,—говорят, будто этот несчастный Энрике Гонсалес, увидев мать впавшей в слабоумие, рассмеялся с радостью, редко в нем наблюдаемой, словно хотел дать понять, что теперь, в потемках безумия, он снова обрел мать, воссоединился с нею после того, как столько времени чувствовал себя отринутым, лишенным по праву принадлежащей ему пищи, обреченным на забвение и обойденным ради наследника престола. Королевский же первенец, напротив, часами рыдал в своей постели, накрыв голову покрывалом, задыхаясь от горя, что кормилица покидала его, теряла свой облик именно тогда, когда особенно он в ней нуждался... Но надо было покоряться, и скоро он утешился. Конечно, погруженная в свое безумие, Эстефания не только не была прежней, но даже отдаленно не напоминала собственную тень: она не вела хозяйство, не развлекала его своими прибаутками, как раньше; но по крайности была здесь, рядом с Немошным, молча и недвижно составляя ему компанию. И только по временам, когда она

разражалась нечеловеческими воплями, приходилось силой вытаскивать ее из королевских покоев и запираить в башне. Но бывало это нечасто, раз от разу все реже и реже, и даже казалось, что болезнь отступала...

И снова уселась престарелая кормилица на своей скамеечке подле окна, а Руй Перес тяжело опустился на скамью, сдвинув в сторону принесенную королю цаплю. Вытянув усталые ноги и помолчав, заметил он дону Энрике:

— Сеньор, сегодня узнал я новость, опечалившую меня: Алонсо Гомес со всеми своими людьми перешел на службу к епископу дону Ильдефонсо.

— Что? Кто сказал тебе? Доподлинно ли это известно?

Король слишком хорошо знал, что известие верно; многожды за минувшие месяцы тревожился он по поводу затянувшегося отсутствия своего скрытного и коварного вассала и если никогда не задавал вопросов, то потому лишь, что боялся услышать правду. Но в отчаянии он пытался еще развеять подозрения, искал опоры в сомнении.

— Верно ли известие? — еле слышно переспросил он. Но тут же, не дождавшись ответа, губы его горько скривились: — Помоги мне, Боже: еще одно предательство!

Но егерь не дал ему укрыться за облегчающими душу стенаниями:

— Сеньор, Алонсо Гомесу вот уже три года не платят содержание.

— Но ведь и тебе, и тебе, Руй Перес, не платят твоих денег, а ты еще не покинул меня.

— Сеньор, если король оставляет своих подданных, как может ожидать он, что они не покинут его?

Ничего не возразил дон Энрике, только прерывистое дыхание слышалось в тишине залы. Он прикрыл глаза, и спасительное прибежище сна было уже близко, когда суровый, негромкий голос егеря снова настиг его:

— Нет, пока жив Руй Перес, не будут брошены на произвол судьбы королевские соколы. Нужно только, чтобы сам король не бросил нас...

Чуть спустя услышал дон Энрике, как закрывалась дверь за спиной королевского егеря, шаги его затерялись внизу лестницы — и больше ничего. Прошло немного времени, и снова задремал король — чудилось ему в дреме, что он слышит шум кузнечного молота, терпкий запах подпаленной кости, — и тут собака вылезла из-под кровати, стала лизать лежавшую поверх простыни руку. Вздвогнув от прикосновения влажного собачьего носа, рука короля медленно шевельнулась, чтобы погладить

голову животного, но не могла нащупать ее в воздухе: собака уже отошла обнюхать брошенную на скамью цаплю.

— О горе мне! Эта болезнь вошла в меня так же прочно, как гончая зпивается в кабана, и я не в силах вырвать ее из моего тела... И как же мучительно болеть зимой на землях Бургоса,—вполголоса пожаловался дон Энрике.—Все безжизненно, мертво, погребено и навсегда забыто. И я, несчастный, я, король Кастилии, должен догорать на этой постели, свидетельнице моих мук?..—И помолчав, дрожащим голосом он сказал, теперь уже обращаясь к Эстефании:—Кормилица, может быть, мне пойдет на пользу встать, ненадолго переменить положение?—И тут же, нетерпеливо:—Ну же, отвечай! Я никогда не поверю до конца, что ты не понимаешь моих слов, недвижимая, как каменное изваяние, коварное изваяние, которое только глядит молча...

Легкий румянец гнева на мгновение окрасил бледные щеки, чтобы тут же исчезнуть. Откинув покрывала, король нервным движением, без чужой помощи, поднялся с кровати и, поколебавшись, устроился в огромном кресле, стоявшем перед окном. И тогда кормилица поспешила накинуть ему на плечи одеяло и обернуть края вокруг закутанного тела.

— Одеваешь, заворачиваешь меня, как маленького ребенка. Это ты можешь. И это все, что осталось от тебя, кормилица, и, увы, все, что осталось от меня!

Усталое дыхание, вырывавшееся из груди короля, заглушило его слова. Постепенно и возбуждение его начало спадать, и он наконец успокоился, отрешенно глядя в окно. Со своего места видел он пустынный двор, обнесенный толстой стеной, над которой протягивали голые ветви ряды черных тополей. И над всем этим—затянутое тучами небо. А в глубине, в углу двора, гниющая от сырости доска... Устав, отвел дон Энрике рассеянный взгляд и посмотрел на исхудавшие, болезненные руки, лежавшие на коленях. «Сегодня Руй Перес принес мне цаплю,—лениво перебирал он свои мысли,—прекрасную цаплю—вон она... Королевскую цаплю!.. Какой сегодня день? Впрочем, день кончается, опускается вечер; да, уже вечер».

И тут снаружи донесся хорошо знакомый смех его молочного брата Энрике Гонсалеса и снова привлек внимание короля к тому, что творилось во дворе. Вон он—переругивается с молодым конюхом. Парень нес на закорках мешок, а Энрике Гонсалес дергал его за рукав, пока тот не потерял равновесия. И вот конюх приводит себя в порядок, чертыхаясь, старается вытереть измазанную в грязи руку о волосы идиота, а тот вскидывает мешок своими крепкими руками—сил ему не занимать,—

закидывает его на спину и так, нагруженный, бегом пускается к конюшне, а конюх, сердито ухмыляясь, провожает его взглядом. Один за другим оба они скрылись в задней двери, а в опустевшем дворе остался двойной ряд следов, и лишь в одном месте, там, где конюх поскользнулся, цепочка следов прерывалась. Дон Энрике задумался об Энрике Гонсалесе: его романсник, но какой сильный; огромные руки всегда в движении, готовы схватить все, что попадется. «Посмотрите на него,— размышлял король,— сила играет в нем даже среди снега и холода; скоро он отправится со двора, чтобы опустить сачки в ручьи, и вернется, довольный собой—ручищи до крови поцарапаны об острый лед, но переметная сума полна раков; он устроится около печки, сварит их в котле и, не слушая насмешек поваров, будет молча сосать своих раков, пока наконец ему не изобредет улечься спать где-нибудь в уголке кухни. И таким же он будет через десять, двадцать, тридцать лет... Так же, как сегодня, будет отдаваться во дворе замка его бессмысленный гогот. Пока Господу угодно... А я? Когда меня Господь призовет к себе? Я, что я делаю тут? Верчусь на этой постели, а в голове у меня вертятся вопросы, на которые нет ответа. И так, пока Господь не распорядится. Разве не лучше?..»

В неожиданном порыве схватил он шнурок колокольчика и яростно затряс его. Затем, уронив руки на колени и вперив взгляд в дверь, принялся ждать. Легкие шаги пажла послышались на лестнице.

— Пусть сейчас же поднимется Руй Перес.

— Сеньор, Руй Перес снова уехал, его нет в замке.

Король погрузился в столь длительное молчание, что стало казаться, будто несколько слов, которыми он обменялся с пажом, никогда не произносились вслух, и тот, застыв у двери, решил, что о нем забыли.

— Сеньор!—прошептал он.

— Тогда пусть явится Родриго Альварес.—И с этим приказанием пажла, наконец, отослали.

Когда после некоторого ожидания дверь снова отворилась, она впустила бородатого, лысеющего мужчину, полного спокойной сдержанности.

— Как понять, Родриго Альварес,—сказал дон Энрике, лишь тот оказался перед ним,—как понять, что король вынужден проводить дни свои в одиночестве, лишенный поддержки, и опорой ему служит только несчастная Эстефания, которая сама не менее нуждается во внимании?

— Сеньор, вы хорошо знаете: кормилица—единственное существо, которое вы терпите рядом; никто более не осмеливает-

са переступить порог этих покоев, не будучи званным. К тому же — и это вам тоже известно, — каждый из ваших подданных самозабвенно отдается своему делу — а это лучшая услуга, которую мы можем оказать королю в такие трудные времена, когда дела наши столь плачевны.

— Сядь тут, подле меня, друг мой Родриго Альварес. Ты видишь, здоровье мое поправляется, и я желаю знать все новости.

Престарелый придворный погладил бороду и, помолчав, начал, взвешивая каждое слово:

— Я, право, не хотел бы, дон Энрике, отягощать ваше внимание больного такими суровыми заботами. Но если вы приказываете, то я могу сообщить лишь дурные вести. К чему, сеньор, вам их знать, раз мы уже стараемся найти возможное решение?

— Я приказываю, говори.

И тогда мажордом короля, не торопясь, тщательно подбирая точные слова, с беспощадной настойчивостью начал рассказывать о насилии, об уроне, который, не зная передышки, причиняли короне ее подданные. Вырубленные леса, угнанные стада, ограбленные деревни, неоплаченные ренты, униженные или обиженные вассалы, угнетенные слуги — все эти события оживали в богатстве деталей, бесстрастно приведенных в доказательство мажордомом, и множились, как множатся обломки разрушенной крепости у подножия того, что некогда было прочным зданием.

С трудом удавалось дону Энрике следить за переплетением событий, которые подданный его излагал с утомительным перечислением всех обстоятельств, имен и дат: эта интрига выплыла совсем случайно, а то предательство стало известно по доносу простолюдина, жаловавшегося на плохое обращение... И дрожал король, как человек, которому чудится, будто изо всех углов за ним наблюдают сотни невидимых глаз.

— Довольно! — вскричал он. — Довольно! — закричал и взмахнул руками, как бы отмахиваясь от всей этой подлости. Мажордом сухо оборвал свой доклад и замолчал. Король, нахмутив брови, уронил тяжелую голову на сплетенные руки.

— Если Господь даст мне силы, летом я наведу порядок.

И Господь дал ему силы. Когда сильные холода остались позади, здоровье дона Энрике стало улучшаться; он приказал расчесать свою бороду, привести в порядок ногти и вскоре начал совершать небольшие охотничьи прогулки по полям. Тело его еще было неуверенным и слабым, о выздоровлении, скорее, свидетельствовало поведение окружающих: как лесные звери при нетронutom снеге покидают свое логово и даже осмеливаются

забредать в селения, чтобы при малейшей опасности снова спрятаться в норы, так, когда король, пересиливший свою болезнь, поднимал взгляд, прятали глаза все, кто тайком наблюдал за ним; и несть числа этим глазам—все лесные обитатели, все жители королевства, весь мир караулил его движения и пристально следил за перебоями в его дыхании...

Дон Энрике напрягал воображение в поисках средств, которые могли бы вернуть подлинную власть Короне; но насильственные меры, которые сам он приберегал на конец и которые должны были выправить его пошатнувшиеся дела, начинали тайно вынашиваться за его спиной. Замысел этот, родившись в лихорадочном бреду, во время нескончаемых бессонниц, годами незримо жил в нем; он постепенно вызревал, был тщательно продуман, и немало надежд возлагалось на него. И тем не менее теперь, когда он обретал реальные контуры и приходил в движение, как змея, которую можно спутать с высохшей веткой, пока она не поднялась с медлительной решимостью,—теперь замысел этот оказывался порождением обстоятельств, неизвестных еще и самому королю.

Так, поздней весной, когда король, наохотившись, с наступлением вечера, усталый, но довольный, возвращался со своей свитой в замок, в глубинах его под грубые шутки слуг, коротавших время в кухне у очага, уже начали плестись первые нити той сети, которая опутает короля. Не подозревая ни о чем, молча скакал дон Энрике, и каждый шаг приближал его к единственному акту насилия, которым будет отмечено его царствование и для выполнения которого понадобится от несчастного напряжение всех сил.

Если хотим мы докопаться до истоков, придется спуститься в кухню и послушать бесхитростные, грубые и примитивные речи, что ведут там простолюдины. Все пошло со случайного, сопровождаемого зевком, вопроса какого-то поваренка:

— Когда начали готовить ужин?

— Об этом,—ответил повар,—пойди спроси у мажордома, только он и может сказать. Но коли хочешь моего совета, не трать время на расспросы, а то придется жалеть.—Раздавшиеся смешки задели парня, а повар, напротив, приободренный ими, продолжал:—Нечего смеяться. Он хочет есть, вот и спрашивает. Ну-ка скажи, паренек, ты голоден?

— Кому какое дело, это никого не касается, кроме меня. Но уже темнеет, и скоро вернется король...

— Так что же? Подумаешь, великая новость! Если хочешь знать, сегодня ужина не будет. Что ты на это скажешь? Не

нравится? А разве ты никогда не слышал, что у настоящего короля ничего нет и даже голод утолить ему нечем? Можешь радоваться—в этом мы похожи на царя небесного, который чем беднее, тем славнее. Сегодня мы все постимся вместе с королем Кастилии в наказание за наши грехи.

— Что за шутки, сеньор дон котелок?—оборвал его раздавшийся у двери суровый голос кузнеца.—Положение короля и без того плачевно, чтобы мы еще подшучивали над ним.

— А с чего вы взяли, что я шучу? Я говорил парню, чтобы он готовился к воздержанию: он уже достаточно взрослый, чтобы соблюдать посты; и я учу его на примере Спасителя, чтобы он, видя, в какую нищету впал дон Энрике, не вздумал осуждать того. Откуда вы свалились? Я сказал, что ужина не будет, и его не будет—это правда, а не шутки. Если уж вам так плохо, вам и остальным, или хотя бы только для того, чтобы этот парень наконец перестал зевать, почему тебе, Марото, не пойти к дверям дома его преосвященства—ты ведь свой человек в этом святом доме—и не попросить слуг господина епископа вынести тебе в плошке объедки, оставшиеся после пира, устроенного вчера хозяином дома? Ты можешь просить милостыню от имени твоего хозяина—почему бы королю Кастилии не быть нищим?

— Ну и епископа послал нам Господь!—воскликнул тот, кого звали Марото. И чуть помолчав в задумчивости, начал в мельчайших подробностях рассказывать собравшимся о торжестве, на котором он помогал прислуживать накануне. Этот парень повидал разные места и умел заставить себя слушать. Он восхвалял роскошь приема, устроенного прелатом в честь грандов королевства, преувеличенно расписывая обилие еды, расточительство и обжорство, а где не хватало слов, помогал себе руками. Тут же, понизив голос, он сообщил с важностью, что безудержную жадность в еде сменила жадность до гербов: ведь кастильская знать собралась за столом епископа дона Ильдефонсо не набивать животы до икоты, а чтобы договориться, как, свергнув Немого, раздробить королевство и поделить его части.

— Дело подошло к десерту, когда епископ завел речь об этом, и все застыли, внимательно слушая. Вы знаете, какой он мастер говорить—тут ему нет равных. Я, в ливрее, прислуживая за столом вместе с другой челядью, так прямо в рот ему и смотрел: кто не слышал, тот и вообразить себе такого чуда не может...

— Ну, а говорил-то он что?—перебили его.

— Что говорил? А! Да я не отрываясь следил за движениями руки, плавными, словно у голубя, что на закате солнца чистит и приглаживает свои перышки. А лицо! Сколько достоинства! А

какие слова, одно за другим, словно овечки из загона, выходили из его уст! Я, приятели, глаз с него не сводил. Потому-то один среди всех и заметил, что с ним происходило. Другие ничего не поняли, а вот я—да: слова столпились у него на устах, будто стадо, которое, тут же пройдя препятствие, в беспорядке высыпало наружу; а рука его тем временем застыла на секунду, как встревоженная птица, чтобы тут же прийти в беспокойное движение. Никто ничего не заметил, и он продолжал спокойно говорить, но я не спускал с него глаз и видел, как на покрасневшем лбу начали одна за другой выступать капельки пота, как стекали они на брови и, словно слезы, скатывались вниз. Казалось, ему сейчас станет дурно... И вдруг — раз! Он неожиданно замолчал, на сей раз не пытаясь скрыть замешательство, встал, и его всегда красное лицо сделалось бледным до синевы. Все удивленно смотрят на него, а он, выпрямившись, очень медленно произносит: «Так вот, сеньоры: чтобы мое присутствие не стесняло вас и не воздействовало на принятое решение, я отлучусь на некоторое время, но с вами остаются мои слова». И тут, оттолкнув кресло с такой силой, что то опрокинулось, он быстро, не слушая возражений, вышел из залы. Слугам, которым положено следовать за Его Преосвященством, пришлось пуститься бегом — да, бегом! — по галерее до его покоев... Когда чуть погодя он вернулся в залу, спокойный и отдохнувший, но еще бледный, продолжать речи уже не было возможности: гости тем временем покончили с вином, а вино в свою очередь покончило с ними.

Марото замолчал, наслаждаясь эффектом, который произвел рассказ, а слушатели тем временем переваривали его слова. И только поваренок, с вопроса которого все и началось, снова спросил — на сей раз ему было интересно, почему Его Преосвященство так поспешно вышел из залы. Раздавшийся в ответ хохот смутил парня.

— Им бы всегда только смеяться надо мной! — закричал он, выбегая.

Смех затух, и прозвучал серьезный голос кузнеца:

— Пока ничего подобного не случается в этом доме, опасности нет. А что до сеньора прелата, то не похоже, чтобы он каялся в своих грехах. Вспомните, как года три назад посреди торжественной мессы ему понадобилось срочно покинуть алтарь, и люди стали перешептываться о соблюдении поста... Но мы-то, — повернулся он к повару, — мы что, должны говеть и когда нет поста? Распорядитесь приготовить что должно, хоть немного, ведь уже поздно и дон Энрике вот-вот вернется.

— Ах, что должно? А что приготовить?.. Поди-ка сюда,

парень,—закричал повар другому подручному, замешкавшемуся в углу,—поди-ка сюда и расскажи тому, кто захочет послушать, с чем ты вернулся сегодня, когда мажордом послал тебя за провизией.

— Проклятия этому дому—вот все, что я принес с собой вместо мяса и рыбы,—ответил посыльный.—И мне чуть не запустили в голову разновесом, когда я спросил, не дороже ли королевское слово унции мяса. Но им нужны деньги, а не слова.

Все замолчали. Наконец кто-то заметил:

— Это неминуемо должно было случиться. Чего же, кроме бесчестия, можно ожидать, когда больной король и сам-то еле ноги передвигает, где уж ему заставлять дурных вассалов, мало что отказывающихся платить, но еще и присваивающих чужое, уважать себя. Бедный мой сеньор, в самом сердце своего королевства, а окутан цепями, как беглец!.. Вон он приехал—горько смотреть, как ему придется столкнуться со всем этим...

В самом деле, снаружи слышались шум и беспорядок—приехавшие спешили во дворе. Вот охотники поднялись в залу, и дон Энрике приказал подавать ужин. В этот-то момент руки его и встретились с первыми нитями интриги и начали запутываться в них. Время шло, а королевское приказание оставалось невыполненным. Трижды в нетерпении вынужден был он раздраженно и недовольно повторить приказание, а когда гнев его, казалось, достиг предела, бледный, возник перед королем повар, чтобы сообщить ему:

— Сеньор, ужина нет.

— Как это нет? Что случилось?—вскричал дон Энрике.—Где мажордом? Пусть явится немедленно.—Дон Энрике устал и был голоден; от гнева голос его становился по временам безысходно печальным, и отчаяние слышалось в нем. И спутники короля, находившиеся тут,—расстегивая шпоры, пристраивая плащи и охотничьи сумки, они обсуждали охоту—повернулись, услышав это, и замолчали в растерянности.

Тогда повар попытался объяснить: мажордом Родриго Альварес в сопровождении небольшого отряда отправился, чтобы любым способом получить хоть какие-то деньги из тех, что задолжали королю его вассалы, и, уезжая, поклялся, что не вернется без денег... Тут он замолчал, но изумление дона Энрике его приободрило, и он добавил:

— Сеньор, деньги у нас кончились давно, сегодня кончился и кредит.

Все взгляды прикованы к молодому королю: горячая волна поднимается по его бледным щекам к глазам, устремленным на простирающееся за окном темнеющее поле. После долгого,

мучительного молчания он в конце концов снимает плащ и бросает повару:

— Пошли заложить его, Хуан.

Нагнувшись, человек поднял с полу одежду и вышел, оставив сеньоров в безмолвном ожидании.

— Возьми это и бегом, заложь его,— приказал он посыльному, едва спустившись в кухню.— Король обрек себя на холод, чтобы мы могли согреться. Иди обменяй шерсть на мясо, и дай Бог, чтобы оно попало не слишком жесткое, тогда все будет в порядке.

Мальчик побежал в город, миновал крутые улочки, что позади собора, и отдал плащ еврею-ростовщику, который, развернув ткань, посмотрел ее с лица и с изнанки, а потом спросил:

— Где ты это стянул? — Повернувшись спиной, он вытащил из конторки золотую монетку и отдал ее посыльному, не говоря ни слова...

Ужин был мрачным. Сначала все молчали, занятые жарким, что наспех приготовил повар. Но соус, приправленный розмарином и тимьяном, да терпкое местное вино, не развеяв мрачного настроения, настроили сердца на один лад, и сотрапезники с яростной горечью начали обсуждать разницу между бедственным теперь положением короля и вызывающей роскошью его вассалов. Сначала вполголоса обменивались мнениями с сидевшими рядом, но постепенно обсуждение растекалось, как содержимое опрокинутого сосуда, в беседу вовлекались и сидевшие по ту сторону стола,— приглушенные гневные голоса становились все громче, пока не начали звенеть от негодования. И тем сильнее становилось оно, чем больше расписывались подробности праздника, устроенного накануне в доме епископа дона Ильдефонсо; со страстной обидой приводились свидетельства невероятной распущенности, возмутительного ликования и нехристианского расточительства.

Король ел молча и не принимал участия в этих разговорах. Но, поужинав, он удалился со своим егерем, Руй Пересом, и они вдвоем решили подготовить вылазку, которая ограничила бы власть зарвавшихся сеньоров. Чтобы без помехи обсудить последние детали плана, решено было снова отправиться на охоту, взяв с собой лишь тех, кого отберет сам Руй Перес.

И вот два дня спустя те, кого позвали участвовать в заговоре, выехали из замка еще до того, как забрезжил рассвет, и проскакали полторы легуа. Пока слуги с собаками отправились вперед, сеньоры сзади, сгрудившись вокруг короля, обсуждали, как и когда... И сойдясь во всем, наметив день и уточнив все частности, спешили они в роще и собрались, чтобы отдохнуть в

тени дуба, пока не начали гнать зверя. Теперь, когда все было подготовлено, с нервной радостью представляли они последствия задуманного удара, который должен был вернуть королю власть, «изъеденную мышами предательства», и наказать вельмож за их заносчивость и злоупотребления.

Дон Энрике слушал, стоя чуть поодаль, шумные речи своих друзей, говоривших одновременно и наперебой предлагавших выпить за предстоящий успех его предприятия. И когда вздумалось королю пройти между возбужденными людьми, пришлось ему с силой сжать плечо Руй Переса, который в это самое мгновение поднял бурдюк с вином, готовясь тонкой прозрачной розоватой струйкой перелить в себя его содержимое. Все тут же стали предлагать королю отведать чего-нибудь, но дон Энрике подал знак своему егерю, и тот приказал — зазвучали звуки охотничьего рога, все подошли, и Руй Перес неожиданно распорядился возвращаться. Тут же между слуг разнеслась весть: король вдруг почувствовал себя больным.

Считанные шаги оставались до применения силы, которое окончательно истощит Немошного. Две недели прошло с того дня, и все это время наглухо заперты были ворота замка, а сейчас сеньоры со всего королевства стекались к нему из различных земель и мест. И чем больше слуг собиралось на заднем дворе замка, тем настойчивее становилась молва о смерти короля. Стремянные ухаживали за лошадьми, криками и бранью подстегивая конюхов, а лакеи и оруженосцы вельмож обсуждали между собой причины этого собрания и последствия, которые могли бы из этого проистечь. Точно никто ничего не знал, но свою неосведомленность все прикрывали преувеличенным немногословием, поэтому траур ощущался все сильнее: озабоченными становились лица, приглушенно звучали голоса.

Гранды королевства тем временем, собравшись в парадной зале, перешептывались, сбившись возле окон в кучки, которые рассеивались и перемешивались между собой, когда дверь открывалась, чтобы впустить нового вельможу. Последним прибыл магистр ордена Сантьяго, дон Мартин Фернандес де Акунья; на доспехах — знак ордена; задержавшись в дверях, с шумной веселостью приветствует он всех. Увидев своего двоюродного брата и зятя, адмирала дона Хуана Санчеса де Акунья, раскрывает он объятия, чтобы сжать его, выпрашивая новости о семье: «Ведь мы не виделись целых три года, брат!» А затем, отведя того в угол и понизив голос, осведомляется, зачем их сюда позвали. «Говорят,— объясняет ему адмирал,— что король при смерти и хочет огласить завещание. Но наверняка никто не знает...» Они ненадолго замолкают — голова магистра горделиво

возвышается над белым обрамлением ухоженной бороды; адмирал, опустив глаза, рассеянно разглядывает ногти на левой руке. Неподалеку в тесной кучке обсуждают королевское здоровье, стараясь постичь замысел Провидения.

— После того как болезнь настигла короля,— рассказывает кто-то,— наружность его подурнела, душа озлобилась, словно желая сравниться со слабым телом, неспособным на благие дела, и даже в малых радостях ему отказано.

— Слышал я от тех, кто недавно видел дона Энрике, что смерть уже обозначилась на его челе и зловонное дыхание обличает ее неотступное присутствие в королевском теле,— вмешивается другой.— Думаю, нас призвали, чтобы выслушать последнюю волю.

При этих словах дверь резко распахнулась. Смолкли все разговоры, все головы повернулись в ту сторону, все взгляды устремились туда. И собравшиеся увидели, как, облаченный в доспехи, с горящими гневом глазами на бледном лице, твердым неторопливым шагом в залу вошел дон Энрике, при агонии которого они думали присутствовать. Сквозь толпу изумленных вассалов он проследовал на середину залы и, застыв там, после ледяного молчания спокойным, нарочито медленным голосом, скрывавшим дрожь, обратился к ним.

— Сеньоры,— сказал он,— прежде чем вы узнаете, зачем я призывал вас, один вопрос хотел бы я задать каждому: скольких королей знали вы в Кастилии?

Озадаченные, обменивались вельможи удивленными взглядами и, не имея возможности представить, к чему клонит своим странным вопросом меланхолический король, молчали.

— Так что же, сеньоры, скольких королей каждый из вас знал в Кастилии?

Наконец нарушил длительное молчание коннетабль дон Альфонсо Гомес Бенавидес, поддерживаемый под руку сопровождавшим его внуком. Он сказал:

— Сеньор, ответ, который желаете вы услышать от каждого из присутствующих, могу я, как самый старый, дать вам за всех. Пятерых королей я видел в Кастилии. Когда мой долгий жизненный путь только начинался, правил дон Альфонсо, без усталости расширявший границы королевства. Но завистница чума оборвала славную жизнь, помешав ему расширить границы королевства до размеров его величия. И тогда зависть воцарилась в Кастилии, а междоусобицы королей-братьев дона Педро и дона Энрике, вашего дедушки, от которого вы, сеньор, унаследовали имя и корону, ослабили и расшатали ее. Видел я затем правление вашего отца, дона Хуана; и наконец, сеньор (наверное,

ваша в то время еще слишком нежная память не сохранила тот далекий день, когда я поцеловал детские руки, признавая вас королем), наконец... Хотел бы я, чтобы мои усталые глаза закрылись навеки, прежде чем увидят они еще одного короля — пятерых достаточно на одну жизнь!

Сдерживая из уважения к старцу ярость, слушал дон Энрике его слова, дававшие время другим вельможам опомниться и поразмыслить. Но при последних словах, неосторожно напомнивших о том, что все считали истинной причиной данной ассамблеи, вновь вспыхнул королевский гнев, и еще не успели сомкнуться губы коннетабля, как возразил ему дон Энрике:

— Действительно, пятерых королей достаточно на одну жизнь, и трудно каждый раз приноравливаться к новым порядкам. Что было бы, если бы эти короли, вместо того чтобы царствовать один за другим, правили все разом и если вместо пяти их было бы двадцать?

Первые слова медленно, с присвистом вырвались из груди изменившегося от ярости в лице короля, голос его тут же зазвенел — легко подрагивающий вначале, он становился все выше, пока не зазвучал проклятием:

— Да, двадцать, двадцать, а не пять королей правят сегодня в Кастилии! Двадцать, и даже больше! Вы, сеньоры, настоящие короли в этом королевстве — у вас власть и богатство, вы похваляетесь силой, вы правите, вы приказываете и вы подчиняетесь... Но всеми моими предками, которых ты, коннетабль Альфонсо Гомес, упомянул, клянусь, что пришел конец вашему самозваному правлению и начиная с сего дня и впредь никогда оно не воцарится вновь на этих землях.

И повернулся спиной. Тогда все взгляды поднялись от каменных плит пола к плюмажу его шлема. А после того, как дверь закрылась за ним, хотели вельможи обсудить случившееся, но помешала стража, ворвавшаяся в зал, чтобы разоружить и схватить их.

И пока таким образом выполнялось отданное королем приказание лишить собственности непокорных вассалов, двое слуг снимали с него доспехи, раздевали и укладывали в постель. Дон Энрике, стуча зубами, дрожал как лист.

Лето близилось к концу и приближалась осень, когда Немошный смог поднять снова голову и, поборов свою слабость, спросить, что случилось с его пленниками, пока он был во власти лихорадки и забытия. Никто не отвечал ему, но, проявив упорство и настояв на своем, выяснил король, что все они были отпущены и спокойно жили в своих владениях. И еще он узнал, узнал с изумлением, что он, король дон Энрике, сам приказал

отпустить их на свободу.

И погрузился король в глубокое молчание. Но как ни старался, не мог ничего вспомнить. А кто мог помочь его бедной памяти, кто? Не эта же несчастная Эстефания, что, сидя рядом с его ложем, отгоняла назойливых мух?

Околдованный

Гонсалес Лобо, прозванный на родине Индейцем после жизни в колониях, возвратился в Испанию в конце 1679 года на одном из галионов флота, доставившего груз золота, на которое отпраздновано было бракосочетание короля; бесплодность предпринятой затем попытки обратиться ко Двору с прошением побудила его навсегда удалиться на покой в город Мериду, в дом родной сестры своего отца. Никогда больше не выезжал он из этого города. Радушно принятый вдовствовавшей с недавних пор тетей Луисой Альварес, он целиком посвятил себя управлению ее маленьким имением, которое по прошествии лет досталось ему в наследство, став последним прибежищем до конца дней. Жизнь проводил Индеец в земледельческих заботах и в молитвах, а по ночам писал. Наряду с большим количеством других бумаг оставил Гонсалес Лобо обширное описание своего путешествия, оканчивающееся рассказом о том, как предстал он перед Околдованным¹. Данное повествование и является предметом наших заметок.

Это не дневниковые записи и не мемуары в прямом смысле слова; не похоже и на то, чтобы предназначался сей труд для обоснования и поддержки какого-либо прошения. Вернее всего, перед нами рассказ человека о разочаровании в своих устремлениях, записанный им, вне сомнений, с единственной целью заполнить бессонные ночи старости, живущей одним лишь прошлым, замкнувшейся в воспоминаниях и уже не способной ни волнением, ни даже любопытством откликнуться на едва достигавшие ушей автора отзвуки гражданской войны, в которой после смерти злосчастного Карлоса оспаривалась претендентами его корона.

Замечательная рукопись еще увидит когда-нибудь свет; мы привели бы ее полностью, если бы не крайняя растянутость и

¹ Прозвище Карла II (1661—1700), последнего испанского короля из династии Габсбургов; больной и бездетный, он завещал престол будущему Филиппу V, внуку Людовика XIV, что стало причиной так называемой «войны за испанское наследство» (1701—1713) в Европе.

несоразмерность частей: она перегружена утомительными сведениями о торговле в колониях и критическими оценками, интересными в наши дни лишь историкам и экономистам; неоправданно избыточны, да и неуместны сравнения между земледелием в Перу и положением в сельском хозяйстве Андалусии и Эстремадуры: автор повторяет множество избитых подробностей, занимает наше внимание всевозможными мелочами и увлеченно описывает любой незначительный эпизод, но в то же время опускает, ограничиваясь мимолетным упоминанием, весть о жестоких событиях или достойных восхищения величественных деяниях. В любом случае было бы неразумным печатать столь обширную рукопись без предварительной обработки и сокращения излишних отступлений, превращающих чтение в тяжелое и неблагодарное занятие.

Следует сразу отметить, что, дойдя ценой немалых усилий до последних строк рукописи, читатель — несмотря на все обилие событий и подробностей — чувствует, что его одурачили, так и не сказав главного. Это наше впечатление подтверждают и другие люди, изучившие текст; один коллега, которому, желая заинтересовать, предложили мы ознакомиться с сочинением, после слов благодарности добавляет в своем письме: «Не раз, когда, перелистывая страницу, поднимал я голову, чудился мне в темной глубине архива сумрачный взор Гонсалеса Лобо, прячущего насмешку в прищуренных глазах». Рукопись, вне всякого сомнения, чрезвычайно загадочна и рождает множество вопросов. Так, мы вправе осведомиться: каковы были намерения автора? С какой целью он писал? Можно, конечно, допустить, что единственным назначением рукописи было скрасить одиночество старика, живущего своими воспоминаниями, но чем тогда объяснить тот факт, что во всей работе не говорится достоверно ни слова, какой именно милости искал у Двора Гонсалес Лобо и какие причины побудили его спрашивать ее и надеяться получить?

Но более того: полагая, что ожидать сей милости мог он, по-видимому, лишь в силу заслуг своего родителя, нельзя не поразиться тому, что ни разу не упоминается тот на протяжении всего повествования. Можно допустить, что Гонсалес Лобо осиротел с ранних лет и потому не сохранил об отце четких воспоминаний, но почему тогда даже имя его он обходит молчанием, подавляя нас взамен множеством замечаний по поводу растительного мира и климата или утомляя нескончаемым перечнем сокровищ, хранящихся в кафедральном соборе Сигуэнсы?.. Чрезвычайно скупы и всегда нечаянны сведения о жизни самого Гонсалеса Лобо до путешествия. Так, например, приводит

автор в назидание юности эпизод со священником, воспитывавшим его в детстве, и передает, как однажды, раздраженный упорным молчанием, с которым внимал ученик внушениям, не выдержав добрый пастырь, швырнул книги на пол и, осенив крестным знаменем, оставил того наедине с Вергилием и Плутархом. Этот случай описывает Гонсалес Лобо, оправдывая, а вернее—порицая, в наставление другим, недостатки своего стиля, столь очевидно уродующие его труд.

Но это лишь одно из многих необъяснимых мест в перегруженном бесполезными разъяснениями сочинении. За загадочностью авторского многословия встают другие, куда более значительные проблемы. Сложность и длительность путешествия, непрестанные задержки в дороге, растущие по мере приближения ко Двору (только в Севилье провел Индеец Гонсалес Лобо свыше трех лет, никак не пояснив в своих воспоминаниях причину столь долгого пребывания в городе, где ничто не должно было его задержать),—все это таинственным образом не согласуется с той быстротой и легкостью, с которой отказался он от своих исканий и удалился из Мадрида тотчас после посещения короля. Подобные головоломки встречаются в рукописи во множестве.

Повествование открывается описанием подготовки к отъезду и завершается на визите к королю Карлосу II в одном из дворцовых покоев. «Его Величество явил мне свое благоволение,—гласит заключительная фраза рукописи,—и протянул для лобзания руку, но прежде, нежели успел я запечатлеть на ней поцелуй, завладела ею забавная обезьянка, резвившаяся неподалеку, и отвлекла Его Королевское внимание домогательством ласки. Усмотрев в том благовидный предлог, удалился я тогда в почтительном молчании».

Молчаливо и прощание Индейца Гонсалеса с матерью, описанием которого открывается рукопись. Нет ни объяснений, ни слез. Мы видим очертания двух фигур на фоне неба, среди андских вершин, в ранний предутренний час. Чтобы прибыть к рассвету, Гонсалесу пришлось проделать долгий путь; и теперь мать и сын шагают, не говоря ни слова, друг подле друга к церкви, чуть более крупной и чуть менее бедной, чем сами жилища. Вместе они прослушивают раннюю мессу, и сразу по ее окончании Гонсалес возобновляет спуск по горным тропам.

Несколько позже мы встречаем его уже среди портовой суеты. Маленькая фигурка едва видна в многоголосой сутолоке и одуряющей головокружительной беготне. Замерев в ожидании, лицом к лицу с ослепительно сверкающим океаном, созерцает он подготовку флота к отплытию. На земле, у его ног, приткнулся

небольшой сундучок. Все кружится вокруг терпеливо выжидающего Гонсалеса: моряки, чиновники, грузчики, солдаты; крики, приказы, удары. Два часа не трогается с места Индеец Гонсалес Лобо, и еще два или три проходят до той минуты, когда несчетные руки первой галеры начинают размеренно двигаться, волоча ее брюхо по тяжелой и грязной воде гавани. Затем он поднимается со своим сундуком на корабль. Что же касается самого длительного путешествия, о нем мы находим в рукописи лишь краткое упоминание: «Плавание закончилось благополучно».

Однако, из-за отсутствия ли достойных описания происшествий или в силу тревожных, но, по счастью, напрасных опасений, заполняет автор многие листы рассуждениями о неудобствах морских переездов, об убытках и риске из-за тьмы флибустьеров, коими кишели в ту пору моря; вслед за чем излагает меры, которые, на его взгляд, надлежит принять во избежание ущерба, наносимого интересам короны. Читая эти страницы, трудно подумать, что созданы они путешественником,—скорее можно их приписать политику, вдобавок склонному, чего доброго, к прожектерству: перед нами плоды кропотливого сочинительства, более или менее обоснованные проекты довольно спорной оригинальности. Автор исчезает в них, погружаясь в общие рассуждения, и мы теряем его из виду до самой Севильи.

В Севилье он воскресает из лабиринта нравственных, экономических и хозяйственных рассуждений, шествуя за негром, который, пристроив на плечо небольшой сундучок, ведет его лабиринтом переулков к постоялому двору. Позади, на реке, еще можно различить очертания корабля, на котором он прибыл; хорошо видны украшенные флагами мачты. Но между идущим за негром Гонсалесом Лобо и доставившим его из Америки судном осталась таможня. Во всей рукописи нет ни одного резкого слова, ни следа нетерпения, ни разу не выражает автор своего недовольства—ничто не нарушает бесстрастное течение повествования. Но кто уже освоился с этим слогом, проникся им и научился слышать скрытое биение под обычной в ту пору риторикой, тот сумеет за обилием рассуждений о лучшем устройстве торговли в колониях и рекомендуемых нормах правления разглядеть утомление от бесчисленных формальностей, способных вывести из себя другого человека, не обладающего подобной закалкой.

Мы вышли бы за рамки задуманного в этих заметках, назначение которых—познакомить читателя в общих чертах с примечательной рукописью, если бы пытались дать полный обзор ее содержания. Нет сомнения, что придет день, когда сможет она быть издана, внимательно и по достоинству изученная, должным

образом аннотированная, предваренная филологическим исследованием, содержащим разбор и толкование множества вопросов, вызванных ее причудливым стилем. Ибо с первого взгляда становится заметным, что как проза, так и идеи автора явно анахроничны его времени; и не исключено даже, что будут обнаружены в них озарения, трактовки и оценки двух, а то и более категорий, то есть, другими словами, соответствующие образу мысли и действия различных поколений, в том числе и предшествующего авторскому,— что было бы, кроме того, вполне объяснимо, учитывая совокупность личных обстоятельств и особенностей жизни Гонсалеса Лобо. В то же время, как порою случается, в результате этого нагромождения появляется произведение, словно бы рассчитанное на сегодняшнего читателя.

Но подобное исследование еще впереди, а без такого руководства мы бы не рекомендовали издание книги, которую следовало бы к тому же снабдить географо-хронологической таблицей, представляющей маршрут путешествия; составление же таблицы—дело отнюдь не легкое, принимая во внимание неупорядоченность рукописи, путаницу в событиях, искажения дат, повторы, смешение увиденного с услышанным, незапамятного с настоящим, происшествия с суждением и собственного мнения—с чужим.

Предваряя своими заметками будущее исследование, мы хотели бы вновь привлечь внимание к основному вопросу, встающему перед нами после прочтения рукописи: какова же была истинная цель путешествия, мотивы которого столь неясны—если только не сокрыты преднамеренно,—и какая связь могла существовать между этой целью и той формой, в которую облек Гонсалес Лобо свои воспоминания? Следует признаться, что, задумавшись в процессе работы с рукописью над приведенными вопросами, мы выстроили несколько предположений, но были вынуждены вскоре отвергнуть их как явно неудовлетворительные, сочтя, по зрелом размышлении, чересчур сомнительным и необоснованным допущение того, например, что Индеец Гонсалес Лобо мог быть потомком какого-нибудь знатного рода и, чувствуя в себе некое высокое предназначение, скрывал свое истинное лицо. В конечном счете, едва ли это что-либо проясняло. Размышляли мы и над тем, не является ли сочинение всего лишь литературным вымыслом, продуманно беспорядочная форма которого должна была символизировать переменчивое и непредсказуемое течение человеческой жизни, заставляя читателя задуматься о суетности всяческих устремлений, на которые расходуется существование. На протяжении нескольких недель мы увлеченно держались этой интерпретации, согласно которой главный герой мог даже

оказаться вымышленным персонажем, но в конце концов были вынуждены смириться и отвергнуть ее: несомненно, литературная мысль той эпохи воплотила бы подобный замысел совершенно иным образом.

Впрочем, не будем отвлекаться на вопросы такого рода и вернемся к непосредственной задаче наших заметок: дать общую оценку рукописи, лишь слегка отразив ее содержание.

Есть в сочинении один нескончаемо долгий отрывок, в котором видим мы автора потерявшимся в лабиринте Двора. С беспощадной обстоятельностью описывает он свои хождения по несчетным коридорам и приемным, в которых теряется надежда и почти физически ощущается течение времени; с каким-то болезненным наслаждением излагает он каждое свое действие, не обходя вниманием ни один шаг. Лист за листом заполняет он утомительными пояснениями и незначительными подробностями, непонятно к чему относящимися. Лист за листом покрывают описания вроде следующего: «Я прошел внутрь, на этот раз беспрепятственно, будучи узан старшим привратником, но у подножия идущей от подъезда главной лестницы,— речь идет о дворце Колониального совета, куда приводили Гонсалеса Лобо большинство его хлопот,— обнаружил, что караул поменяли, и вынужден был, таким образом, вновь, как в предшествующие дни, изложить свое дело, после чего пришлось дожидаться, пока один из пажей отправится разузнать, дозволено ли мне будет пройти. Отойдя в сторону, я присматривался к спующим вверх и вниз по лестнице людям: то были в большинстве своем кавалеры и духовные лица; на каждом шагу они приветствовали друг друга, раскланивались, останавливались поговорить. Паж мой, весьма долго отсутствовавший, наконец вернулся с известием, что я буду принят советником пятого класса третьей канцелярии, в круг полномочий которого входило мое дело. Проследовав за одним из служителей, я расположился в приемной сеньора советника. Это была та же приемная, где пришлось мне дожидаться аудиенции в первый день посещения Дворца, и я присел на ту же скамеечку, на которой провел в тот раз более полутора часов. Все говорило о том, что и сегодня придется пробыть здесь не меньше; время бежало, несчетное количество раз открывалась и закрывалась дверь, и неоднократно выходил из кабинета и вновь возвращался сам сеньор советник пятого класса; насупившись, отведя глаза, он проходил, не подавая виду, что замечает мое присутствие. Утомленный ожиданием, осмелился я наконец подойти к стоявшему у дверей служителю и напомнить о своем деле, в ответ на что сей добрый человек посоветовал хранить терпение, но все же, дабы не подвергать меня дальнейшему

испытанию, решился оказать содействие и провел в самый кабинет сеньора советника, который в ту минуту отсутствовал, но должен был незамедлительно вернуться. В ожидании этого я стал гадать, помнит ли еще советник суть моего дела и не отошлет ли меня снова, как во время предыдущего посещения, в канцелярию другого отдела Королевского совета. На столе чиновника громоздились кипы бумаг, вдоль стен тянулись открытые шкафы, заставленные папками. В центре, над спинкой кресла советника, помещался большой, неудачной работы портрет покойного короля дона Фелипе IV. Подле стола возвышалась на стуле еще одна груда документов. Полная густых чернил, раскрытая оловянная чернильница тоже, казалось, дожидалась возвращения сеньора советника пятого класса... Но так и не довелось мне тем утром побеседовать с ним, ибо, войдя наконец крайне поспешно в кабинет за какой-то бумагой, обратился он ко мне с учтивой просьбой благоволить извинить его за невозможность немедленно выслушать мое дело, ввиду того, что предстояло ему обсудить ряд вопросов с Его Сиятельством».

Неустанно дробит Индеец Гонсалес Лобо свое повествование на подобные детальные сцены, не опуская ни дня, ни часа, нередко впадая в крайность и повторяя дважды, трижды, а то и чаще, почти в тех же самых выражениях, описание деловых визитов, сходных между собой настолько, что лишь дата отличает их друг от друга; и в ту самую минуту, когда кажется читателю, что близок уже конец одного утомительного эпизода, открывается усталому взору другой, похожий, который тоже придется ему пройти шаг за шагом и по окончании которого будет ожидать его лишь очередной такой же. А ведь автор вполне мог избежать сам и избавить читателя от лишнего труда, ограничившись — коли так необходимо было писать об этом — простым перечислением количества визитов, нанесенных в то или иное учреждение, и указанием соответствующих дат. Почему же не предпочел он этот путь? Или находил он некое непостижимое удовольствие в таком чрезмерном разбухании рукописи под его пером, видя как растет ее объем, угрожая сравниться продолжительностью повествования с тем временем, что длились сами описываемые события? Иначе какая же необходимость заставляет его сообщать нам, что количество ступеней лестницы во дворце Святой инквизиции равнялось сорока шести, и указывать число окон, тянувшихся по каждому из фасадов?

Читатель, добросовестно выполняющий возложенную на себя задачу: прочитать рукопись полностью, от корки до корки, строка за строкой, не пропуская ни точки, почувствует не то что облегчение — настоящее волнение, встретив по ходу чтения

неожиданную фразу, ничего на первый взгляд не предвещающую и все же сулящую ему, утомленному, уже готовому, казалось, отступить, некие сдвиги в сюжете. «На следующий день, в воскресенье, я отправился исповедоваться к доктору Куртиусу»,—пишет автор безо всякого перехода. Фраза эта прерывает машинальное чтение, бросаясь в глаза как отблеск на тусклом бесцветном песке... Но если легкий трепет, исходящий от этого слова — *исповедь*,—и вселяет надежду, что вот-вот прорвется в рассказе глубоко личное, то лишь для того, дабы освятить уродливую тяжеловесность повествования неприкосновенностью таинства. Неизменно щедрый в деталях, автор неуклонно умалчивает о главном. Меняются декорации, но не действие. Мы видим, как маленькая фигурка Гонсалеса Лобо неторопливо поднимается по середине широкой лестницы по направлению к церковному портику, останавливается на мгновение, чтобы достать из кошелька монету и подать ее нищему калеке. Более того: автор с неуместной подробностью уточняет, что речь идет о старом слепом паралитике, руки и ноги которого стянуты бесформенным тряпьем. И вновь следует пространное отступление, где сетует Гонсалес Лобо на отсутствие достаточных средств, чтобы облегчить нищету остальных оборванцев, гнилостным кольцом обрамлявших лестницу...

Но вот фигура Индейца пропадает в глубине галереи. Он поднимает тяжелый полог, входит в неф, склоняется до земли перед главным алтарем, затем направляется к исповедальне. Остановившись неподалеку от нее, преклоняет колени и так ожидает своей очереди. Сколько зерен перебрали его пальцы на четках к тому времени, когда полная белая рука подала ему из темноты знак приблизиться к святилищу? Гонсалес Лобо описал в рукописи этот беглый жест белеющей в полумраке руки; на долгие годы запомнил он и то, как резанул его слух тевтонский выговор духовника, и на склоне лет не преминул передать это впечатление. Но и только. «Я поцеловал ему руку и отошел к колонне, чтобы прослушать мессу».

Недоумение — недоумение и досаду — чувствует читатель, когда автор, после подобной сдержанности, принимается всемерно расхваливать торжественность службы: пронзительную чистоту юных голосов — «словно разверзлись небеса, и ангелы пели славу Спасителю»,—отвечавших с хоров величаво звучащей у алтаря латыни. А ведь все это: проповедь, псалмы, блеск серебра и золота, обилие свечей, струи ладана, густыми завитками восходящие по стене алтаря, вдоль точеных, в каменной резьбе, колонн, под своды drobных куполов,—все это было в то время не большей редкостью, чем сегодня, и не стоило отдельного описа-

ния. Трудно поверить, что автор останавливается на этом не для того, чтобы скрыть свое молчание по поводу главного и заполнить таким образом ту смысловую пустоту, что появляется в рассказе между его духовной исповедью — где, надо думать, не обошлось без мирских тем — и визитом, который нанес он следующим утром, назвав в дверях имя доктора Куртиуса, в резиденцию Общества Иисуса. «Дернув шнурок,—пишет автор, подведя нас к порогу,—услышал я звон колокольчика громче и ближе, чем ожидал».

Снова упоминание ничтожной детали. Но за нею чудится раздраженному читателю полная внутреннего напряжения сцена: вновь предстает перед ним унылая, тощая фигура Гонсалеса Лобо; неизменно сдержанный, неторопливый и печальный, невозмутимо спокойный, тот подходит к дверям, останавливается, тянется к груше звонка. Но медлительная, длинная и тонкая рука хватает и дергает шнурок с неожиданной силой и тут же отпускает его. И тогда, равнодушным взглядом следя, как покачивается перед ним ручка звонка, Индеец отмечает про себя, что колокольчик висел слишком близко и прозвучал непомерно громко.

Однако ничего подобного нет в рассказе Гонсалеса Лобо. Он пишет: «Дернув шнурок, услышал я звон колокольчика громче и ближе, чем ожидал. Едва лишь затих его звук, донеслись до меня шаги привратника, который шел открывать и который, узнав мое имя, незамедлительно меня пропустил». Затем попадает читатель в залу, где Гонсалес Лобо, замерев у стола, ожидает приема. Вся обстановка залы состоит из этого столика, стоящего посередине, двух стульев и придвинутого к стене шкафа, на котором возвышается большое распятие. Нескончаемо длится ожидание. Приводит оно лишь к следующему: «Мне так и не довелось лично повидать Главного Инквизитора. Взамен, от его имени, был я направлен в дом баронессы Берлипс, дамы, известной всем под прозвищем *Кулопатка*, которая, как меня заверили, будет ко времени визита уведомлена о решении по моему делу. Однако,—добавляет автор,—весьма скоро смог я убедиться, что не так-то просто было проникнуть к ней. Власть магнатов измеряется числом просителей, осаждающих их двери, а в доме баронессы приемной служил весь двор».

Одним прыжком переносит нас повествование из резиденции иезуитов — такой безмолвной, что звон колокольца прокатывается по вестибюлю словно звук упавшего в колодезь камня,—в старый дворец, где кипит у подъезда круговорот просителей, поглощенных торговлей влиянием, вымоганием льгот, куплей должностей, поисками милостей или выклянчиванием привиле-

гий. «В ожидании приема я расположился у одного из поворотов галереи, созерцая это стечение разнообразнейших характеров и обличей, когда подошел ко мне какой-то солдат и, коснувшись плеча, спросил, зачем я здесь и откуда. Прежде чем успел я ответить, поспешил он принести извинения за любопытство, заметив, что длительность ожидания побуждает искать способ скоротать время, а в таком случае нет отраднее беседы о родной стороне. О себе же рассказал он, что родом из Фландрии и несет службу в гвардейцах при Королевском дворце, рассчитывая получить в будущем должность садовника в каком-нибудь из владений Двора, в чем порукой ему влияние жены, королевской карлицы, давшей не одно свидетельство своей ловкости и благоразумия и снискавшей тем самым право уповать на получение некоторых милостей. Внимая ему, задумался я, не открывается ли предо мной кратчайший путь к исполнению желаний, и решил тогда поведать солдату, что мечтаю лишь об одном — припасть к ногам Его Величества, но, будучи чужим при Дворе и не имея друзей, не нахожу способа проникнуть к королевской особе. Мысль сия, — продолжает Гонсалес Лобо, — оказалась счастливой, ибо собеседник, всячески заверив меня в сочувствии такой беспомощности и в готовности содействовать моему положению, склонился к уху и прошептал, что супруга его, донья Антоньита Нуньес, карлица при королевских покоях, сможет, вероятно, изыскать средство провести меня в высочайшее присутствие и, несомненно, проявит всемерное к тому усердие, при условии, что сумею я снискать ее расположение и пробудить интерес подношением драгоценного колечка, сверкавшего на моем мизинце».

Страницы, которые следуют далее, представляют, на наш взгляд, главную художественную ценность всей рукописи. Дело не в неизменно сохраняющем свои особенности стиле, где архаичный оборот соседствует порой с небрежностью языка, а в постоянной недосказанности мерещится читателю то уклончивая обтекаемость официальной речи, то опущение каких-то подразумеваемых деталей, как бывает, когда пишет человек для собственного удовольствия; нет, повторяем, дело не столько в стиле, сколько в построении, над которым, видимо, работал Гонсалес Лобо особенно тщательно. Он описывает здесь внешность и манеры доньи Антоньиты, движения, жесты, гримасы и улыбки, слова или молчание ее во время заключения их любопытного соглашения.

Если бы наши заметки не выходили и без того за границы допустимого объема, не преминули бы мы привести здесь отрывок полностью. Однако благоразумие обязывает нас ограни-

читься лишь частью, рисующей ее нрав. «Вслед за тем,— пишет Гонсалес Лобо,— уронила донья Антоньита платок и поглядела на меня, ожидая, чтобы я его поднял. Склонившись, увидел я на уровне своей головы смеющиеся глаза. Зяв протянутый платок, она сжала его в крошечных пальцах уже украшенной моим колечком руки; смех ее прозвучал переливом свирели, когда произнесла она слова благодарности. Но тут же глаза ее опустели, горящий взор потух, и огромный лоб стал холодным и жестким как камень».

Разумеется, перед нами новый образец авторской обстоятельности; но в то же время разве не слышатся здесь нотки оживления, которое в писателе столь бесстрастном представляется отражением той радости, что охватывает человека, когда, потерявшись в лабиринте, неожиданно видит он выход и приближается к нему, чувствуя, как уходит тревога? Страхи исчезли, и он даже медлит покидать то самое место, из которого только что не чаял выбраться.

С этой минуты пропадает привычная уже тяжеловесность, и рассказ, словно в такт сердцу автора, мерно убыстряет свой ход. Бремя утомительного путешествия давит писателя, и чудится, что в несчетных листах рукописи, вместивших все превратности его судьбы — со времени той давней мессы среди андских вершин и до настоящей минуты, когда готовится он предстать перед Его Католическим Величеством,— заключен опыт целой человеческой жизни.

И вот уже Индеец Гонсалес Лобо следует за карлицей доньей Антоньитой по дороге в Алькасар. Не отставая ни на шаг, проходит он за ней через дворики, калитки, порталы, караульные помещения, коридоры и приемные. Остались позади плац, где проводил учения кавалерийский эскадрон, изящная мраморная лестница, широкая галерея, открывавшаяся справа на внутренний дворик, а слева украшенная картиной знаменитого сражения, которую не успел он рассмотреть, но от которой сохранился в памяти образ удачно расположенных в пространстве несметных рот пехотного полка, тесными изогнутыми цепями наступавших на высокую, запертую, обороняющуюся крепость. Открылись и вновь сомкнулись за ними дубовые створки огромных дверей на самом верху лестницы. Ковры скрадывали шум шагов, призывая к осмотрительности; зеркала упреждали их визит, посылая отражения вперед, в окутанные мраком пустынные помещения.

Рука доньи Антоньиты потянулась к ручке отполированной двери, слабые пальцы вцепились в блестящий металл и бесшумно его повернули. И тогда Гонсалес Лобо внезапно оказался перед королем.

«Его Величество,— пишет он,— восседал в громадном кресле, помещенном на возвышении, оперев ноги на скамеечку с табачного цвета шелковой подушечкой. Подле него лежала беленькая собачка». Подробно, от тощих, не достающих до пола ног и вплоть до прилизанных бесцветных волос, описывает короля Гонсалес Лобо, и нельзя не поразиться тому, как удалось ему в столь краткий срок рассмотреть все и сохранить в памяти. Мы узнаем, что кружева на груди короля намокли от безостановочно стекающей по губам слюны; что пряжки на его туфлях—из серебра, а одет он в костюм из черного бархата. «Нарядное платье Его Величества,—замечает Гонсалес Лобо,—распространяло сильный запах мочи; позже узнал я, что страдает он недержанием». С той же непосредственностью и невозмутимостью перечисляет автор на протяжении трех листов рукописи все, что сберегла его невероятная память об убранстве покоев, драгоценностях и отделке. Что же до самого визита, который, казалось, и должен был запомниться ему в первую очередь, то о нем приводит Гонсалес Лобо лишь следующие слова, коими, заметим попутно, и завершает свое пространное сочинение: «Увидав в дверях незнакомого человека, песик залаял, и Его Величество, казалось, несколько встревожился, но затем разглядел голову своей карлицы, выступившей вперед меня, и вновь обрел спокойное выражение. Приблизившись, донья Антоньита шепнула ему на ухо несколько слов. Его Величество явил мне свое благоволение и протянул для лобзания руку, но прежде, нежели успел я запечатлеть на ней поцелуй, завладела ею забавная обезьянка, резвившаяся неподалеку, и отвлекла Его Королевское внимание домогательством ласки. Усмотрев в том благовидный предлог, удалился я тогда в почтительном молчании».

Инквизитор

Какое празднество! Какое ликование! Сколько музыки и фейерверка! Раввин еврейского квартала, муж добродетельнейший и ученый, познав наконец свет истины, склонял для крещения голову пред святой водой, и весь город праздновал торжество!

В тот незабвенный день, возблагодарив Господа Спасителя Нашего, уже в лоне Его Церкви, лишь об одном—но, увы, до самых глубин души—сокрушался бывший раввин: жена его,

покойная Ребекка, не извела благодати, ниспосланной ныне ему, единородной дочери их Марте и остальным родственникам, окрещенным совместно одной церемонией при больших торжествах. В сей достолавный день то был терн в его венке, загашенная печаль, равно как и сомнительная (или более того — ужасающая!) участь его предков, просвещенной линии, почитаемой им в лице деда, отца, поколений людей набожных, ученых, достойных, но не сумевших по пришествии признать Спасителя и упорствовавших на протяжении веков в давнем и отвергнутом Законе.

Новообращенный вопрошал себя, за какие заслуги дарована его душе милость, в которой отказано было им, и каким предначертанием Провидения ныне, после без малого полутора тысяч лет неистовой, упорной, пагубной гордыни, предопределено было именно ему, здесь, в этом крошечном городке кастильского плоскогорья, ему одному из всего многочисленного рода и невзирая на примерное руководство над почитаемой синагогой, сделать этот вызывающий, но благодатный шаг, ведущий к спасению. Издавна, задолго еще до объявления об обращении, посвящал он многие, нескончаемые и несчетные, часы попыткам пайти в богословии разгадку подобного жребия. Но тщетно. Не раз отвергал он, упрекая себя в гордыне, единственное лестное объяснение, приходившее на ум; размышления лишь укрепили его в мысли о том, что подобная милость налагала на него обязанности и предъявляла ему требования, соответствующие ее исключительному значению, и должна была по крайней мере быть оправдана его деяниями *a posteriori*¹. Отчетливо понимая, что обязан Святой Церкви более, чем любой другой христианин, он пришел к выводу, что спасение должно стать плодом многотрудного служения вере, и решил — таким был счастливый и неожиданный итог раздумий — почитать свой долг исполненным не ранее, чем здесь же, в этом самом городе, знавшем его раввином, заслужит и добьется пастырского сана и станет, тем самым, изумлением очей и примером для душ.

Став священнослужителем, он отправился ко Двору, посетил Рим, и не прошло и восьми лет, как ученость, благоразумие и неустанный труд снискали ему митру и епархию, где у епископского престола предстояло ему служить Господу до конца своих дней. На избранном пути ожидали его суровые испытания, много жестче подчас, нежели представлялось, но не отступил он; можно даже утверждать, что и на мгновение не дрогнул. Об одном из таких испытаний рассказывает настоящее повествование. Мы

¹ Впоследствии, в дальнейшем (лат.).

встретимся с епископом в самый, вероятно, страшный день в его жизни. А вот и он сам, за работой, в предутренний уже час. Он почти не ужинал: едва притронулся к еде, не отрывая взгляда от бумаг, и, отодвинув прибор на край стола, подальше от чернильницы и документов, вновь погрузился в свое занятие. На конце стола, особняком, видны теперь коврига белого хлеба с тронутой сбоку корочкой, несколько слив на блюде, остатки холодного мяса — на другом, кувшинчик с вином, неоткрытая коробочка сладостей... Было поздно, и сеньор епископ отпустил слугу, секретаря, всех остальных и сам собрал себе легкий ужин. Он любил поступать именно так и зачастую засиживался далеко за полночь, никого не беспокоя. Тем более сегодня не вынес бы он чьего-нибудь присутствия: необходимо было без помех сосредоточиться на изучении процесса. Назавтра предстояло собраться под его председательством Трибуналу Инквизиции; там, внизу, ожидали правосудия несчастные, а ему несвойственно было уклоняться от своих обязанностей: всегда, в любом процессе, изучал он все до мелочей, каждую деталь, до самых незначительных, лично следил за разбором дела, допросами и показаниями, с тем чтобы составить себе твердое представление и принять в соответствии с ним непреклонное окончательное решение. Так и ныне все материалы были уже собраны, лежали перед ним, тщательно изложенные, лист к листу, с самого начала, от доноса на обращенного Антонио Мариа Лусеро и до черновиков приговора, который предстояло вынести назавтра целой группе уличенных в тайном исповедании иудейства. Имелся здесь документ, составленный при задержании Лусеро, захваченного спящим и взятого под стражу на глазах у смятенных, подавленных близких; записаны были слова, оброненные им в ту минуту испуга, слова, надо заметить, достаточно двусмысленные по значению. Далее шли показания, полученные за несколько месяцев допросов, подчас прерываемые при пытке жалобами, стонами, вскриками и мольбами, которые записывались с той же неизменной аккуратностью. На протяжении всего столь тщательно проведенного дознания, во время несчетных и жестоких допросов, Лусеро с раздражающим упорством отрицал свою вину; отрицал, даже когда в пытке выворачивали ему члены на станке. Проклиная, стеля или умолая, неизменно отвергал он свою вину, но епископ заметил (другой, быть может, и не обратил внимания; но как могло это укрыться от него?), что слова, вырывавшиеся у обвиняемого в минуту смущения духа, помрачения, боли и страха, содержали порой имя Божие в завываниях и угрозах, но ни единожды не зывали к Господу Нашему Иисусу Христу, к Деве или к Святым, которым такую преданность являл Лусеро

ранее при других обстоятельствах...

Теперь, листая показания, данные под пыткой — однажды, по многим соображениям, счел себя обязанным епископ лично присутствовать при этом, — припомнил он взгляд, который устремил на него снизу Антонио Мариа, подвешенный за щиколотки, касаясь головой пола. Отлично понял прелат значение того взгляда: было в нем напоминание о прошлом, намек на времена, когда оба они — подвергнутый пытке обвиняемый и его судья, епископ и председатель Церковного Трибунала, — были еще иудеями; взгляд будил в памяти далекий уже день, когда ювелир, в ту пору худой и улыбчивый парень, приблизился почтительно к своему раввину, дабы испросить у него руки Сары, младшей сестры тогда еще здравствовавшей Ребекки, и раввин, подумав, ничего не нашел против брака и лично отпраздновал свадьбу Лусеро со свояченицей Сарой. Именно это желали напомнить ему глаза, что сверкали в темноте подземелья у самого пола, заставляя его прятать взор; они ожидали помощи от давней дружбы и уз родства, ничего общего не имевших со следствием и процессом. И потому тот взгляд мог быть расценен как недостойное подмигивание соучастия, попытка подкупа и лишь свидетельствовал таким образом против самого подсудимого; ибо не притяжал ли он в прелате, столь неустанно бдившем чистоту учения, пробудить и растрогать ревнителя веры, от которой оба они отреклись?

Все эти люди, подумал епископ, отлично знали или догадывались, в чем могла быть его слабая сторона, и с хитроумным упорством не оставляли попыток приблизиться к нему. Разве не пытались они еще в самом начале — вот лучшее доказательство их нечистой совести, красноречивое проявление неверия в милосердное правосудие Церкви! — разве не пытались они смягчить его через посредничество Марты, единственной дочери, невинного создания, втянутого ими в игру?.. Даже по прошествии стольких месяцев вновь вызвала у него горестный жест мысль о том, что осмелились они воспользоваться самым сокровенным: простодушием младенческих лет. Заверенная в праведности поступка, предстала Марта перед своим отцом заступницей за Антонио Мариа Лусеро, только что схваченного тогда по подозрению. Ничего не стоило прелату установить, что поступила она так по наущению своей подруги детства и — тут его милость передернуло — двоюродной сестры по матери, Хуаниты Лусеро, несомненно подученной в свою очередь евреями — родственниками отца, обращенного Лусеро, подозреваемого ныне в исповедании иудейства. Стоя на коленях, заученными, очевидно, словами молила епископа дочь, и было то искушение

дьявольское, ибо не Христос ли сказал: *Кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня*?¹

С пером в застывшей руке, обратив близорукие глаза к стене, терявшейся в полумраке залы, испустил епископ из груди тяжелый вздох; никак не удавалось ему сосредоточиться на своем занятии, непокорная мысль вновь и вновь убегала к дочери, гордости его и надежде, хрупкому, молчаливому и порывистому созданию, что в этот час отдыхала в своей комнате, отрешившись от мира, погруженная в счастливое забвение сна, в то время как бодрствовал он, скрипом пера тревожа безмолвие ночи. То был, говорил себе епископ, последний побег древнейшего рода, чье достославное имя отверг он, дабы причаститься таинственного Тела Господня, и чьи ушедшие лики изгадятся без остатка, когда, в должный час, обвенчанная—коли суждено судьбою ей венчаться—с истым христианином, быть может, даже—почему б и нет?—дворянской крови, взрастит она в благоразумии и преданности, прилежании и благодушии новое потомство в стенах его старого дома... Унесясь воображением к столь желанной будущности, вновь ощутил епископ, как переполняет его стремление оградить дочь от пагубных знакомств и уберечь от козней; вспоминая попытку воспользоваться непорочностью ее души ради подсудимого Лусеро, чувствовал прелат, что гнев сжимает его горло, словно только вчера наблюдал он эту тягостную сцену. Коленопреклоненная у его ног, говорила девочка: «Отец, бедный Антонио Мариа ни в чем не виновен; я, отец (она! сама безгрешность), наверное знаю, что он хороший. Спаси его!» Спаси его. Словно не эту, в точности эту же цель—спасение заблудших—ставила себе Инквизиция... Схватив дочь за запястье, тотчас дознался епископ, каким образом замыслена и сплетена была интрига; приманкой, очевидно, послужила удрученная Хуанита Лусеро, и все родственники, вне сомнения, объединились, чтобы подготовить эту сцену, которая, подобно неожиданному повороту театрального действия, должна была, по их предположениям, перевернуть сознание священнослужителя подкупающим очарованием детских слез. Но ведь сказано в Писании: *Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя*². Предусмотрительно—и не в наказание, а скорее предосторожности ради—велел дочери запереться в комнате до последующих распоряжений, удалился епископ размышлять о значении и важности случившегося; не кто иной, как его собственная дочь, представ перед ним и поцеловав перстень

¹ Библия, Мтф., X, 37.

² Там же, V, 30.

и руку, молила за обвиняемого в иудействе; все более поражаясь, начал он понимать, что вопреки всем стараниям недоглядел за воспитанием Марты, коль скоро смогла она пойти на подобное безрассудство.

Положил тогда прелат уволить ее преподавателя и наставника в учении, того самого доктора Бартоломе Переса, выбранного им с такой заботливостью семь лет назад, который, как явствовало ныне, по меньшей мере проявил слабодушие, в свободное время потакая ученице в склонности к праздным беседам и допустив в ней расположенность предаваться им более при участии чувств, нежели рассудка.

Много дней потребовалось епископу на то, чтобы обдумать шесторонне и все же не отбросить свои сомнения. Быть может, тревожила мысль, занятый заботами епархии, недоглядел он и пустил беду в свой дом, и губительная отравка поразила его собственную плоть. Снова и снова со всей строгостью взвешивал прелат свои поступки. До конца ль исполнен им отцовский долг? Кдва лишь Господь явил ему Истину и открыл двери Церкви, принялся он искать для печального создания, потерявшего при рождении мать, не только няnek и служанок безупречной веры, но и наставника, которому смело можно было бы доверить ее христианское воспитание. Удалить дочь по возможности от не окрепших еще в вере родственников и поручить заботам лица, свободного от всяких подозрений в вопросах религии и поведения,— таково было его намерение. Для сей деликатной миссии разыскал, выбрал и пригласил бывший раввин человека ученого и простого, этого самого доктора богословия Бартоломе Переса, сына, внука и правнука хлебопашцев, который лишь собственными достоинствами сумел возвыситься над клочком земли, где гнули спину его предки, покинул село и, прославившись на ниве богословия, служил, скромный и смиренный, коадьютором в маленьком приходе, приносившем своим управителям более забот, нежели доходов. Надо сказать, ничто в нем так не устраивало просвещенного прелата, как эта простота, здравомыслие и открытая самоуверенность крестьянина, не утраченные им с рукоположением и составлявшие нерушимое ядро его жизнерадостной твердости. Прежде чем открыть ему свои намерения, трижды подолгу беседовал с ним епископ на темы богословия и нашел в нем образованность без бахвальства, рассудительность без лукавства и незамутненную мудрость, свободную от тревожных и суетности. Наиболее путанные вопросы звучали в устах доктора доступно и просто... А ласковые ясные глаза словно обещали воспитаннице приветливое обращение и душевную нежность, хорошо известные всем ребятишкам его бедного

прихода. Итак, принял доктор Перес предложение просвещенного прелата и, лишь только был подыскан ими старому проповеднику новый способный коадьютор, переселился в дом, где с полным правом ожидал получить возможность совершенствоваться в учении, не зная более денежных затруднений. Действительно, лишь только был пожалован его попечителю сан епископа, тот выхлопотал ему своим влиянием доходную должность каноника. Между тем духовное воспитание девочки под умелым руководством наставника заслуживало всяческих похвал. Но теперь... в чем же искать объяснение случившемуся? — вопрошал себя епископ; какой просвет, какая трещина обнажалась ныне в столь оберегаемом, законченном и совершенном творении? Не таилось ли зло именно в том, задавался вопросом прелат, что счел он — быть может, по ошибке и опрометчиво — главным преимуществом избранника: в простодушии и самонадеянности исконного христианина, дремлющего под защитой унаследованной веры? И лишь укрепило его в этом подозрении то спокойное, безмятежное и даже, пожалуй, одобрительное выражение, с которым воспринял доктор Перес сообщение о случившемся, когда вызвал его епископ, чтобы бросить ему в лицо упрек. Облаченный в непроницаемый покров власти, он потребовал воспитателя к себе и сказал: «Узнайте же, что произошло, доктор Перес: всего лишь несколько минут назад Марта, моя дочь...» И кратко описал всю сцену. Доктор Бартоломе Перес внимал ему вначале озабоченно нахмурившись, потом — со спокойным выражением лица и даже с намеком на улыбку. Дослушав, промолвил: «Это, сеньор, проявление благородной души»; таким было его единственное замечание. Сперва ошеломленно, затем гневно и сурово глянули на него из-за толстых стекол близоручие глаза епископа. Но тот даже не переменялся в лице; вместо того, являя верх бесстыдства, он произнес, осмелился спросить: «И вы, ваше преосвященство, не думаете прислушаться к голосу невинности?» Так был потрясен прелат, что счел за лучшее не отвечать ему немедленно. Он был возмущен, более того — подавлен изумлением. Что могло значить все это? Возможна ль была подобная недалёковидность? Или даже в епископские покои — это было б чересчур уж дерзко! — до подножия его престола доставали... хотя, коли решились они воспользоваться его дочерью, разве не могли прибегнуть и к священнослужителю, к исконному христианину?.. Отчужденно, словно видя в первый раз, всматривался прелат в стоявшего перед ним светловолосого крестьянина, невозмутимого и безучастного, непоколебимого (и неотесанного, — не удержался от мысли епископ), как скала, доктора богословия и священнослужителя, оказавшегося обычным мужланом, успокоенным в вере и при

всей своей учености таким же недалеким, как осел. Но затем он почувствовал себя обязанным проявить сострадание; подобная нерадивость и беспечность среди подстерегавших опасностей заслуживали, скорее, сожаления и участия. Когда б судьба религии зависела от этих людей, подумалось ему, не устоять бы ей: даже перед лицом со всех сторон грозящих вере врагов безучастными оставались они... Отдав доктору несколько не относящихся к делу распоряжений, отпустил его епископ и вновь остался наедине со своими мыслями. Гнев отступил, дав место хладнокровному раздумью. Совершенно очевидным представлялось ему теперь то, что издавна готов он был подозревать: беспечные в своей гордыне, исконные христиане были плохими стражами Храма Господня; излишняя доверчивость грозила им гибелью. То была извечная история, непрестанно подтверждающаяся притча. Непростительно легковверные, не видели и видеть не могли они грозящую опасность, хитроумные ловушки и тайные происки врага. То были либо привязанное к земле мужичье, дикари, почти язычники, невежественные, с убогими представлениями о божественном, магометане под Магометом и христиане под Христом, в зависимости от того, куда подует ветер; либо знать, сеньоры, занятые своими гибельными распрями, порочные в своем сговоре с бранным миром и такие же безбожники. Нет, не случайно именно его — и дай бог, чтоб другие епархии управлялись не хуже! — привело Провидение на пост стража и предводителя веры, ибо как может не ведающий опасности противостоять тайному и коварному удару, проискам, глухому заговору в стенах самой осажденной крепости? Предостережением вновь и вновь вставало в памяти епископа воспоминание о давней домашней истории, тысячу раз слышанной в детские годы в сопровождении неизменного хохота старших; то был рассказ о его двоюродном деде, своенравном и сумасбродном юнце, который в мавританской Альмерии перешел, не веруя, в магометанство и стал благодаря учености и ловкости муэдзином мечети у неверных. И каждый раз, когда с высоты минарета видел он проходящим по площади кого-нибудь из проклинавших его отступничество родственников или знакомых, возвышал он голос и, читая нараспев ритуальное мусульманское речение: «Нет бога, кроме Аллаха», вставлял меж арабскими словами ряд еврейских ругательств против лжепророка Магомета, давая тем самым понять евреям, каким было его, нечестивца, истинное вероисповедание, и насмехаясь над усердно кладущими поклоны беспечными и благочестивыми маврами... И таким же образом множество лжеобращенных глумились ныне в Кастилии и по всей Испании над неосмотрительными христианами, чью непо-

стижимую доверчивость можно было объяснить лишь слабостью веры, унаследованной детьми от отцов, в которой они неизменно жили и торжествовали, черпая защиту и поддержку от обид своих врагов в лице высшего правосудия Господня. Но теперь Бог—да, сам Бог!—избрал его орудием своего правосудия на земле, его, знавшего вражеский стан и способного распознать лазутчиков, его, который не даст провести себя уловками, коими дурачат этих маловерных, дошедших в своем небрежении до того, что стали переглядываться (именно так! — не раз он ловил их на этом, понял, разоблачил) с недоумением — полным, несомненно, уважения, восхищения и признания, но так или иначе недоумением — при виде той непреклонной суровости, что проявлял их епископ на поприще защиты Церкви. А сам доктор Перес разве не высказывался неоднократно с уклончивостью об очистительном рвении своего пастыря? Однако, если Спаситель пришел, вочеловечился и, принеся себя в жертву, на своей крови воздвиг Церковь, возможно ли было мириться с существованием и распространением порока, словно бы жертва эта оказалась тщетной?

Для начала положил он освободить доктора Переса от исполняемых им обязанностей: не мог подобный вероучитель дать хрупкому созданию твердость духа, соразмерную вере воинствующей, осажденной, бдящей; и, решив, не стал откладывать исполнения на другой день. Но даже сегодня тягостно было ему вспоминать ясный взгляд доктора при их разговоре. Тот не потребовал разъяснений, не показал смущения или обиды; отстранение от должности произошло на удивление просто и было посему вдвойне неприятным. Наставник лишь поглядел на епископа своими синими глазами с любопытством и, пожалуй, с иронией, подчиняясь безропотно решению, освобождавшему его ныне от столько лет исполняемых обязанностей и лишавшему, очевидно, доверия прелата. Поразительная покорность, с которою воспринял доктор сообщение, убедила епископа в правильности принятого решения, каковое, может, и рад бы он был отменить; ибо, оказавшись неспособным защищаться, спорить, оправдываться и возражать, доказывал воспитатель тем самым отсутствие в нем рвения, необходимого для укрепления кого-либо в вере. А слезы, пролитые девочкой при известии об отставке доктора, были проявлением в ее душе нежной человеческой привязанности, но никак не солидной религиозной зрелости, обязывающей к большему отдалению от повседневности.

Неоценимым предостережением явился для епископа этот случай. Он перестроил уклад жизни в доме, с тем чтобы дочь

вступила в отрочество, на пороге которого уже стояла, верным шагом, а сам повел дальше процесс против своего зятя Лусеро, не поддаваясь каким бы то ни было милосердным соображениям. Последующее расследование обнаружило новых соучастников, они попали под следствие, и с каждым новым шагом вскрывалось, сколь глубоко проникла порча, первой жертвою которой стал Антонио Мариа. Процесс разросся до необычайных размеров; кипы бумаг загромождали теперь стол епископа, порознь лежали перед ним основные документы; он проглядывал их, выписывал кратко важнейшие положения и думал непрестанно над решениями, которые должен был назавтра вынести Трибунал. Тяжкие то были решения, особенно приговор подсудимым. Но, несмотря на исключительную его суровость, совсем не это мучило епископа; вот уже несколько месяцев, как преступление вероотступников было установлено, доказано, определена доля вины каждого, и в душе своей все—подсудимые и судьи—свыклись уже с мыслью о беспощадном приговоре, который ныне оставалось лишь доработать да должным образом оформить. Куда тяжелее было отдать приказ о назначении следствия по делу доктора Бартоломе Переса, задержанного накануне на основании свидетельского показания и помещенного в застенки Инквизиции. Потому что во время заключительного, чисто формального допроса один из несчастных приписал доктору Пересу достаточно подозрительные суждения, выявлявшие по меньшей мере тот тревожный факт, что исконный христианин и служитель Божий имел сношения, беседы и, не исключено, состоял в стоворе с группой веропреступников— и это не только после оставления службы в доме прелата, но даже и ранее. Епископ в свою очередь не мог позабыть его странного поведения в день, когда рассказал он доктору о заступничестве маленькой Марты за своего дядю Лусеро; ведь наставник в тот раз почти поддержал просьбу девочки. В свете последних сведений подобное поведение получало совершенно иной смысл. Ввиду этого не мог епископ, не смог бы, не пойдя против совести, воздержаться от досконального, как того требовал процесс, расследования. Бог свидетель, сколь противной была ему мысль об аресте Лусеро: проклятое дело, казалось, липло к рукам, засасывало, грозило все запятнать и уже вызывало у него отвращение. С какой охотой избежал бы он нового следствия! Но разве можно было с чистой совестью пройти мимо фактов, прямо указывавших на доктора Переса? Нет, с чистой совестью было бы невозможно, даже зная, как знал он, что удар этот ранит рикошетом его собственную дочь... Три года прошло со злополучного дня отставки; за это время девочка стала женщиной, но с тех пор в разговоре с отцом была всегда

Марта сдержанной, робкой, сникшей даже или, как казалось ему, подавленной почтением. Она скрыла свои слезы, не расспрашивала и не искала, насколько было ему известно, никаких объяснений. И потому епископ хотя и пытался препятствовать, но не посмел окончательно запретить ей иметь и далее своим духовником доктора Переса. Не располагая достаточными основаниями для того, чтобы противиться ей открыто, он предпочел просто чинить препоны,—оплакивал ныне прелат тогдашнюю свою слабость... Так или иначе, но вред уже был причинен. Какое впечатление произведет на несчастное, невинное и великодушное создание неминуемая весть о том, что ее духовник, ее наставник схвачен по подозрениям, касающимся чистоты веры? А с другой стороны, это может бросить тень, опорочить и ту, что была ученицей, да и самого епископа, назначившего доктора воспитателем дочери... *Грехи отцов...* подумал он, отирая со лба пот.

Волна сострадания и нежности к девочке, выросшей без матери, одинокой в пустынном доме, огражденной от сверстников из простонародья и воспитанной под сенью власти чересчур взыскательной, захлестнула грудь сановника. Отстранив от себя бумаги, он положил перо на конторку, встал, отодвинув назад кресло, обогнул стол, неспешным шагом вышел из кабинета, вслепую, почти на ощупь пересек одно за другим два следующих помещения и наконец легким движением приоткрыл дверь спальни, в которой отдыхала Марта. Медленное, размеренное, слышалось в глубине алькова ее дыхание. Погруженная в сон, казалась она в трепещущем свете лампадки не подростком, а вполне сложившейся женщиной; лежащая на груди рука вздымалась и опускалась с дыханием. Она покоилась, укрытая полумраком; все вокруг было недвижно. Долго не отводил от нее взгляда епископ; затем тихо вернулся в кабинет и вновь устроился за столом, чтобы исполнить с прискорбием веление своей совести. Всю ночь проработал прелат. И когда задремал он, обессиленный, почти уже на рассвете, бывшее смятение духа, внутренняя борьба, насилие, совершенное над собой, породили сумрачные видения в его сне. Ранним утром, войдя, как обычно, в кабинет, увидела Марта, как вскинулась стремительно убеленная сединами голова, тяжело лежавшая на скрещенных руках; раскрылись за очками полные ужаса близорукие глаза. Намеревавшаяся было удалиться, замерла девушка, словно пригвожденная к месту.

Но и прелата охватило смущение; он снял очки и принялся рукавом протирать стекла, щуря подслеповатые глаза. Сохраненное памятью, отчетливо вставало перед ним пережитое видение; ему являлась Марта, но это был кошмар, тревожащий дух, рождавший в нем смутное беспокойство. Во сне видел епископ

себя вознесенным на вершину минарета какой-то мечети, читающим нараспев нескончаемую, повторяющуюся и неуловимо глумливую молитву, смысл которой ускользал от него самого. (Как мог быть связан этот сон с пресловутой историей его родственника, двуличного муэдзина? — спрашивал себя прелат. Неужели и он в свою очередь такой же двуличный муэдзин?) Безостановочно выкрикивал он фразы бессмысленной молитвы, когда от подножия башни донесся вдруг до него далекий, слабый, но совершенно внятный голос Марты; едва слышные, отчетливо долетали слова: «Заслуги твои спасли наш народ, отец. Один, ты принес искупление всему нашему роду». На этом месте открыл спящий глаза, и перед ним, против стола, глядя на него чистым взором, стояла Марта, в то время как он, застигнутый врасплох, приходил в себя и устраивался в кресле... Овладев собой, перестал прелат тереть стекла, привел в порядок разбросанные по столу бумаги и, проведя в заключение рукой по лицу, заговорил с дочерью.

— Подойди, Марта, — произнес он бесстрастным голосом, — подойди сюда и ответь мне: если б сказали тебе, что заслуги добродетельного христианина могут обратиться и на его предков и спасти их, каким было бы твое суждение?

Девушка изумленно посмотрела на него. Не впервые, конечно, предлагал ей отец вопросы по учению — с особенным вниманием присматривал всегда епископ за религиозным воспитанием дочери. Но к чему задавал он этот неожиданный вопрос сейчас, едва проснувшись? Она бросила на него недоверчивый взгляд, задумалась на мгновение и ответила:

— Молитвы и благодеяния могут, я думаю, помочь душам в чистилище, сеньор.

— Это так, — подтвердил епископ, — так, но... помогут ли они осужденным?

Девушка качнула головой:

— Как знать, кто осужден, отец?

Всеми пятью чувствами ожидал богослов ее ответа и остался доволен им. Согласно кивнув, он движением руки отпустил дочь. Она заколебалась, потом все-таки вышла из комнаты.

Но тревога так и не покинула епископа; оставшись один, принявшись опять перелистывать бумаги, пытался он и не мог никак избавиться от остатков беспокойства. А когда среди документов наткнулся прелат снова на показания, данные под пыткой Антонио Мариа Лусеро, припомнился ему другой сон, что видел он незадолго перед тем, сраженный усталостью, откинув голову на жесткую спинку кресла. Украдкой, в ночной тишине, спускался епископ во сне в застенки, где ждал правосу-

дия Лусеро, чтобы убедить того в виновности и уговорить примириться с Церковью и молить о прощении. Осторожно старался он открыть дверь в подземелье, когда неожиданно набросились на него палачи и, безмолвно, бесшумно, поволокли на руках к месту пыток. Не произнесено было ни слова; но, хотя никто этого не говорил, совершенно ясно стало ему, что его приняли за подсудимого Лусеро и собираются подвергнуть новому допросу. Сколь смутны и нелепы бывают порою сны! Он сопротивлялся, боролся, чтоб освободиться, но все усилия в железных руках палачей оказывались, увы, смехотворными и тщетными, как потуги ребенка. Вначале представлялось ему, что досадная ошибка выяснится без труда, стоит лишь заговорить, но, обратившись к ним, увидел, что слова оставляли они без внимания, даже не слушали, и пренебрежительное это отношение лишило его неожиданно уверенности в себе; и тогда он почувствовал себя нелепым, предельно смешным и — что было страннее всего — виновным. Виновным в чем? Этого он не знал, но считал уже невозможным избежать пытки и почти смирился в душе. И только мысль о том, что Антонио Мариа мог видеть его в этом положении, подвешенным, как курица, за ноги, становилась совершенно невыносимой. Потому что он уже висел вниз головой и Антонио Мариа смотрел на него; но смотрел как на незнакомца, с притворной рассеянностью, а между тем никто вокруг и внимания не обращал на его протесты. Только Лусеро, настоящий преступник, затерявшийся, скрывшийся среди неразличимых чиновников Святого Трибунала, знал об ошибке, но изображал неведение и глядел на все с деланным безразличием. Ни угрозы, ни обещания, ни мольбы не могли сломить его лицемерного равнодушия. Некому было прийти на помощь епископу, и только Марта, необъяснимым образом являвшаяся тут же, время от времени утирала ему с предупредительной мягкостью пот с лица...

Епископ промокнул платком выступившую на лбу испарину; потом позвенел стоявшим на столе медным колокольчиком и спросил у вошедшего слуги стакан воды. Дождавшись, он выпил воду одним большим и жадным глотком, затем снова прилежно склонился над бумагами, освещенными теперь, хвала Господу, ярким лучом солнца, и сидел так до тех пор, пока, немного погодя, не прибыл Секретарь церковного суда.

Уже близился полуденный час, а его милость все еще диктовал Секретарю окончательный текст приговора, когда, к изумлению обоих, распахнулись вдруг двери и, стремительно, с пылающим лицом, вбежала в залу Марта. Она ворвалась как вихрь, но посреди кабинета остановилась и, вперив в отца сверкающий

взор, пренебрегая присутствием подчиненного и презрев околичности, выкрикнула почти, необузданная в своем нетерпении:

— Что случилось с доктором Пересом? — и замерла в ожидании, храня напряженное молчание.

Мгновение епископ безмолвствовал, лишь глаза его моргали за стеклами очков. Он не находил в себе должного отклика на эти слова, отклика, которого сам от себя ожидал; и Секретарь, пораженный, ушам своим не поверил, услышав нерешительный, запинаящийся ответ прелата:

— Что это значит, дочь моя? Успокойся. Что с тобой? Доктор Перес будет... должен дать показания. Мы все надеемся, что не возникнет оснований... Однако,—овладев собой, добавил он тоном пока еще доброжелательной строгости,—что означает это, Марта?

— Он схвачен и заточен. За что он схвачен? — настаивала она взволнованным и дрожащим голосом.—Я хочу знать, что происходит.

На мгновение заколебался епископ при неслыханной этой дерзости, но потом, послав Секретарю вялую извинительную улыбку, словно ища у него понимания, пустился в долгое путаное объяснение о необходимости исполнять определенные формальности, которые, конечно, причиняют порой неоправданное беспокойство, но, безусловно, неизбежны ввиду высочайшего предначертания—блюсти неусыпно чистоту веры и учения Господа Нашего Иисуса Христа... Нескончаемо тянулся этот сумбурный и временами бессвязный монолог, и нетрудно было заметить, что слова текут иной, нежели мысли, дорогой. Пока говорил прелат, горящий взор Марты устремился на плиты пола, затерялся затем в лепных украшениях залы и наконец вновь напрягся, дрожащий, как шпага, когда тоном, отвергающим привычную нерешительность и сдержанность в выражениях, девушка прервала епископа.

— Я страшусь подумать,—произнесла она,—что случись моему отцу быть на месте Каифы, то и он не узнал бы Спасителя.

— Что хочешь сказать ты этим? — встревоженно вскричал епископ.

— *Не судите, да не судимы будете*¹.

— Что хочешь сказать ты этим? — повторил он в смятении.

— Судить, судить, судить.—Голос Марты звучал теперь раздраженно, но был при том невыразимо грустным, подавленным и почти неслышным.

¹ Библия, Мтф., VII, 1.

— Что хочешь сказать ты этим? — в вопросе уже слышались угроза и гнев.

— Я спрашиваю себя, — ответила она медленно, опустив глаза, — как можно быть уверенным, что второе пришествие не произойдет столь же тайно, как первое.

На этот раз не выдержал Секретарь.

— Второе пришествие? — пробормотал он, словно про себя, и замотал головой.

Епископ, побледневший при словах дочери, бросил на него беспокойный, полный тревоги взгляд. Тот продолжал качать головой.

— Замолчи, — приказал прелат с высоты своего кресла, но, восставшая, неистовая:

— Как знать, — вскричала она, — не находится ли среди тех, кого изо дня в день хватаете вы, пытаете и осуждаете, Сын Божий?

— Сын Божий! — снова изумился Секретарь. Он казался возмущенным и выжидательно смотрел на епископа.

Тот, объятый ужасом, только и смог спросить:

— Понимаешь ли ты, дочь моя, что говоришь?

— Понимаю. Хорошо понимаю. Можешь, если угодно, отправить меня под стражу.

— Ты безумна, иди.

— Меня, свою дочь, ты не станешь судить? Самого Спасителя ты б заживо отправил на костер!

Епископ склонил влажный от испарины лоб; губы его дрогнули в мольбе: «Поддержи меня, Отец Авраам!»; затем он подал Секретарю знак. Тот понял, другого он и не ждал. Достав чистый лист бумаги, Секретарь обмакнул перо в чернильницу; и долго еще слышен был только скрип его по шероховатой бумаге, в то время как смертельно бледный епископ сидел, уставившись на свои ногти.

Объятие

«Земля железа и соли, ярая, жадная, жесткая, бурая земля; цветы розмарина, желтые цветы режиссы, зеленая горечь сосен; кони, козы, волы, грязные овцы, пастухи с недобрым взором; скалистые обрывы, колючие кусты, кровь, пыль, глина — земля моя, прощай!» Так прощались с родными краями глаза Хуана Альфонсо, так беззвучно шептали губы. Он остановился у речки,

дал передохнуть скакуну; вода, срываясь с кручи, громыхала по узкому руслу так же громко, как билось его сердце. От полуночи до рассвета он неся во весь опор, и белая борода отлетала назад, за плечо. Когда господин его, дон Педро¹, упал мертвым, он едва заметил, как из ослабевшей руки выскользнул, сверкая, кинжал. Мгновенно покинув замок, он вскочил на коня, проскакал мимо воинских шатров и понесся, не разбирая пути, через толедские земли. Он видел, как упал король, и спешил уйти от людей Бастарда² прежде, чем новость достигнет пределов королевства. Его страшила трусость малодушных, которые, несомненно, попытаются как можно скорее искупить былые колебания свидетельством своей верности. Что же лучше, думал он, что приятней новому владыке, чем связанный, плененный рыцарь, который двадцать лет кряду был мудрым советником его брата, павшего ныне в борьбе?

Старик еще раз окинул взором равнодушную землю и, медленно, осторожно перейдя реку вброд, оказался в дубовой роще, где мог немного отдохнуть. Только там, опершись спиной о ствол, он оплакал дону Педро. Братоубийственное объятие в зале замка, повергшее в оцепенение свиту обоих королей, предвещало и его гибель; и теперь, плача по господину, он плакал о самом себе.

Двадцать лет, целых двадцать лет шла борьба! Начало страшного царствования он помнил лучше, чем смуту вчерашнего конца. Двадцать лет!.. Могучий король скончался в расцвете сил—чума взяла приступом крепость его тела, когда непобедимый повелитель Кастилии осаждал Гибралтар, и Хуан Альфонсо, наставник королевского сына, распоряжавшийся всем, пока господин его лежал в горячке, перевез прах в Севилью. Ужас назойливым слепнем кружил над его душою, когда он отдавал приказания, снимая осаду, и позже, в те печальные дни, когда свита ехала через Андалусию под горестное, непрестанное стрекотание цикад. От лагеря под Гибралтаром до самой Севильи дон Хуан Альфонсо думал о том, что будет дальше, и говорил молодому королю, какие беды предощущает его опечаленное сердце. За гробом, прикрытым королевским стягом, шел конь покойного, а за ним следовал дон Педро, внимая советам наставника.

— Господин мой и ученик,—говорил славный рыцарь,—ты

¹ Педро Жестокий (1334—1369)—король Кастилии с 1350 по 1369 год, сын короля Альфонса XI (1311—1350).

² Бастард (т. е. «незаконный сын»)—прозвище Энрике де Трестамара (1333—1379), одного из незаконных сыновей Альфонса XI. С 1369 по 1379 год был королем Кастилии и звался Энрике II.

еще недолго живешь на свете, но уже познал ратный труд. Однако труд этот ничто по сравнению с тем, который тебе предстоит. Короля почтенных лет могут обидеть, если он проявит слабость, больше никогда. Юный король должен убедить других в своей силе, особенно тогда, когда враги его сильны и связаны с ним родством.

— Ты говоришь о моих незаконных братьях? — спросил дон Педро. — Я покажу им, что я король.

— Лучше покажи, что ты им брат, — серьезно сказал рыцарь. — Когда отец твой препоручал мне тебя, слова его...

— Разве я не король? — перебил наставника юноша.

— Ты король, но сердце твое знает страсти, пойми же и страсть своего отца.

— Я укрошу свое сердце, обещаю тебе!

— Силы в тебе много, сын мой, но молодость не в ладу с разумом. Учись ему у великого владыки, которого мы хороним.

— Разумно ли наводнить королевство своими ублюдками, которые ненавидели младшего брата еще с той поры, когда он не покинул материнской утробы?

— А ты, дон Педро, всосал с молоком матери ненависть к сыновьям доньи Леонор¹. Бедный ты, бедный! Страсть не должна быть госпожою слов и поступков.

— Нет, скажи мне, почему ты повел речь о разуме? Разве отец поступал разумно? Скажи, я хочу это знать, и да простит меня бог!

Довольно долго они ехали молча, и головы их клонились скорее под тяжестью мыслей, чем под палящими лучами солнца, поднимавшегося все выше. Наконец наставник заговорил снова:

— Быть может, я слишком дерзок, давая советы тому, кто стал моим королем, и все же, Педро, я должен повиноваться тому, кто уже умер. Уста мои воскресят слово, угасшее вместе с ним. Молю, послушай меня, как его! Я повторю беседу, которую наш добрый король вел со мною, пока не вручил свою душу небесам. Слушай же благоговейно, чтобы беседа эта запечатлелась в твоём сердце, как запечатлелась в моем!

Юноша не отвечал, и рыцарь, помолчав, продолжил:

— Знай, что, ощутив приближение смерти, сеньор наш король позвал меня и поручил мне вести тебя, пока ты молод. Нелегко было сдержать слезы, видя, что он жалеет не о жизни, а лишь о том, как беспомощен ты без него и какие тебя ждут опасности. Пойми, опасности эти он видел в твоём сердце, а не в чужой вражде. Если бы проклятый мор не оборвал его жизни в

¹ Леонор де Гусман (12?—1351)—возлюбленная короля Альфонса XI.

самом расцвете и он дожил до старости, корона увенчала бы твое чело, когда ратные подвиги упрочили твою славу, а мирные заботы укрепили разум. Чем могли бы тебя испугать сыновья доньи Леонор? Получив от отца и почести, и богатства, они стали бы самыми лучшими и самыми сильными вассалами умиротворенного владыки. Быть может, матери ваши скончались бы к той поре, а с ними кончилась бы их взаимная досада. Но бог решил иначе, и отец твой завещал мне оставаться с тобою, помогая тебе советом, ибо я многому научился за годы, проведенные рядом с моим почившим королем.

— Что же велит мне твоими устами мой усопший отец?

— Он советует тебе, дон Педро, никак и ничем не вредить донье Леонор и оставить ей все, что он ей даровал. Если подумать, совет этот достоин не только славного рыцаря, но и мудрого политика. Время развеет злобу, которой исполнена теперь эта дама, и она оставит тебя в покое или по меньшей мере оставит недобрые умыслы, которые привели бы к мятежу. Ты знаешь сам, что помощи ей искать не надо, ибо она может положиться хотя бы на собственных сыновей.

— Тот, кто зачал их, должно быть, их знал. Умирая, он боялся, что они мне изменят.... Что же еще? Говори, мой наставник!

— Король сказал мне о твоих братьях—да упокоит бог его душу!—король сказал мне: «Они велики духом, но они и горды. Не любовь примирит их с доном Педро, а только рыцарская честь. Хуан Альфонсо, старый мой друг, соратник, постарайся сделать так—и тут он с мольбою сжал мне руку,—постарайся, чтобы королевство вершило великие дела, подобно походу против неверных, который мы сейчас ведем, и чтобы сын мой обращался за помощью к братьям, ибо просить во имя божье пристойно славному рыцарю. Сражаясь бок о бок, разделяя опасность и славу, они станут братьями по сердцу, а не только по крови». И это не все. Еще он сказал, что ты младше их годами и старше величием, а потому тебе подобает проявить добрую волю. Он сказал, что в смутное, неверное время, которым начинается всякое царствование, такой шаг принес бы много добра. Он сказал, что прежде всего ты должен сдружиться с милосердным доном Фадрике, через него же завоевать дружбу других братьев, жестоких и гордых,—дона Энрике, чью душу непрестанно искушает жажда славы; доня Тельо, терзаемого злобой. Ведь дон Фадрике не укрощает лукавством добрые порывы и не поддается приступам гнева; он любит петь, пирует с друзьями, всегда открыт любезной беседой...

— Слова отца моего, короля, разумны и добры,—отвечал

погода немного дон Педро.—Я последую его и твоему совету, сеньор дон Хуан Альфонсо.

— Дай-то бог! — воскликнул его наставник.

Похоронное шествие еще не достигло половины пути, когда весть о кончине короля достигла дворца в Севилье, где жила королева. Пока наставник увещевал наследника у гроба его отца, овдовевшая донья Мария, лишенная добрых советов, велела казнить донью Леонор де Гусман. Мсть сопернице была для нее важнее, чем похороны мужа. Созвав верных людей, она гневно приказала немедленно отбыть в Медина-Сидония и доставить ей оттуда голову доньи Леонор. Высунувшись из окна, она кричала, торопя их: «Скорее, скорее! Скачите во весь опор! Я состарилась, дожидаясь этого часа, и больше не могу терпеть ни одного дня. Будь она проклята! Она отнимала у меня жизнь по кускам, отнимите же у нее жизнь единым махом! Голова ее будет здесь к воскресенью».

Голос ее походил на вой волчицы. Когда посланцы миновали ворота, королева пошла к себе; глаза ее были сухими и ярко блестели. Севилью оглашал колокольный звон, но донья Мария думала не об умершем муже, а о той, которая родила ему столько сыновей и богателя и укреплялась с каждым сыном, тогда как сама она, в тоске и печали, воспитывала дона Педро и хранила очаг, где не было хозяина. «Почему,—думала она,—должна я плакать о его смерти, если он не был моим при жизни? Я... да, я жила для него, а он жил для другой. Она похитила у меня жизнь, за это не расплатишься одним ударом...» И королева перебирала в памяти годы тщетных ожиданий, подозрений, тягостных раздумий, когда она все больше привязывалась к мужу, а он становился все холоднее, все отдаленней, все суше. В повадках его и словах ей чудилось отражение повадок и слов той, другой, слухи о которой так терзали ее. Двадцать восемь лет прошло с единственного часа, когда они встретились с доньей Леонор, однако она не могла забыть натянутой, но счастливой улыбки, цвета токи, парчового плаща, черной ленты у шеи и того, как высока была соперница, даже склонившись перед ней, низкорослой... Теперь, дожидаясь выполнения своей страшной воли, она вспоминала ту давнюю встречу все четче и подробней, и это распаляло ее гнев. Она заснуть не могла, пока посланцы не вручили ей кровавую добычу.

Донья Мария отпустила придворных и осталась одна, держа на коленях ужасный, невысказанный тяжелый сверток. Наконец она развязала платок, встала, подняла к самому лицу мертвое лицо соперницы и стала жадно глядеть на перекошенный рот и на седые пряди, слипшиеся от крови... Не выпуская из рук малень-

кую, жалкую голову, королева наконец разрыдалась от усталости. И тут колокольный звон оповестил о том, что прибыло шествие, сопровождавшее прах ее супруга. Она совлала с собой; положила на столик свой трофей; ополоснула лицо холодной водой и позвонила в серебряный колокольчик, чтобы отдать необходимые приказания.

Через одни ворота входило в Севилью тело короля, через другие — весть о том, что его незаконные дети не хотят покидать своих замков. Когда — уже в соборе, во время мессы, — дон Хуан Альфонсо узнал об этом, он ощутил всем своим измученным сердцем, что сбывается предчувствие, не покидавшее его в пути, и — сквозь завесу ладана, под торжественные песнопенья — увидел неотвратимый, страшный конец нового царствования.

Однако этот конец приближался долго и тягостно; судьба являлась в разных обликах, всегда бессмысленно жестоких, причем жестокость порождали не только гнев и ярость, но и, как то ни странно, самые добрые намерения. Могли ли победить такую судьбу ясность разума, осторожность, государственная мудрость? Могла ли хоть чем-то помочь добрая воля старого наставника, который упорно пытался рассеять в роде Гусманов ужас, порожденный местью неразумной королевы? Что дали долгие переговоры, объяснения, посулы, дары? Зачем трудились лучшие мужи королевства? Если все это приносило добрый плод, его немедля же отравляла игра злого случая. К примеру, дон Фадрике через месяц-другой пошел навстречу смерти тем самым путем, который должен был привести его к примирению с младшим братом. Дело было так: поддавшись благим советам, дон Педро призвал его к себе, дабы вместе, как добрые друзья, покончить с давним спором о правах алькантарского магистра¹, и ждал во дворце, намереваясь прижать к сердцу брата, которого никогда не видел, прославленного своею милостивостью. Но в самый последний час король узнал о коварной измене: прежде чем ответить на приглашение, несчастный Фадрике совещался с другими сыновьями доньи Леонор, гневно сетуя на короля, ущемлявшего его полномочия. Тот, кто принес эту весть, заверял, что передает слово в слово сетования незаконного брата: «Какой же я магистр? Он постепенно отнял у меня все права. Я не могу даже войти ни в один из орденов замков без его разрешения, и крест на моей груди стал знаком позора».

¹ Алькантара — рыцарский орден (точнее, орден рыцарей-монахов), основанный в 1156 году для защиты тех земель, которые еще принадлежали испанцам, от нападения мавров.

Затухшие было распри начались сызнова. Дон Фадрике плакал от гнева и стыда, вспоминая, как, повинувшись королю, рыцари Алькантары отказали ему в повиновении. «Я молил, грозил — все втуне! — восклицал он. — Пришлось мне уйти ни с чем». «Откуда я знаю, — сказал он наконец, — зачем меня зовут в Алькасар¹. Должен ли я туда ехать?» Братья долго совещались и решили, должно быть: дон Фадрике притворится готовым к примирению, а получив от короля все, что только можно, употребит свои новые права во вред его власти. Такую весть принесли во дворец, и она достигла королевских покоев быстрее, чем сам магистр. Когда же тот прибыл, благоволение короля уже сменилось яростью — ведь у его ворот стоял коварный лукавец!

Дон Педро поглядел в окно и увидел внизу магистра со свитой. Рыцари на белых конях с алыми лентами в гриве остались ждать во дворе, а дон Фадрике, спешившись, направился в королевские покои... Едва пройдя первый пролет лестницы, он услышал сверху, из-за балюстрады, грозный голос: «Смерть магистру Алькантары!» Улыбка застыла на его устах, он поднял голову, и его испуганный взор впервые встретился со взором брата. «Измена!» — охрипнув от страха, крикнул он, а ему вдогонку гремели крики короля: «Да, ублюдок! Измена за измену!» Со всех сторон, преграждая путь беглецу, бежали убийцы. Одни из них ждали его у первых ступеней, другие настигали с железными палицами в руках. Магистр Алькантары сделал отчаянный прыжок, обнажая кинжал, и, чудом проложив себе путь, понесся по галереям и переходам. Наконец, совсем загнанный, он укрылся в какой-то зале; кровь из рассеченной брови текла на рыжие кудри его бороды. Забившись в угол, прикрыв левой рукой голову без шлема, он поразил нескольких врагов и, размахивая кинжалом, снова побежал куда-то. Но силы оставили его; он упал, и последний удар разможил ему череп.

Случилось все это так быстро и беззвучно, что поджидавшая внизу свита ничего не заметила. «Все по местам!» — вскричал король и, подойдя к мертвому телу, долго в удивлении смотрел на него. Над разбитым виском, слипшиеся от крови и пота, золотились кудри, похожие на те, что вились и за его ухом; перекошенный, окровавленный рот точно так же, как у него самого, походил на чувственный рот короля Альфонса. А вот рука — маленькая, тонкая, белая, — на которой сверкал драгоценный перстень и в чьих пальцах кинжал казался игрушкой, ничуть не напоминала коротких, широких, грубых рук младшего брата... Оторвав взор от разбитой головы, дон Педро вгляделся в

¹ Во времена событий, рассказанных здесь, — королевский дворец в Севилье.

непонятную, почти женскую кисть, символ измены. «Что ж, великий магистр дон Фадрике, ты и впрямь умер!» — проговорил он.

Так оборвалась последняя связь, братьям пришлось стать навеки врагами. О, если бы он сумел обуздать свой гнев, хотя бы скрыть его!.. Но пути назад уже не было. Подобно тому как вспыхивает огонь, лениво ставший у самой земли, вспыхнула ярость Кастилии, сжигая все. Прислонившись головой к стволу дуба, дон Хуан Альфонсо обвел усталым взглядом остающиеся им земли. Смежив отяжелевшие веки воспаленных глаз, он видел пожар страстей, столько лет опустошавших королевство, таким, каким тот нередко являлся ему, — горящие нивы, гибнущие злаки, спаленные селения, горький дым, черные раны на месте жнивья, спекшийся камень... Король мой дон Педро, теперь умер и ты! Старый наставник знал наперед, что кончится так, и все же пытался помешать. Как часто предостерегал он, приводил примеры, не спал ночами, терзался! Страдаешь, стараешься, бьешься — все впустую. Дон Хуан Альфонсо не сумел выполнить мольбы умирающего повелителя. При всей своей мудрости, учености, благой воле он сделал не больше, чем мог бы сделать из могилы тот, чьи дети разрывали страну в кровавые клочья. Жизнь своего питомца он не исправил, как не исправил ее сам дон Педро, убитый теперь доном Энрике, и вот, убегая в изгнание, воскресшал неизвестно зачем тени былого.

«Кто укротит, — думал старик, — бешеного зверя, кто усмирит силу разумным словом? Ты обдумываешь ход, решаешь идти слоном или ладьей, предусматриваешь все и радуешься, представляя, как сдастся противник перед тонкой мощью твоей игры... Но вдруг неожиданный толчок смешивает фигуры, а то и швыряет наземь доску. Что делать тогда? Начинать снова!» Дон Хуан Альфонсо вспомнил смутные очертания давней сцены; они с молодым королем играли в шахматы, и перед самым концом партии король оборвал игру: вот широкая рука, вся в веснушках, тяжело легла на доску, считая и белые и красные фигуры; вот — мало того! — дон Педро толкнул коленом легкий столик, поднялся и резко, яростно, злобно стал шагать по зале, тогда как сам он молча ожидал, что же будет... Кто это стоял у стола, следя за взбешенным королем? А, дон Самуэль Левí! Тут он припомнил все: дон Самуэль, казначей, приблизился к ним кошачьим шагом и, не говоря ни слова, лишь вздыхая иногда, долго глядел, как они играют. Наконец он подстерег короткую заминку, обратился к королю и сообщил, что люди дона Энрике напали на свреев в Толедо, о чем ему поведал племянник, пятнадцатилетний Хосе, чудом спасшийся от погрома. Дон Самуэль начал спокойно, словно это его не касалось, но вскоре, судорожно

сцепив руки, принялся рассказывать так, как рассказывал ему юный очевидец несчастья. Семья его мирно завершала полдник, все ели сласти и беседовали, когда распахнулась дверь и служанка, в диком страхе обхватив руками голову, закричала: «Идут! Идут!» Она еще не успела объяснить, что случилось, как началось истинное столпотворение. Мальчик спрятался в шкаф и, оцепенев от ужаса, видел, что почтенную голову отца рассек топор, который держала волосатая рука его тезки, Хосе Родригеса, придворного шорника, два года преследовавшего своей любовью прекрасную Лилию. Теперь сестра лежала на полу — бледная, как цветок, чье имя она носила; убийца намеревался осквернить ее бездыханное тело, тогда как сообщники его грабили дом, поспешно набивая сумы и узлы звенящей серебряной утварью. Мальчику пришлось видеть все это из своего укрытия. Озверевшая чернь то издавала жадные крики, то почему-то замолкала... Как могли не заметить, что он спрятался в шкафу? Наконец он не выдержал сам: он вышел, упал на колени перед убийцей и низко склонил голову, ожидая смерти. Но грубая рука легко, почти нежно тронула его волосы... Тем временем из глубин дома уже валил дым; люди выбегали на улицу; выбежал и он. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. Когда стемнело, он уснул под мостом через Тахо, утром же направился в Севилью, к своему влиятельному дяде...

Выслушав напевную, жалобную речь, дон Педро пришел в ярость и скинул на пол доску, а казначей и наставник удивленно глядели друг на друга, как бы вопрошая, чем кончится высочайший гнев. Никто и никогда не мог угадать это заранее. Иногда он пожимал плечами и ничего не делал, иногда обрушивал кары, поражавшие ужасом. Дон Хуан Альфонсо вздрогнул, словно от холода, вспомнив, как страшно покарал король одного протопресвитера: он велел закопать его живым рядом с телом нищего сапожника, которое жадный священнослужитель отказался предать земле. Что могло остановить коронованного безумца? Не поднял ли он однажды руку на собственную мать, осмелившуюся сказать злое слово о его возлюбленной, донье Марии де Падилья?.. С тех пор прошло много времени, исчезла самая причина раздоров, сжигавших жизнь короля, прежние распри кончились; но воспоминание о постыдной сцене во дворце, когда дон Педро угрожал вдовствующей королеве, мгновенно воскресило гнев, омерзение, отчаяние, страх. Старый наставник почувствовал снова ужас, сковавший его, как только он понял, что дикая дерзость короля кончится очень плохо — плохо будет всем, плохо будет, увы, и верному Хуану Альфонсо, который тщетно пытался образумить высокородного ученика. Даже дон Самуэль

был сильнее его; золото—великая сила, тогда как старый наставник мог положиться лишь на королевское благоволение. Дон Педро укрощал перед ним свои порывы, ибо любил донью Марию де Падилья, его осиротевшую племянницу и воспитанницу. Только этим и держалась его дружба с властелином. Как же мог он спокойно смотреть на то, что необузданный король подвергает свою даму гневу матери? Неужели ему мало вражды единокровных братьев, владевших половиной Кастилии? Неужели он решил внести раздор и смуту в свой собственный дом?

Ни ясный ум, ни осторожность советов не могли справиться со столь неразумными страстями. Король упорно и бесстыдно защищал против всех свою любовницу; королева и ее родня с такой же яростью пытались поправить зло, женив его на французской принцессе. Дон Хуан Альфонсо противился несчастному замыслу всеми силами своей души, всеми способами, вплоть до интриг, а ему говорили: «Ты защищаешь свою корысть». О, как клеветали на него! Свою корысть? Да нет же! Политический союз (а чем иным был этот брак?) не мог помешать прочной, давней связи дона Педро и доньи Марии. К тому же при чем тут он? Люди считали, что он судит как дядя королевской любовницы. Но сам он знал, на что способен его необузданный воспитанник, и посему тщетно противился замышлявшемуся браку. Время не замедлило подтвердить его правоту. Из Франции прибыла донья Бланка, девочка с гордо поджатыми губами. Видит бог, ему было больно смотреть на нее, хотя она обладала редкой для своих лет выдержкой и молчала словно статуя. О, как поддерживает в беде гордыня! А что же вышло? Королева-мать, поливавшая его грязью за то, что он препятствовал свадьбе (никто не клеветал на него, никто не бранился так, как эта старая гарпия), уже не знала сама, чем поправить зло, чем смягчить дикую грубость своего сына. И все сподвижники ее стремились теперь предотвратить единственное, что могло родиться от этого брака,—чудище раздора. Прежде всего они хотели переломить королевскую волю и мольбами, и даже угрозами.

Забыв на минуту, что он изгнанник и жизнь его в опасности, старый рыцарь едва не рассмеялся, вспомнив, как долго и хитро готовили совещание во дворце и как врожденный блестящий разум короля, на сей раз приумноженный хитростью, опрокинул все тщательные расчеты и выставил в самом нелепом виде заботы родичей, тщившихся образумить его. Правда, вдовствующая королева, ведомая упорной ненавистью, предвидела это.

— Ничего мы не добьемся,—говорила она камеристке, одевавшей ее перед семейным советом, созванным в городе Торо.— Все тщетно, Хуана! Я иду туда не потому, что верю в успех, а

потому, что королева-мать обязана там присутствовать. Но ничего не выйдет, поверь. Родичи мои полагают, что зло можно исправить, я же не надеюсь, что его удастся и облегчить. Я знаю корни этого зла; они горьки. Если короля вернут к жене, запрут с нею в спальне, привяжут к ложу, помыслы его будут с другою. Он будет глупо улыбаться, а она зачахнет от горя рядом с ним. Нет, нет...—И старая королева качала головою.

— Может быть, его опоили, ваше величество? —спросила камеристка, чтобы хоть что-то сказать.

— Опоили? Да, возможно... Я не удивлюсь никакому злодейству. Но сын мой так молод, что ему достаточно козней женщины.

— Конечно, сеньора. К тому же она так хороша...

— Что ты говоришь, дурочка? Красота ее фальшива, как ее сердце! Неужто, Хуана, и ты зачарована мнимой славой? Эту тварь называют красавицей; но разве такова красота? Если бы ты, как я, знала девочку, бегавшую по дворцовым садам, пока дядя ее, Хуан Альфонсо, предвидевший все задолго, прибирал к рукам важные дела, ты не восхищалась бы теперь столь обманчивой прелестью. Поверь, то было лицо бесенка. Чем же изменилась она? Разве кожа ее стала белой, а не смуглой? Разве сверкающие глазки стали ясными и большими? Разве уменьшился огромный, вечно смеющийся рот? Только слепой не поймет, откуда эта мнимая прелесть. То, что называют здесь красотой, носит другое имя.

— Без сомнения, сеньора, черты доньи Марии далеки от совершенства и потому не могли измениться с малых лет. Но те, кто не знал ее прежде, те, кто увидел лишь взрослой, вправе счесть, что в ней кроется что-то...

— Вот именно, кроется. Под драгоценной парчою скрывается бес. Можно ли восхищаться тою, кто создан по образу и подобию похоти? Как ни скрывай этого, как ни лукавь, истина очевидна. Нет, я никогда не пойму таких восторгов. Все они, блудницы, на одно лицо! Чем пленяют они мужчин? Ты права, его опоили.

Королева замолчала. Камеристка начала снова:

— Ах, сеньора, король так молод!

— Молчи! —сердито вскричала королева.—Разве не различу я бесовскую страсть? О, сколько раз слышала я эту песню: «Он так молод, так молод... с годами он переменится». Пусть обманываются те, кто не знает, откуда эти чары. Я не обманусь, мне ведома истина. Подумай-ка: все полагали, что дело уладится, когда привезут французскую принцессу, а вышло только хуже. Никто не понимал, что ему противны благородство и чистота. Бедная невинная донья Бланка! Ты видишь сама, он сбежал от нее в первую брачную ночь и, обезумев от страсти, презрев все приличия, кинулся в спальню любовницы. Чем пленит его жена,

когда он вконец испорчен восточной роскошью, благовониями, жемчугами, которые сам же и дарит наложнице для своей утехи? Они хотят все уладить... Они полагают, что зло поправимо... Что ж, дитя мое, я пойду на совет, ибо меня просили и отказать я не могла; но я не приму ни в чем участия, не произнесу ни слова. Они увидят, что здесь не поможет самая добрая воля...

Королева-мать и впрямь ни слова не сказала. Дон Педро, завлеченный обманом, прибыл в замок Торо, куда собрала высокородную родню его тетка, королева Арагона; она же взяла на себя другое бремя: стала его упрекать. Гордая старуха говорила, что он знается с подлым людом, что и для него, и для других опасны раздоры с могущественными братьями; и произнесла наконец слова, сохраненные историей:

— Достоинству вашему больше пристало общество знатнейших и лучших людей вашей земли—такое, в каком вы находитесь сейчас...—Потом, уже помягче, она добавила: — Без сомнения, добрый король должен проявлять милость ко всем. Но знайте, сеньор племянник, что ваша склонность к простому люду оскорбляет нас, вам равных. Кому даруете вы доверие и дружбу? Стыдно сказать! Евреям, выкрестам, торговцам. Кто распоряжается в вашем доме? Те, кто вчера были никем, сегодня же исполнены немыслимой сниси; те, чье присутствие противно, но еще противнее хвастовство. С кем советуется вы? Прости вас бог, племянник, но это уже невозможно вынести. Даже сейчас, собираясь беседовать с нами, вы не смогли обойтись без вашего дона Леви, который наживается на вас.

Она помолчала и, держась за ручки кресла, наклонилась.

— Чтобы избежать горших зол,—дрожащим голосом продолжала она,—чтобы доверие подданных не перешло к вашим врагам, мы, любящие вас, решили сами служить вам в вашем доме и в ваших землях. Поймите, сеньор, мы поступаем так ради вас, нимало не желая отнять хотя бы часть вашей власти, которую пятнают сейчас позором ваши недостойные избранники.

Все, кто был в зале, пытались взглянуть королю в глаза—но тщетно. Дон Педро выслушал речь своей тетки опустив голову, и на его помрачневшем лице проступила привычная ярость. Ему было неприятно, что высокородные сеньоры подтверждают молчанием упреки арагонской королевы. Когда последние ее слова показали ему наконец, какая уготована ловушка, он кинул быстрый взгляд на свою мать, но та опустила глаза, и король помрачнел снова. Теперь он знал, к чему все идет. Не двигаясь с места, он слышал, как брали под стражу там, за дверью, его казначея и всю его свиту, и присутствовал при том, как родичи распределяли между собою придворные должности. Однако

тогда, когда он счел это нужным, он встал, с подчеркнутой медлительностью направился к выходу, спустился во внутренний двор, вскочил на коня и ускакал один, без провожатых.

Дон Хуан Альфонсо, который теперь тоже должен был скакать куда-то, стремясь лишь сохранить жалкую, старую жизнь, рассмеялся, припомнив, как дерзко ответил его король градам королевства; и неуместный, громкий смех вывел его из отчаяния.

Да, дон Педро быстро и просто восстановил свою власть; приняв самые неотложные решения, поспешил сбросить бремя тяжких забот у ног своей подруги. С какой любовью внимала она во тьме его речам! Когда не были видны ни жесткая усмешка, ни гневный взор, ни грозные руки, голос этот не внушал страха, нет—он беспомощно дрожал, становясь все глуше и тише.

— Все, все против меня,—горестно жаловался дон Педро,—все хотят сломить меня. Даже собственная мать осыпает меня упреками, словно она сама не виновата... Откуда бы взяться моим бедам, если бы она не отомстила несчастной донье Леонор? Она не сумела справиться со злобой, а теперь, когда я вынужден бороться против развязанных ею несчастий, она решается мне вредить. Только на твоей груди, Мария, нахожу я покой!

— Дорогой мой, златовласый, сребролюбый!—отвечала Мария де Падилья.—Зачем ты терпишь тяжесть венца? Педро, как бы я хотела, чтобы ты отказался от него и стал только моим!

— Нет, нет, не могу,—сказал он.—Ты думаешь, венец мне тяжек? Я родился королем! Тяжко мне другое. Мне горько и мерзко бороться против своих. Все хотят править мною; все хотят лишить меня свободы, словно я не король, а последний раб. Бороться хорошо с врагами. Братья и считают меня врагом, а потому погибнут один за другим, в этом я тебе клянусь! Но почему собственная мать хочет связать мне руки, когда не ей бы меня судить? Почему Хуан Альфонсо, твой дядя, хочет управлять моей волей, притворяясь, что ей подчиняется? Почему сама тень отца,—прости его, боже,—мешает мне, усложняет мое дело, оставив мне в наследство столько могучих и мятежных братьев?

— Хуан Альфонсо, единственный, кто нам верен при Дворе.

— Я рад, что ты его защищаешь, как и он защищает тебя против всеобщей ненависти. Это похвально; и все же скажи, почему лишь я один не могу положиться ни на кого из родичей? Слово «брат» значит «враг». Даже матери я не доверяю!

— Королева желает блага не сыну, а сыну-королю. Она мечтает о его славе. И еще, ты пойми: жизнь ее вечно подчинялась тяжким требованиям величия. Ей не понять нас с тобою, она должна гнушаться нами, она ненавидит меня из любви к тебе. Сердце мое безутешно, ибо несчастьями своими ты

обязан мне одной. Нет, не возражай, я знаю. Разве причина ваших распрей не брак с доньей Бланкой? Сосватали вас не столько ради интересов королевства, сколько из ненависти ко мне. Ненависть же эта, повторю, родилась из слепой материнской любви, не ведающей, в чем твое истинное благо. Если бы вдовствующая королева могла заглянуть в мое сердце, она нашла бы там то, чего не даст ее сыну никакая принцесса.

— Ты ошибаешься, это не все, есть и другие причины. Распри наши породил не только мой злосчастный брак.

— Ах нет, без доньи Бланки все было бы иначе!.. Скажи мне, какая она? Меня уверяют, что она прекрасна и очень юна, совсем ребенок. Скажи, так ли это?

— Никто не сравнится с тобой, Мария.

— Я знаю, мой дорогой, но все же ответь. Мы, женщины, любопытны; опиши мне донью Бланку. Высока она или мала? Смугла или белолица? Голубые глаза у нее или темные?

— Зачем говорить о ней, Мария? На что это тебе?

— Какого она роста; какие у нее волосы?

— Светлые.

— Золотые, как у тебя? А лицо белое, Педро?

— Не сердь меня, дорогая.

— Ты прав, не сердись сам. Я не хочу, чтобы хмурился твой прекрасный лоб. Конечно, я верю, что ты на нее и не взглянул. Какой мужчина захочет, чтобы женщину клали ему в постель, не спросив его воли? Этого одного достаточно для отвращения... А как ты с ней говорил? Я слышала, она не знает по-кастильски.

— Мне пора идти, Мария.

— Постой, погоди минутку! Послушай меня, Педро. Я должна тебе кое-что сказать. Быть может, королева и впрямь поняла, в чем твое благо. Она — мать, ей виднее. Я не имею права на любовь такого великого, такого славного короля. За все, что ты мне дал, я могу отплатить лишь бескорыстной любовью, а если она утяжелит и без того немалые тяготы, скорби моей не будет меры. Я не принцесса, хотя мой род мог бы поспорить с королевским. Вот почему я скажу тебе: подумай, Педро. Если ты поймешь, что я тебе мешаю, покинь меня без колебаний. Ты озарил счастьем мою жизнь, и я не хотела бы взамен...

— И это говоришь ты? Ты тоже с ними, Мария? Разве ты не знаешь, что, кроме тебя, у меня нет ничего? На твою грудь преклоняю я свою несчастную голову, ты стережешь мой сон, оберегаешь душу, и нет в моем дворце иных сокровищ. Тебе кажется, что, порви я с тобой, угаснет злобная зависть моих братьев? Досада гложет их, они не могут забыть о своем незаконном происхождении и сомневаются подчас, впрямь ли у

нас один отец. Мать моя озлоблена тем, что не сумела править мужем, и теперь хочет править сыном. Вассалы только и ждут случая пограбить и, трепеща при своем господине, строят козни за его спиной. Но если бы даже разрыв наш мог пресечь это зло, я бы тебя не оставил. На что мне тогда все блага мира? Ведь ты—мое единственное благо. Как, оставить тебя?! Пусть они окружают твой дом, пусть заколют меня в твоей постели, заливая простыни кровью,—лишь вместе с жизнью моей я покину тебя!

— Мой Педро, какое счастье это слышать! Иди ко мне; ничто не разлучит нас. Мы будем вместе всегда! Я не выпущу тебя из объятий, чтобы ты не обнял проклятую дочь Франции!

Когда бы не оскорбление, нанесенное принцессе, кто знает, как долго терзала бы Кастилию глухая борьба против дона Педро. Гнев французского короля окрылил мятежных братьев, направил в единое русло их ненависть, дал надежду злобе.

Отвергнутая, оскорбленная, опозоренная принцесса вернулась ко двору своего отца. Долог и труден был ее путь, но наконец она достигла Парижа, пересекла подъемный мост, вступила в замок и—молча, не отвечая на поклоны—вошла в малую залу, где ждал ее король. Опустившись на колени, она поцеловала ему руку и застыла в неподвижности, впервые опустив долу взор с той поры, как ее столь тяжко оскорбили,—ей было страшно увидеть скорбь в синих глазах, в которых она когда-то видела лишь нежность. Король и впрямь смотрел на склоненный лоб и на опущенные веки дочери; но, когда она решилась взглянуть на него, глаза его дышали отнюдь не болью, а гневом. Они искрились яростью, они сверкали, словно саламандры, мечущиеся над пламенем его бороды. Тогда ощутила донья Бланка тот ком в горле, который душил ее все время. С великим трудом сдержав слезы, она сумела лишь хрипло спросить, много раз, одно и то же—поначалу тихо, потом жалобно, потом до крика громко:

— За что, отец? За что?.. За что?!

Наконец слова эти слились в нечеловеческий вопль; и тут она зарыдала, терзая ногтями лицо, вырывая светлые кудри.

При виде таких страданий король забыл свой гнев и раскрыл объятия безутешной принцессе, чтобы она выплакала горе на отцовской груди. Немного успокоившись, но вся трепеща, донья Бланка стала повторять: «За что?», словно забыла все другие слова. Наконец она выговорила:

— Отец, зачем ты меня туда послал? Почему ты отдал меня чужим, как охотничью добычу? Вот я вернулась. Я была твоей дочерью. Теперь я лишь твой позор. Тебе плюнули в лицо, и, глядя на меня, ты будешь вечно это помнить, вечно, вечно!..—

Тщетно убеждал он ее, что отомстит. Она кричала:— Такого стыда мне больше не вынести!— и плакала горькими слезами.

Пришлось оставить ее одну, в опочивальне, чтобы она отдохнула; и только две недели спустя (она провела их в полумраке, непрестанно рыдая) принцесса настолько пришла в себя, что открыла сердце своей наперснице. Она поведала о долгой пытке среди каких-то безумцев — злой королевы, иссушенной, как зимняя лоза, и вечно источающей яд злобы; молчаливых, застывших инфант; темнолицых дуэний, нашептывавших друг другу мерзкие сплетни; вечно ссорящихся мужчин, кричащих в слепом гнев, забывших обо всем, одержимых нечистым... Среди таких людей жила она день за днем, ночь за ночью и была для них лишь еще одной причиной раздоров. Никто не глядел ей в глаза, никто не сказал милого слова. В конце концов, меньше всего страдала она от дона Педро, грубого супруга, покинувшего ее без объяснений. Чего могла она ждать от него? Разве он искал ее руки? Нет, она была нежеланным подарком, вот и все.

Тем временем французский король отправил послов к мятежным братьям, договариваясь, как погубить дона Педро. Он обещал послать дону Энрике лучших своих рыцарей, чтобы тот, сломив силу брата, отвоевал королевский венец. Так и случилось. Могучее и славное войско перешло Пиренеи и помогло Трастамарскому графу решить исход борьбы. И в Кастилии, и за ее пределами нашлось немало народу, готового поддержать изменника; одни припоминали страшную смерть его матери, доньи Леонор, другие — нежданную гибель его брата, дона Фадрике. Сам же он, используя чужую злобу, сумел сыграть на дурных страстях и давних обидах и наконец решился назвать королевским знамя мятежа. Он хорошо говорил; взвешивал каждое слово; знал, чего от него ждут, и умел сказать в нужный миг то, чего не ждали. Перед решительным походом он собрал своих людей и, сказав им, как много оскорбленных доном Педро и как они сильны, напомнил каждому собственную его обиду, а растравив одну за другой все раны, неожиданно сообщил о могучей помощи французского короля. Не настало ли время, спрашивал он, ввести в Кастилии новые порядки, благие и милостивые? Так разжег он гнев, посеял надежду, разбудил пыл, дал пищу тщеславию и корысти; и плененные им друзья и родичи превознесли его, облакая раньше времени в королевский пурпур.

Руки его немедленно обгарились пурпуром крови, когда он силою вырвал власть; а на одной из этих рук, правой, за три дня до битвы прочитали грозное знамение: «Ты достигнешь высшей славы, сеньор, если прольешь свою же кровь». В тот вечер дон Энрике с войском остановился на ночлег в небольшом селении.

Взяв с собою нескольких рыцарей, он отправился на площадь, где селяне проводили конец воскресного дня, глядя на бродячих лицедеев, плясавших перед храмом свои басурманские танцы. С появлением знатного мужа веселье прекратилось: барабан умолк, рожок оборвал свою песню пронзительным рыданием, заморская обезьяна убежала, а ученая коза, вращавшая большую юлу с удивительным, но нелепым проворством, прыгнула на какой-то треножник и тяжело свалилась на землю. Дон Энрике гордо смотрел с седла на испуганное смятение, когда мавританская плясунья предложила ему погадать. Он протянул ей руку; она предсказала ему славу и прибавила: «Если этой рукой ты прольешь свою же кровь». Граф не попросил ее разъяснить двусмысленное предсказание. Но через три дня оно оправдалось.

Выиграв битву при Монтеле, войско Бастарда овладело замком, тогда как люди дона Педро остались под открытым небом. Ожидая зари во тьме кастильской ночи, братья решили наконец проявить добрую волю... Что замышляли они, в каком духе готовились к встрече, каких измен опасались, какой испытывали страх? Быть может, дон Педро внял увещаниям наставника и, спасая корону, хотел выиграть время. Быть может, дон Энрике, испугавшись неожиданной удачи, прикидывал, как бы придать преступному захвату власти мало-мальски достойный вид и прикрыть добрым договором жестокое насилие, когда в окружении лучших своих рыцарей поджидал побежденного короля. Но, увидев, как тот — молодой, высокий, надменный — входит в сопровождении лишь четырех сподвижников, внезапно утратил силу и встретил младшего брата молчанием.

Дон Педро тем временем дошел до середины зала и остановился. Все тонуло в полумраке, свет падал только на него. Рыцари, смутные тени, стояли молча, пока вино гордыни не ударило в голову побежденного и, побагровев от гнева, он не спросил, кто же из них изменник и ублюдок, граф Трастамара. Он мог бы понять это сам по бледному словно смерть лицу своего брата. Услышав страшные слова, дон Энрике вскочил и, занеся кинжал, кинулся к королю, дабы осуществить пророчество, которое можно было понять по-разному. Смертельное объятие соединило сыновей одного отца.

Дон Хуан стоял на пороге; рыцари то и дело мешали ему разглядеть, как идет борьба, от которой зависит его жизнь, и, пока она длилась, он с трудом напрягал слух и зрение. Когда сцепившиеся тела упали, извиваясь в пыли, а старый наставник увидел, как разжалась рука дона Педро и кинжал выпал из нее, он повернулся и побежал. Крики: «Хватай его! Хватай!» — понеслись ему вслед и, затихая, угасли вдали.

СБОРНИК

«БАРАНЬЯ ГОЛОВА»



LA CABEZA DEL CORDERO

BUENOS AIRES, 1949

Послание

По правде говоря, с каждым разом я все меньше понимаю людей. Взять Севериано, моего двоюродного брата: восемь долгих лет мы с ним не виделись—целых восемь лет! Приезжаю к нему, и в единственный вечер, что в кои веки мы могли побыть вдвоем, чем, вы думаете, этот болван занимается? Принимается рассказывать мне историю с посланием, историю без начала и конца, которая должна была б нагнать на меня сон, но в конце концов напрочь его лишила. Эти деревенщины заполняют чем попало пустоту своего рутинного существования и устраивают из любого пустяка целое событие безо всякого чувства меры. Приезд двоюродного брата, с которым он рос и в чьей жизни и приключениях столько мог почерпнуть поучительного, похоже, был в его глазах ничем по сравнению с той невероятной чепухой, что в течение месяцев и лет занимала весь поселок, и в первую очередь самого Севериано. Тут я понял, что между нами не осталось ничего общего: братец мой окончательно увяз в этом болоте, приспособился, смирился. Кто бы сказал это лет двадцать или двадцать пять назад, когда Севериано был еще Севериано и не попался так прочно в сети своей лавки сельскохозяйственной техники, где и окончит дни—*aurea mediocritas*!¹—старая подле двух сестер (вот он, его удел: серебро старости и золото посредственности),—он, мечтавший о далеких, славных путешествиях, о торговле с размахом!.. Ну, торговлей-то он занялся, хотя и ни с каким не размахом; но что касается путешествий!.. Нет, не пришлось Севериано беспокоить себя этим—дела всегда сами находили его здесь, в магазине, в

¹ Золотая середина (лат.). Здесь: посредственность!

ловушке, не доставляя ему лишних забот. Путешествия зато достались на мою долю. Да и то сказать: тоже мне занятыице — коммивояжер.

— Кому сказать, старина,—заявил он мне в тот вечер,—кому сказать, что ты столько разъезжаешь, но за восемь лет не выбрался ни разу провести с нами несколько денечков. А теперь вот приезжаешь сегодня и назавтра хочешь уехать.

Тожe мне нашел причину: я много разъезжаю!

— Вот именно потому,—ответил я,—как раз тебе-то и надо было выбраться... Приехать ко мне в Мадрид или в Барселону... Смыл бы с себя плесень этой унылой деревни, доставил бы мне удовольствие показать тебе...

— Да знал бы ты,—прервал он меня,—сколько раз это приходило мне в голову. Бывало, представлю: «Напишу-ка я письмо старине Роке, или пошлю телеграмму—так, мол, и так, выезжаю,—или даже заявлюсь-ка без предупреждения...» И не раз подумывал, да только как, разве я выберусь? Пойми, Рокете,—он всегда награждал меня этим нелепым уменьшительным именем, которое так раздражало меня в детстве,—пойми сам: я не могу забросить дело.—Тут он сделал многозначительную паузу.—А мои сестры... что говорить, ты и сам их знаешь. Агеда... («Как постарела, как сдала Агеда,—подумал я, услышав ее имя,—и эта зеленоватая желтизна даже в белках глаз, ее глаз, когда-то таких лучистых, сиявших как лампочки; а голова... какого дьявола она мажет волосы маслом при ее-то седине? Каково — лоснящиеся седины?!»),—Агеда,—продолжал он,—с ее постоянными недомоганиями и брюзжанием по любому поводу, иной раз сама себя не выносит. А что до Хуаниты... («Вот еще уродливое имечко—Хуанита! Ну и ну!»).—Эта вечно мечется между своими постными романами да постами; что и говорить, ты сам видел, с годами она ударилась в благочестие.

«Ну, лет-то ей не так уж и много,—прикинул я.—Хуанита была лишь на год и семь месяцев старше меня. Конечно, для женщин время бежит по-иному и бьет их сильнее... И все же...» Между тем Севериано продолжал объяснять мне, почему он не мог оставить торговлю на своих служащих. Разумеется, народ они надежный и с обычной работой справляются неплохо. Но всегда бывают сотни неожиданностей: специальные заказы, счета, справки да советы, разъездные торговые агенты (да-да, разъездные, как я, старина Роке; те самые ненавистные наглые типы, которые таким, как он, доставляют дельце прямо на дом). И знай себе перечислял трудности, осложнения, помехи.

— Поверишь,—жаловался он,—стоит мне простудиться и остаться дома, как они начинают ежечасно меня беспокоить:

вопрос за вопросом, то одно, то другое, пока я не встаю — терпением-то я тоже не отличаюсь... А иначе с каким удовольствием я бы проветрился!

Проветрился, говорил он, а я подумал: «У него почти вся голова белая, он весь седой и морщинистый, гораздо больше меня, а ведь я старше на полтора года»; а он тянул свое: «...проветриться, поглядеть наконец на мир».

Путешествовать, узнать мир — старая песня. Никогда ты уже его не узнаешь; помрешь в этой дыре, несчастный, здесь, в этой самой постели, где я сейчас валяюсь. Хорошую же услугу оказал тебе дядя Руперто, приняв в свою лавку по продаже мотыг да кирок, чтобы ты вкалывал как осел, пока он жив, а потом унаследовал его дельце, пожизненно привязанный к этой кормушке! Деньги, еще деньги, больше денег, только вот... *augea mediocritas!* Нечего сказать, облагодетельствовал дядя любимого племянничка — избави бог! — пускай все ему достается! Конечно, моя суматошная жизнь далеко не столь великолепна, как, вероятно, этот себе представляет. *Double!*¹ Нет, не все золото, что блестит, и то, что некогда казалось заманчивым, с годами приелось до отвращения. Путешествия! Узнать мир! У меня, бедняги, уже кости болят от вечной вагонной тряски, а вокзальные буфеты вконец угробили мой желудок. Годы и годы гонки без отдыха, без передышки, и тот, кто завидует мне, ни черта не понимает... Знал бы ты, Северианильо... Но уж нет! Я плакаться не буду, не думай, что я начну плакаться; ты бы сразу решил: закидываю удочку, хочу у тебя чего-нибудь попросить. Нет уж, обойдусь без твоих денег! А потом — с какой стати мне плакаться? У каждого своя судьба, я по крайней мере не такая неотесанная дубина, как ты, много поездил, повидал.

— Жаль, — ответил я ему, — мы бы хорошо повеселились вдвоём; я бы показал тебе мадридские или барселонские кабаре. Или даже парижские... Почему бы и нет?

— Как? — подпрыгнул он, услышав меня. — Ты, стало быть, и за границу едешь?

Мы переговаривались, лежа в постелях (он уступил мне свою, а сам растянулся на раскладушке в другом конце комнаты); но хотя мы уже погасили свет и болтали в потемках, я словно бы различил по голосу изумление и восхищение, написанные на его лице... Ну не смешно ли? Я даже развеселился. А ведь я не говорил ничего подобного, рассуждал предположительно, и сам не знаю, как у меня выскочило насчет Парижа. Ну не чепуха ли? Он остолбенел, а я, понятно, теперь-то уж не собирался его

¹ Накладное золото (франц.). Здесь: одна видимость!

разочаровывать. Получилось забавно, а потом—ну что в этом страшного? И я пошел плести дальше.

— А то как же,—сказал я.—Годы-то бегут для всех одинаково. Последний раз, когда мы виделись, в твоей лавке и в помине не было техники, одни железки, а теперь у тебя весь склад завален автомолотилками. Вот и мне пришлось расширять дело, ну и, естественно, выезжать за границу.

— Черт подери, Рокете, как же ты мне ничего не сказал?! Подумать только, что старина Роке ездит по заграницам!..

Он, простак, был и впрямь здорово ошарашен и все чертыхался. У него это в голове не укладывалось.

— Слушай, а скажи мне вот что: как же ты объясняешься там, в тех краях?

— Ну, это не так уж и сложно. Сколько народу выезжает за границу, и никто до сих пор не потерялся.

— Но ты ж не знал языков, как я помню.

— Все мы рождаемся, не зная языков, кроме своего, да и тому приходится учиться.

— Скажешь, ты выучился языкам?

— А что тут такого? Здесь главное братья за дело, как только придет в том нужда. Гляди: итальянский, например, ты поймешь почитай безо всякой учебы; он точь-в-точь как испанский, только окончания на-**ини**. Заканчиваешь слова на **-ини**, и ты, считай, уже говоришь по-итальянски. Да это и не язык даже, а так—манерный испанский. Вот английский и немецкий—там да, слова другого порядка. Над ними уже приходится попотеть...

Я дурачился, но этот балбес Севериано принимал все за чистую монету и перекрывал мне пути к отступлению; так что пришлось продолжать в том же духе. Таким образом и всплыла эта дурацкая история с посланием, о которой мы проговорили всю ночь. Я уже начал раздражаться и хотел сменить тему, но он всё возвращался к одному и тому же и зудел, и зудел, как муха: «Так, значит, ты выучился языкам!» Он раздумывал, а потом, помолчав немного, наконец заявил:

— Ладно, тогда завтра я покажу тебе одну бумагу, над которой мы тут долго ломали голову именно потому, что у нас никто языков не знает.

— Бумагу?—переспросил я с неохотой, притворно зевая.

Но он уже начал свой рассказ:

— Значит, дело было так. Как-то утром сижу я в магазине, получаю заказанные серпы (с тех пор прошло этак года два или три, может, чуток побольше—три с половиной), когда заходит ко мне Антонио (ты его знаешь—хозяин гостиницы) и, покружив вокруг да около, протягивает мне сложенную бумажку, чтоб я,

который, дескать, получаю столько каталогов и проспектов, попробовал прочесть, что там написано. Я действительно получаю временами каталоги по всякой технике, но, как правило, эти книжечки написаны на двух языках, и только инструкции всегда на испанском; они-то мне и нужны, их я и читаю; а уж коли она идет на испанском и на английском, не такая же я бестолочь, чтобы ломать себе голову, разбирая язык гринго, когда могу прочесть ее по-христиански. Впрочем, к чему столько объяснений? Конечно, случись такая нужда, я, может, и разобрался бы, поднатужившись: многие слова одинаковы или очень сходны с нашими, я в этом убедился, когда проглядывал порой эту тарабарщину. И, замечу, пришел к выводу, что нет языка богаче испанского, потому-то все остальные и вынуждены прибегать к нашим словам: переиначат их маленько, а то и просто оставят как есть, и готово! Не знаю, должно ли допускать подобный грабеж; пусть говорят по-испански, коли надо, да только... Впрочем, ладно; объяснять все это Антонио мне было ни к чему, да и сейчас не об этом речь. Главное другое; взял я, значит, ту бумажку, надел очки и... Дружище, это невозможно было понять: девять строк от руки, хороший почерк, синие чернила... Только, поверишь, я не смог понять в них ни слова. Проглядел я эти строки разок, другой... Антонио молча ждет. Я его спрашиваю: «Что это?» «Именно это я и хотел узнать. Спорю, ты ничего не понял». И смотрит на меня с насмешкой; ты ж его знаешь, для него не существуют уважение или такт. Старая школьная дружба для него... Я его снова спрашиваю: «Откуда ты взял эту бумагу?», а он: «Значит, ты прочитать не можешь». И тогда, обиняками, как обычно, с тыщей оговорок, он мне рассказал, что за несколько дней до того, в его отсутствие, в гостиницу явился приезжий; съел он, значит, яичницу, тушеную баранину, десерт из айвы и, не проронив ни слова, заперся в комнате, которую ему отвели; приняла, разместила и накормила его хозяйка. Антонио, вернувшись домой, решил, как обычно, покалякать с новым постояльцем. Постучал в дверь и спросил, не нужно ли чего. «Спасибо, ничего»,—ответил ему странный голос. «Странный?»—прервал я его.—Почему странный?» Он не нашелся что ответить, а я посмеялся про себя. Ты ж знаешь, Роке, как любопытны люди, а особенно вся эта братия—хозяева гостиниц, пансионеров и прочие. Приезжает к ним постоялец, и они—мало того, что тянут из него деньги почем зря,—роются у него в вещах, вынюхивают, откуда, куда и с какой целью, крутят и так и сяк письма, перед тем как вручить... Так что вообрази, в каком был настроении Антонио, когда наткнулся вдруг на запертую дверь. Он-то говорит, что постучался спросить, не нужно ли чего, но тут

же добавляет, что дверь была заперта изнутри на задвижку. А как, по-твоему, он это узнал? Да ясно, толкнув дверь, чтоб, как водится, распахнуть ее, просунуть башку со слащавым «Вы позволите?», обшарить взглядом всю комнату и лишь тогда спросить, нет ли у сеньора какой нужды. И уж очень сухим должен быть ответ, чтоб он не сумел завязать разговор: начинает болтать с порога, а кончает—сидя на постели у гостя... «Странный голос!».. Но главное, что с утречка постоялец исчез, так он его ни разу и не повидал. На рассвете, уходя, как всегда, на станцию встречать поезд в шесть тридцать пять, Антонио еще поглядел на дверь комнаты—оттуда не слышно было ни звука; а когда вернулся, найдя себе двух постояльцев, того уже не было: только Антонио ушел, он позвонил, спросил счет, заплатил и исчез; так жена Антонио сказала; наверняка уехал на автобусе, который отправляется без пяти семь от стоянки, что напротив бара Бельидо Гомеса. Антонио вошел в комнату—там еще не прибирались—и тут-то и наткнулся на эту самую бумажку, которая задала нам потом такую задачку... Но ты меня слушаешь или уже заснул?—прервал сам себя Севериано, озадаченный моим молчанием. А я действительно почти засыпал: усталый, я представлял себе площадь, бар Бельидо Гомеса, церковь на другой стороне—все смутно, почти неуловимо...

— Да нет же, слушаю,—ответил я.

— Ну, значит, как я говорил, тут и появилась знаменитая записка. На столе лежали листки чистой бумаги, а среди них затерялся этот, на котором можно было видеть несколько строк—девять, если быть точным,—написанных одинаковым почерком сине-фиолетовыми чернилами, которые дала постояльцу хозяйка. Ты, наверно, заметил,—уточнил Севериано,—что я сказал, можно было *видеть*, а не *прочесть*, как обычно; а все потому, что можно было сколько угодно ломать голову и не уразуметь из написанного ни слова. Почерк был ясный, ровный; но что там мог разобрать Антонио, когда даже я ничего не понял! Проносив записку два дня в бумажнике, он решил (как я потом узнал) обсудить ее с другим приезжим, налоговым инспектором, который тогда находился в поселке. «Гляньте-ка, дон Диего, на это бесовское послание! Как оно вам покажется?» Этот дон Диего (кстати сказать, неплохой мужик) вроде бы взял эдак с фанаберией бумагу, положил на скатерть, дотошно проштудировал, прихлебывая кофе... да только куда там!.. Проходит немного времени, он встает и возвращает ее: написано, мол, на иностранном, а у него нет сейчас времени разбираться в этом. «Ага, так я и думал»,—отвечает Антонио, убираясь подальше со своей бумажкой под злобным взглядом инспектора. Ну так вот, это

было только начало его мытарств. Потом он обратился к моей помощи. И хотя появился весь из себя сплошное доверие, сам понимаешь, я скоро узнал, что Антонио обратился ко мне, другу детства, лишь после того, как не получилось с чужаком. Это все мелочи, на которые я даже не обращаю внимания, но ведь и он брякнул не очень-то уважительно: «Слушай, ты вечно возишься с этими бумаженциями, что тебе присылают, а ну глянь, не сможешь ли прочесть это». Ну, ладно, поглядел я на письмо и говорю ему: «Оставь-ка мне его, дай подумать не спеша, похоже, штука заковыристая». И уж точно не без этого! Стоило остаться одному, я с огромным терпением проштудировал все слово за словом, буква за буквой, сверху вниз и снизу вверх. Ничего, ничего! Ни щелочки света, полная темнота! Можешь себе представить что-нибудь подобное? Так меня заинтриговало, что я решил сам заняться этим делом и расследовать любой ценой, пусть даже окольными путями. Вечером, закрыв магазин, я отправился в гостиницу за Антонио.

— Погоди, скажи-ка,—прервал тут я Севериано,—а с какой стати тебя все это волновало?

— Да в том-то и дело,—ответил он,—что не волновало ни капельки. Но меня уже забрало, не знаю, из любопытства ли или из самолюбия, только я решил все разузнать. Для начала я попросил Антонио снова и во всех деталях рассказать о госте. «Видишь ли,—заявил он мне, повторив, что тот поужинал яичницей и бараниной (интересное обстоятельство, правда?—так вот, он ни разу его не пропустил), а утром внезапно исчез,—видишь ли, я думаю, в этой бумаге должно быть какое-нибудь объяснение его бегства». «Как? Он что, сбежал не заплатив?»—это было бы странно, уж я-то наших знаю, у них, пожалуй, сбежишь; и как я и думал: «Нет,—ответил Антонио,—заплатить-то он заплатил, этого еще не хватало. В дураках я по сей день не ходил. Но я даже рожи его ни разу не увидел, он испарился, оставив мне,—(оставив мне!—видать, Антонио меня за дурака считал!),—эту записку...» «Но скажи,—настаивал я,—что он за птица? Торговый агент, миссионер—кто?» «Да откуда мне знать, если я его даже не видел? Приехал сюда в субботу вечером, когда я ходил делать заказы на неделю, а уехал в воскресенье ранехонько, на автобусе наверное, пока я был на станции. Обслуживала его моя жена. Но ведь ты же знаешь женщин,—прокомментировал Антонио,—что не надо—видят, а главное упускают. Тебе, Севериано, по-настоящему повезло, что ты холост; ты не знаешь, что значит...» Все это он толковал мне в полный голос, с гнусным намерением уесть свою жену, которая слышала нас из кухни (мы разговаривали в заднем дворе; ты

ведь еще помнишь гостиницу?), и она наконец взбеленилась: высунулась в окно, вся красная от злости, и выдала ему все, что на язык пришло: такой, мол, сякой, или он думает, что ей делать больше нечего, как шпионить за проезжими; столько пенять женщинам любопытством, а сами-то мужчины... И в таком духе.

— А ведь она права, бедная женщина,—подал я голос с кровати.— Но в любом случае, что здесь странно...

— Здесь все странно, Роке,—взволнованно дрогнул в темноте голос брата.— А мне пришлось быть посредником в споре между супругами, потому как они разошлись не на шутку, и тогда я прошел на кухню и спросил ее, что из себя представлял этот загадочный гость, которого никто, кроме нее, не видел. Но добрая хозяйшка, распаленная как фурия и разъяренная как василиск, только метала громы и молнии и отказывалась что-либо отвечать.

«Все это и впрямь чудно»,—размышляя я, не говоря вслух ни словечка. Покуда Севериано рассказывал свою историю, у меня мелькнуло подозрение, что, возможно, между проезжим и хозяйкой могло иметь место одно из тех происшествий, что в гостиницах и пансионах составляют непереносимое развлечение нашего брата (уж мне ли этого не знать, столько прокружившему по провинциальным столицам, деревням и поселкам, после несчетных лет работы разъездным агентом! Это лишь еще одна неизбежная составная нашей работы: ущипнул, завалил—и можешь забыть о ней). Но разве это что-нибудь объясняло? Напротив, в таком случае хозяйка поспешила бы выложить все требуемые от нее подробности, истинные или воображаемые—почему бы и правда не воображаемые?—и дело с концом. «К тому же,—поправил я сам себя,—эта донья Как-ее-там (уж и не помню имени) должна быть старовата для подобных выкрутасов, она, кажется, постарше меня, а для женщины это уже немало, и кроме того... Нет,—оборвал я себя,—это все глупо».

— ...И пришлось оставить ее в покое,—продолжал между тем мой братец,—все равно ни слова нельзя было вытянуть. Так что я унес с собой бумажку, всерьез озабоченный тем, чтоб докопаться до содержания. Но ты ведь знаешь, у нас здесь не с кем особенно посоветоваться по такому поводу. Мне пришло в голову обратиться к священнику и к аптекарю. Аптекари—они по своей профессии привычны читать путанные надписи... Правда, мою-то бумажку нельзя было назвать неразборчивой, наоборот—можно было различить каждую буковку, строчную или заглавную, каждую запятушку и точку. Только вот понять—в прямом смысле этого слова,—понять там нельзя было ничего. Так оно и случилось с фармацевтом, несмотря на всю их славу. И со

священником было то же, когда он чуть позже присоединился к нам в аптеке. «Кой толк от всех ваших латыней,—сказал я ему тогда (шутки ради, конечно; но, в конце-то концов, разве я не был прав?),—кой толк от всех ваших латыней, святой отец, если вы не в силах понять четырех фраз на чужом языке?» Это его задело; он возразил, что у латыни, мол, нет ничего общего с подобной белибердой и чтоб я не трогал святыне вещи. Но мы уже ни о чем другом говорить не могли ни в этот вечер, ни потом, к ночи, в баре Бельидо, где собираемся за кофе, ни на другой день, ни в последующие. Начались предположения, и, как ты можешь догадаться, все несли самую несусветную чушь. Да оно и понятно, потому как никто—поверишь?—никто во всем селе не видел окаянного постояльца... Но это поначалу, а потом, как бывает, его уже видели все, все пошли вспоминать: один заметил, как он поднимался в автобус, другой видел входящим в гостиницу, третий — сходящим с поезда, еще один — отправляющим телеграмму на почте. Даже сам Антонио заявил под конец, что он его видел! Ты будешь смеяться: он признался, что, перед тем как отойти от запертой двери, заглянул в замочную скважину и смог таким образом разглядеть этого типа и что тот, несомненно,—он готов был поклясться—не был испанцем, потому как такие башмаки и яркие шерстяные носки, как на нем, никто здесь не носит; ни один испанец не впадает в такие крайности, одни лишь англичане... (Его собственная болтливость выдала то, что и так было ясно: он описывал, во что был обут англичанин, который за несколько месяцев до того провел пару дней в селе, расспрашивая о ветряных мельницах, выверяя фамилии и записывая все в блокнот.) Тогда аптекарь похвалил умение Антонио определять иностранцев по ногам, а он в ответ (как же, вгонишь такого в краску!) давай хамить и выставлать достоинства своего занятия: из самых, мол, уважаемых, потому как, дескать, лучше накормить голодного, пусть даже за его деньги, чем изводить сытого клизмами да слабительным. И в таком духе, сам знаешь, как оно бывает! Едва они не сцепились. Ну и осел же этот Антонио... Впрочем, я не хочу утомлять тебя подобными мелочами; когда захочешь спать, скажи, и я уймусь.

— Объясни наконец, дознался ты, что там было написано, или нет,—ответил я. До чего ж занудливы эти рассказчики, когда принимаются за свои истории! Кружат вокруг да около, тонут во всяких отступлениях и ненужных подробностях, и так без конца...

— Дознался? Да что ты!.. Ни до чего мы не дознались,—подхватил он.—Но дай я тебе расскажу. Постараюсь покороче.

Как я тебе говорил, под конец все утверждали, что видели этого загадочного типа, но ничьи описания не сходились. Устроили даже дознание насчет телеграммы, которую он отправлял, только телеграммы-то не нашли: в тот день их было отправлено четыре штуки, и все людьми хорошо известными. «Значит, это было письмо»,—заявляет тот тип, который вроде бы видел его на почте, и даже не краснеет... Людям ничего не стоит соврать... Фантазии им не занимать... А уж предположения! Чего только не домысливали! В этом деле, надо признать, все рекорды побил наш аптекарь. Знаешь, что ему взбрело в голову? Мол, эта бумага—какая-нибудь коммунистическая пропаганда, написанная наверняка по-русски, почему ее никто и не понимает. Представляешь, что загнул? Пропаганда!.. Да какая же это пропаганда, уважаемый, сказал я ему, если ее никто не понимает!.. Вот я уверен, что единственное правдоподобное предположение—следующее. Речь идет о сумасшедшем (ты меня слушаешь?), и эта бумага не значит ничего, совершенно ничего! Почему? А потому: кто, если не сумасшедший, приезжает в незнакомое село, запирается в гостиничном номере, что-то пишет, а поутру уходит украдкой, ни с кем не переговорив, оставляя никому не понятный листок?

Севериано умолк на мгновение, словно выжидая, какой эффект произведет на меня его блестящая трактовка. Ну что ж, сейчас я тебе покажу!

— Давай-ка прикинем, Севериано,—ответил я спокойненько,—разве ты не сказал, что сначала он ужинал в столовой и ему прислуживала хозяйка? И коли ему нужно было писать, что ж тут особенного, если он не хотел, чтоб ему мешал своей болтовней хозяин? Да так с любым может быть. А с другой стороны, ежели он писал, то вполне возможно, что этот листок—скорей всего, черновик—он позабыл среди остальных. И потом—с чего ты решил, что он вышел украдкой? Разве ты не говорил, что он заплатил по счету? Он же не обязан удовлетворять любопытство сеньора хозяина или свидетельствовать ему свое почтение. На мой взгляд, здесь все разумно и просто...

Я выложил ему это с изрядным хладнокровием. Но на самом деле меня слегка возмутило объяснение, которым успокаивал себя мой братец. Черт возьми! Нечего сказать, удобное решенье... Он чего-то не понимает? Так, значит, в этом и вовсе нет смысла, и готово! Как похожа на него эта леность, эта неохота, это пожимание плечами! Вот уж истинно говорят: горбатого могила исправит... В его незамысловатом объяснении целиком проявлялся все тот же Севериано, что мальчишкой послушно принимал все мои выдумки, вяло поддерживал их и лишь

посмеивался, когда я пытался хоть немного встряхнуть, расшевелить его хитроумными заданиями; все тот же, что с неизменной покорностью следовал потом указаниям дяди Руперто; тот же, что помирал от желания повидать мир, но остался в поселке и принял жизнь, которую ему подносили готовенькой... Как все удобненько!.. Меня это разозлило, потому-то я и решил разнести в пух и прах его версию. Но уж совсем я взбесился, когда, вместо того чтоб обсудить мои возражения, он, верный себе, увильнул, заметив: «И хоть некоторые спорят со мной, что, дескать, у сумасшедшего не может быть такой ясный, ровный и отработанный почерк, так это совершенная чепуха. Люди не могут представить себе умалишенных, как только вопящими в смиренных рубашках. А потом, откровенно говоря, басня о советской пропаганде кажется мне несерьезной».

— Ну, а на мой взгляд, не так уж она и нелепа,—возразил я.—Как тебе сказать, конечно же я не думаю, что речь может идти о письме на русском. Но... при всем том... Вот что; я не хочу пока высказывать мое мнение, продолжай свою историю, давай уж выкладывай до конца.

А дело в том, что мне пришла в голову вполне допустимая и даже, если хотите, блестящая мысль; нечто такое, до чего этим дурням ни в жизнь не додуматься и от чего они должны ахнуть, увидев результаты. Ибо, если все было так, как я думал, это дело могло иметь серьезные последствия и заставить долго говорить о себе все газеты. Раз за разом прокручивал я свою мысль и все больше воодушевлялся, видя, как она совершенствуется и проявляется. А ведь похвалы, коих могла удостоиться моя проницательность,—«исключительное здравомыслие этого скромного торгового агента»—были бы, по сути, незаслуженными, поскольку мысль осенила меня неожиданно и теперь словно бы сама прорастала в рассудке, так что только и оставалось отмечать про себя новые соображения—как берут на заметку заказ какого-нибудь из тех редких клиентов, которые сразу предлагают тебе выгодную поездку,—да нанизывать мысленно подробности и детали, дополнявшие мою гипотезу и придававшие ей законченность и правдоподобность.

— Да ведь мне нечего больше рассказывать,—ответил Севериано.—Мнения разделились самым невероятным образом, были бесконечные споры, даже настоящие ссоры, многие переругались и затаили друг на друга обиду, да только под конец мы знали не больше, чем в начале, точнее—ничего достоверного, потому как все это были лишь более или менее вздорные предположения.

— Ну хорошо, а бумага-то сама где?

— Бумага—она у меня. Верней сказать—у моей сестры, у Хуаниты, которой я отдал ее на сохранение до тех пор, пока кто-нибудь не прольет на это дело немного света. Но по сей день ничего подобного не случилось, и я даже, признаться, почти позабыл о ней. Но только ты помянул, что выучился языкам—черт возьми!—я сразу вспомнил и подумал, думаю: «А он, глядишь, сумеет нам помочь...» Завтра с утра я покажу тебе листок, и... там видно будет. А сейчас лучше давай спать. Поздно уже; ты, поди, изрядно устал.

Устать-то я устал; еще б тут не устать. Но у меня и сон прошел от всех этих разговоров, а мысль о листке и его возможном значении сама по себе работала в голове как заводная, знай вертелась и вертелась, вызывая то надежду, то сомнения... Словом, я уже напрочь лишился сна. И как раз теперь мой дражайший братец, захотев спать, отправлял меня, как ребенка, на боковую.

— Никак нет, сеньор, я не устал. А потом, раз уж я выбрался к тебе на денек за столько времени, что мы не виделись, не дело дрыхнуть без задних ног. Так что... продолжим нашу беседу, сеньор соня; расскажи-ка еще какие-нибудь подробности. Я тебе уже сказал, что мне пришло в голову довольно правдоподобное толкование этого случая. Сейчас я подгоняю детали, потом все тебе изложу. А пока меня интересует главным образом личность приезжего. Что до бумаги, ее мы изучим с утра, и очень уж будет странно, коли не подтвердится... Но скажи: что конкретного известно об этом человеке?

— Да ничего конкретного. Я ж тебе говорю, что его никто, по сути дела, не видел. А когда все вдруг стали выдумывать подробности, чтобы привлечь к себе внимание, то никто ни с кем не совпадал. О телеграмме я тебе говорил? Ведь целая история, и тоже не без ехидных споров. А под конец оказывается, что и телеграммы-то никакой не было. Что до водителя автобуса, так тот ничего достоверного не смог вспомнить: он ничего не заметил, никто из пассажиров не привлек его внимания; ему лишь бы они платили да выполняли установленные правила.

— Ладно. Пусть так. Но жена Антонио, она-то по крайней мере точно его видела, раз подала ужин, отвела в комнату, а потом получила плату. Или, скажешь, она все упорствует?..

— Да нет, нет; поначалу она точно не хотела рассказывать, из чистого упрямства, разозлившись на мужа. Но потом с ней поговорили серьезно, сам священник высказал ей кой-какие соображения, и бедная хозяйшюка выложила все, что знала. Но, даже заставив ее повторить рассказ тысячу раз, мы не сдвинулись с мертвой точки: это были обычные мелочи.

— Например?

— Ну, например, что она, будучи наверху, услышала, как кто-то вызывает ее снизу; что она спустилась и там увидела приезжего, с чемоданчиком в одной руке и пальто—в другой; он попросил номер, она провела его наверх, устроила в угловой комнате и тут же справилась, будет ли он ужинать; тот ответил, что да, и через минуту спустился в столовую, сел за стол и принялся читать какие-то бумаги, которые принес с собой, а она тем временем подавала ему еду, ты уже знаешь: суп, жареные яйца, немного баранины и добрую порцию айвовой мякоти; все это он рассеянно съел, увлеченный чтением, и, покончив с едой, снова удалился к себе в комнату, взяв у нее перо, чернила и бумагу... И наконец, рано утром он снова появился в кухне, уже при чемодане и пальто, узнал, что с него следует, и исчез, едва заплатив, не споря и не торгуясь. Вот и все.

— Но, помилуй, это уже действует на нервы, дьявол! Как так может быть? В гостинице что, больше никого не было? А хозяйка—ее не удивила сдержанность этого типа, или что-нибудь в его внешности, или... уж не знаю что? Я-то знаю женщин и не поверю, чтобы она не спросила его...

— Так вот, из obsługi больше никого не было (это случайность, не думай, что об этом не толковали, но ведь бывают же случайности): не было ни когда он пришел, ни когда уходил поутру. А пока он ел, прислуживала и убирала за ним сама хозяйка. Случайность, если хочешь...

— Пусть так, и все же... Не знаю... Во всем этом деле словно какое-то упорное желание нагнать на него больше таинственности, чем оно заслуживает. Этот тип, как он выглядел—молодой или старый, высокий или низкий, блондин или брюнет?

— Если по ее словам, так ни молодой ни старый, ни высокий ни низкий, ни толстый ни тощий, ни брюнет ни блондин.

— Понятно; значит, *особых примет—никаких*. И готова анкета. Одежда, конечно же, обычная. А что с яркими носками и с обувью, о которых рассказывал тот?

— Тут она мужа опровергает, говорит, это-де все напридумали. И насчет иностранного акцента тоже—мол, если б не окаянная бумажка, никто б и не подумал... Да ей-то что, лишь бы в чем уесть Антонио... Это любому ясно!

От последнего замечания хозяйки, признаюсь, у меня душа разыграла: оно подтверждало мою гипотезу. Радость просто выхлестнула меня—настолько, что я не сдержался и сказал Севериано:

— Послушай, старина, эта сеньора (и прости, что я так думаю)—единственный человек, проявивший во всем вашем

деле здравый смысл и умение рассуждать. Почему? А потому, что это ею очень верно замечено: конечно же, он не был иностранцем! Фантазии, одни фантазии. Именно так и складываются легенды: увидят бумагу, которую не под силу понять, и сразу: что бы это могло быть? — да ясно: записка на иностранном языке. А значит, и писал ее иностранец. И этого уже достаточно для того, чтоб заявить о замеченном странном произношении, необычной одежде и так далее. Но дело-то в том, любезный ты мой, что ничего подобного здесь и нет, все построено на ложной основе: записка вовсе не на иностранном языке.

— Ну конечно же, вот и я говорю: это бессмысленный набор слов, написанных рукой сумасшедшего, — ответил мне Севериано.

Нет, подумать только, ну и болван! Вот уж действительно: хоть кол на голове теши! Ну и дубина! Полная бестолочь!

— Как же, как же, бессмысленный набор слов, — рассмеялся я. Меня самого покорило от того, насколько фальшиво прозвучал в темноте мой смех; но я уже был взвинчен, да оно и понятно, не так ли? — Набор слов! — повторил я. — Да ты что, не понимаешь, что ни один псих не способен вот так запросто выдумать новые слова, которые совсем бы не походили на настоящие? Как хочешь, Севериано, — сумасшедший может искажать, смешивать, сочетать; но эти слова — сплошным текстом, одно к другому, лишённые внешне всякого значения... Не станешь же ты утверждать...

— Так, значит...

Братец мой совсем растерялся: его привела в замешательство моя резкость. Я отчетливо чувствовал, как он ошеломлен, тихий, неподвижный, парализованный, съезжившийся там, в темноте, как напуганная козявка.

— Так, значит... — смущенно пробормотал он.

— Все очень просто, — снизошел я, — это же колумбово яйцо¹. — (Правда, насчет просто... сами понимаете...). — Ну что, не догадываешься? Да ведь это зашифрованное письмо.

Слово было сказано, именно так: зашифрованное письмо. Только, видать, не очень это ясно было для его мозгов. Да оно и понятно: что мог смыслить Севериано в шифрах, кодах и прочем? В лучшем случае имел смутное представление, и разоб-

¹ Дж. Бенцони в «Истории Нового света» (1565) описывает, как Христофор Колумб в ответ на ироничное замечание, что открытие Америки оказалось не очень сложным делом, предложил собеседнику установить на столе яйцо в вертикальном положении. Когда у того не получилось, Колумб взял яйцо и сильно ударил острым концом о стол. Скорлупа смялась, и яйцо встало торчком. Выражение «колумбово яйцо» употребляется для обозначения необычного подхода к какому-либо вопросу и неожиданно простого решения.

ратся ему стоило труда. Я принялся объяснять. Для меня все это было знакомым делом, потому как в торговле порой с чем только не столкнешься... Но то ли потому, что мозги у него совсем задубели, то ли оттого, что я, с усталости и нервов, не мог изложить все четко, только под конец пришлось мне просто ему предложить: «А ну-ка, давай, зажги свет, а то я не знаю, где выключатель, и я в момент растолкую тебе все на примерах...» Он включил лампу, я вскочил с кровати и мигом достал из кармана пиджака карандаш и блокнот. Севериано молча следил за мной. Я подошел к его постели, шаткой раскладушке, и пристроился на краешке рядом с ним.

— Смотри,—сказал я,—значит, вот буквы алфавита... А, Б, В, Г, Д, Е и далее. Так вот, если каждой из них придать определенное числовое значение (например, А равно пяти, Б—восьми, В—четырем и так далее), то ты сможешь записать все, что захочешь, цифрами, и поймет твою запись лишь тот, кто знает условленное значение каждой буквы. Достаточно иметь ключ. Возьмем, к примеру, мое имя—Роке Санчес, а?

И эдак неторопливо записываю свое имя цифрами, на что этот болван заявляет мне: «Да какое отношение имеет это к словам на чужом языке?» Я поглядел на него спокойно, стараясь не показать раздражения: бедняга туповат, да разве его в том вина? И все же подобная безмозглость так меня разозлила, что я сбился, потерял нить и не смог довести до конца свое объяснение. Да и кто знает, что бы он в нем понял. Я отказался от новых примеров, которые невольно оказались бы только сложнее, и сказал:

— Ладно, это чересчур научно для того, чтобы объяснить так скоро. О чем я тебе говорю—это что записка зашифрована. В том-то все и дело: зашифрована.

— Может, оно и так,—ответил он,—но тогда я не понимаю, за каким чертом ему оставлять нам бумагу, которую никому не расшифровать?

— А вот это уже другая история!..

Я принялся расхаживать из конца в конец спальни, обходя стоявший посередине столик и стул с одеждой, в то время как он, сидя на постели, с любопытством следил за моими движениями и словами. На этот раз я убеждал его в более простой и, несомненно, верной истине: что этому субъекту, неизвестно с какой целью, требовалось отправить зашифрованное письмо, и наша записка—это черновик, затерявшийся среди других листов на столе.

— Может, и так. Хотя меня это не убеждает.—(Не убеждает!—возразил он. Каков апломб! Можно подумать, что он

хладнокровно взвесил все «за» и «против», чтобы заявить в заключение: не убеждает!) — Как можно позабыть, — настаивал он, — такую важную бумагу, что для нее даже нужно пользоваться тайным письмом?

— Да не позабыть, а затерять среди других листков. Такое очень может быть. Это могло случиться или с неосмотрительным новичком, или даже с опытным и привычным к опасности человеком.

— К опасности, говоришь? Ты, значит, думаешь, тут дело серьезное?

Наконец до этого остолопа дошло.

— Вполне возможно. И очень даже серьезное!

Я остановился. Многозначительно замолчал. В голове бродило множество мыслей, отчасти еще путаных и неясных, но зато множество! Хотя пока и туманных. Не то, что вначале, когда они всплывали сами по себе и сами выстраивались в нужном порядке. Теперь они словно высовывались в дырочку и тут же исчезали — прежде, чем я их поймаю. Я чувствовал, что появлялась какая-нибудь мысль; но лишь я собирался ее ухватить, как она уже пропадала... Севериано следил за мной, уважительно пережидая мое молчание. Прошло немало времени, прежде чем он отважился предположить:

— И, значит, не зная значения каждой буквы...

— Что-что? Ключа, что ли?

— Да, не зная ключа...

— Ладно, слушай: есть специалисты, которым удастся расшифровать тайнопись, что, как ты сам понимаешь, совсем не просто. Вот где толковый народ! А уж денег эти типы гребут... Я к тому говорю, что дело это вовсе не безнадежное, и я, например, намерен поглядеть на письмецо... Не думай, что я в этом разбираюсь, отнюдь. В торговых операциях в деловом мире, у которого столько общего с дипломатией и военной сферой, тоже пользуются шифрами, договариваясь о важных сделках, но отсюда еще очень далеко до расшифровки текстов с неизвестным ключом. И все же, братец, я отчаянно хочу поглядеть на эту бумагу. Ты своего добился — меня уже разбирает любопытство. А потому, раз мы все равно не спим, отчего бы тебе не сходить за ней прямо сейчас?

— Сейчас?

— Бог ты мой, ну конечно, сейчас! — Что за упрямое создание, что за рохля! Он даже казался напуганным, словно ему предложили невесту что-то, нечто невиданное и неслыханное! Это ж подумать только: встать с постели, пойти взять из письменного стола записку и принести ее!

— Сейчас? — повторил он. — Нет, сейчас никак нельзя.

— Да почему же?

Я спросил это, наполовину удивленный, наполовину забавляясь, остановившись у его кровати. И, скрестив руки, замер в ожидании ответа.

— Да потому что это невозможно. — Он прикрыл глаза. — Бумага, понимаешь, хранится у моей сестры, у Хуаниты.

Я настаивал. Это не причина. Не то чтобы меня действительно волновала окаянная записка, да и не в нетерпении дело, но я был уже раздражен, и в то же время мне нравилось нажимать на него, ставить в затруднительное положение, хотелось встряхнуть его, вывести из неподвижности.

— Ведь для этого не нужно ни будить ее, ни шуметь, — убеждал я его. — Не говоря о том, что в эту пору она, вероятно, уже всюю читает свои утренние молитвы. Может, и нет, конечно, но ведь тебе, главное, даже и шуметь не придется. Пойдешь, поищешь там, где она обычно хранит бумаги... Впрочем, не исключено, что она запрятала ее в какой-нибудь молитвенник...

— Это, — ответил он серьезным тоном, контрастировавшим с моим, язвительным и, признаюсь, чрезмерно издевательским (я тут же отметил, что это было лишь отражением другого контраста — между его закутанной, неподвижно склоненной фигурой и мной, возбужденным, несомненно смешным и нелепым, оттого что я бегал по комнате в нижнем белье), — это невозможно, Роке. Я бы не смог вытащить у нее загадочное послание так, как ты советуешь. Для Хуаниты это не пустяк — она очень расстроилась бы, узнав, что я рыскал в ее вещах и забрал... Вот треклятая записка, сколько из-за нее всем хлопот!

Слова эти, произнесенные, как я сказал, серьезным и даже несчастным, почти скорбным тоном, переменили направление разговора. Я снова залез в постель (я уже замерзал) и укрылся до половины, готовый внимательно выслушать откровения, прологом которых звучало подобное вступление. И действительно, он тут же поведал мне все споры и даже ссоры в доме, причиной которых стало зашифрованное письмо. Первой не выдержала Агеда, которой надоело шатание взад и вперед, склоки, дразги и грызня, вызванные бумагой; в доме проходу не было от посторонних (еще бы — хранителем-то был он, и ему приходилось терпеть назойливость всех желающих взглянуть на письмо и погочить лясы), так что Агеда, с ее-то вспыльчивостью и раздражительностью... Иногда, правда, — хоть она и не признавалась — любопытство брало верх, и она, проходя мимо, заглядывала украдкой через его плечо, когда он изучал в одиночестве

злополучные письма. И Севериано, ища ее расположения, пользовался этим, чтобы предложить ей: «Агеда, а ну глянь ты — как тебе покажется?..», но она не давала себя ввязывать и ускользала, бросая ему что-нибудь навроде: «Оставь меня со своими глупостями, мне некогда терять время на подобную ерунду». И только раз она взяла бумагу в руки, и то, чтобы швырнуть ее тут же на стол, пренебрежительно фыркнув.

— Между тем,— продолжал рассказ Севериано,— вторая, Хуанита, всегда молчала и не вмешивалась в разговоры, далекая, казалось, от всего, но не пропускала ни словечка, когда говорили на эту тему... пока однажды не ошарашила меня таким невероятным вопросом: «Севериано, когда ты собираешься отдать мне послание?» Ей-богу, вначале я даже не понял толком, о чем это она; поглядел на нее с удивлением и решил не обращать особенно внимания; с тех пор как она стала законченной старой девой и ударилась в благочестие, она тешит свое воображение бредовыми фантазиями и обожает повторять такие слова, как *послание, миссия, заклание*... Но она, черт возьми, имела в виду записку! «Какое послание?» — «То самое. Когда ты его мне отдашь?» Лезу в папку, где оно у меня лежало, достаю и протягиваю ей. Она тут же хватает его, проглядывает со страстным выражением, появившимся у нее в последнее время, бросает на меня беспокойный взгляд... и исчезает; да, исчезает, унося бумагу в свою комнату и оставляя меня с носом. Я остолбенел, словно столкнулся с призраком, не зная, что и сказать. Да и что тут было говорить? Перед абсурдом человек беспомощен. В вещах нормальных, обычных прекрасно знаешь, что делать: тут ты в своем мире, стоишь на твердой почве реальности, здесь каждая вещь есть то, что она есть, и ничего больше, у нее своя оболочка, объем, вес и форма, температура и цвет, и она спокойно ждет на своем месте, пока тебе не вздумается переставить ее куда-нибудь. Но вдруг начинаешь замечать, что уже не стоишь ногами на твердой почве, хочешь коснуться чего-то и там, где думал наткнуться на поверхность, не находишь ее; то, что ты считал горячим, оказывается холодным, мягкое оборачивается упругим, тянешь руку, чтоб схватить какую-то вещь, а она ускользает... И тогда уже не знаешь, что тебе делать... И ничего не делаешь! Стоишь как в столбняке. Именно это со мной тогда и случилось, да и сейчас продолжается. Ей-богу, порой мою сестру вообще не понять; я даже спрашиваю себя: «Неужели это моя Хуанита?» Короче: она забрала бумагу, и та по сей день у нее! Когда я снова ее увидел, спросил осторожненько: «Хуанита, значит, это будет у тебя?» «Что — это?» — «Как что? Бумажка». А она мне: «Естественно!» Как тебе —

«естественно»?! Раза два или три потом я пытался забросить удочку, спрашивал, например, ее мнение о записке, но она только смотрела на меня, то с насмешкой, то с раздражением, и ничего не отвечала. Не устраивать же было тарарам по такому поводу...

— Теперь ясно,—сказал я тогда своему братцу,—теперь понятно, почему ты не хочешь сейчас же сходить за ней: ты просто боишься свою сестру. Что ж, надо было так и говорить!

— Да не в страхе дело, а в уважении,—возразил он, краснея, уж не знаю—от стыда или обиды: что-то ведь должно было остаться в нем от бывшего самолюбия, да и я, откровенно говоря, слегка перегнул: какое я имел право... А кроме того, что мне-то до этой дурацкой деревенской истории?! Да ничего! Но все дело в том, что, когда ты уже взвинчен, поддаешься на любую глупость. Тут Севериано прав: от абсурда человек теряет голову, он притягивает, как пропасть. Я сам поражаюсь нетерпению, которое меня охватило; так жаждал увидеть послание, что был уверен: не успокоюсь, пока не подержу в руках. Боялся—именно так: боялся!—что мне придется уехать, так и не увидав его, и даже решил завладеть им, пусть хоть в последнюю минуту, и увезти; уж потом бы я вернул бумагу братцу заказным письмом, коли он за нее так держится. Но вдруг пора уже будет на поезд, а я, со всем этим хождением вокруг да около, так еще и не увижу записку? Я порешил, коль придется, пропустить поезд в шесть тридцать пять и уехать одиннадцатичасовым, несмотря на все неудобство, невыгодность и даже—кто знает?—неприятности, которые это могло принести. Потому как подобное опоздание на несколько часов могло всерьез спутать мне карты. Я не рассказывал Севериано этих деталей (да и какое ему дело до них!), но суть в том, что управляющий «Мелеро и К°» назначил мне встречу в дирекции «Фабриль Манчег», чтобы решить наконец вопрос о недобросовестных поставках; речь шла о том, чтоб захватить этих молодчиков врасплох и провести хорошо скомбинированную атаку, делая вид, что мы совпали случайно: он должен был прибыть на своей машине, а я—вроде как проездом, с обычным визитом; короче, целая история, и если б я оставил его в дураках... А он вовсе не какой-нибудь кичливый хам, чтобы сыграть с ним подобную шутку! Ведь именно для удобства его дела я устроил все так, чтобы провести эту лишнюю ночь в доме брата, которого к тому же я так хотел повидать... Но теперь этот приезд грозил мне серьезными осложнениями, поскольку невероятно, но я уже чувствовал крайнюю потребность увидеть чертову записку и даже склонен был ехать одиннадцатичасовым поездом, к чему бы оно ни привело. К счастью, этого не потребовалось.

— Ладно, Севериано, прости; с тобой уж и пошутить нель-

зя,—сказал я, чтобы сгладить скверное впечатление от моей неумеренной иронии.—Но в любом случае Хуана ведь встает рано, не так ли? Сдается мне, не надо бы нам ложиться—не дай бог, она уйдет к службе, и мы останемся...

— Не беспокойся, Роке, ведь еще глухая ночь,—ответил мне, умиротворенный, этот добряк.

— Ну что ты; спорю, уже светает,—уперся я.

— Да где там, и в помине нету.

— Говорят тебе; вон уже телеги слышны...

Слышно было, как проезжают телеги: снаружи доносился скрип осей, поступь мулов, иногда—щелканье бича, брань...

— Эти телеги выезжают задолго до солнца.

Между тем я поднялся и подошел к балкону, открыл створку: так и есть, глухая ночь. Но по селу разносилось все больше звуков—пение петухов, лай... Неужели Севериано, на протяжении всей ночи не дававший мне заснуть своей bestолковой историей, сам собирался еще спать? А он лежал не шелохнувшись: повернулся лицом к стене и даже не двинется. Только если он надеется, что я погашу свет... Я встал посмотреть на часы, лежавшие в кармане жилетки, висевшей на спинке стула вместе с другой моей одеждой: всего лишь полпятого! «Севериано, уже без двадцати пяти пять,—окликнул я его.—Вставай, лентяй, пойдем!»

Он, зевая, поднялся. А все ж таки он добряк, этот бедняга. Я добавил: «Думаю, твоя сестра вот-вот выйдет из комнаты». Он улыбнулся приветливо и грустно, согласился: «Да, и, может, мы наконец избавимся от этой загадки».

Эх, Севериано... Как сказывались в эту минуту его годы: редкие, всклокоченные белесые волосы; а уши-то!.. Он показался мне совсем старым—старик стариком. Я подошел к умывальнику и посмотрелся в зеркало: как же выматывает бессонная ночь, да еще после целого дня в дороге! И ведь сколько лет меня уже носит по свету, черт возьми! Но стоит побриться, умыться, причесаться—и ты как новенький! Я принялся намыливать лицо, пока он потягивался, разводя руки в стороны. Вскоре мы убедились, насколько я был прав: едва мы вышли из комнаты (Севериано потребовалось на сборы меньше времени, чем я боялся), как столкнулись с Хуанитой, намеревавшейся уже улизнуть и слегка опешившей при встрече с нами у дверей столовой, куда мы направлялись в поисках чего-нибудь съестного. Она посмотрела на меня так, словно не узнала или не припомнила, и я в свою очередь подметил в ней что-то странное: нечто лишнее, нелепое и даже комичное в торжественности ее черной накидки, в жесте затянутой в перчатку руки, державшей книгу и четки.

Это была все та же Хуанита, но наряженная богомольной старухой... Севериано остановил ее:

— Вот хорошо, что ты еще не ушла (но как же ты рано встаешь, однако!). Послушай, знаешь, что нам нужно?

— Не мешало бы поздороваться.

— Знаешь, что нам нужно?

— Да, знаю,—неожиданно ответила она.—Знаю!

Она стояла спиной к двери, немного скованно, с опущенными руками, и мне показалось, что голос ее, слишком торопливый, от напряжения дрожал в бесцветных губах.

Я глянул на Севериано. Он тоже был бледен.

— Знаешь?—переспросил он, моргая. И добавил с улыбкой (жалкой, вымученно радостной улыбкой):—Да ты, наверное, думаешь, что мы попросим у тебя завтрак?

— Ты попросишь у меня послание,—не колеблясь, ответила она и замолчала.

Севериано моргал так, словно ему что-то попало в глаз. Уверенный, что теперь он рта не откроет, и стремясь отрезать ему пути к отступлению, я спросил:

— Как ты угадала, сестричка?

Хуанита скривила губы в какой-то потешной гримасе, но тут же снова стала серьезной, старой; потом испустила вздох; потом сглотнула слюну... Севериано, думаю, был в ужасе от ее молчания. Я вновь почувствовал, что мне нужно вмешаться.

— Так ты, сестричка, дашь нам его?

Но произнес я это с каким-то даже чувством неловкости. Пугливость Севериано передалась и мне, и я говорил теперь с некоторой робостью, что, с другой стороны, вполне объяснимо, если принять во внимание более чем странное поведение Хуаниты. Все же я повторил:

— Ты отдашь нам его?

Хуана с мольбой подняла глаза к потолку и, обращаясь не ко мне, а к брату, с горечью упрекнула:

— И ты решился на это! На подобную подлость! А ведь я знала! Я была уверена, что ты воспользуешься первой же возможностью... Наедине со мной, лицом к лицу и без свидетелей, ты бы не осмелился... Но всегда, лишь только ты бросал намек или пялился на меня с желанием что-то сказать и уж особенно когда я заставляла тебя (потому что верь или нет, но я заставляла тебя не раз) кружащим вокруг моих бумаг, я уже знала и была вполне уверена, что, едва тебе представится возможность, ты не упустишь случая нанести мне подобный удар. И возможность представилась—приезд Роке... Если только ты сам, как мне сдается, не вызвал его на подмогу; иначе чем объяснить его

приезд именно теперь, неожиданно-негаданно, когда он столько лет даже имени нашего не вспоминал!.. Но это тебе не поможет. Нет уж! Я теперь не та, что была! Со мной у тебя это не пройдет! Нет, нет...

Она распрямилась, произнося эту невразумительную тираду, ее впалые щеки окрасились притворным румянцем, обшитый агатами лиф колыхался от тревоги и гнева... Севериано казался уничтоженным этим взрывом. Уничтоженным, но—на мой взгляд—не очень-то удивленным. Кто был изумлен, так это я, и настолько, что даже не знал, что сказать (да-да, признаюсь, не знал, что сказать; а чтоб я не нашел слов...). А эта фурия никак не могла остановиться. Причем распяляла себя сама, никто ей больше повода не давал (Севериано, несчастный, даже не шелохнулся, а что до меня, повторяю, я совсем обалдел и не знал, что сказать), рвала и метала и знай накручивала одну нелепицу на другую без конца и без края. Отведя душу, Хуана наконец умолкла; казалось, она готова удариться в слезы: подбородок ее задрожал, глаза потухли; страдая от оскорбления, она пробормотала, всхлипывая, что мы, коль нам угодно, можем осмотреть ее бумаги. И, вновь приходя в бешенство, заключила:

— Держите, вот вам ключ от ящика, чтоб не взламывать стол; ройтесь, крушите, можете все там разнести, ни перед чем не останавливайтесь, чего вам бояться?!

Она швырнула ключик на стол и умчалась к мессе с таким видом, словно в ней сам черт сидел.

— Нет, ты видел?—воскликнул, оробевший и пристыженный, мой братец, когда мы остались одни.

— Да что все это значит?—только и смог произнести я.

Ничего все это не значило. Я убедился, что никакой неизвестной мне подоплеки здесь не было, удостоверился, что Севериано ни в чем меня не обманывал и ничего не скрыл, стоило на него поглядеть, униженного, несчастного, с помятой от бессонной ночи физиономией и собачьим взглядом. Не могу сказать, считал ли он, что его сестра тронулась умом, но в чем я не сомневаюсь, так это что он, бедняга, был жертвой ее капризов и держала она его под каблуком.

— Ну так вот, знаешь, что я тебе скажу?—спросил я его, когда мы покончили с восклицаниями вроде «Какой ужас!», «Поверить трудно!» и тому подобных.—Знаешь, что я тебе скажу, Севериано? Мы сейчас же пойдем и осмотрим ее стол.

Мне казалось, что сделать так было моим долгом. Во-первых, эта женщина не в своем уме, и кто знает, что еще—вплоть до оружия—могла она держать под ключом. За всем этим—не так ли?—скрывалась настоящая опасность. А кроме того, разве не

она сама сказала, позволила нам, пусть даже в приступе гнева? Без меня Севериано никогда бы не решился на это. И осталась бы пресловутая бумажка *per saecula saeculorum*¹ под охраной этого домашнего дракона... Братец встретил мое предложение удивленным взглядом, но не стал упираться, когда я повторил: «Ну пойдём!..» С ним главное — держаться порешительней. Он лишь попросил немного встревоженно: «Только осторожнее, без шума, не дай бог, Агеда проснется».

Я взял ключ, и он на цыпочках провел меня в комнату Хуаниты — обычную комнату старой девы, с закрытыми окнами, еще хранящую ночные запахи. Я раскрыл ставни — уже светало — и, оглядевшись, направился к небольшому бюро, стоявшему под крашеным позолотой гипсовым барельефом Девы. Вставляю ключ в замок (осквернение тайны, сеньоры!), открываю... и — ничего! Похоже на глупый розыгрыш, на дурную шутку, но в столе не было ничего — ни в боковых ящичках, ни в остальных отделениях... как есть ничего! К моему собственному удивлению, должен признаться, я понял, что взвинчен до предела: сердце обмирало, в горле застрял ком. Я стоял перед бюро и не знал, что мне делать. Поглядел на Севериано, но его лицо ничего не выражало, сохраняя прежний грустный и безразличный вид. «Что скажешь на это?» — спросил я. «А что тут говорить?» В голосе его чувствовалось какое-то неприятие, некая ироничная уклончивость, казалось, он слегка посмеивается надо мной, но на этот раз его безучастие не задело меня — настолько я был сбит с толку. Признаюсь, я задыхался, я был потрясен, смущен, что, впрочем, вполне понятно после бессонной ночи и волнения от встречи со своим поселком и близкими, с которыми ты рос, — такое выбивает из колеи после рутины гостиничной жизни и всегда одних и тех же разговоров, заполняющих поездки разъездного агента... Все же я еще спросил Севериано: «Так что будем делать?» «А что тут сделаешь?» И я уже не стал настаивать на том, чтоб обыскать всю комнату, и не потому, что мне это не приходило в голову (я с удовольствием перевернул бы все, что там было, — стулья, одежду, картины), а из сочувствия к брату и даже, пожалуй, от скуки. Мое возбуждение перешло в отвращение, в желание сбежать.

Я поглядел на часы. Сказал: «Я еще вполне успею на поезд в шесть тридцать пять». «Да, конечно, успеешь. — (Уже не терпится меня спроводить, а?) — Вполне успеваешь, у тебя даже есть время спокойно перекусить, — подтвердил Севериано, но все же добавил: — Но завтракать лучше пойти в бар к Бельидо Гомесу».

¹ На веки вечные (лат.).

— Нет, завтрак я могу приготовить вам в два счета.

Мы обернулись: в дверях стояла Агедда, с заплетенными в косы жирными волосами.

— Спасибо, сестричка, спасибо. Но лучше распростимся сейчас. Мы перекусим в баре, а оттуда я сразу на поезд. Очень некстати было бы опоздать на него, я, кажется, уже говорил Севериано об этом.

Так мы и сделали. Севериано вышел со мной, мы позавтракали в баре, а потом он проводил меня до поезда. «Когда теперь заедешь, Рокете; не откладывай, не то, гляди, опять пройдет восемь или десять лет прежде чем ты вспомнишь о нас!» — «Не беспокойся!»

Там он и остался, дурак дураком, с поднятой рукой. Так почему же взволновала и до сих пор не дает мне покоя эта бредовая история с письмом? Ведь я даже не уверен, не привиделась ли мне она.

Тахо



— И что его понесло на солнцепек? — услышал он за спиной зевающий, ленивый голос капитана.

Лейтенант Сантолаля не ответил, не обернулся. Стоя в проеме двери, он оглядывал поле; взгляд его добежал до расположенных напротив холмов, где на безмолвных высотах окопался противник; потом, опустившись, задержался на мгновение на ярком пятне виноградника; вслед за тем лейтенант медленно, небрежной походкой зашагал от командного пункта — сложенного из необожженных кирпичей домишки, почти хибары, где ротные офицеры коротали время за игрой в карты.

Едва он отошел от двери, его настиг звучный, отчетливый голос капитана, который прокричал ему изнутри:

— Захвати и для нас гроздь!

Сантолаля не ответил: шутка уже приелась. Невесть сколько времени торчали они на этом месте: Арагонский фронт не двигался, не получал ни подкреплений, ни приказов, словно о нем позабыли. Война шла в других районах, только не здесь; в их секторе никогда ничего не происходило. Лишь по утрам стороны обменивались несколькими выстрелами — своего рода приветствие противнику, — а без этого можно было подумать, что и вовсе нет никого за тем краем безмятежного пустынного поля.

Полушутя поговаривали иногда о том, чтоб устроить футбольный матч с красными: синие против красных. Зубоскальство, конечно; тем для разговоров было не густо, да и карты, в конце концов, надоедали... В часы полуденного затишья и ночью, тайком, многие отдалялись от своих рубежей; некоторые, случалось, переходили к противнику или исчезали, попадали в плен; а теперь, в августе, к скудным развлечениям прибавилось новое искушение — виноградники. Прямо между позициями, в низине, простирался заброшенный, но живописный виноградник, край которого, зеленым пятном проступавший на фоне сухой земли, был виден с командного пункта.

Лейтенант Сантоалья спустился с крутого склона по длинной отвесной тропе, потом свернул и зашагал в сторону — дорогу он уже знал и мог бы проделать весь путь с закрытыми глазами, — дошел наконец до виноградника и медленно углубился в живую стену разросшейся лозы. Напевая, посвистывая, он рассеянно шагал по твердой земле, опустив голову, давя ногами сухие листья и ветки, срывая по одной самые спелые виноградины, когда неожиданно — «Ч-черт!» — вблизи, прямо перед ним, выросла какая-то масса. Это — и как он не разглядел его раньше! — оказался милисиано, приподнявшийся с колен и стоявший теперь, к счастью, вполоборота, с закинутой за спину винтовкой. Перепуганный Сантоалья едва-едва успел выхватить пистолет и прицелиться; когда солдат обернулся, лейтенант уже держал его на мушке. Только что безмятежное лицо перекосилось. «Нет, нет!» — удалось лишь произнести милисиано, как он уже сгибался, прижав к животу руки и валясь ничком наземь... На высотах, с обеих сторон, слепые в полуденном зное, защелкали винтовки, отвечая тревожно двум пистолетным выстрелам в низине. Сантоалья склонился над упавшим, достал из его кармана бумажник, подобрал свалившуюся с плеча винтовку и не спеша — выстрелы уже редели — вернулся на свои позиции. Капитан, второй лейтенант и все остальные поджидали его перед командным пунктом и приветствовали ликующими криками, увидев живым и невредимым, разве что немного бледным, с винтовкой в одной руке и бумажником — в другой.

Потом, усевшись на чью-то койку, лейтенант рассказал им случившееся; говорил неторопливо, нарочито замедленно. Бумажник он бросил на стол, винтовку поставил в угол. Бойцы тут же столпились вокруг винтовки, а капитан нехотя взял бумаги; второй лейтенант тоже поглядывал через его плечо на документы милисиано.

— Слушай, — сказал чуть погодя капитан, обращаясь к Сантоалье, — слушай: а ты, кажется, подстрелил кролика из своих

краев. Ты ведь из Толедо? — и протянул ему профсоюзный билет со всеми личными данными и фотографией.

Сантоалья боязливо взглянул на снимок: эта самодовольно расплывшаяся в улыбке физиономия, в лихо заломленной набекрень пилотке, с торчащими с другой стороны вихрами, неужели это то же перекошенное лицо — «Нет, нет!», — что всего какой-то час тому назад взглянуло в глаза смерти?

Это был снимок Анастасио Лопеса Рубиелоса, родившегося в Толедо 23 декабря 1919, члена профсоюза смешанных профессий ВСТ¹. Смешанных? Какая же профессия могла быть у этого любителя винограда?

Несколько дней — и немало — удостоверение пролежало на столе командного пункта. Поначалу, заходя внутрь, все, включая и солдат, приносивших офицерам суточные пайки хлеба, раскрывали и рассматривали его; рассеянно болтая, крутили в руках и снова оставляли лежать до прихода другого бездельника. А потом на него уже просто не обращали внимания. И в один прекрасный день капитан вручил документ лейтенанту Сантоалье.

— Вот, держи портрет своего земляка, — сказал он ему. — Можешь сохранить на память, можешь выкинуть, делай с ним что хочешь.

Сантоалья двумя пальцами взял удостоверение за корешок, мгновение поколебался и в конечном счете решил схоронить его в собственном бумажнике. И поскольку в те же дни был убран и труп из виноградника, случай этот наконец забылся, к великому облегчению лейтенанта. Ибо Сантоалье, при его-то замкнутости, пришлось перенести немало низкопробных шуток и намеков по поводу своего подвига с тех пор, как ветер порывами стал доносить снизу смрад разложения и всеобщая симпатия и даже восхищение первых дней уступили незамедлительно место идиотским шуткам, выставлявшим его неуклюжим и невезучим типом, чудаком и бедолагой, чье похождение не могло не казаться смешным и лишь заставляло всех попрекать его учиненным зловонием; но так как запах этот уже становился невыносимым и, в зависимости от ветра, доставалось от него обеим сторонам, решено было заключить перемирие с противником, чтобы отряд милисиано мог открыто забрать и похоронить останки своего товарища.

Таким образом, вонь прекратилась, Сантоалья убрал документы убитого в свой бумажник, и никто уже больше не вспоминал об этом случае.

¹ Всеобщий союз трудящихся: профсоюзное объединение рабочего класса, тесно связанное с Испанской социалистической рабочей партией.

Таким было его единственное запоминающееся происшествие за всю войну. Случилось оно осенью 1938-го, когда Сантоалья вот уже целый год служил лейтенантом все в том же секторе Арагонского фронта—тихом, занятом слабыми, плохо вооруженными частями, безынициативными и небоеспособными. Кампания уже приближалась к концу; совсем недолго оставалось до того дня, когда, ко всеобщей—от капитана до последнего солдата—тревоге, их рота получила приказ наступать, но никого не обнаружила перед собой: противник уже не существовал. Так что война прошла для Сантоальи без горестей и торжеств, если не считать этого эпизода, сочтенного всеми пустячным и даже—сколь ни нелепо—забавным и вскоре забытого.

Но он не забыл; хотел бы забыть, да не смог. После этого случая жизнь на передовой, пустая, заполненная лишь ожиданием и скукой, вызывавшая порой отвращение, начала становиться для него просто невыносимой. Он был сыт по горло и, откровенно говоря, даже чувствовал стыд. В самом начале, только вступив в армию, Сантоалья принял свое назначение с радостью: слишком много ужасов пришлось ему повидать в первые месяцы войны в Мадриде и в Толедо. И когда он очутился вдруг посреди безмятежности полевых просторов и обнаружил, вопреки ожиданиям, что дисциплина в действующей армии куда невзыскательней казарменной рутины, знакомой со времени срочной службы, да и опасность не больше, когда сблизился с товарищами по оружию и ознакомился с должностными обязанностями, то почувствовал себя словно переполненным какой-то пленительной расслабленностью.

Капитан Молина, офицер запаса, как и он сам, оказался неплохим человеком; да и другой лейтенант тоже; все они были заурядными людьми, всяк, разумеется, со своими особенностями, своими слабостями и странностями, но людьми славными! По-видимому, какая-нибудь сила, влияние, известная рекомендация порадели в прошлом за каждого из них, дабы способствовать столь удачному назначению, но об этом, понятно, не говорилось. Исполняли обязанности, резались в карты, обсуждали военные новости и сплетни да жаловались беспрестанно: летом—на жару, зимой—на холод. Вульгарные шутки, всегда неизменные, одни лишь давали выход их радости и раздражению...

Сантоалья, старавшийся не очень отличаться от остальных, пошел все же способ обособиться; ему не удалось избежать репутации странного типа, но именно благодаря ей сумел он

добыть себе немного уединения: в жару ли, в снег ему нравилось бродить по полям, в то время как прочие мусолили карты; он брался за чужие обязанности, обегал траншеи, посты, дышал во всю грудь свежим воздухом, лишь бы быть подальше от душной, провонявшей табаком хибары. И тогда, в умиротворенности этого неторопливого существования, невообразимо далекие, вновь возвращались к нему сумятица и тревоги последних месяцев в Мадриде, разгул и психоз, которые он наблюдал, когда старался, как мог, подбодрить мать, подавленную среди всеобщего кипения героизма и подлости беспокойством за своего зятя, известного фалангиста, и дочь, Исабель, скрывшуюся с ним; а сверх того, не давала покоя матери мысль о том, как бы не случилось чего в Толедо с упрямым и неосмотрительным стариком... Потому что дед не сдвинулся с места, наотрез отказался покинуть дом. И конечно же, именно ему, внуку, единственному молодому в семье, выпало ехать за дедом. «Хоть силой, но вывези его оттуда, сынок», — напутствовали его. Легко сказать! Возбужденный, старый, упрямый, дед не соглашался ни за что отдалиться от Алькасара, за стенами которого хотел и должен был, по его словам, находиться; тщетными оказались все уговоры вспомнить, наконец, о преклонном возрасте и покинуть встревоженный город, где каждая собака знала его взгляды, выходки и звание генерала запаса и где, помимо всего прочего, подвергался он наравне со всеми опасности попасть в неразберихе борьбы под шальную пулю в какой-нибудь уличной перестрелке, когда никто и не знал достоверно, кто был своим, а кто — чужим, и народная ярость, отвага, страсть и гнев обламывали себе зубы и срывали ногти о неколебимые камни крепости. Так, в спорах, и застал деда и внука конец борьбы: в Толедо ворвались мавры, осажденные вышли из Алькасара, старик скакал от радости как дитя, а он, Педро Сантолалья, чувствуя себя задетым, что-то недопонимающим, не заботясь более о том, чтобы сдерживать его нелепые ребяческие выходки, наблюдал, потрясенный, расправу и резню... Спустя немного времени он вступил в армию и был направлен лейтенантом на Арагонский фронт, безмятежность которого заставляла его минутами чувствовать себя почти счастливым.

Он не хотел признаваться и все же вполне отдавал себе отчет в том, что, вопреки разлуке с семьей — с родителями, мыкающими горе в осажденном, обстреливаемом и голодающем Мадриде; с невестой где скрывавшейся сестрой; с дедом, одиноким и старым, — вопреки разделявшему их расстоянию, здесь, посреди незнакомого доселе ландшафта и в окружении безразличных ему людей, к нему снова возвращалась счастливая беззаботность детства, незамутненное дыхание того времени, когда, свободный

от какой-либо ответственности, движущийся по неизменному, но не обременительному кругу жизни, мог он еще дышать полной грудью, смаковать каждый миг, наслаждаться свежестью каждого утра и щедро, не считая, тратить отпущенные ему дни... Это было как вернувшиеся из детства каникулы, разве только немного грустнее, и, наслаждаясь полученной свободой, он бродил, срывая походя травинки, перетирая их между пальцами, или гонял по гибкому стебельку блестящего жучка, пока тот, добравшись до верха, не начинал спускаться или расправлял крылышки и исчезал; либо замирал, следя глазами за полетом двух далеких орлов, парящих выше самых высоких гор, и приходил в такое восхищение, что вздрагивал от неожиданности, если кто-нибудь, приятель или солдат, возникал рядом. Эти странные каникулы в разгар войны возрождали в его праздном уме воспоминания, эпизоды детства, связанные с настоящим каким-то непонятным и скрытым сходством: ароматом, порывом свежего ветра и солнцем, звонкой тишиной полудня; эпизоды, о которых он, разумеется, и не вспоминал с тех пор, как, закончив Толедский институт, отправился продолжать образование в Мадридский университет и целиком погрузился в мужские заботы, переживания и проекты. Далекий и чистый мир их толедского дома, их имения, мир, к которому позже стал он таким невнимательным, обрывками возвращался теперь к нему: он видел себя (но видел отстраненно, извне, словно глядя на снимок) ребенком, в коротеньких штанишках и матроске, гоняющим обруч мимо цветочных горшков в патио либо идущим в воскресенье с дедом полакомиться горячим шоколадом или мороженым, смотря по времени года, в кафе у Сокодовера, где официант с салфеткой на сгибе руки подолгу и безмолвно ожидал дедушкиных распоряжений и, благодаря за чаевые, называл его полковником; вспоминал, как, изнывая от скуки, читал газету отцу, не понимая ни словечка в галиматье непроизносимых имен и незнакомых слов, в то время как тот брился, умывался, тер уши и голову полотенцем; видел себя играющим со своей собакой Чиспой, которую он научил нападать подобно быку, чтобы играть с ней в тореро... Иногда воспоминания наплывали слабым, едва ощутимым отзвуком некогда, по-видимому, ярчайших, пронзительных впечатлений: луч солнца на веках прикрытых глаз; прелесть цветов — гиацинтов и гибких веток сирени, — к которым приходили они с матерью в сад, тихими восторженными голосами окликая друг друга: «Мама, иди посмотри — помнишь, этот бутон вчера еще был нераскрытым?» — и она подходила и любовалась... Подобные картины, более или менее полные, вставали теперь в его памяти. Вспоминалось, например, как дед, сложив около тарелки газету и

утерев салфеткой под усами тонкие насмешливые губы, говорил, обращаясь к отцу: «А твои обожаемые французишки (было это в годы мировой войны), похоже, и головы не кажут из траншей», — замолкал на мгновение, чтобы бросить на сына, старательно чистившего апельсин, язвительный взгляд, потом добавлял: «А вчера они превзошли самих себя в искусстве стратегического отступления...» Со своего места он, Педрито, следил за тем, как отец, терзаемый дедом, совершенствовал свою работу, с показным спокойствием очищая фрукт от кожицы, примериваясь — с легким дрожанием век за стеклами очков — разделить сочные дольки ухоженными ногтями. Он ничего не отвечал; лишь иногда угрюмо откликался: «Да?» И дед, флегматично наблюдавший за ним, снова принимался за свое: «А ты сегодня не читал газету?», и не отступался, пока тот не взрывался и, агрессивный, раздраженный, нервный, пускался в многословные рассуждения о германском варварстве, о цивилизации в опасности, о человечестве, о культуре и тому подобном, сопровождая нередко свои слова ударами кулака по столу. «Вечно одно и то же», — бормотала недовольно мать, не глядя ни на мужа, ни на свекра из опасения, что глаза выдадут ее раздражение. И дети, Исабелита и он сам, наблюдали испуганно за очередным, привычным уже, турниром между старшими: отцом — вспыльчивым, сосредоточенным, сдержанным — и дедом — язвительным, уверенным в себе, чьи речи воодушевляли его, Педрито, потому что он тоже считал себя германофилом и украдкой, на улице и даже в школе, цеплял напояк на грудь обожаемый значок с цветами немецкого флага, хотя предусмотрительно прятал его в карман каждый раз, когда со стопкой книг под мышкой подходил к дверям своего дома. Да, подобно большинству сверстников, он был неистовым германофилом и в час обеда следил, затаив дыхание, за спорами между дедом и отцом, рукоплеща в душе остроумной диалектике первого и сожалея о досадном заблуждении второго, которого хотелось бы ему видеть переубежденным. Каждый такой разговор подогревал в нем энтузиазм, и только мать иногда зарождала в нем сомнения, когда наедине, выговаривая ему ласково за увлечения и «глупости сопляка» — значок его, по доносу или случайности, был обнаружен, — поучала, мягко и нежно, тому, как следует относиться детям к подобным вопросам, не забывая мимоходом уколоть за выходки и деда, «к которому, как ты сам понимаешь, отец не может отнести непочтительно, хотя по старости тот и становится порою несносным», и упомянуть о зверствах, совершаемых немцами, — казни заложников, разрушения и тому подобное, чем полны были тогда газеты. «Этого, сынок, нельзя оправдать ничем на свете!» Голос матери звучал

ласково, без жесткости, и это не могло не действовать на него. «А ты? — полупрезрительно, полуглумливо спрашивал он позже у сестры. — А ты — франкофилка или германофилка?.. Наверное, франкофилка: женщинам идет быть франкофилками». Исабелита не отвечала; ее утомляли домашние споры. А мать — случайно подслушал однажды Педрито — просила отца «во что бы то ни стало» прекратить постоянные сцены «за столом, в присутствии детей и прислуги; до чего же отвратительное зрелище». «Но чего же ты хочешь от меня? — ответил тогда отец раздраженным тоном. — Ведь это не я, это он не знает удержу... Мало ему трепать языком в кругу своих старикашек?! Почему он меня не оставит в покое? Они, вояки, обожают Германию и тупицу кайзера, а сами-то ни на что не годны. Еще, куда ни шло, можно говорить об успехах немецкой армии, но посмотрели бы на себя: провал за провалом — Куба, Филиппины, Марокко!» Отец вовсю отводил душу, а он, Педрито, тайком, по случайности, подслушивавший разговор, чувствовал растерянность. Таков уж был отец: или отмалчивался, или взрывался, переходил черту, и тогда его было не остановить. Мать зато была всегда тактична, обладала безошибочным чувством меры и здравым смыслом и умела ненароочно подсказать ему, несмышленишу, верный взгляд на действительность, такую подчас жестокою и непостижимую. Сколько — семь? пять? — лет было ему, когда однажды прибежал он к ней, негодующий, с известием о том, что муж их домашней прачки напился, устроил драку и исколотил свою жену? — и мать сначала расспросила его — спокойный тон ее вопросов охладил лихорадочное возбуждение детского рассказа, — как и от кого узнал об этом он, пообещав затем вмешаться, лишь только закончит причесываться. Тщательно зашпиливая заколками волосы, стоя перед каминным зеркалом и наблюдая в него искоса за реакцией сына, она тоном и самым значением своих осуждающих слов дала понять, что случай этот, хотя и достойный сожаления, не был все же таким поразительным и чрезвычайным, как ему казалось, а скорее, к несчастью, слишком уж обычным делом среди бедных и неграмотных людей. Коли мужчина, получив недельную плату, выпивает в субботу несколько рюмок, а бедняжка жена, распалившись, принимается его поносить, то понятно, что вино и отсутствие воспитания приводят нередко к побоям. «Но, мама, бедная Рита...» Он думал об обиженной женщине, жалел ее, а главное, был возмущен животным поведением мужчины, которого едва знал в лицо. Избить ее! Да где же это видано?.. Зайдя проведать Риту, он увидел ее склоненной, как всегда, над раковиной, но не решился с ней заговорить. «Ну, все, иду, — сказала наконец мать. — Она у себя?» — «Она внизу,

стирает. Нам придется их разлучить, да, мама?...» Когда, минутой позже, стоя за спиной матери, услышал вдруг Сантоалья, что, жалуясь на побои, готова бедная женщина покорно простить обидчика, то почувствовал, как жажда возмездия и гнев отступают в нем перед нахлынувшим презрением, и даже счел излишними попытки матери призвать пьяницу к ответу, изобличить его и припугнуть расплатой.

А в другой раз... Но хватит! Ныне все это представлялось ему ярко и отчетливо, очень живо, но словно бы в каком-то ирреальном мире, несказанно далеком от того юноши, который позже закончил учебу, завязал знакомства, готовился к конкурсам на получение должности, читал, спорил и жаждал чего-то посреди того круговорота, что втянул республиканскую Испанию в бойню гражданской войны. Сегодня, здесь, вдалеке от событий, в этом тихом секторе Арагонского фронта, лейтенант Педро Сантоалья предпочитал вспоминать своих родных в счастливые дни прошлого, нежели думать о слепом и неизвестном настоящем, которое, завладевая мыслью, лишь вызывало вздох в его груди или рождало дрожь по всему телу. А с другой стороны, можно ль было избежать сознания того, что, пока он пребывал здесь в безмятежности, погруженный в свои бездумные фантазии, они, быть может?.. Разлука умножает боязнь всевозможных несчастий, вызывая терзания множеством противоречивых чувств; и, лишь только одолевали мрачные мысли, Сантоалья, неспособный противостоять им, гнал от себя и старался поскорее замкнуться вновь в своих воспоминаниях. Порою возвращали его к действительности письма деда; но если первые из них и доставили ему некоторое успокоение, то, с другой стороны, породили и новые тревоги. Одно из них, торжествующее, сумбурное, сообщало о спасении Исабелиты с мужем из красной зоны — «благодаря любезной, но унижительной помощи некоего посольства» — и о том, что они уже были при нем в Толедо; сестра, в полной ласковых слов приписке, обещала ему сообщать новости. Сантоалья обрадовался, особенно за деда, который отныне был не одинок и окружен заботой... «А ведь тот, — подумалось ему, — наверняка уже принялся нажимать на все рычаги, чтобы подыскать лентяю зятю теплое местечко...» При этой мысли волна смутной обиды на старика, такого крепкого и самоуверенного, залила его лицо краской противоречивой смеси возмущения и стыда; он вновь видел деда в дни толедской заварухи, одержимого, ежеминутно порывающегося выскочить на улицу или высунуться на балкон, когда Сантоалье — даже при помощи верной Риты, уже больной и старой, — с трудом удавалось удержать его, хотя что там мог делать старик в шестьдесят

шесть лет?—только мешаться! А ведь зато внучка, Педрито, в его двадцать восемь, небось быстренько пристроил с пополнением на этот тихий Арагонский фронт... Именно упрямство старика оказалось причиной того, что семью раскидало, и теперь родители одни подвергались опасности в Мадриде, где, если б не этот дурацкий каприз, делили бы они сейчас одну судьбу, поддерживая друг друга по-божески: ведь он мог облегчить им тяготы, и в любом случае, будь они вместе, даже неизбежные несчастья не томили бы душу такой тревогою, как в разлуке... «Теперь уже недолго,—заявил дед еще в смутные часы последних стычек, когда в Толедо вошла свирепая африканская колонна и был освобожден Алькасар.—Теперь это уже вопрос нескольких дней; переждем здесь». Но миновали дни, прошли недели, армия не вступила в Мадрид, война затянулась на долгие месяцы, и родители так и остались одни: мать, вся в горестных заботах, и отец, такой же, как она, бесхитростный, беззащитный, нерасторопный, ни к чему не приспособленный...

Об этом и размышлял Сантолалья, бредя с опущенной головой, тем самым августовским полуднем, когда наткнулся в винограднике на милисиано и—единственное происшествие за всю войну,—опережая его, пригвоздил к месту двумя пистолетными пулями.



Начиная с того дня война—то, что было войной для лейтенанта Сантолальи: пустое и никчемное ожидание, которое поначалу приносило с собой изысканный аромат незапамятных каникул и которое позже научился он переносить, даже в самые мрачные свои часы, как одну из несчетных жизненных докук, некую разновидность мимолетной болезни, вроде гриппа, что нужно лишь переждать,—с того дня война начала становиться для него совершенно невыносимой. Его переполняла тревога, он стал раздражительным; и если сразу после того происшествия его еще поддерживала и вдохновляла собственная ловкость, то в дальнейшем валявшиеся на столе документы милисиано, томительное течение последующих дней, чье-то постоянное любопытство породили в нем предательское недовольство, и совсем уже допекли шуточки, которые кое-кто стал позволять себе позднее по поводу запаха. Появившись впервые, еще едва заметный, запах этот заставил всех гадать о своем возможном происхождении; он долетал до них, расползался и вновь пропадал; а потом кто-то вспомнил милисиано, убитого в винограднике лейтенан-

том Сантолальей, и, словно это было невесть как смешно, грохнул взрыв всеобщего хохота.

Именно в эту минуту, не раньше, и понял наконец Педро Сантолалья, почему вот уже некоторое время странным образом, подсознательно, всплывал в 'памяти мучительный и давно уже позабытый конец его собаки Чиспы: запах, тот же проклятый запах—все дело было в нем... И когда уступил он и поддался целиком осаждавшему воспоминанию, то почувствовал, как снова захлестнуло его со всей жесткостью ощущение беззащитности, пронзившее некогда сердце ребенка. Как это было нелепо! Почему по прошествии стольких лет, среди стольких несчастий вновь отзывалось в нем такое незначительное происшествие, как смерть бедного животного? И тем не менее отчетливой болью и во всех подробностях вставало перед ним воспоминание об исчезнувшей Чиспе. Плутовка обожала ускользать и совершать где-то таинственные набеги, на долгие часы убегая из дому; но на этот раз, казалось, пропала: она не возвращалась. Домашние, помня ее исчезновения, не сомневались поначалу в том, что она вернется, и заранее грозились наказать ее, запереть, посадить на цепь; потом забеспокоились, предполагая худшее. Сантолалья, не говоря ни слова, искал ее повсюду, кружил по дороге в школу и обратно, тщетно ожидая встретить где-нибудь; и, возвращаясь домой, каждый вечер первым делом спрашивал, замирая, не вернулась ли Чиспа... «Ты знаешь, я видел твою собаку»,—заявил ему как-то утром школьный приятель. (Внешне безразличный, но с тайной надеждой в душе, Педрито позаботился сообщить ребятам причину своей печали.) «Я видел твою собаку»,—сказал приятель, ехидно на него поглядывая. «Правда?—проговорил он, стараясь погасить волнение в груди.—И где же?»—«Я видел ее вчера вечером, знаешь?—в тупике Сан-Андрес». Это была коротенькая улочка, тянувшаяся среди заборов и утыкавшаяся в садовую изгородь. «Я...—заколебался Сантолалья, падая духом,—я бы пошел за ней, но... ее ведь там уже не будет...» «Как знать?—может, она еще там,—с уклончивой улыбкой заметил приятель и добавил:—Скорей всего, ее еще не подобрали». «Как?»—подскочив, произнес Сантолалья упавшим голосом и бледнел по мере того как приятель после паузы рассказывал, спокойный, беззаботный, с весело блестящими глазами: «Так ведь она же мертвая; впрочем,—предположил он,—может, это и не твоя собака! Я-то решил, что твоя, а вдруг нет?» Да, это была она. Педро Сантолалья прибежал в тупик Сан-Андрес и там нашел свою Чиспу, отвратительную, в окружении роящихся мух; вонь не дала ему подойти. «Ну что, твоя была собака?»—спросил на следующий день школьный приятель.

Потом добавил: «Так вот: я знаю, кто ее убил» — и лицемерно, с оговорками, рассказал ему, что собаку загнали камнями в тупик и там окружили какие-то парни постарше, а когда бедная затравленная животина цапнула одного из них, эти изверги похватали палки и всем скопом, колами... «Она, наверно, отчаянно визжала; собаки всегда так жутко визжат». — «Представляю, как она визжала, совсем одна среди этих...» — «А откуда тебе все известно?» — «Вот этого я не могу сказать». — «Ты видел, что ли?» Но тот стал увиливать, понес чепуху, а в заключение заявил, что все это он предположил, увидев убитую собаку: Сантоалье не удалось больше выудить из него ни слова. Разбитый, он добрался до дома, не стал ничего рассказывать. В горле стоял ком, весь мир казался ему гадким, пустым, и то же самое чувство вновь испытывал он сейчас, вспоминая свою Чиспу мертвой, в тени вишневого дерева в глубине тупика. Вонь, проклятая вонь — в ней было все дело! Только теперь она исходила от трупа гораздо большего, от человеческого трупа, и не было необходимости узнавать, что за бездушная рука принесла ему смерть.

— Зачем вы убили его, лейтенант? — дурашливо сокрушаясь, приставал к нему шут Ирибарне. — Вы всегда так сердитесь, стоит лишь кому из господ офицеров испортить воздух... — тут он двумя пальцами пощипывал нос, — и поди ж ты, вон что наделали... Мой капитан, правда лейтенант Сантоалье поступил бы лучше, притащив его ко мне? Я приставил бы этого невольника чистить офицерам сапоги, и вы б увидели, как все были бы довольны.

— Заткнись, болван! — обрывал его Сантоалье, но, поскольку капитан все же посмеивался, Ирибарне вскоре вновь принимался за свои шуточки.

Наконец милисиано похоронили, и все позабыли о нем; но Сантоалье это окончательно испортило настроение. Война начала казаться ему чересчур затянувшейся забавой, а присутствие офицеров — с их зевотой, с их «порчей воздуха», как говорил этот тупица Ирибарне, и неизменными выходками — становилось для него невыносимым, просто нестерпимым. Зарядили дожди, потом пришли холода, и при всем желании — которого у него и не было — невозможно уже стало выходить с командного пункта. Да и что ему было делать снаружи? Пока остальные резались в карты, он убивал время, валяясь на койке, и, отвернувшись к стене, во избежание расспросов зажав в руках сотню раз перечитанный роман с Шерлоком Холмсом, раздумывал наедине с самим собой об этой нескончаемой войне, которая для него свелась к разнесчастному происшествию с убитым в виноградунике милисиано. Он как мог высмеивал свой единствен-

ный подвиг на военном поприще. «Я убил человека,—думал Сантолалья,—и тем самым нанес врагу ущерб. Но убил я его не в борьбе, а подобно тому, как убивают кролика в поле. Так оно и было по сути дела: я подстрелил кролика, как и говорил мне этот». И вновь слышал раскатистый голос Молины, капитана Молины, когда тот заявил ему, с бюрократическим видом (почтовый служащий, хоть и в военной форме!) проштудировав документы Анастасио Лопеса Рубиелоса, уроженца Толедо: «...а ты, кажется, подстрелил кролика из своих краев». И Сантолалья в который раз восстанавливал в памяти разыгравшуюся внизу, в винограднике, сцену: тень, неожиданно выросшая перед ним, и он сам, перепуганный, стреляющий в несчастного милисиано, в то время как тот лепечет: «Нет, нет!..» — «Ах, нет? Получай же!» Две пули в живот... Само собой разумеется, защищаясь... Да какая, к черту, защита! Он прекрасно понимал, что все это не так. Ведь у бедного парня и времени-то не было схватиться за винтовку — он же ошоломел, еще держа в руке виноградную гроздь, которая через мгновение раскатилась по земле... Нет, не было на самом деле необходимости убивать: разве не мог Сантолалья приказать ему поднять руки и, уткнув пистолет в спину, привести на командный пункт пленным? Да конечно же мог! Так и надо было делать, вместо того чтобы бросать его там распростертым... Почему же он не поступил таким образом? Ни единой минуты не подвергался Сантолалья настоящему риску, ни минуты, что бы ни говорил он потом остальным, описывая случай. И потому выходило, что убил он его безнаказанно, попросту говоря — пристрелил, в точности уподобившись тем самым маврам, что, войдя в Толедо, резали раненых прямо на госпитальных койках. Будучи делом чужих рук, подобный поступок подавлял его, ошеломлял, заставлял трепетать от негодования; когда же такое случилось с ним, он еще находил оправдания и говорил себе: «Защищаясь»; говорил: «А откуда мне знать — вдруг этот тип был не один?»; говорил: «Так или иначе, передо мной стоял враг...» «Бедный парень — вот кто это был, скорей всего простой новобранец, оказавшийся там случайно, лакомившийся, как и я, виноградом; такой же незащищенный под дулом моего пистолета, как те раненые, что в толедском госпитале кричали «Нет, нет!» под кривыми тесачами мавров. А я выстрелил, да еще дважды, свалил его, бросил мертвым и ушел вполне довольный своим геройством». Он видел себя рассказывающим о происшествии с наигранным безразличием — хвастовство и самолюбование, такое же проявление чванства, как и любое другое, — и собственное поведение вызывало у него отвращение, потому что... «Верно то,—думал он,—что там, в винограднике, без

свидетелей, я лишил жизни себе подобного, человека ничем не лучше и не хуже меня самого; парня, который, как и я, хотел сорвать гроздь-другую винограда, и за сей великий грех я предал его смерти». Почти утешением было для Сантолальи допускать, что поступил он так на самом деле под действием страха и его геройство было не чем иным, как актом трусости... И снова в который раз начинал ломать голову над одним и тем же.

В этом вымученном безделье, пока снаружи лил дождь, память осаждали давно минувшие сцены, которые некогда ранили его детское воображение и, как взболтанный осадок, вновь являлись сегодня, когда он считал их изгладившимися и вполне забытыми. Подобные фразы: «ранить воображение», или «записанный кровью», или «рубец воспоминания» — имели для него конкретный смысл, ибо сохраняли жгучую боль обиды, позорный рубец, неизгладимый, всегда приметный, почти не заживленный временем, чувство стыда и бессильное бешенство далеких дней, усиленные едкостью сегодняшней иронии. Среди всех неприятных случаев, вспоминавшихся ему в последние фронтовые месяцы, самым навязчивым был один — про себя он называл его «случай с Родригесом», — омрачивший, незаметно для посторонних, многие дни его детства. Недаром фамилия эта — Родригес — в дальнейшем всегда вызывала у него неприязнь и даже, как ни нелепо, предубеждала против любого, ее носящего! Никогда уже не смог он дружить — дружить по-настоящему — ни с одним Родригесом; и все из-за той ненавистной твари, жившей почти по соседству, которая, стоя на пороге своей мерзкой лачуги... Сантолалья и сейчас видел Родригеса — приземистого, ниже его ростом, с грязными ногами, в кепке на обритой башке, неизменно подстерегающего Педрито на этой злополучной дороге в школу, чтобы оскорбить какой-нибудь неожиданной выходкой. Пока дело не шло дальше обидных песенок, передразнивания и прочих шуточек (как в тот день, когда Родригес пристроился перед ним с парой кирпичей под мышкой, изображая Сантолалью с книгами), еще можно было, сохраняя выдержку, делать вид, что ничего не происходит; но потом дошло до швыряния навозом... Увидев появившегося из-за угла Сантолалью, Родригес подобрал две-три лепешки; держа их в руках, дождался, пока он подойдет поближе, и... Педрито все видел, понимал и читал на ехидном лице, что сейчас будет, ожидал этого и молил про себя: «Пусть он не осмелится! Пусть не решится!»; но тот решился и, крикнув: «Получай, красавчик!..», запустил по его панамке золотистой мерзостью, позорным ливнем обдавшей лицо. И сегодня, вспоминая противоестественность омерзительного дождя, обрушившегося на детскую панамку, чувствовал лейтенант

Сантолалья, как стыд заливает щеки... Он остановился, повернулся к врагу, красный от ненависти, пошел на него, готовый разбить ему морду, но Родригес, с невозмутимой улыбкой на белозубом лице наблюдавший за его приближением, дождался, пока он подойдет вплотную, и — раз! — встретил его ударом ноги в пах, только одним, сухим и точным, от которого у Сантолальи перехватило дыхание и посыпались из-под мышки книги. Негодяй уже скрылся в своем доме, но прошло еще немало времени, прежде чем Педрито сумел оправиться... А горше всего оказалось другое: возвращение домой, его тоска, тревога матери, допрос отца, желавшего знать подробности, а потом, в последующие часы, уже наедине с самим собой, — стремительный всплеск мстительности. «Желание», «жажда мести» — это не те слова, правильнее было бы сказать — «физическая потребность», столь же настоятельная, как голод; притащить Родригеса домой, привязать к одному из столбов в патио, вогнать в него пулю из тяжелого дедовского револьвера — вот чего хотел он неукротимо и страстно, в чем была для него мучительная необходимость; а когда дед, от которого ожидал он подобного возмездия, рассмеялся в ответ и лишь погладил по голове, Педрито почувствовал себя покинутым всеми.

Прошли годы, он вырос, закончил школу, потом, в Мадриде, изучал философию и филологию, но всегда, с большими или меньшими промежутками, неизменно встречался ему тоже повзрослевший Родригес. Сталкиваясь, они смотрели друг на друга как незнакомые, с деланным безразличием, и продолжали свой путь, но при том разве не помнили оба?.. «Что же случилось с Родригесом в этой войне?» — спрашивал вдруг себя Сантолалья, воображая различные ужасы: например, мавров, устроивших в госпитале резню. «А ведь попадись мне сейчас в руки этот ненавистный Родригес, я б наверняка дал бы ему уйти», — думал он, снисходительно представляя Родригеса в своей власти и себя, отпускающего того невредимым. Это воображаемое великодушие доставляло ему неподдельное удовольствие, но его тут же сводила на нет мысль о милисиано, убитом без какого бы то ни было повода или причины. «Но ведь несомненно, — убеждал себя Сантолалья, — что, успеет он, убит был бы я, враг есть враг. Я выполнил... я лишь неукоснительно следовал своему долгу, только и всего». Никто, никто не находил в том поступке ничего предосудительного; все нашли его совершенно естественным и даже достойным хвалы... «Так в чем же дело?» — угрюмо допытывался он у себя. Однажды, будто из любопытства, лейтенант спросил капитана Молину: «А как поступают с пленными, когда их доставляют в тыл?» Молина уставился на него, потом ответил:

«Ну... не знаю! А что? Это зависит...» «Зависит!» — только и смог ответить ему капитан своим звучным и ровным голосом. Ну как говорить о чем бы то ни было, как беседовать с такими людьми! Сантолалье хотелось бы обсудить свои сомнения с кем-нибудь из сослуживцев; обсудить, само собой разумеется, в самых общих чертах, как проблему отвлеченную. Но каким образом, если проблемой это было только для него? «Я, наверное, странный тип»; все здесь считали его странным типом; они бы лишь посмеялись над его трудностями; «Усложняешь себе жизнь чепухой», — сказали бы они. И пришлось Сантолалье ограничиться гаданиями о том, как расценили бы случившееся с ним домашние, его семья; раз за разом оттачивал он в воображении предполагаемую реакцию каждого: гордость деда, который одобрил бы его поведение («Даже, — спрашивал себя лейтенант, — если объяснить ему, как легко было захватить в плен вражеского солдата?»), одобрил бы, не вникая особенно в подробности, но при том, в глубине души, счел бы этот поступок неожиданным, несоответствующим, несвойственным внуку; мимолетный испуг матери, довольной в конечном счете тем, что он вышел из опасности живым и невредимым; неприятную сдержанность и неодобрение отца, печально изучающего сына через стекла очков, желающего проникнуть в сокровенные уголки его сердца; назойливость зятя, лицемерного и напыщенного, покровительственно хлопающего по спине; одобрение сестры, убедившейся, что он из одного с ними теста.

Как всегда, воспоминание о родителях обострило до крайности отвращение Сантолальи к войне. Это было свыше всякой меры: уже два года он разлучен с семьей, не видел их, не имел достоверных известий, и все это, думалось, из-за идиотского расчета, что Мадрид падет сразу. Одинокие, скольким лишениям и опасностям подвергались они там на каждом шагу!

Но затем, возбужденный до крайности, он спросил себя: «А по какому праву жалуюсь я на то, что война затянулась и никак не окончится, если днями напролет только и делаю, что плюю в потолок среди окопавшихся идиотов, в то время как сражаются и тысячами гибнут другие?» Еще раз задался он этим вопросом и тогда решил — «не откладывая в долгий ящик», «лучше сегодня, чем завтра», «безотлагательно, теперь же» — выполнить то, что уже неоднократно обдумывал: подать прошение о переводе добровольцем в одну из ударных частей. (Каково будет изумление деда при этом известии!) Решение даже вернуло ему хорошее настроение. Остаток дня он провел посвистывая, набрасывая черновики, и наконец к вечеру подал по инстанции рапорт по всей форме.

Капитан Молина посмотрел на него со странной смесью любопытства, недоверия, смущения и ехидства во взгляде:

— Что на тебя нашло?

— Ничего, я по горло сыт этим местом.

— Но послушай, ведь все уже идет к концу, не делай глупостей.

— Это не глупость. Я уже устал,—повторил он с извиняющейся улыбкой.

Все уставились на него, как на редкого чудака. Ирибарне сказал:

— Лейтенант Сантолалья, похоже, вошел во вкус.

Он не ответил, лишь бросил презрительный взгляд.

Таким образом, прошение его двинулось по инстанциям, и Сантолалья, успокоенный, даже радостный, стал ожидать перевода.

Между тем, однако, близилась развязка: сначала возникли слухи, беспокойство, начались расправы и чистки, кампания стала казаться временами простой карательной операцией, республиканские войска отступали к Франции, и наконец, в один прекрасный день, поутру, их часть тоже снялась с места и двинулась в наступление без единого выстрела.

Война окончилась.

IV

Встав с постели и распахнув окно спальни, Сантолалья пообещал себе: «Все! Сегодня—последний срок!» Утро было свежее, очень голубое; напротив отчетливо выделялась на фоне неба громада Алькасара... «Во что бы то ни стало—сегодня»,—повторил он, заводя ручные часы; он отправится в институт, проведет занятие по географии, а потом, еще до обеда, пойдет и разделается с этим, покончит раз и навсегда со своим обязательством. Пора уже: он достаточно давал себе времени и предоставлял отсрочек, но нельзя было и дальше откладывать этот акт милосердия, свершить который торжественно поклялся он перед своей совестью. Сантолалья обещал себе посетить семью несчастной жертвы, милисиано Анастасио Лопеса Рубиелоса, с которым столкнул его злой рок на Арагонском фронте августовским днем тридцать восьмого года. Шел уже сорок первый, а он так еще и не выполнил обет, данный себе в наказание сразу по окончании войны, когда казалось, что придется на этом пути столкнуться со множеством трудностей. «Я должен разыскать,—покаялся он тогда в душе,—я должен разыскать его родных;

узнать, кто они, где живут, и сделать все, что смогу, дабы облегчить их судьбу». Но в первую очередь, разумеется, пришлось заниматься своей семьей и—будь оно неладно!—самим собой.

Едва война окончилась, Сантолалья сразу отправился к родителям. В Мадрид он прибыл без предупреждения; медленно, нехотя, словно оттягивая близкую теперь минуту свидания, поднялся по лестнице до квартиры сестры и, еще не коснувшись звонка, увидел, как открывается дверь: в темноте блеснул из-за стекол очков полный ужаса, а затем радости взгляд отца; упав к нему на шею, Сантолалья услышал глухой шепот: «Ты напугал меня, мальчик, военной формой!» В его объятиях, неразрывных и долгих, Сантолалья почувствовал, что близок к агонии: взор отца, мгновенная вспышка ужаса на утонченном лице немолодого образованного человека, был точной копией взгляда оцепеневшего милисиано, застигнутого и убитого в винограднике! Все еще не разжимая рук, он ощутил вдруг, как отчужден, как страшно далек от этого немолодого образованного человека.словно обессилев, Сантолалья рухнул в стоявшее поблизости кресло... «Ты напугал меня, мальчик...» Но каким покоем и надеждой светилось теперь лицо отца, исхудалого, постаревшего, даже очень, но улыбающегося и счастливого близостью сына! И только в глазах его в свою очередь тоже читалось сострадание. Сантолалья спросил: «А мама?» Мать куда-то вышла, но должна была вскоре прийти; она отправилась за чем-то вместе с сестрой. И оба вновь замолчали, сидя лицом к лицу.

Беседуя наедине, мать, как всегда, ввела его в курс домашних дел. «Ты какой-то другой, сыночек,—говорила она, пожирая его глазами и крепко держа за руку.—Ты изменился, изменился». Он ничего не отвечал, только смотрел на ее поседевшую голову, на согбенную, побежденную временем спину, на дряблую шею, и чувствовал, как сжимается грудь. Ему было больно слышать лихорадочную трескотню матери, некогда такой уверенной в себе, благородно-сдержанной... Но это было лишь при первой встрече: потом она вновь проявила всегдашнюю рассудительность (хотя и была, увы, совершенно надломлена), когда принялась рассказывать ему во всех подробностях, как они жили, как смогли уцелеть, переждать самые черные дни. «Лишь знакомства отца,—объясняла она,—спасли нас от опасности, которая нависла над нами после бегства твоего зятя...» В течение всей войны отец проработал на какой-то канцелярской должности в системе снабжения. «И вообрази, сынок, его оставили там и сейчас!.. Ладно,—заклучила она,—теперь у нас все пойдет по-другому: ты—офицер, да и дед всегда сможет помочь...» А дед, как всегда,

петушился: «Какова закалка, сынок! Слегка, вроде, осунулся, погрустнел, а в остальном все такой же!»

Сантолалья рассказал матери о происшествии с милисиано; решил рассказать, ибо чувствовал в том мучительную потребность. Он начал повествование с видом человека, который описывает любопытный случай, не придавая ему особенного значения, и подчеркивал главным образом элементы случайности и риска, но вскоре заметил по ее испуганным глазам, что она уловила скрытое под спудом раскаяние, и, отбросив притворство, жалкий, закончил, сбиваясь, свою историю. Слушая сына, мать не проронила ни слова; да он и не нуждался в этом; достаточно было ее внимания. Но когда, до конца излив душу, Сантолалья достал из кармана документ Анастасио и поставил перед ее глазами фотографию парня, она побледнела и зарыдала. Боже всемогущий! Куда подевалась бывшая ее выдержка? Они обнялись; Сантолалья поспешил раскрыть ей намерение сблизиться с семьей убитого и предложить им в компенсацию свою скромную помощь, и мать горячо одобрила его решение: «Конечно, конечно, сынок!»

Но до того, как заняться этим, пришлось устраивать собственную судьбу. Он добился места на кафедре Толедского института, демобилизовался из армии, и наконец, хвала Господу, семья снова после всего пережитого собралась в стенах старого дома. И уже тогда, обретя покой, войдя в нормальное течение жизни, Педро Сантолалья составил подробный план поэтапных и — надеялся он — плодотворных поисков этой несчастной семьи: списки горожан, старая перепись избирателей, управление военного округа, отдел выдачи удостоверений личности, картотека и списки полиции... Впрочем, столько хлопот не понадобилось, и розыск, по счастливой случайности, оказался совсем не сложным; при первых же предпринятых шагах он натолкнулся на имя Анастасио Лопеса Рубиелоса, сверил остальные данные и записал место жительства. Теперь оставалось лишь набраться смелости и довести до конца решенное.

«Сегодня — последний срок!» — сказал он себе тем утром, окунувшись с балкона в ослепительный день. Больше не было ни повода, ни причины откладывать далее исполнение своего намерения. Жизнь для него вновь улеглась в жесткое русло обыденщины; внешне все было как до войны, но деду приходилось занимать свое свободное время, другими словами — весь день, мелочными и нередко унижительными хлопотами, связанными с покупкой масла, хлеба и сахара; отцу — проводить за столом нескончаемые часы, переписывая изящным почерком бумаги какому-то нотариусу; мать без передышки крутилась по хозяйству

и только вздыхала; а он сам, и без того всегда молчаливый, совсем замкнулся, был неизменно хмур, озабочен преподавательской рутинной и ничтожными институтскими интригами. Нет, во что бы то ни стало—сегодня! Какое облегчение он почувствует, когда скинет наконец с плеч этот груз! Сантоалья понимал, что с его стороны все это глупо («странный я тип»), ведь никто другой не стал бы так терзаться раскаяньем, но... плевать он хотел на это! Ему по крайней мере станет намного легче. Да, сегодня, только сегодня!

Перед выходом он открыл верхний ящик комода, чтоб достать оттуда треклятые документы, бросавшиеся ему в глаза каждый раз, когда лез он за чистым платком, и, переложив их в карман, отправился на улицу. Хорошенькое занятие по географии провел Сантоалья тем утром! Едва освободившись, он неторопливо направился по заранее разведанному адресу: к бедному одноэтажному домику, стоявшему на склоне холма, очень низко, почти у реки.

Дверь оказалась открыта; льняная, в полоску, занавеска была отдернута, пропуская в помещение дневной свет, и с улицы виден был неподвижно сидящий в кресле старик, гревший ноги в солнечном луче, падавшем на красный кирпичный пол. Сантоалья робко заглянул, заколебался, но, нащупав в кармане удостоверение Анастасио, стремительно ступил внутрь. Старик не шелохнулся, лишь уставился на него, испуганно и тревожно, синими зрачками. Весь в морщинах, он казался очень дряхлым; голова его, покрытая беретом, была огромной; громадными и блестящими были уши; руки сжимали толстую желтую палку.

Сантоалья произнес: «Добрый день!»—и едва услышал свой приглушенный голос. Старик кивал, говоря: «Да, да!», и глазами, казалось, искал стул для гостя. Вслед за ним Сантоалья безотчетно оглядел комнату и увидел два стула: низенький, совсем крохотный, и второй, с продавленным сиденьем. Но зачем ему было садиться? Вот глупость! Войдя, он сказал: «Добрый день!», теперь добавил:

— Я бы хотел поговорить с кем-нибудь из семьи...—И уточнил:—Семья Анастасио Лопеса Рубиелоса здесь живет?

Он овладел собой; голос звучал уже твердо.

— Рубиелоса, да, Рубиелоса,—закивал старик.

— А вы, случайно, не из этой семьи?—снова спросил Сантоалья.

— Да-да, из семьи,—подтвердил тот.

Сантоалья не хотел молчать, но предпочел бы вести беседу с кем угодно, кроме этого старика.

— Вы его дед?—продолжил он все же расспросы.

— Мой Анастасио,—проговорил неожиданно дед с редкой уверенностью,—мой Анастасио уже не живет здесь.

— Я как раз принес вам известия о бедном Анастасио,— печально произнес, наконец, Сантолалья и в ту же минуту понял каким-то необъяснимым образом, что изнутри, из темной глубины дома, кто-то подглядывает за ним. Украдкой бросив туда взгляд, он смог различить в полумраке прикрытую дверь; только и всего. Определенно, кто-то следил за ним, но кто—ему не было видно.

— Анастасио,—повторил старик с нажимом (его огромные руки сошлись на палке, глаза воспаленно и сухо блеснули),— Анастасио уже не живет здесь; нет, сеньор,—и уже тише добавил:—Он не вернулся.

— И не вернется,—сообщил Сантолалья; все у него было обдуманно, все подготовлено. Он заставил себя прибавить:— Анастасио не повезло: он погиб на войне, его убили. Поэтому я и пришел к вам...

Он произнес эти слова медленно, вытирая платком виски.

— Да—да, погиб,—подтвердил старик, убежденно и согласно кивая большой и морщинистой головой,—да, погиб Анастасио. А я—я здесь, все еще крепкий, в мои-то годы: меня смерть не берет.

Он засмеялся. Сантолалья, смущенный, ничего не понимающий, повторил:

— Дело в том, что его убили.

Вопреки всему Сантолалья не чувствовал бы себя так неловко, если б не ощущение, что за ним подглядывают. Снова покосившись на прикрытую дверь, он подумал: «Глупо оставаться здесь дольше. При желании я мог бы уйти в любую минуту: один шаг, и я на улице». Но нет, он не уйдет: не так скоро! Стоя перед слабоумным, впавшим в детство стариком, Сантолалья чувствовал неловкость и скованность, но, начав, надо было продолжать. И он продолжил, как и собирался: рассказал, что служил с Анастасио, что встретились и сдружились они на Арагонском фронте, что были вместе, когда смертельно ранила того слепая вражеская пуля, и что тогда он забрал из его кармана этот документ... И с этими словами достал удостоверение Анастасио и показал его старику.

В то же мгновение из глубины дома ворвалась в помещение крупная, одетая в черное темноволосая женщина; подойдя к старику, она повернулась к Сантолалье и спросила:

— В чем дело? Добрый день!

Сантолалья, как мог, тут же объяснил ей, что во время войны познакомился и сдружился с Лопесом Рубиелосом на Арагонском

фронте, где они и провели всю кампанию; что место это, надо сказать, было довольно спокойное, но бедному парню не повезло, и шальная пуля, откуда ни возьмись...

— А с вами ничего не случилось? — грубовато спросила она, глядя на него снизу вверх.

— Со мной? Со мной, к счастью, ничего. Ни царапины за всю кампанию!

— Я говорю — потом, — медленно пояснила женщина.

Сантолаля покраснел, торопливо ответил:

— И потом тоже... Мне, знаете, повезло. Да, здорово повезло!

— Друзья, наверное, были, — задумчиво заметила она, изучая его внешность, костюм, руки.

Сантолаля протянул ей документ, который держал в одной из них, спросил:

— Вы его мать?

Женщина медленно, заторможенно взглянула на снимок, потом пробежала глазами печатный и вписанный от руки текст; смотрела и ничего не говорила.

Но через минуту она вернула удостоверение и ушла, чтобы принести ему стул; пока ее не было, Сантолаля и старик молча смотрели друг на друга. Внеся стул и поставив его напротив себя, она проговорила глухим голосом:

— Шальная пуля! Шальная пуля... Это не плохая смерть. Нет, не плохая; хотели бы погибнуть такой смертью его отец и брат: с винтовкой в руках, сражаясь. Нет, не плохая смерть. Разве не хуже было бы, если б его пытали или пристрелили, как кролика? Расстрел, виселица — не хуже?.. Я ведь даже боялась, что он не погиб и его до сих пор где-нибудь...

Опустив голову и свесив с колен руки, сжимающие документ Анастасию, Сантолаля безмолвно и устало слушал ее хмурую речь.

— А так хотя бы, — угрюмо продолжала она, — он избежал того, что было потом; и по крайней мере погиб, бедняжка, среди своих товарищей, с винтовкой в руках, как мужчина... Где это было? В Арагоне, вы говорите. И каким ветром занесло его туда? Мы-то считали, что он попал в мадридскую заваруху. Значит, в Арагоне сложил он свою головушку...

Женщина говорила словно про себя, уставившись взглядом в сухие кирпичи пола. Она замолчала, и старик, давно порывавшийся что-то сказать, спросил:

— Вам там хватало?

— Хватало чего? — с готовностью откликнулся Сантолаля.

— Еды хватало? — пояснил тот, сведя в щепоть огромные пальцы и поднеся их ко рту.

— Ах, конечно! Нам там хватало всего. Кормили вдоволь. И не только тем, чем снабжало интендантство,— он оживился, хотя и через силу,— но также,— на память ему пришел виноградник,— и тем, что выращивают в тех краях.

Вопрос старика позволил ему перевести дух, но он тут же испугался, что женщину заденет неуместная легкомысленность его ответа. Впрочем, она сидела, уткнув глаза в свои толстые красные руки, и казалась отсутствующей. Теперь, когда потух ее горящий и яростный взгляд, перед ним была обычная, изнуренная работой несчастная женщина, женщина, каких много. Казалось, она целиком ушла в себя.

И тогда Педро Сантоальья решился приступить к самой щекотливой стороне своего визита: он хотел бы сделать для них что-нибудь, но боялся обидеть; хотел помочь им, но возможности его были ограниченными; хотел помочь—и не показаться себе в то же время торгашом, по дешевке откупающимся за человеческую жизнь. Но почему же так нужно было ему помочь им хоть чем-то, и что он мог сделать для них?

— Вот что,— глухо, с трудом выдавливая из себя слова, начал Сантоальья.— Я хотел бы попросить, чтоб вы относились ко мне как к товарищу... как к другу Анастасию...

Он остановился, это звучало насмешкой. «Какой цинизм!» — мелькнула мысль; хотя эти чужие ему люди и не чувствовали, как он сам, циничности его слов... не могли чувствовать, они ничего не знали... но как мог не поразить их этот заявившийся к ним «товарищ», одетый с иголочки, с изящными манерами и гладким слогом преподавателя института?.. Как рассказать им придуманную историю, подробности своего «потом», пусть даже внешне и верные: что сейчас он относительно обеспечен и в состоянии помочь им, если они в чем нуждаются, в память о... Это было унижительно и очень далеко от тех благородных, полных патетики сцен, которыми он тешил свое воображение, представляя их по-разному, но всегда столь трогательно, что под конец слезы неизменно застилали глаза. Сантоальья видел себя плачущим, молящим о прощении, падающим на колени перед ними (перед «ними», совсем не похожими на «этих»), и они, конечно же, бросались его поднимать и ободрять, не давая ему целовать им руки...— красивые, возвышенные сцены... Но теперь, вместо этого, он торчал фатоватым господинчиком перед слабоумным стариком и подавленной, недоверчивой, недобро глядящей женщиной и собирался предложить им милостыню в уплату за то, что убил у них парня, чьи бумаги продолжал еще держать в руке как доказательство дружбы и обещание сердобольной мзды.

Невозможно было дольше молчать, нужно было что-то гово-

речь; женщина уже подняла голову, вынудив его отвести взгляд в сторону, к вытянутым на солнце огромным, в рваных башмаках, ногам старика.

Она в свою очередь поглядела на него подозрительно, выжидающе: к чему клонит этот тип? Что означали его красивые слова: просить, чтобы к нему отнеслись как к другу?

— Я хочу сказать,— уточнил он,— что был бы очень рад иметь возможность помочь вам чем-нибудь.

Он застыл, ожидая ответа; но ответа не последовало. Можно было подумать, что они не поняли. Тогда, после тяжелой паузы, жалко улыбаясь, он заставил себя спросить напрямик:

— В чем вы больше всего нуждаетесь? Скажите: чем я могу вам помочь?

Синие зрачки на сморщенном лице старика загорелись радостно и алчно; руки заворочались, оглаживая набалдашник палки. Но прежде чем возбуждение его вылилось в слова, резко прозвучал голос дочери:

— Нет нужды, сеньор. Благодарствуем.

Слова эти захлестнули Сантоалью горестным потоком: он понял, что все пропало, надеяться больше не на что. Теперь его единственным желанием было уйти; но даже уходить он не спешил. Сантоалья медленно обвел взглядом небольшую, почти без мебели комнату, которую заполняли только старик, теперь равнодушно взиравший на него со своего кресла, и женщина, стоявшая перед ним со скрещенными руками, и, протянув ей профсоюзное удостоверение ее сына, сказал:

— Возьмите, оно принадлежит вам по праву.

Но она не шелохнулась, не протянула руки. Лицо ее замкнулось, глаза сверкнули; казалось, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить ему спокойно и даже насмешливо:

— И что, по-вашему, мне делать с этим? Беречь? А зачем, сеньор? Как же, хранить дома документ социалиста!.. Ну, нет! Благодарю покорно!

Сантоалья покраснел до ушей. Говорить больше было не о чем. Он сунул удостоверение в карман, что-то пробормотал на прощание и вышел на улицу.

Возвращение

I

Я решил вернуться. Осторожно порасспросил разных людей—осторожно потому, что ни в коем случае не следовало

привлекать внимания к моему возвращению,—но зато по-
расспросил обо всем подробно и удостоверился, что ничем
теперь особенно не рискую. Ушли в прошлое времена, когда
людей вытаскивали из постели и расстреливали у кладбищенской
стены по анонимному доносу, из-за пустых подозрений, да просто
ни за что ни про что, лишь бы загрузить до отказа машину с
заключенными. Конечно, кое-какие случаи бывали и теперь, и
каждый, кто приезжал оттуда, привозил с собой изрядный запас
жутких историй, и мы, усевшись вокруг него в лавке, что на углу,
или в доме у кого-нибудь из соотечественников, воскресным
вечером жевали эти истории и пережевывали, вертели и так и
этак и в конце концов старательно их заглатывали. Редко
случалось, чтобы среди нас не оказалось кого-нибудь только что
оттуда; каждый пароход привозил кучу людей из Испании, и
всегда бывали там то молодые ребята, приехавшие по приглаше-
нию родных, то старинный приятель одного из нас или даже друг
детства, а то и просто человек, которого попросили передать
подарки или какие-нибудь поручения; и все заходили на огонек и
делились самыми свежими новостями. Были они по большей
части крестьяне и рассказывали истории, случившиеся в их
деревне, у них на глазах (а о чем им, беднягам, еще и
рассказывать?); и хотя ужасы, о которых они повествовали,
бывали изрядно разбавлены множеством никчемных подроб-
стей и имен (крестьянин рассказывает по-своему: либо он
говорит: «А ты помнишь этого, сына того?», либо: «Точно,
приятель, точно, ты должен его помнить, ты ж его знал», и тому
подобное), и хотя, говоря, натерпевшись страху и досыта
намолчавшись, они безотчетно драматизировали и преувеличива-
ли ужасы, словно бы соперничая друг с другом в описаниях
зверств,—но что тут скажешь, и десятой доли того, что они расска-
зывали, хватило бы, чтобы волосы дыбом встали у самого креп-
кого. Слушали и каждую минуту думали—все, больше нам не вы-
держать, вот-вот закричим: «Хватит, не продолжай», но едва
рассказчик прерывал свою страшную повесть и заговаривал о дне
сегодняшнем или завтрашнем, начинал расспрашивать о стране,
в которую приехал, или же хотел поделиться впечатлениями от
прославленного Буэнос-Айреса, по улицам которого гулял впер-
вые, как тут же какая-нибудь ассоциация, возникающая у одного из
нас, возвращала всех к прежней теме, и мы по второму кругу
принимались жевать и пережевывать горькую жвачку.

Так все и шло из года в год с тех самых пор, как мне минуло
двадцать семь, и по сей день, когда мне уже тридцать шесть (а
что еще было делать, как не встречаться с такими же и не
вспоминать родину?); и поэтому я все эти годы всякий день знал,

что там у нас делается. Но вот что забавно: за все эти почти десять лет не возникало у меня намерения вернуться, нет, что я говорю — «намерения», я хотел сказать — твердого решения; намерений и желаний у меня, ей-богу, всегда было хоть отбавляй, но горы ужасов, вполне реальных, со всеми датами, именами и названиями мест, волновали мою душу подобно тем рассказам, ценность которых не в точности деталей, а — как бы это выразиться — в их литературном воздействии, в некоем наваждении, сила которого заставляет душу содрогаться и возвышает ее над повседневностью, унося в мир воображаемого. И то, что Мариана, подавляя зевоту, недоверчиво слушала эти «рассказы ужасов», приводило меня в бешенство; все женщины одинаковы, знаю, и она не исключение, но все равно меня это приводило в бешенство; зато уж в постели-то она вынуждена была внимательно меня слушать! При всем при том, я ведь понимал... ну что тут особенного, если посторонний человек думает: «преувеличения и ложь», когда я сам, совершенно уверенный в правдивости этих историй, находил их невероятными? Ведь даже на устах убежденного в их истинности очевидца они звучали иначе, чем обычные истории из реальной жизни, и потому требовали особых интонаций, их реальность была иной, более высокого плана, в той реальности стиралась привычная грань между происходившим и придуманным, и это было неважно. Такой была и история — ее часто рассказывали последнее время, — происходившая в разных местах и с разными людьми (а почему, собственно, всего этого не могло быть и на самом деле, только случай несколько видоизменялся в зависимости от обстоятельств: какие корешки, такие и вершки), история про мальчика-сироту, который вырос и в одну прекрасную ночь, а именно в ту, в которую когда-то убили его отца, отправился на поиски убийцы и, застав того врасплох, когда он менее всего об этом помышлял, оттащил на то самое место, где десять лет назад тот сгубил его отца, и предал той же смерти, а потом, сняв груз с души, довольный содеянным, пересек границу с Португалией или ушел в море на шлюпке; так разве эта история не отвечала в своем художественном совершенстве (а безусловно, все могло быть и на самом деле так) требованиям поэтической справедливости, как отвечает ей, например, история о Минайе, мстителе за инфантов Лара?¹ Историю о мальчике-сироте всегда рассказывали радостно, перед

¹ Альвар Фаньес Минайя, родственник и друг героя испанского эпоса Руй Диаса де Бивар, прозванного маврами Сид Кампеадор («Песнь о Сиде»), вместе с Сидом мстит графам Каррьонским, а мстителем за инфантов Лара выступает Мударра, один из персонажей цикла народных романсов.

такой радостью решительно ничего не значило правдоподобие деталей. Над скукой обыденной жизни, над ее грязным утком, сотканным из нищеты, непосильной работы, невзгод, внезапно ослепительно вспыхивало это страшное дело, и голос сказителя то зажигался негодованием, то звучал глухо, угрожающе; потом все гасло, рассеивалось, и слушатели и рассказчик, помолчав немного, снова заводили разговор, словно бы ничего и не произошло, о всякой суете: помолвках, родинах, хлопотах, болезнях, похоронах, наследствах, тяжбах — в общем, о том густо сотканном утке каждодневных забот, в который многие из вновь приехавших, пробыв с нами некоторое время, вновь вплетали и нити своего существования, то ли потому, что не сумели устроиться в Аргентине, то ли потому, что не могли смириться с жизнью вдали от родных мест. Вот так и я, хотя мой случай был совсем другого рода, внезапно, в один прекрасный день, решил вернуться в Галисию. Не помню уж, сколько времени мы тогда терпеливо ждали, пока кончит лить нескончаемый дождь, а он все лил и лил; весь день мы работали при электричестве и, закончив работу, никуда не могли пойти развлечься, только поболтать со случайным знакомым в лавке на углу, и то досыта нашлапавшись по лужам и промокнув до нитки, или же сиди дома да гляди в окно на стену напротив, на почернелый карниз, под которым укрывались голуби, или на совсем уж отчаявшуюся пальму подалее, за оградой. В тот вечер к тому же и Мариана была в отвратительном настроении, даже не разговаривала со мной... А дело было так: со скуки я попросил мате, и она с явным раздражением стала его заваривать. Когда она подошла с мате, я обнял ее. «Уйди, ненормальный!» — завопила она и вывернула на меня кипящий мате... «Пора научиться, наконец, сдерживаться, — кричала она, — ты сам виноват, это совсем не шутки...» Вот тогда-то, к ее удивлению — она все поглядывала на меня искоса — и к моему собственному, я не предался злобе, что было бы вполне уместно, а почувствовал вдруг, как рождается во мне великая печаль, и вот тогда-то, в это самое мгновение, я и решил вернуться в Испанию первым же пароходом.

Решение было столь же неожиданным, как и глупое происшествие, причина нашей ссоры; но, приняв решение, я к этому вопросу больше не возвращался; решение принято: первым же пароходом! И вот все то, что я с жадной страстью слушал из года в год про Испанию, ударило мне в голову и представилось несколько в ином виде: испанская действительность теперь пугала меня сильнее, но в то же время странным образом она казалась мне более приемлемой для жизни, даже в свете моего близкого и неизбежного возвращения. С того дня я стал

разузнавать о вполне определенных вещах; я расспрашивал разных людей, сравнивал их мнения и в конце концов нарисовал себе достаточно полную картину нынешней ситуации в Испании. Нет, если я вернусь, никакая опасность мне не грозит: тыловые герои помалкивали о своих страшных деяниях былых времен и жирели от сидячей жизни на высоких должностях, старательно пытаясь разобраться в разных бюрократических сложностях, и только немногие из них, пристрастившиеся к крови, никак не могли — правда, не могли! — отказаться от острых блюд и всячески изощрялись, чтобы если не удовлетворить свой аппетит, так хотя бы заглушить его. Но при некоторой осторожности вполне можно и не приближаться к ужасным шестерням, частично теперь скрытым, частично давно примелькавшимся: попасть в них было бы такой же случайностью, как и попасть в катастрофу.

Конечно, я был в бегах, и если меня сцапают, об этом надо помалкивать. Но когда началась заваруха, меня в Сантьяго не было, да никого и не интересовало, куда я отправился и что делал; город этот хоть и маленький, но не из тех, где о каждом человеке все известно; в Америке я жил тихо-тихо, совсем неслышно; ввиду незначительности моей персоны моя смерть никем не была бы замечена, и, значит, не было замечено и мое отсутствие; и я понял, что могу рискнуть — риск к тому же был невелик — и вернуться в родные места. Думаю, что я вернулся бы и гораздо более дорогой ценой: жить на чужбине было уже невмоготу. Над безумным томлением галисийцев по родным местам часто подшучивают; не знаю, так ли это, но, по-моему, всякий порядочный человек должен испытывать к своей стране такие чувства, чтобы при воспоминании о родине у него сжималось сердце и наворачивались слезы на глаза. «Да разве в других краях трава на лугах не такая же мягкая, небо не такое же высокое, а воздух не так же чист, свеж и благоуханен?» — думают люди, не помнящие родства. О себе же могу сказать, что, после того как я столько лет вздыхал по своим краям и проклинал землю, по которой ступал, я вдруг, в одно мгновение, решил вернуться.

Случилось это, как я уже говорил, как раз когда Мариана, резко меня оттолкнув, перевернула кипящий мате и обварила меня. Мы сидели злые, я и вообще-то был на пределе: ведь уже столько дней лил дождь, я устал от этих потоков, устал вертеть в руках письмо моей тетки — она сообщала в нем о смерти дяди и по-своему наталкивала меня на мысль о своевременности моего присутствия там. Как могла она одна, несчастная старуха с кучей всяких хворей, заниматься и дальше торговыми делами? А что, если ноги совсем откажут? — плаксиво вопрошала она. Во внут-

реннем кармане пальто лежало у меня это письмо, написанное каракулями: тетушка писала, что я уже и прежде управлялся с торговлей, что дела идут примерно так же, как до того проклятого дня, когда дядя послал меня в Сантандер закончить инкассационное дело и война, будь она неладна, нас разлучила... Почти двенадцать лет прошло, да, все двенадцать, но перемен особых нет, только вести дело нынче стало так сложно, что во главе торговли должен стоять мужчина. Бедный дядюшка скончался, и кто, как не я, который учился делу возле него, я, на которого они всегда смотрели как на сына, на наследника их нелегких трудов... Ей тоже остается не так уж долго жить; совсем слаба стала... Вот уже две недели, с тех пор как мне передали письмо, меня будоражили тетушкины рассуждения, и все же решительный толчок дали не они, а минутная вспышка раздражения. Так вот и случается: вполне серьезные причины не могут пробудить человека от спячки, а укусила оса — и он взвизгивает под потолок. Нет, я не взвился, когда на меня вывернули кипящий мате, я по-прежнему спокойно сидел на стуле. Но внутри у меня... Все отлично, мой отъезд — дело решенное: первым же пароходом! Сидя здесь и глядя, как падает на пальмы дождь, я видел все уже другими глазами, а бедняжка Мариана даже отдаленно не могла вообразить себе причину моей поразительной кротости; и все же она, без сомнения, уловила во мне в тот день что-то необычное; что-то необычное было во мне и в последовавшие затем дни; она понимала, что я скрыл от нее какую-то необыкновенно важную тайну, и изо всех сил хитро пыталась, хоть и впустую, вывести меня из терпения, даже вызывала на ссору, надеясь, что я взорвусь. Но я созерцал ее все с большей любовью, и мне было даже приятно сочувствовать ей в глубине души: ведь она, несчастная, не знала, что я прощался, что через неделю я исчезну и она со своим мате и Буэнос-Айрес со своими небоскребами (привет! всего наилучшего!) малопомалу погрузятся в океанскую пучину.

II

В начале октября, утром, я сошел с парохода в порту Виго. Я никогда не бывал прежде в Виго; город мне не понравился: на мой взгляд, он был грязный, унылый, и я почувствовал себя таким же бесприютным — а может быть, сейчас это чувство было даже острее, — как в Буэнос-Айресе, когда после окончания войны я сошел с парохода в его порту. Да, как ни был я предрасположен к патриотическим переживаниям, я не мог избавиться от ощущения, будто я в чужой стране, и это

недоверие, это чувство одиночества ничуть не рассеивалось, а все росло и росло, до самого Сантьяго. И вот я стою на платформе, поезд уже ушел, и я, с чемоданом в руке, иду домой по мокрым, скользким плитам тротуара, и мне кажется, что я возвращаюсь не в родной город, а в один из своих снов; этот сон снился мне не раз, и я так же шел этими улицами; мне кажется, что я снова вижу этот кошмар, мучивший меня в Буэнос-Айресе: я в Сантьяго, неведомо как вернулся, меня кто-то узнает или я подозреваю, что меня узнают, и этот человек хочет донести на меня и задержать, и я, хотя ситуация еще не ясна, спасаюсь, ухожу запутанными переулками, за мной идут по пятам, но я не решаюсь бежать, боюсь привлечь внимание прохожих. Я иду, двери и окна смотрят на меня недоверчиво, но я иду дальше, на лице у меня спокойствие, самоуверенность, безразличие, а сердце бешено колотится.

Во сне или наяву вижу я эту женщину, которая тащит за руку ребенка, эту собаку, которая смотрит на меня и потом куда-то исчезает, во сне или наяву вдруг слышу справа от себя хлопанье дверей и невнятную ругань и вижу этих двух священников, которые переходят передо мной дорогу в начале улицы? Снится мне или я на самом деле вдруг ее увидел, эту фигуру, идущую вверх по улице, по той же стороне, что и я, мне навстречу, и я внезапно узнаю Бенито Кастро, парикмахера? За все время, что я не был в городе, его имя ни разу не пришло мне в голову; а теперь — вот он, идет мне навстречу. Он еще меня не узнает, глядит как на приезжего, который тащит свой багаж с вокзала. Поздороваться? Да, конечно, лучше поздороваться. Узнал, узнал уже, между нами два шага, не больше, он сходит на мостовую, пропуская меня, «привет», — говорит он и идет дальше. Ну можно ли вообразить себе такое! Столько лет не виделись — двенадцать (тринадцать, четырнадцать, сто лет еще мог я прожить и не вспомнить его лица)... и вот через столько лет я приезжаю, сталкиваюсь с ним нос к носу и... без малейшего колебания «привет», словно бы я вчера брился в его парикмахерской; и он так же просто говорит мне «привет» и идет своей дорогой, как будто все это в порядке вещей и не было двенадцати лет, и войны, и... Интересно, что делал этот мозгляк во время нашей великой заварухи? Чуть поворачиваю голову и гляжу через плечо — так я и предполагал, точно, он обернулся и смотрит мне вслед. С трудом сдерживаю себя, стараюсь идти все так же спокойно, не спеша; но я не сплю, нет: подавляю внезапное желание броситься бежать и, только завернув за угол, немного ускорю шаг.

Когда я, слава богу, добрался до дому, мне, верите ли, хоте-

лось одного: лечь и заснуть. Я толкнул невысокую застекленную дверь — каким запущенным показался мне вход в магазинчик и витрина с плоеными вуалями для первого причастия, с молитвенниками, изображениями святых — Святой Иаков¹ на коне все еще поражает мавров! — я толкнул дверь, зазвонил колокольчик, и я с чемоданом в руке вошел в магазин.

«Ты!» — вскрикнула при виде меня тетушка. Она подняла голову: все та же прическа, но волосы еще больше поседели; она рылась под прилавком, и руки ее бессильно повисли; тетушка глядела на меня с испугом и лишь восклицала: «Ты!» Только когда она вышла из-за прилавка и направилась к дверям, чтобы запереть их, я понял, что она хромает. Она закрыла двери на ключ и на задвижку, и мы прошли в жилые комнаты.

И вот я сидел здесь, на старом диване, даже откинувшись на подушки, а она — напротив, в своем кресле; и я, переполненный какой-то непонятной ленивой истомой, молчал, глядел на тетушкино лицо, изрезанное морщинами, на ее живые глаза под очками в серебряной оправе; глядел на черное дерево кресла, на рисунок обоев, на стеклянный колпак на комод, под которым стоял святой, убранный цветами, — мне никогда не удавалось вспомнить, какой святой, — глядел на створку окна, с пятнами и царапинами на стекле, а моя тетушка в это время, сложив руки на коленях и не говоря ни слова, следила за моим взглядом.

— Раньше здесь была другая занавеска, — заметил я; мне хотелось восстановить в памяти эту прежнюю занавеску.

— Да, правда. Пришлось сменить ее незадолго до смерти твоего дядюшки... Но знаешь, сынок, принесу-ка я тебе чего-нибудь поесть. Что бы тебе предложить... Кофе у меня нету. Что бы тебе дать? А не хочешь рюмочку пропустить? Как ты?

Она принесла рюмку водки; я выпил одним глотком — пошла хорошо, я поблагодарил, улыбнувшись; она в ответ: «Слава богу, ты уже здесь. Очень устал, сынок?»

Нет, я не очень устал; в прямом смысле этого слова я не устал, но я испытывал какой-то разлад в чувствах, какую-то печальную неудовлетворенность, даже разочарование.

— Ты изменился, — сказала она, — постарел и потолстел, но выглядишь хорошо.

— Там толстеешь хочешь не хочешь. Там все толстеют. Мы опять помолчали.

— Как это у тебя, тетя, вышло с ногой? — решился я спросить. Я уже не раз порывался спросить, но удерживался.

¹ Святой Иаков — по-испански Сантьяго — считается покровителем Испании, спасшим ее от мавров; отсюда и название города, где он якобы похоронен.

Наконец спросил.—Как вышло с ногой? Ты никогда ничего мне про это не сообщала.

— А зачем было сообщать тебе про это?—Она поглядела на край подола своей юбки.—Это случилось вскоре, как ты уехал, когда искали тебя.

— Искали меня? Как это искали? Для чего искали? Кто меня искал?—Приподнявшись и упершись в диванную подушку, я впился глазами в ее бесстрастное лицо.—Кто это был, кто искал меня?—снова подступился я к ней через минуту, но уже голос у меня был поспокойней, только тоскливый какой-то.

— Да не знаю я. Незнакомые все, много их ввалилось, целая орава,—ответила она.—А вот кто привел их? Ведь он их привел. Догадываешься, кто? Только его одного я и знала. Твой дружок, которого я, по правде говоря, всегда не переваривала, и как я, сынок, была права!..

— Абеледо.

— Он самый. Об этом ты знал? Тебе говорили?

— Никто мне ничего не говорил. Сам сообразил.

А ведь Абеледо был последним из моих «дружков», на которого я бы должен был подумать, но не знаю почему, едва только тетушка сказала, что за мной приходили, как я подумал на него, и ни на кого другого. Да, Абеледо...

— И где он теперь? Что подделывает?...

— Никто не знает. Пришли они оравой. Когда я сказала, что тебя нет, что ты уехал в Ла-Корунью (я сказала, что ты уехал в Ла-Корунью, не хотела говорить, что ты в Сантандере), они весь дом перерыли, рвали, ломали все, что под руку попадется, а уходили—скоты!—столкнули меня с лестницы. И вот: два месяца больницы, твой бедный дядя мыкался, мыкался, то больница, то лавка, торговля брошена... Ох, боже ты мой, как бы нам в этих горестях пригодились те деньги, за которыми ты поехал в Сантандер и о которых я и по сей день ничего не слыхала, не знаю, удалось ли тебе, сынок, получить деньги, хоть и подозреваю, что пришлось тебе, бедному, потратить их в скитаниях...

Я принялся рассказывать тетушке о своих минувших злоключениях. Рассказал ей, что на другой день я уже действительно смог получить, после жарких споров и согласившись на некоторую скидку, сумму, которую нам задолжали. И тут я еще и в поезд обратный не сел, как потекли разные сообщения и слухи, тревога нарастала, начались беспорядки, и, как я ни старался уехать, мне пришлось остаться там. Я не рассказал ей ни о воодушевлении, охватившем меня, ни о восторге, с которым я с самого начала во всем участвовал: возбужденно бегал из

Гражданского управления в Народный дом, из Народного дома в аюнтамьенто, из аюнтамьенто в редакцию «Эль Монтаньес», оттуда снова в Народный дом... Я рассказал ей, что, будучи призывного возраста, я подлежал мобилизации и был отправлен на фронт; я не рассказал ей, что пошел добровольцем и что, сжигаемый радостной лихорадкой, предался войне душой и телом. Что бы она поняла в моем воинском самопожертвовании, в тщеславной ответственности, с которой я исполнял мои капитанские обязанности, в моей доверчивости, в моей вере, в моих горестях и печалях, если я сам теперь, после стольких лет, едва в силах понять переполнявшие меня тогда чувства, такие сильные, такие чистые? Это был некий восторг, постичь который сегодня мне не дано, он изумляет меня: я словно бы вижу какого-то совсем другого человека, охваченного восторгом, безрассудного в своих побуждениях, реакциях, поступках. Пожалуй, наполовину виноват в этом был и сам Сантандер, где воздух чист и прозрачен и, напоенный морским ветром, возбуждает душу игрой ярких, цельных красок, сиянием и ясностью безграничных далей. Там вижу я себя самого—вижу с шутливым сожалением и даже с некоторой неприязнью—исполненного пламенным благородством, свободно рискующего жизнью... Я рассказал, как, вынуждаемый обстоятельствами, должен был воевать и что к тому времени, когда все было кончено для нас, для тех, кто воевал на Севере, я уже дослужился до капитана и боялся оказаться в мышеловке—как офицеру мне бы дешево не отделаться,—но что в последнюю минуту мне удалось перейти границу с Францией... Потом я рассказал о жизни в Америке, о замечательной должности в конторе маслозавода акционерного общества «Андалузка», где меня уважали, где меня ценили и, когда я прощался накануне отплытия, умоляли меня, сулили мне, да, сулили золотые горы, лишь бы я не уезжал и остался служить дальше в фирме...

И пока я ей рассказывал, в ушах у меня звучало *Абеледо*; это имя звучало во мне, звучало непрестанно, мрачно, глубоко под слоем произносимых слов и фраз, из которых мой язык все ткал и ткал простенький рассказик для тети. *Абеледо Гонсалес... Мануэль Абеледо Гонсалес...* Почему, господи, почему? Я спрашивал себя, почему пожелал преследовать меня Абеледо? Я рассказывал о сантандерских днях, исполненных надежд, о бурных, трагических днях, я видел себя капитаном и... *Абеледо*; я говорил о Буэнос-Айресе, о фирме, о подсолнечном и арахисовом масле с маркой фирмы «Андалузка», и... *Абеледо*, все время *Абеледо*, лицемерный и коварный. Я не мог понять—непостижимо!—почему Абеледо так захотелось навредить мне;

напрасно изо всех сил пытался я вообразить, какими глазами смотрел бы он на меня, случись нам тогда повстречаться, что бы он сказал? Нет, мне не удавалось ни представить себе выражение его лица, ни как бы он держался в подобных обстоятельствах, ни услышать его голос. И однако это был он, это его имя сразу же сорвалось у меня с языка, едва я обо всем узнал, и ни мгновения я не колебался: он, это он, я был слепо убежден в этом. Почему? Необходимо поразмыслить, нужно вновь и вновь все продумать, пока не вникну в самую суть, но завтра, да, завтра. Сейчас я был слишком изнурен и желал лишь, чтобы меня оставили в покое, как больного, оставили в покое, как я оставил мой чемодан, там, у дверей, даже не открыв его—завтра тоже будет день; а тетушка, глупая, все объясняла мне свои торговые дела—как я мог внимательно слушать ее сегодня?—купить, продать, знакомства, связи, наем, спекуляция, да вот зачем далеко ходить, только вчера утром, самое позднее... Вдруг я перебил ее: «И Абеледо? Что он сейчас подельывает?» Она ответила, не придав особого значения моим словам—помню, меня это удивило, но не раздосадовало,—что понятия не имеет что, когда ее поставили в больнице на ноги, ей надо было незамедлительно заняться тем-то и тем-то,—только это ее и интересовало!—можешь себе представить, сынок, все брошено... времена такие трудные, такие трудные. Но—и она внезапно прервала поток сетований,—но оставляю-ка я тебя одного, ты, мальчик, сидя спишь, я пошла, пошла, а ты ложись...

III

Открыв на следующее утро глаза и едва ощутив, припомнив и поняв, что я здесь, в Сантьяго, и что начиная с сегодняшнего дня и впредь мне надо здесь жить—надо вставать с кровати, на которой я сплю, выходить из комнаты и из дому и куда-то идти, я был поражен мыслью о том, что в любую минуту, стоит мне только выйти на улицу, я могу оказаться лицом к лицу с Абеледо, эта мысль парализовала меня, ужаснула. Я не трус, на войне я, ни секунды не колеблясь, подвергал опасности свою жизнь, и подвергал по-разному: весело, азартно—во главе группы милисиано, когда в самом начале событий линия фронта еще не установилась и, по сути дела, говорить о фронте и тыле было бессмысленно: враг мог внезапно появиться с любой стороны; спокойно—когда позднее, оценив воинскую дисциплину, командуя моей пулеметной ротой («пулеметной» говорю: один пулемет был, да и тот, бедняга, в плачевном состоянии! Вот

и все наше оружие), наконец, идя во главе моей роты, всегда был готов пожертвовать собственной шкурой, лишь бы удержать позицию, защитить какую-нибудь безымянную высоту; и холодно, со стоическим безразличием — всякий раз, например, когда приходилось выдерживать бомбежку, уткнувшись носом в землю, закинув руки на затылок, вдохновлял шутками или забавной выходкой своих ребят. Нет, я не трус. И, говоря по правде, не страх я испытывал при мысли о возможной встрече с Абеледо. Во-первых, я был уверен, что ничего серьезного произойти не может, те времена прошли, и, кроме того... Ну разве я его не знал? Он бы бросился мне на шею, едва меня заведя, поздоровался, лицемерно ликуя, и, не имея под рукой никого, кому бы он мог выдать меня с еще горящим на моей щеке его поцелуем, и, не питая иных надежд, кроме как досадить и причинить неприятности, но убить... нет, как бы ему ни было тошно, он бы продолжал комедию сердечной встречи, изъяснялся бы в дружбе, льстиво заверял бы в своей преданности, предлагал бы... Разве не знал я его! Горбатого могила исправит. Нам было лет по пятнадцать-шестнадцать — и что же он тогда сделал, там, в семинарии, когда надзиратель накрыл нас за писанием стихов, которые наши священники сочли грязными и непристойными? Черт подери, ведь друзья должны делить между собой не только радости, но и опасность, и наказания! Как же он поступил? Он показал мне сонет, написанный им некоей деревенской красавице, которая накануне проходила мимо наших окон, покачивая бедрами, а мы глядели на нее из спальни. Это покачивание необычайно взбудоражило Абеледо, он даже взялся за перо и не встал из-за стола, пока не высидел сонета. Сонет, ладно, пусть сонет, если только этот стишок можно было назвать сонетом. «Давай сюда, неумеха, подправим тебе его», — сказал я. И, засучив рукава, принимаюсь работать: вымарываю, правлю, черкаю, здесь — улучшаю рифму, там — исправляю размер, потом принимаюсь переписывать набело под его диктовку. Вот этим мы и занимались, когда на нас свалился надзиратель! Мне было никак не отпереться, он застал меня врасплох, на месте преступления, я так и замер с пером в руке и, разинув рот, глядел, как в грубой ручище плывет по воздуху вещественное доказательство преступления; ничего не было странного в том, что Абеледо, напротив, сумел спрятать оригинал, написанный его рукой и только с моими поправками, и избег наказания, но не подбрасывать же дрова в огонь и не отягощать груз вины, возложенный на мои плечи, лишь бы остаться в стороне!.. После от его заверений в солидарности, от жизнерадостных рассуждений, притворных оправданий и объяснений мне становилось еще хуже; и хотя я

ничего ему не сказал, но ни я, ни тем более он не забыли этого случая, он помнил о нем даже крепче, чем я. Мы по-прежнему дружили и считались неразлучными приятелями. Но, начав припоминать, как мы дружили, я легко мог сообразить, что ситуация и положения той неприятной истории повторялись и позже в различной форме, по совсем иным поводам, даже после того, как мы оба сбросили одежду семинариста и пошли каждый своим путем: такой уж у него был характер, уж я-то его знал! Теперь, когда я его встречу—а не сегодня, так завтра я должен его повстречать,—он бросится ко мне, друг мой Абеледо, и с преувеличенным восторгом сожмет в крепких объятьях, вслед за тем посыплются вполне искренние укоры—почему я так долго молчал, но тотчас же, раньше, чем я хоть слово скажу, он уже поймет, как мне тяжело было молчать, и проявит сочувствие и уважение к моим доводам, намекнет на эти причины с братским чувством, которое выше всяких различий... А я? Как я поступлю? Что мне останется? Я приму эту игру: «Да», «Ну что ты!», «Прекрасно!» Вот это в моем характере, себя я тоже знаю... И в заключение: «А разве что-нибудь такое было?»

Ясно, что мне нечего бояться; и эти размышления, которым я предавался, лежа в постели, едва проснувшись, были весьма успокаивающими. И все же когда я глядел в окно и видел, как тихо скользят по стеклу капли дождя, то при мысли, что уже сегодня, немного погодя, после того как поднимусь с постели и позавтракаю, я должен буду выйти на улицу и начать свое новое существование в этом Сантьяго, где неизбежно, рано или поздно, встречу Абеледо,—при одной этой мысли мне становилось так плохо, так невыносимо тяжело, что все воображаемые картины, предвещающие неизбежную действительность, проносились передо мной, ничуть меня не успокаивая, словно бы их видел совсем другой человек, от которого я был окончательно отделен, а сам я уже никогда не выйду из этой комнаты; и, растянувшись на постели, я не шевелился и только бесстрастно глядел в окно на дождь, а за дождевой завесой я прозревал этот мир страстных стремлений, игры честолюбия, мир страданий и радостей, для меня таких далеких, бессмысленных и призрачных, как те далекие города—Сидней, Кейптаун, которые всегда показывают в кино в давно устаревших хроникальных фильмах.

Но реальность тем не менее энергично и очень скоро вторглась ко мне, постучавшись в дверь рукою тетушки.

— Слушай, тетя, я хотел бы спросить тебя об одной вещи. А как все это время жила Росалия? Наверно, давно замужем...

Этот вопрос я задал не без опасений, не очень-то порядочно я вел себя с этой Росалией. Мы с Росалией — какой чужой она теперь мне казалась, как холодно я о ней рассуждал! — мы были помолвлены; вспыхнула война и разлучила нас — она осталась в Сантьяго, я оказался в Сантандере, между нами — линия фронта. Вначале я ничуть не беспокоился: снова встретимся, ведь все думали, что это может продлиться не более как несколько дней, самое большое несколько недель; война продлилась годы. И пока шли эти годы, пока длился повседневный тяжкий ратный труд, которым были заполнены каждый час, каждый день, я не позволял себе думать ни о чем другом; среди тогдашних забот скоро совсем стерлось беспокойство, иногда охватывавшее меня поначалу, при мысли о нашей разлуке. И когда все кончилось и я оказался в Америке и мог подумать о себе самом, я понял, что в глубине души даже доволен, что из-за могущественных обстоятельств отношения наши разладились, и, как я удостоверился тогда, они немного для меня значили. «Надо написать ей, надо наладить с ней связь», — все же подумал я, но, думая так, я больше, чем о ней, думал о своем дядюшке, ее крестном, который и сосватал нас. Я считал также, что восстановленная связь — через три долгих года, из Буэнос-Айреса и при посредстве писем — не заключала бы в себе восстановление нашей помолвки, но была бы лишь неким соблюдением приличий, неким извинением, чтобы сообщить ей, хотя бы между строк, намеками, причины моего столь долгого молчания, не остаться перед ней свинья свиньей. Но я остался свиньей, так ничего ей и не написав. Из-за нее я даже дольше, чем этого требовали обстоятельства, чем это было нужно и уместно, медлил подать знак, что жив, дяде с теткой и сделал это — когда, наконец, сделал — в форме весьма неопределенной, невнятной и, хорошо помню, весьма хитроумной. В редких, без особой охоты написанных письмах, которыми мы обменивались, не было, по-моему, ни единого упоминания о Росалии. И теперь, когда бедного дядюшки не было на свете, я должен был все же преодолеть последние угрызения совести, чтобы узнать про нее у тетушки, которая сперва допросила меня, хорошо ли я выпался, и принесла мне мутной водицы под названием кофе с молоком, а потом села на другом конце стола.

— Вышла замуж,—так она ответила. И добавила:—Не жена она тебе была бы. Я никогда не вмешивалась в это дело, она ведь крестница твоего дяди—светлая ему память, а не потому, что у нее было немного денег, они все равно все прахом пошли; не такая женщина тебе нужна. Да, вышла замуж, нарожала кучу детей, похожа на хрюшку...

Я попытался на мгновение представить себе ее постаревшей, «похожей на хрюшку»—а ведь она была так тщеславна,—и не поинтересовался, за кого она вышла замуж; уверен, что обо мне она узнала бы с таким же равнодушием. С безразличным видом задал я тетушке и второй заготовленный мною вопрос. Поднеся чашечку с кофе к самому носу, я спросил ее:

— А про этого Абеледо вы ничего не знаете? Чем он занимается? Что подделывает?—Увидев, как она поджала нижнюю губу в знак того, что ничего-то она не знает, и как она покачала головой, я решил расшевелить ее:—Вы мне вчера вечером рассказывали, что он приходил вместе с другими... Что он говорил? Спрашивал про меня, верно?

— Ясное дело, спрашивал про тебя.

Дело не шло, старая чертовка не хотела об этом распространяться. Одним глотком допил я остатки кофе и поставил чашечку на блюдце.

— Пойду схожу в парикмахерскую,—отодвигая стул, пробормотал я словно про себя.—Нужно подстричься.

V

Да, я шел в парикмахерскую Бенито Кастро. Я должен был высунуть голову в мир хоть через какую-то дыру, и эта была не так уж плоха; парикмахерская—своего рода клуб. Меня беспокоило только, что я не могу вспомнить, были ли мы с Кастро на «ты» или говорили друг другу «вы»; я был почти уверен, что между нами никогда не существовало доверительных отношений, нужных, чтобы перейти на «ты», хотя, правда, в Испании и среди молодежи многого для этого не нужно... Во всяком случае, наши отношения с ним не шли дальше деловых: подстричься, побриться... Конечно, если часто заходишь в парикмахерскую, то иногда... Хотя что значит часто заходить?... Ладно, глупости. Какая разница? Какое значение это имеет? Посмотрим... И, выбросив все это из головы, никаких чувств не испытывая, я дошел до угла, где висела прежняя вывеска, все тот же тазик для бритья—тусклый, позеленевший, он всегда висел

возле двери парикмахерской в напоминание о шлеме Мамбрин¹. Сначала я прошел мимо двери, но ничего невозможно было разглядеть сквозь грязное стекло, залепленное крест-накрест узкой бумажной полоской, послушно повторяющей зигзаги трещин. Вернулся назад—куда это ты шел, черт тебя подери?—толкнул дверь и—внутри! «Добрый день!»—«Добрый, добрый...» Тишина. Бенито, больше никого. Он глядел в зеркало и следил, как я медленно направился к вешалке повесить берет; когда я пошел обратно, он уже указывал пальцем на ближайшее к дверям кресло и осведомлялся, стричь ли меня. «Да»,—ответил я, устраиваясь в кресле; глядя, как он возится в ящичке между двух зеркал, я с беспокойством стал соображать, что наш диалог, по всей вероятности, может свестись к обычному обмену соображениями на тему, как меня стричь, или к разговору о погоде. Стремясь предотвратить это, я поспешно воскликнул: «Сколько же мы не виделись, а?» «Да,—подтвердил он,—так уж оно и есть, время проходит, люди уходят, а потом возвращаются, оно так...» На что он намекал? Лучше не ломать себе голову.

— А здесь какие новости?—начал я снова.

— Никаких. Какие могут быть новости? Никаких.

— Ну, вот я, едва приехал, сразу говорю себе: пройдуся-ка я до парикмахерской, послушаю, что расскажет друг Кастро.

— Вчера ведь приехали, верно?—подал он реплику, а вовсе не ответил на мои слова, и тут же пожелал узнать, не предпочитаю ли я совсем короткую стрижку, и вот-вот был готов с головой уйти в работу.

— Кто же теперь сюда заходит?—помолчав немного, снова попытался я завести разговор.—Все, верно, одни и те же?

— Одни и те же, более или менее. Известно, одни уходят, другие приходят. Более или менее одни и те же.

— Но я вот, например, провел несколько лет в чужих краях,—рискнул я снова,—и теперь, когда вернулся... Друг Кастро, должно быть, не раз спрашивал себя, где я обретаюсь.

— Разве вы не в Буэнос-Айресе жили?

— В Буэнос-Айресе.

Он знал! Или, может, случайно спросил, может, догадался по какой-нибудь особенности в произношении, кто знает, может, я что не так сказал и сам не заметил... Ничего неожиданного тут нет. Все же надо было хоть что-то от него узнать. Для начала, поскольку он не слишком проявлял любопытство, я, сияя искренностью, сообщил ему, что в Буэнос-Айресе мне жилось

¹ В романе Сервантеса «Дон Кихот» герой принимает медный таз для бритья за рыцарский шлем волшебника Мамбрин и, отняв его у цирюльника, водружает на голову.

хорошо; я сказал ему—подумаешь!—что у меня на руках хорошее торговое дело на полном ходу, если и не совсем мое, то оно как бы все равно словно бы и мое, и что чувствовал я себя в этой стране, как у себя дома; я пел хвалы процветающей аргентинской земле, куда я должен вернуться, хотя сейчас еще, по причинам семейного характера, и думать об этом нечего, эти-то причины и заставили меня поторопиться с возвращением в Испанию, и что там, вдали, по временам более всего мне хотелось снова пожать руку моим старинным знакомым, моим друзьям... Я проворно стал забрасывать его именами, расспрашивая о тех, о других, в надежде, что, запутавшись в этом ворохе, он невзначай прольет свет и на судьбу Абеледо и мне не понадобится спрашивать о нем впрямую. После того как я безуспешно ходил вокруг да около—этот, например, живет в Мадриде, у него хорошее место; тот—исчез; а тот получил от отца в наследство сапожную мастерскую; ну, а об этом и говорить не стоит,—мне показалось, что я нашел удачный ход, мне внезапно пришел в голову яркий сюжет, и я спросил о Бернардино Продавца Птиц.

— Бернардино? Продавец Птиц? Как раз вчера заходил. Такой, как всегда. Как это что делает? Все то же самое, что и всегда: канареек разводит.

— Чокнутый он, бедняга, но человек порядочный. А что, он по-прежнему работает официантом в кафе «Космополит»?

— Все там, только кафе теперь не «Космополит», а «Националь». Но старые плюшевые диваны по-прежнему там. И кофейники с вмятинами, и все прочее.

— И компания наша тоже там собирается?—спросил я, и сердце у меня заколотилось. Я представил себе уголок у окна, где мы собирались—Абеледо был из тех, кто приходил всегда,—вокруг мраморного столика, вытянутого, как надгробная плита,—друзья, знакомые, знакомые друзей, какие-то приезжие,—человек восемь, десять, иной раз пятнадцать, спорили, выдавали остроты, затевали громкие перебранки. И я увидел самого себя, как я пришел в тот день с сержантскими нашивками, широкими золотыми нашивками от локтя до края рукава, недавно появившимися вместо красных ефрейторских, которые я носил не дольше двух недель, и вся наша братия встретила меня веселой насмешливой овацией. Я вспомнил даже шутку, которую отпустил Абеледо: «Теперь,—сказал он мне,—я должен всякий день вставать перед тобой по стойке «смирно», прежде чем выпить кофе. Прибыл в ваше распоряжение, сержант!»—и, паясничая, стал по стойке «смирно», рука у виска, как положено по уставу; мне это показалось нелепым и даже не очень удобным, ведь мы

находились в общественном месте, я и на самом деле был сержантом, а он рядовым в форме. Абеледо также отбывал военную службу; служили мы в одном полку, хотя и в разных ротах; но он не собирался идти на повышение, служить сержантом, так как не бросал своих репортерских обязанностей в газете «Ла Ора компостелана» — гонорарчики набегали, а редактор, человек добрый, покрывал, если такое случалось, отсутствие сообщений из пункта первой помощи или из комиссариата; с другой стороны, в казарме Абеледо пользовался особым уважением, как журналист, и даже некоторыми выгодами, хотя ему завидовали и строили мелкие козни. Я же сдал экзамен и стал сержантом, и вот стоял здесь, готовый грудью встретить беглый огонь, который наша компания с великим шумом по мне открывала.

— Компания? Полагаю, что... В конце концов, вы ведь знаете, одни уходят, другие приходят...— заключил Кастро, парикмахер.

И тут ворвался в «салон», а вернее сказать в салончик, откинув занавеску, отделяющую его от жилых комнат, тщедушный мальчик лет девяти, тащивший книги, и, сказав «пока», направился к входной двери. «Поторопись,— посоветовал ему Бенито Кастро, целясь ножницами в потолок,— и не забудь захватить на обратном пути то, что я тебе поручил взять. Ты меня слышишь?» Разве он слышал? Его и след простыл. Бенито глядел в окно, стекла еще звенели — только что хлопнула дверь,— и покачивал головой. Появление ребенка напомнило мне, что, действительно, перед самой войной Бенито женился, и даже пришли на память обычные малопристойные шуточки, которые тогда отпускали в парикмахерской.

— Вот здорово иметь такого большого сына! — тихонько похвастался я Бенито. Он был доволен и улыбнулся.

— Вы не женились?

И пока он подравнивал мне машинкой затылок, я, склонив лицо, видел в зеркале свою растрепанную башку, отдельные седые волосы, редкие и жесткие, сверкали на ней, словно были из проволоки, две морщины, идущие от толстых ноздрей, и эти брови, которые решили стать еще гуще и дали новую поросль, более длинную и дико растущую в разные стороны; и внизу — двойной подбородок, расплывшийся между моей бородкой и горлом. Всякий раз, как я гляделся в парикмахерской в зеркало, я представлялся себе одетым в сутану, которую я не пожелал носить. «Если бы продолжал учиться в семинарии,— думал я,— я был бы теперь священником, вот с этой-то физиономией — истинно священник, сбившийся с пути, нет (фантазии были разные, в зависимости от настроения), лучше священник-

весельчак, который ходит на корриду, дымя хорошей сигарой...» Нет, я не женился. Я не женился на Росалии, обремененной теперь кучей ребят и превратившейся в хрюшку: понадобилась гражданская война—событие помельче не подходило,—чтобы освободить меня от супружеского ярма; не был я женат и на Мариане (бедняжка Мариана! Что она там подделывает теперь?): случайность подвигла меня избавиться от нее после шести лет, прожитых вместе, да, точно—после шести лет, я говорил себе, что поступил благоразумно, не женившись на ней. Сколько раз хотели загнать меня в ловушку?.. Лицо мое растянулось в улыбке: Абеледо тоже, продуманно и вероломно, замышлял женить меня на этой дуре, своей сестре... Ничтожное создание, некая Мария Хесус, до самой этой секунды я ни разу не вспомнил о ее никчемном существовании.

— Не женился, нет.

Парикмахер уже закончил работу, он поднес зеркало к моему затылку, чтобы я мог одобрить прекрасные результаты, достигнутые им, и намылил мне шею и щеки.

Ничего интересного я не узнал.

VI

Хорошо подстриженный, в облаке одеколонного аромата, вышел я из парикмахерской, размышляя, не зайти ли мне в кафе. Сейчас утро, и вряд ли мне грозит опасность наткнуться там на знакомых. А Бернардино Продавец Птиц поговорить любит, он рта не закроет, пока не расскажет мне про все, о чем только ни спрошу. Уж он-то знал, какая у нас была дружба с Абеледо, и как-нибудь да затронет эту тему... Но я не пошел прямо в кафе, а зашагал наобум, руководствуясь лишь желанием подойти к Порталу Славы Господней¹: для нас, галисийцев, Портал Славы Господней—это последний оплот нашего благочестия; его каменное величие хранит культ нашего святого даже теперь, когда вера в Апостола² покинула нас и обратилась в предмет литературы. Туда и предпринял я свое недолгое паломничество: дошел до Портала Славы Господней, но подниматься по ступеням не стал; дух мой склонился, однако справедливости ради надо признаться, без должного рвения, холодно, по обряду, ведь душа была поглощена Абеледо, и ей не хватало простора, которого

¹ Портал в соборе Святого Иакова Компостельского (по-испански: Сантьяго-де-Компостела).

² Имеется в виду апостол Иаков Старший (Сантьяго), покровитель Испании.

требует высокое чувство. Мне не избавиться было от мысли об Абеледо, как ни старался я сосредоточиться, моя мысль, словно назойливая муха, снова и снова возвращалась к нему.

Чем больше я об этом случае думал, тем непонятней, загадочней становилось для меня поведение Абеледо, тем сильнее беспокоили меня его темная деятельность и этот его непонятный поступок, единственный в своем роде по жестокости, окончившийся, на мое счастье, ничем и открывший мне глаза на Абеледо. Но как он мог так поступить, если он был моим другом отроческих лет и юности—одно время мы были неразлучны, но и потом всегда оставались верны нашей дружбе; как он мог, если мы никогда всерьез не ссорились, если даже накануне войны, когда вся атмосфера была такой раскаленной, мы вели политические споры о последних событиях на вполне пристойном уровне; как он мог, если мы, доверяя один другому, оказывали столько одолжений и разных мелких услуг—то он мне, то я ему, правда, чаще я ему, чем он мне; как же он мог—черт побери!—если даже строил планы, хотел породниться, женив меня на своей сестре?.. Всякий раз, как эта деталь всплывала в моей памяти, я не мог совладать с собой и лицо мое расплывалось в улыбке. Представлялось забавной нелепостью то, что бог знает сколько времени в глухих закоулках своей души он сулил мне белую руку Марии Хесус, о которой я ни минуты не помышлял... Уж очень какая-то неуклюжая была бедная Мария Хесус, хоть и добрая душой; главным ее недостатком, должно быть, казалась мне дурацкая, глупая, смешная манера держаться: она опускала глаза, когда я с нею разговаривал, отвечала односложно и смиренно выслушивала указания брата, который держался как хозяин и сеньор, всегда имел наготове какие-нибудь указания и выдавал их при мне перед уходом. Он и в самом деле был главой семьи, которая, впрочем, сводилась к ним двоим: едва умер отец—старый вдовец, властный и не без странностей, который сам определил судьбу детей: сын будет священником, а дочь станет вести хозяйство брата,—Абеледо скинул семинарскую одежду под предлогом, что его моральный долг—пожертвовать карьерой, что он не имеет права оставить сестру одну (мне-то известно, однако, что он терпеть не мог семинарию, я разделял эти чувства), и, пока Абеледо, выбиваясь из сил, старался то там, то тут заработать деньжонок, она делала все по дому и была всегда добропорядочной, молчаливой и очень серьезной... И ничуть не была она уродливой, скорее миловидной, даже, если хотите, очень миловидной—все зависит от вкуса; а что касается нравственных сокровищ, так уж что говорить—бесценная жемчужина! Я жалел ее, глядя, какую она, бедняжка, жизнь ведет; была

она затворницей, исполненной самоотречения, целый день в работе, но чтобы из-за этого... Ладно! Так вот, зная, что она девушка скромная и добрая, к тому же и вовсе не уродливая, и, кроме того, мне здесь стоило бы только руку протянуть, случилось—из одного убеждения, что брюкам это обязательно всякий раз, как перед ними окажется юбка,—как бы это сказать, вот, нашел—случалось мне еще и еще раз укрепляться в своей уверенности, что между Марией Хесус и вашим покорным слугой никогда ничего и быть не может. Почему же? Да потому, что пусть она была и миленькая, и вся такая, как я описал, но мне не нравилась; о, для большей точности скажу, что я высоко ценил, да, ценил сокровище, которое эта девушка ни во что не ставила, но в то же время она удивительным образом смущала меня. Сказать ей что-нибудь, спросить о том о сем—это я мог, но едва я заставлял себя взглянуть на нее «греховными глазами», как меня с души воротило.

Причина этого отвращения от меня не ускользнула, я отлично ее знал. Крылась она—какая глупость, но так все и было!—в ее поразительном сходстве с братом; та же смуглая кожа, те же чернящие брови до самых висков, она же, дурочка, их не выщипывала, она вообще никак не старалась улучшить свою внешность, не красила губы, не пудрилась—ничего! «Я умываюсь чистой водой»... и во всем остальном, что положено от бога, была она копией своего брата Мануэля: тот же убегающий и в то же время меланхоличный взгляд, тот же короткий тонкий нос, такие же округлые, покатые плечи... Одним словом, причина крылась в том, что каждой своей черточкой она напоминала брата; и как я мог бы дотронуться до нее, не подумав тут же об Абеледо Гонсалесе? У меня сразу же пропал бы весь пыл, мне бы казалось—с ума сойти!—что я сплю с ним... Вот я и не помышлял о ней как о женщине; обращался к ней всегда с уважением. Могло ли мне прийти в голову?... Только позже, когда уже была заключена наша помолвка с Росалией и он об этом узнал и убедился, что дело тут серьезное, я понял по его поведению, какие он вынашивал намерения относительно меня и своей сестрички, понял, зачем Абеледо с такой напористостью старался затащить меня в дом по любому поводу, назначал там встречи, и она все время была тут, Абеледо даже оставлял нас наедине; поэтому-то моя помолвка с другой сразила его, господи помилуй, наповал, он стал со мной сух, сдержан, даже дерзок, так изумляя меня, совсем не подготовленного к этому, своим необычным поведением, что я поначалу ничего не мог понять...

Я воскрешал все это в памяти по пути в кафе «Космополит», даже не замечая, где я иду, и вдруг остановился посреди улицы

как вкопанный, оглушенный неожиданной мыслью, которая, словно дубинкой или камнем, стукнула мне в голову: значит, подумал я, из-за этого он и хотел меня уничтожить! Сволочь! — Горячая волна негодования залила меня, и я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. — Сволочь! Хуже сволочи! — Я захлебывался словами, покачивался, как пьяный, и говорил сам с собой. Какая сволочь! Подлость людей, воспользовавшихся гражданской войной, чтобы отомстить за свои грошовые обиды, за всякую ерунду, предстала теперь во весь рост предо мной в облике Абеледо. — Но какая сволочь, хуже сволочи! Я перед ним ни в чем виноват не был, чистая правда. Если у него были какие-то иллюзии на мой счет, если сама девушка была (а может, и не была?) увлечена мной — тут тоже никакого чуда нет, жила взаперти, никого не видела... Их дело! А я эти иллюзии никак не поддерживал, никаких надежд не подавал. Так все делалось, что я, говорю, и не замечал даже... А все потому, что я бестолковый дурак, в некоторых вещах — настоящий идиот, вижу только, когда уже носом ткнут. Как я мог проглядеть намерения Абеледо, отчетливо проступавшие в разных мелочах; теперь-то — увы, слишком поздно! — я все это увидел совершенно отчетливо; как же я не обратил внимания, что во всех его планах на будущее, о которых он любил доверительно сообщать мне, я постоянно играл главную роль; как не высчитал, что у меня более высокое в сравнении с ним общественное положение — бесспорный наследник дядюшки с тетушкой; как я проглядел все это, вместе взятое?.. Конечно, я витал в облаках, но, по счастью, не сделал никогда ни единого ложного шага, ни на миллиметр не сдвинулся в этом направлении, всегда вел себя осмотрительно, и не в чем мне было упрекнуть себя, пусть бы даже в пустяке каком. Может быть, лучше было пойти на открытую ссору, тогда либо наши отношения прояснились бы, либо мы остались бы врагами, уж понятно, до конца дней. Но, господи, какая сволочь! Просто не верилось. Уж теперь-то этому мерзавцу придется выслушать меня с глазу на глаз; как только я наткнусь на него, я с ним поговорю как мужчина с женщиной. Теперь мне уже почти что хотелось встретить его, в такой я был ярости; найти его и...

VII

С тем я и пришел в кафе «Националь», по-старому «Космополит». Вошел и направился прямо в тот угол, где мы по обыкновению собирались; там я и уселся, один у окна. И что это

Кастро, парикмахер, говорил, будто ничего тут не переменялось? Прежде всего, никого из официантов я не знал, по крайней мере тех, кто пока мелькал перед глазами. Стены, если не ошибаюсь, были кремовые, теперь они голубые; что-то не видно и деревянных панелей, которые были прежде, и я бы даже сказал, что сам зал как-то сжался и уменьшился, хотя это и было, понятно, лишь ложное впечатление — возможно, оттого, что сняли зеркала...

Я спросил подошедшего официанта про Бернардино Продавца Птиц; он не вышел сегодня на работу, прислал сказать, что заболел. Ладно, не имеет значения. Я помешал кофе, отпил глоток — вот черт, ничего похожего на тот, что пьют в Буэнос-Айресе! Раньше здесь, в «Космополите», плохой кофе не подавали; в Буэнос-Айресе, по правде сказать, кофе пьешь изумительный, думал я, и не только дома, когда кофе варит Мариана, а всюду, даже в лавках он вполне приемлемый, — я отпил еще и... — а, может, это вероломство Абеledo отбило вкус и мне все так тошно? Ну и сволочь этот Абеledo! Хочется посмотреть, с каким лицом он явится, посмотреть, какое лицо у него будет, когда я скажу: «Ах ты сволочь, босяк! Значит, хотел меня убить?»... Ладно, он станет, конечно, утверждать, что никогда к этому не стремился, что, напротив, надеялся некоторым образом помочь мне, когда привел их меня арестовывать, и в то же время выполнял свой долг (долг! замечательное прикрытие для стольких сволочей!), потому что — о, мне казалось, что я слышу его голос, глаза опущены, сам бледный, — потому что — он то нападает, то отступает и все время играет словами, — потому что в те грозные дни, когда никто не мог быть уверен в своей безопасности, он, прекрасно меня изучив, зная мои взгляды и зная, что всё, как и он, понимали, что я красный, он, мой друг, имел основания полагать, что наиболее благоразумным... и так далее. Мне казалось, что я и в самом деле слышал когда-то запутанное переплетение подобных фраз, как будто память моя сохранила их в неприкосновенности с тех времен, вплоть до тона его голоса! Как будто это было естественным продолжением многих наших разговоров о политике, наших споров — нет, настоящих споров не было, только уколы, укусы, удары! Он был не из тех, кто спорит в открытую и отстаивает с полной откровенностью свое мнение. Понемногу, возможно под влиянием настроений в редакции (он ведь был репортером в «Ла Ора компостелана», именно в этой газете, а не в какой-нибудь другой, чуждой политике), он как дурак менял свои взгляды, и они с каждым днем становились все более реакционными; меня злило, что Абеledo без всяких оснований — ведь всегда был без гроша в кармане — все больше и больше переходил на сторону шайки

богачей. Можно было подумать, что он это делает только мне назло. Мои убеждения—в этом он не ошибался—были искренними, твердыми, и если бы мятеж застал меня в Сантьяго, так что и говорить, он просто был бы обязан выяснить все относительно моего ареста, и раз уж помешать этому он не мог—откуда мне знать?—он постарался бы перетащить меня на другую сторону, если уж ничего иного нельзя было сделать, и мне представлялось абсурдным, что он, начав совершенно случайно работать в газете клерикального направления, он, который знал, чего стоят клерикалы, и презирал их в той же мере, что и я, оказался обращенным в поборника... Вот идиот! Безмозглый! Самым примечательным было то, что он производил впечатление человека убежденного, убежденнейшего. И при его фанатизме и при отсутствии здравого смысла мог бы уверовать, что его долг, патриотический долг—какой новый Гусман Добрый¹ выискался!—принести в жертву любимого друга детства... Таких вещей нагладелись довольно в эту войну... Разве не поехал какой-то тип весьма далеко, лишь бы добраться до деревни, где жил его зять, арестовать и вместе с другими врагами правого дела отправить на смерть, оставив сестру и племянников в слезах и рыданиях? Многие думали, что в этом и состоит долг, их даже умиляло зрелище собственного самоотречения, отречения от обычных человеческих чувств и привязанностей во имя высших интересов; у них даже возникало при этом чувство возвышенного сострадания к своим ослепленным жертвам, которых они отправляли на небеса, но не раньше, чем в великодушном порыве принуждали тех к покаянию и вечному блаженству²...

На минуту я погрузился в воспоминания о войне. Я был здесь, сидел в сумраке старого кафе «Космополит», которое теперь стало мне чужим, рассеянно глядя на людей, изо дня в день проходящих мимо его окон, но душа моя купалась в сияющей атмосфере прежнего Сантандера, радостной, возбужденной, шумной, со всеми разговорами, спорами, надеждами, энтузиазмом, последними новостями и ополченцами-милисиано. То, что тогда казалось вполне естественным, например что все хотели уничтожить врага и смотрели на это как на законную оборону, даже более того, как на священный долг и, разумеется, холодно,

¹ Имеется в виду Альфонсо Перес де Гусман, прозванный Добрым (1258—1309), кастильский военачальник; враги, осадившие Тарифу, которую он защищал, угрожали зарезать его сына, захваченного ими, если Гусман не откроет ворота; чтобы показать врагам, что он никогда не изменит своему королю, бросил сам им нож.

² Перед расстрелом франкисты обычно силой и угрозой расправы с близкими заставляли республиканцев исповедоваться.

подозрительно относились к тем, кто покрывал врага общества,— все это теперь вызывало у меня не то чтобы отвращение, но чувство крайнего изумления. Но ведь так оно и было: даже кровное родство не извиняло и не принималось в расчет перед лицом той, другой, неразумной, бессмысленной общности. Какой могучий рок,—размышлял и чуть ли не бормотал я вслух,—какой всемогущий рок втайне уготовил нам наше поражение, так что мы оказались бездомными, разъединенными, отлученными, наказанными? Я думал: а что, если бы нам пришлось, как им, взять на свою совесть столько ужасов, после того как поутих бы боевой пыл?.. И сразу же с тревогой спросил себя: а я?.. Разве я, если бы он оказался в Сантандере и вся ситуация была бы той же, только наоборот, разве я не?.. С тревогой и мучительным беспокойством вопрошал я себя: а что бы сделал я? Что? Если, например, я, совершенно убежденный, что Абеледо, мой близкий друг... Нет!—ответил я себе, заглянув в глубину души,—нет!—мысленно крикнул я,—нет, нет, я бы на него не донес!—И я почувствовал большое удовлетворение, я был более чем счастлив, поняв, что нет же, конечно, я бы так не поступил... Но я—казуист!—упорствовал перед судом своей совести: но... подумаем хорошенько... а если, например, у меня были бы точные сведения, что он из «пятой колонны», делает все, чтобы подорвать нашу оборону? Или если, зная, как знал я его взгляды, я вдруг увидел бы его, предположим, в каком-нибудь засекреченном месте, откуда он может шпионить сам или руководить другими, словом, представлять опасность? Какая сложная ситуация!.. Что бы там ни было, а он не мог никак подозревать, что я, сидя в свечной лавке, представляю опасность для так называемой национальной революции—с меня, бедного, довольно было бы просто затаиться; с другой стороны, у него всегда была возможность, если уж он так ревностно к этому относился, найти меня, поговорить наедине, предупредить, даже пригрозить... Кто знает... В столь крайнем случае я бы, конечно, поступил именно так. Но он... Счастье мое, что я был в отъезде, да и его, его дикое счастье, что не столкнулся он со мной, ведь, столкнись он со мной—тьфу!—сколько ни уговаривай он себя: «Он красный, и момент серьезный: на карте судьба родины, правого дела» и тому подобное, он не переставал бы слишком хорошо помнить, кто был этот красный: ведь это друг всей его жизни, который нанес ему непереносимую обиду, обманув его ожидания, когда не попросил руки его сестры, оставив ее доживать век в старых девах; и засела в нем эта растрavляющая душу колючка, а он еще и сам себя растрavлял, сам себя терзал, пока вот так гной не потек, исторгая и колючку; ну, совесть-то, конечно, жала, как

новые сапоги, но совесть обуздывается привычкой, можно сделать дырку, обрести дырявую совесть. Во всяком случае, я оказал ему хорошую услугу тем, что находился в недостижимых пределах, хотя сама его попытка выставила его передо мной голеньким, в весьма неприглядном виде. А если мы столкнемся теперь, захочет ли он пакостить мне или предпочтет проявить великодушие? Да пусть его! Пусть делает, что вздумается! Я представлял себе: «Этот ты! — иронически воскликнет он. — Откуда через столько лет явился?» И если я, возможно, в тон ему скажу: «Тебе, верно, кажется, что я из могилы вышел?», он может ответить и с угрозой: «Лучше бы тебе, несчастный, там и оставаться», добавив себе под нос: «Что-то снова крысы повысовывались! Нечего им так скоро страх забывать» или что-нибудь в том же роде.

Мысль о нашей случайной, но вполне возможной встрече вновь вернула меня к сегодняшней ситуации, в кафе «Космополит», где мы в другие времена столько раз сидели вместе, именно здесь, в этом самом углу, за этим же мраморным столиком, и где в любой момент он может снова появиться. Да, в любой момент: вот прямо сейчас, а почему бы нет? Вот эта самая рука, которая толкает сейчас дверь, чтобы ее обладатель мог войти, не может быть разве его рукой? Вот-вот появится в проеме его черная голова, его недоверчивые глаза, покатые плечи... От такой мысли пульс у меня участился; я сжался, вцепившись в край стола, и уставился на дверь, которая закрылась, словно таща меня за собой и заставляя приподняться со стула. Но нет, это был не он, это был немолодой крестьянин, нетвердо стоявший на ногах и быстро выбравший себе место за колонной... Все равно, подумал я, распрямляясь. Не в этот раз, так в следующий или позже, и если не сегодня, так завтра, в каком-нибудь другом месте. Где-нибудь да встречу его, очень скоро, и искать не надо... Потом я постарался представить себе, каким он стал в свои тридцать с чем-то лет, не растолстел ли, как я, чем занимается. Мне казалось, что он теперь важное лицо, тщеславен, вращается в определенном кругу, и это весьма затрудняет нашу случайную встречу.

VIII

Встречи не получилось. Прошел этот день, и следующий, и еще один, и еще; прошла неделя, за ней вторая, а я не наткнулся ни на него, ни даже на того, кто мог бы рассказать мне о нем, — он словно сквозь землю провалился! Конечно, я вел свои

розыски очень осторожно, никому бы и в голову не пришло, что я его ищу. Я не искал его; но я—это уж точно—не мог обрести покоя и заняться чем-нибудь другим, пока надо мной висела угроза этой проклятой встречи; и так как слепой случай, которому я бросал вызов со все возрастающей отвагой, показываясь повсюду, даже в самых людных местах, не спешил прийти мне на помощь, я рискнул спровоцировать его, отправившись в волчье логово, не без того, конечно, чтобы принять разумные и тщательные меры предосторожности.

Чтобы прервать разговор, когда мне заблагорассудится, я как-то позвонил из кафе в «Ла Ора компостелана» и попросил сеньора Абеледо. Такого не знаем—был ответ. Станным образом успокоившись, я отправился прямо из кафе в редакцию и стал упорно настаивать: «Да, сеньор, Абеледо, дон Мануэль Абеледо Гонсалес». Консьерж, выживший из ума старик, не спешил дать мне сведения. «Репортер, говорите? Постойте, уже сто лет он сюда не является. Да, да, знаю я его: Абелардо, симпатичный парень, репортер, верно? Такой толстый блондинчик...» — «Какой там толстый блондинчик! Да нет же, господи, он такой смуглый, волосы черные, брови...» — «Тогда я не знаю его... Да, да, ясное дело, вы правы, я спутал, я про другого говорю, про Абелардо Мартинеса, толстого блондинчика». — «О господи!» — «А этот... как, вы сказали, его зовут?.. А про этого, как там его, Гонсалеса, я никогда ничего не слышал», — заключил он, пожав плечами. Тогда я сказал, что хотел бы повидать дона Антонио Куэто. Куэто был тем главным редактором, который одно время покрывал промахи молодого газетчика, находившегося на военной службе, и которому я и сам приносил от Абеледо раза два какую-то информацию. Какое имеет значение, помнит он меня или нет? — «Дона Антонио Куэто? Но разве вы не знаете, что дон Антонио Куэто теперь гражданский губернатор? Да, да, в Аликанте, по-моему, а может, в Альмерии».

Куэто—гражданский губернатор? С ума сойти!.. Тут меня осенило, что он мог увести с собой как своего секретаря кого-нибудь из редакторов «Ла Ора», и вполне возможно, что он выбрал Абеледо, который, казалось, так пришелся ему по душе. И—принялся я фантазировать—почему бы и самому Абеледо не занимать теперь высокий пост—этот пост, не слишком заметный, могли предложить в знак благодарности за ревностное служение режиму, почему бы ему не пользоваться влиянием, не получать хорошее жалованье и даже—как знать?—не находиться непосредственно у власти?..

Я вздрогнул. По мере того как я уходил дальше и дальше от редакции, меня охватывало все большее волнение: теперь я был

готов весь мир перевернуть, лишь бы найти его, а до тех пор я не смогу ничего делать, не найду себе места, не смогу спокойно жить... До этой минуты каждый мой маленький провал — когда, например, в кино я принялся в перерыве бродить между рядами взад-вперед, но не наткнулся ни на одного знакомого, или когда я вошел в Галисийский Атеней¹ и не оставил ни единого уголка без внимания — всякий раз, как я заходил куда-нибудь, где мог бы встретить его, но так и не находил (подобные вылазки я осуществлял по одной в день, чувствуя себя после них удовлетворенным, но на другой день отправлялся снова на поиски), каждая из этих бесплодных попыток была для меня на мгновение глотком свежего воздуха, обманчивой отсрочкой, которая даже не приносила мне глупого утешения и не отдаляла неизбежное столкновение, ведь хотя оно, с одной стороны — к чему отрицать это? — пугало меня, с другой — было мне желанно, и, пожалуй, я с все большим жаром хотел, чтобы эта трагическая встреча наконец осуществилась.

В редакции его никто не знал! Меня это перевернуло и страшно взбудоражило. Это было первым намеком, или мне так показалось, на одну возможность, о которой я прежде едва отваживался мечтать: почему война, которая так переместила людей, что для меня Сантьяго превратился в чужой город, где я никого не знал, не могла бы удалить отсюда Абеледо, унести его в какое-нибудь совсем другое место, на другой конец Испании, в Аликанте, в Альмерию? Если эта гипотеза имела под собой почву, если, по счастью, это был именно такой случай, тогда ничто не мешало мне остаться и жить здесь, в этом незнакомом и безучастном Сантьяго, так же спокойно, как в Буэнос-Айресе, ничего ни о ком не зная, ничего никому о себе не докладывая, то есть жить так, словно бы никогда на свете никакого Абеледо Гонсалеса и не существовало.

Итак, в тот день, взбудораженный надеждами, которые до того с трудом, но подавлял, я не удовольствовался телефонным звонком в редакцию, я подкрепил их еще и тем, что сначала добрался до консьержа, а затем, полный нетерпеливых надежд, уже совершенно нетерпеливых, готовый все поставить на карту, я направился к его дому. Много раз и прежде, когда мне случалось куда-нибудь идти, я делал круг, чтобы пройти мимо с самым независимым видом, пожирая глазами запертую дверь в подъезде и окна, но так ни разу никого там и не увидел. Теперь я не хотел ограничиваться прогулкой мимо дома, я хотел дернуть за колокольчик и подождать, посмотрим, что будет. Ну, а что может

¹ Научно-литературное общество и место, где оно собирается.

быть? Мария Хесус широко раскроет и дверь и глаза? А хотя бы и сам открыл, самый-рассамый Абеледо: я бы воспользовался его замешательством и задал бы ему вопрос, задал бы в любимой моей манере, даже, быть может, крепко хлопнув по плечу, бормоча как пьяный: «Мне тут сообщили, что ты искал меня и приходил ко мне домой с друзьями, вот я и зашел к тебе узнать, зачем ты приходил». Губы мои разъехались в улыбке: я возвратил бы ему визит по прошествии всего каких-нибудь десяти лет... С этими мыслями дошел я до угла и, замедляя шаги, чтобы у случая было больше времени прийти мне на помощь, прошелся два раза взад-вперед по противоположной стороне улицы. И все зря, моя осада была напрасной: бесстрастная тишина лишала меня надежды; сапожник, работающий в том подъезде, где раньше был табачный киоск, смотрел, как я крейсировал взад-вперед; моя твердая уверенность начинала колебаться, я вдруг почувствовал, что страшно устал, все мне стало безразлично, грусть охватила меня—я изнемог, и вдруг—что я вижу?—из-за угла выходит какая-то женщина и, дойдя до двери, останавливается, достает ключ, вставляет его в замок и собирается повернуть.

— Простите, сеньора! — Одним махом я оказался возле нее (и вся моя расслабленность мигом исчезла, я снова был вполне спокоен, несколько бледен, возможно, но решительно спокоен).— Скажите, пожалуйста, не здесь ли живет дон Мануэль Абеледо?

Она повернулась, медленно оглядела меня, я пригляделся тоже: лет сорок, выглядит еще хорошо.

— Нет, сеньор, нет, такой здесь не живет,—спокойно ответила она и, не обращая больше на меня внимания, снова стала поворачивать ключ.

Сказать, что я твердо ожидал именно этого ответа, было бы нельзя: ну с чего бы, на каком основании? И, однако, я принял его как должное, а услышав положительный ответ, наверняка бы расстроился. Уже уверенно, весело я настаивал:

— Но ведь мне дали именно этот адрес, номер дома именно этот, все сходится, никаких сомнений.—Последовала пауза.— Может, вы случайно слышали... не знаете ли, случайно?..

Она уже открыла дверь, и я жадным взглядом окинул прихожую, которую столько раз пересекал, входя в дом или уходя из него вместе с Абеледо.

— Абеледо, вы сказали? Дон Мануэль Абеледо? Должно быть, что-то напутали в адресе, здесь он, во всяком случае, не живет, и от соседей я тоже не слыхала...

— И тем не менее... Дело в том, сеньора, что я прибыл сюда из Буэнос-Айреса...—И я собрался рассказать ей, что некий мой

друг поручил мне разыскать этого человека; но она, услышав, что я из Буэнос-Айреса, подняла голову, взглянула на меня еще раз и, внезапно заинтересовавшись, прервала:

— А-а, так вы из Буэнос-Айреса? Ради бога, заходите, что ж вы стоите у двери, заходите, присядьте на минутку.

Противиться я не стал и вошел в прихожую:

— Если бы вы помогли мне встретиться с этим человеком, я был бы вам очень признателен. Простите за беспокойство...

Мы прошли в низенькую залу и сели в кресла по бокам забавного столика, покрытого вязаной скатертью с кистями. Исподтишка я внимательно оглядывал комнату, которая прежде была меблирована хоть, может, и победнее, но не так вульгарно, и вдруг, узнав среди нынешней пестрой мебели комод—он всегда стоял в доме Абеледо, но у другой стены,—пузатый комод, в котором он обычно хранил свои вещи, почувствовал, как забилося сердце, словно бы я неожиданно расслышал голос самого Абеледо или, скорее, что-нибудь не столь потрясающее—тихие шажки трудолюбивой пчелки, как называл я его сестру Марию Хесус. Что же здесь делает эта реликвия, если правда, что нынешние хозяева ничего не знают о старых жильцах? Два или три предположения, более или менее абсурдных, пришли мне в голову в ответ на мой вопрос; я постарался подавить смятение чувств и отвечать на вопросы, которые мне задавала эта сеньора. Уже было доведено до моего сведения, что у них тоже в прежние времена было намерение отправиться в Буэнос-Айрес, там и сейчас живут родственники, племянник мужа с женой и двумя уже большими детьми...

— Если бы не война, мы тоже бы там были.—Она улыбнулась мне, и я, держа шляпу на коленях, ответил ей: улыбка у нее была приятная.—А вдруг,—предположила она,—вы знаете семью моего племянника, его зовут Антонио Альварес.

— Альварес?—засомневался я.—Возможно, в лицо... По фамилии не могу сейчас припомнить. Вы понимаете, в таком огромном городе, как Буэнос-Айрес, это было бы удивительно... А где они живут?

— Улица Сантьяго-дель-Эстеро,—объявила она торжественно, будто открыла мне важную тайну, и напряженно, молча ждала ответа. Едва я услышал ее слова, как в моей памяти мгновенно всплыла улица Сантьяго-дель-Эстеро, тот ее отрезок, что ближе всего к площади Конституции и обсажен деревьями, зелеными-зелеными в лучах утреннего солнца, и радость затопила мне душу. Как раз там я познакомился с Марианой: бар у поворота на площадь, где мы встретились в первый раз, и тут же маленький отельчик, где мы обычно виделись, пока

не поселились вместе...

— Нет, по-моему, я не знаю вашего племянника. Или по крайней мере не могу вспомнить.

— И... вы вернетесь туда? — поинтересовалась она. Я сказал, что и сам не знаю; может, вернусь, а может, и нет; хотя очень возможно, что и вернусь; когда проживешь в одном городе столько лет, оставишь там друзей...

Да, и мы бы там жили, если бы не война. Но война началась, и мой муж уже не мог оставить свои обязанности. — (Что за обязанности у ее мужа? — подумал я. Муж тоже был здесь, в зале, висел на почетном месте, строгий, с очень острыми пиками усов, его портрет был сделан pendant¹ к ее портрету, тогда молодой, нарядной, красивой.) — И не то чтобы нам уже не хотелось туда, но...

Женщина говорила серьезно, лицо ее было безмятежно спокойно, но в глазах таилась влекущая улыбка. Я смотрел, как двигаются ее губы, когда она говорит: рот уже постарел, морщины четко очерчивают уголки, но все еще свежий; я смотрел, как она при этом поворачивала полную шею, а потом, пока она все еще говорила, снова с почтительным вниманием смотрел ей в глаза.

Она расспрашивала меня о Буэнос-Айресе, ей хотелось знать, трудно ли там жить.

— Что я могу, сеньора, вам ответить! Там все живут неплохо, одни лучше, другие хуже, ясное дело, но... это изумительная страна! — заключил я. — Изумительная! — сказал я с нажимом. Мой неожиданный энтузиазм передался и ей, лицо ее выражало удовлетворение услышанным, потом она слегка нахмурилась и сказала, что ее племянник в каждом письме жалуется на трудности. И я внес некоторые поправки: — Разумеется, это не филиал рая, а кроме того, человека всегда тянет домой. Да вот я сам, если бы не это, так зачем бы мне было приезжать в Сантьяго, что я тут забыл?

Мы немного помолчали, и я снова вернулся к своей теме:

— Знаете, что я думаю? Должно быть, адрес этого Абеледо мне дали правильный, только он допотопный, этот парень переехал, и... Вы давно живете в этом доме?

— Ах, давно, уже вполне достаточно, с тех самых пор, как кончилась война и мужа перевели из Ла-Коруньи в Сантьяго...

Не знает ли она, кто его занимал до них?

— Нет, сеньор, не знаю, нам его предоставил комиссариат. Конечно, это не то, что мужу бы полагалось по его положению,

¹ Здесь: в пару (франц.).

но он не тот человек, чтобы требовать, хлопотать, отстаивать свои интересы, так что...

— Так, так,—прервал я,—значит, никогда ничего не слышали о старых жильцах... о том, что с ними случилось? Мой приятель говорил, здесь живут брат и сестра: некий Абеледо и его сестра, она помоложе... Мне вот пришло в голову, что, может, как вас сюда переселили, в Сантьяго, так и их могли, в другое место.

— Уж и не знаю, что сказать... Вот, может, муж...

— Не стоит больше затруднять вас.—Я поблагодарил ее, сказал, что я всегда к ее услугам, однако не назвался и пошел восвояси.

IX

С легким сердцем уходил я из этого дома, тяжесть свалилась с плеч: я вышел насвистывая и прошел мимо сапожника, громко стуча каблуками; пошел вниз по улице, к центру, решил выпить пива, поставил танго и бросил монетку в электропроигрыватель, просмотрел репертуар кинотеатров и, конечно—надо же отпраздновать мое душевное освобождение, ведь какая тяжесть свалилась!—надумал порадовать себя какой-нибудь маленькой вылазкой.

В провинциальном городе, где ты чужой, хоть и родился в нем, для мужчины мало вариантов развлечься. И я не колебался долго из-за выбора места, где бы мог ублажить плоть. По счастью или по несчастью, я не из тех, кто может неделями и даже месяцами отказывать себе в естественных радостях. Облокотившись о столик в баре, я подсчитывал остатки своих денег и думал о днях, растраченных попусту из-за этой безумной идеи непременно встретить Абеледо, о никчемных днях, в холодной пустыне которых я не раз ощущал какой-то смутный толчок—Мариана, я вспомнил ее, я желал ее. На пароходе, пока мы шли через океан (дорожный роман с одной бабенкой, возвращавшейся в свою деревню, радовал меня), Мариана возникала в моем воображении не иначе как жутко сердитой: ее лицо, ее капризный рот, изливавший на меня потоки оскорблений, для которых я был уже недосыгаем; и я смеялся над штукой, которую выкинул. Но теперь, когда прошло столько времени после прибытия парохода, эта штука казалась мне дьявольской проделкой, это он подсказал мне, что таким образом я сумею вырваться из когтистых лап, обмануть ее; и искаженное яростью лицо уже не вызывало у меня смеха: я по-прежнему видел Мариану разозлив-

шейся и резкой, все так, но в этой резкости было нечто волнующее, женщина была красива, волновала меня, а нахмуренные брови, глаза, метавшие молнии, презрительно вздернутая верхняя губа—все обещало... В конце концов, к чему предаваться надрывающим душу воспоминаниям, если ничего уж поделать нельзя? Зло свершилось, и теперь...

Но сегодня я решил, как уже сказал, немного повеселить себя; и хотя мне, по правде сказать, всегда была противна «продажная любовь», но все же с наступлением вечера—а что делать?—я направился, непреклонный, как римлянин, в публичный дом, испытывая уже *ante coitum*¹ классическую *tristitia*².

О, какой сюрприз ожидал меня там! После стольких пустых, напрасно прожитых дней выдался вон какой! Вхожу—этот дом *non sancta*³ был мне знаком со времен моей беспомощной юности,—вхожу, смотрю во все глаза, и кого же я вижу среди этой паствы? Марию Хесус собственной персоной, сеньориту донью Марию Хесус де Абеледо-и-Гонсалес, *virgen prudentissima*⁴, готовую... Господи боже мой! Я протер глаза, но нет, это не сон, не галлюцинация: она здесь, во плоти, это именно она, ее выдавал тоскливый взгляд, ее старание остаться незамеченной позади своих товаров.

Я выбрал, конечно, Марию Хесус, вытащил из укрытия, и, когда мы остались с глазу на глаз и поглядели друг другу в лицо, я, верно, был бледнее, смущеннее и более расстроен, чем она сама. Заговорила первая, мрачно сказала:

— И не поверить даже, что вы не пригласили любую другую! Все же вы должны были пощадить меня, хотя теперь, ввиду...— Она дрожала, не столько, по-моему, от гнева, сколько от унижения. А может, и от гнева, только гнев был для нее чувством непривычным, и выглядела она жалкой. Она зло смотрела на свои покрашенные ногти, и ее глаза тонули в тени чернящих ресниц, а кроме того, брови, выщипанные и выпрямленные, которые уже не были ее бровями, придавали ей отвратный клоунский вид.

— Прежде лучше было, со своими бровями,—невпопад ответил я. Она бросила на меня испуганный взгляд затравленного животного (мне и вправду было жаль ее) и промолчала.

Меж тем я начал плести небылицы, с апломбом сказал ей:

— Я ведь пришел повидаться. Долго искал тебя, а потом узнал, что ты здесь, и, как видишь, пришел повидаться.

¹ До соития (лат.).

² Печаль (лат.).

³ Не святой (лат.).

⁴ Благоразумнейшую деву (лат.).

Понятно, что плотские желания, настойчиво толкавшие меня к этому дому, стихли; я был разочарован, раздосадован и охвачен каким-то странным беспокойством. Сам мой голос, необычайно уверенно произносивший эту ложь, ошеломил меня. Но как быстро преодолел я свое замешательство! Ведь эта встреча — черт подери! — была чудовищной неожиданностью.

Она первая (объясняет: входит с улицы один...) меня узнала в вошедшем клиенте. И отразившийся в ее глазах ужас заставил меня уставиться на нее и не без труда — а разве не было это совершенно невероятным? — узнать ее, Марию Хесус, разглядеть под клоунскими нарисованными бровями, прямыми дурацкими бровями, ее глаза, ее щеки, немного припухшие, бледные, под слоем румян, узнать ее фигуру, тоже немного пополнившую и отяжелевшую, и грудь как у горлицы. А каким она увидела меня? Я не очень изменился, потому она меня сразу и узнала. Я сказал, что пришел повидаться, чтобы ее увидеть, и она подняла голову, казавшуюся слишком маленькой под копной нелепо собранных на макушке волос, и пристально посмотрела на меня, серьезно и с облегчением. Ложь, сочиненная во спасение, дала разительный эффект.

Ободряя ее, я убежденно продолжал:

— Представляешь себе, через столько лет... Захотелось повидать тебя, узнать, как ты жила.

Вопрос был задан неловко, на него только и можно было ответить так, как ответила она:

— Но ты же сам видишь...

Но, как ни странно, мы очень скоро, буквально через несколько минут, а может, и почти сразу же почувствовали радость, оттого что были вместе и даже — удивительное дело! — я еще никогда не говорил с ней так ласково и сердечно, как тогда, в этой грязной трущобе, а она — и подумать только, ведь ее положение было безвыходное! — держалась со мной куда уверенней, чем когда-то дома. Она сидела на спинке кровати, а я — лицом к ней на изрядно испачканной голубой табуретке; мы беседовали.

Стараясь ненароком не задеть ее, я говорил сначала какие-то общие слова, но она стала рассказывать о себе, жаловаться на несчастную жизнь: ссоры, обиды, воровство по мелочам, еда, зависть и все это свинство. Слова у нее были не свои, не Марии Хесус, они были взяты напрокат из репертуара, принятого в подобных домах; она его усвоила, и мне теперь вряд ли удастся переключить ее на другой лексикон, словно бы она уже и разучилась говорить иначе, только готовые фразы, а ведь меня интересовали именно обстоятельства ее собственной жизни,

которые привели девушку сюда, и более всего стремился я попытаться, где сейчас ее брат. Я нашел ее погрязшей в тине публичного дома, и это разожгло мое любопытство, но в то же время окончательно затушило прошлые волнения, и я даже отложил на время разговор о самом для меня существенном; я вел себя как человек, который, зная, что интересующая его вещь уже отложена, и считая ее своей, не торопится ее забрать; так и я все еще не задавал заготовленного вопроса об Абеледо: «А Маноло, твой брат, что с ним?», дожидаясь подходящей минуты. Но имя Маноло прозвучало без моего вопроса: среди беспорядочных и бессвязных жалоб она вдруг как-то невнятно сказала: «То, что с Маноло было» или «Несчастье, случившееся с ним», точно не помню.

— То, что с Маноло было? А что с ним было? О чем ты? — бросился я сразу же.

— О несчастье, — объяснила она спокойно, почти безразлично, и продолжала: — И вот из-за этого, оказавшись одна...

— Нет, расскажи мне! Что было-то? Я ведь ничего не знаю.

Она удивилась моей неосведомленности, посмотрела пристально, будто не веря еще, и поведала мне новость, которая потрясла меня; я слушал с изумлением, а услышав, оцепенел и на несколько минут онемел: Абеледо умер, да, он был убит, и не докопались, чья рука его убила в дни военной неразберихи.

Его смерть, неприкрашенный многословный рассказ о которой позже поможет все расставить по своим местам, оглушила меня, и я был почти не в силах сосредоточиться на собственной истории Марии Хесус, которая тут же рассказала обиняками, со всякими отступлениями о своем бесчестье, случившемся по вине одного артиллерийского майора, который предложил ей свое покровительство, должность машинистки и особый паек, а потом оставил ее в несчастье — «и вот я дошла до этого». Она долго мне все это рассказывала, невероятно подробно и не совсем, видимо, так, как все происходило на самом деле, хоть и непонятно зачем, да еще и неумело привирая, и все время она говорила на жаргоне проституток, а я думал только о смерти Абеледо. Все минувшие дни и недели я жил одержимый мыслью о близкой встрече с ним, о встрече, которую считал неизбежной и неминуемой, и сам не знал, хочу ли я ее или страшусь, я не спешил с этой встречей *motu proprio*¹, но промедление становилось для меня с каждой безуспешной попыткой все более и более непереносимым; а встреча эта, как теперь выяснилось, была невозможна, абсолютно невозможна, и была она невозможной на

¹ По собственному побуждению (лат.).

протяжении уже стольких лет, еще когда шла гражданская война, когда я даже и не уехал в Америку. Еще я командовал своей ротой, воюя в горах под Сантандером, а он уже был мертв здесь, в Сантьяго. Как же мне ни разу не пришло в голову ничего подобного, ведь это было так возможно, нет, лучше сказать, вероятно в военное время? Во всякое время человек обречен смерти, но в войну... Разве не был я сам много раз на краю?.. Я, в конечном счете, ускользнул, отмочил штуку; и вот я жил в Буэнос-Айресе, встречался с разными людьми, работал в конторе маслозавода, познакомился с Марианой, и мы поселились вместе, и я подумывал о женитьбе на ней и потом отказался от этой мысли; я беседовал со своими земляками или спорил с гринго в лавке Коутиньо, день за днем, год за годом, мы читали газеты и обсуждали последние сообщения с фронтов мировой войны, и вот уже кончилась война, а я все надеялся, что и у нас, в Испании, произойдут изменения, а меж тем время изменило меня, из юноши превратило в мужчину — а он, Абеледо, все это время кормил червей.

— И так никогда ничего не выяснили про его смерть? Не выяснили, кто убил Маноло? — внезапно спросил я. — Кто мог его убить?

— Никогда и не пытались выяснить. Всем наплевать было. Но если хочешь знать правду...

Тут-то она мне и призналась, что ничуть этому не удивилась, что она это предвидела, ведь бывают вещи, которые обязательно должны случиться, вот и ее предчувствия оправдались. Она стала рассказывать, сперва все так же беспорядочно, мелодраматично и в избитых выражениях, как обычно рассказывают в публичных домах; но потом, понемногу, словно разламывая какую-то кору, проросли ее собственные слова, слова Марии Хесус, и чем дальше, тем больше, даже вроде бы и застенчивое пришепетывание появилось. Она рассказала, что, едва началась война, собственно, и войны-то еще не было, а только мятеж подняли, Маноло исчез из дому на несколько дней (она от страха чуть жива была), и потом он стал только изредка являться домой, и то на короткое время, и дома он торопливо произносил речи, торопливо, напыщенно и туманно, о задачах, об ответственности, о миссии, которую следует исполнить; он был одет теперь совсем иначе — все новое, блестящие сапоги, кожаная амуниция, значки — и уезжал из дома в автомобиле, который обычно ждал его у подъезда и сигнализировал. В конце концов она без особого труда отчетливо поняла, что он занят «санацией», «чисткой», и с той минуты, с того самого часа это стало для робкой Марии Хесус непрестанной мукой. С другой стороны, нужда в доме и всякие

нехватки прошлых лет теперь кончились; он-то был не промах. Когда он явился после первого своего исчезновения и она несмело попросила у него денег, потому что продукты в доме кончились и нужно было снова все покупать, он вытащил из бумажника толстую пачку денег и, даже не считая—он очень спешил,—бросил их на обеденный стол. С тех пор бумажник его всегда был битком набит, и Абеледо, всегда скупой, говорил ей, чтобы тратила сколько вздумается. Но на что деньги, когда тошнота комком подступает к горлу и ничему не позволяет порадоваться? Если на нее по временам нападал неукротимый плач... Всякий раз, как Маноло возвращался на рассвете домой и возбужденно, с пьяным упорством принимался рассказывать вещи, о которых она и слышать не хотела и слушала их вполуха, у нее вставал комок в горле. Какая надобность была в этом хвастовстве, зачем ему было так выставляться перед ней, если это был тот самый тяжкий долг, который он выполнял ради Дела, как объяснял он ей в своих гнусных речах? Какая надобность была впутывать ее в свои подвиги или издеваться над ее домашними делами? «Ради бога, не рассказывай ты мне об этом!» Но он все равно рассказывал, упрямо рассказывал, смакуя жуткие подробности: потешался, кривлялся, изображал, как эти типы в свой смертный час обливаются потом, что-то бормочут, делают разные глупости. Не в силах всего этого выносить, она заливалась слезами, а у него всегда была наготове дежурная шутка: «А, ты, значит, тоже красная! Берегись, ты у меня свое получишь, будь спокойна»; он наклонял голову набок, к вытянутой руке, щурился, как бы прицеливаясь из воображаемого ружья, и—бах!—грязная скотина—швырял в нее сливовой или абрикосовой косточкой. И после этого сразу—она уже знала—припадок нервного смеха, потом он валился на постель и—спать! Как-то раз Мария Хесус увидела, что он мечется во сне. «С ним сегодня что-нибудь случится»,—подумала она. И на самом деле случилось...

Дойдя в своем рассказе до этого места, она словно бы освободилась от давно давившей ей грудь тоски: ее малюсенький, ярко накрашенный ротик сморщился, исчезая меж толстых щек, и голова с собранными в корону волосами склонилась на грудь. Я поднялся с табуретки и, потрясенный всем, сел подле нее на кровать и, глядя ее по голове,—«Ну, будет, милая, будет, перестань!» Наверняка уже давным-давно, а может быть, и никогда, не изливала несчастная свои горести, и я, совсем успокоившись, с тех пор как тайна Абеледо вышла на свет, ощутил вдруг в себе склонность к сочувствию.

Она крепко обняла меня и оросила слезами мой жилет, а

торчащий пучок волос раскачивался, как метелка из перьев, у меня под носом. Господи помилуй! Все же я признаюсь. Из грязи мы все, из грязи. Еще совсем недавно зов плоти, по которому я пришел в этот дом, стих во мне и, казалось, совсем смолк, так я был ошарашен невероятной находкой — Марией Хесус; но теперь ее полная грудь, колыхавшаяся в хриплом плаче возле меня, внезапно пробудила бурное желание, удовлетворение которого было оплачено заранее, и Мария Хесус отозвалась на мой зов и раз, и другой с силой непродажной и непритворной. Ее порывы объяснили мне, как много значил я на самом деле для нее, для бедняжки, и я огорчился. И еще сильнее огорчился, увидев, что она снова плачет, хоть теперь она и не рыдала, крупные слезы медленно смывали с ее лица румяна, стекая на подушку, и, когда мы оба, устав, тихонько говорили о прошлом, она открывала мне — к чему теперь скрывать? — как она горевала и как негодовал Маноло, когда они узнали, что я помолвлен с этой Росалией и они обмануты в своих надеждах, ведь я теперь не женюсь на Марии Хесус. Абеледо во всем винил ее и вопил как сумасшедший: ты, дура, во всем виновата. Уродина, хуже, чем уродина, дура! Он издевался над ней, передразнивал ее, ее смущение, ее манеры, ее движения (и наверняка похоже передразнивал; они были так похожи друг на друга, брат и сестра...); он говорил ей, морща рот и уронив вдоль тела бессильно руки: «Какая она скромненькая, эта барышня, эта девчурочка, эта глупенькая монашенка!» Потом давал советы: «Надо быть попривлекательнее, поживее!..» Чего только он не проповедовал, как не бранил ее, он и ворчал, и оскорблял, и критиковал, и издевался над ней! С этого-то времени она — «а ты ничего не замечал?» — с холодным сердцем и без всякой цели стала мазаться. «Браво! Ну точно клоун. Настоящая шлюха!..» — саркастически аплодировал он. «А мне какая разница, на кого я похожа...»

Х

Теперь уже мне остается только закончить рассказ, остается сказать, что на следующее утро, проснувшись невероятно поздно, я открыл глаза и вновь испытал то же ощущение, которое бывает, когда очнешься от кошмара, все вспомнил, вспомнил свое головокружительное приключение прошлой ночи и вместе с ним все, что было со мной с той минуты, как я сошел на берег Испании; все эти картины, явившись мне, быстро образовали отдельные полотна с ярким четким рисунком, но все было ирреально, как в тех очень отчетливых снах, которые обладают силой пережитого и, однако, им не хватает (и только

это убеждает нас в их ирреальности) полной связи с нашим повседневным существованием. Мой спуск в адские круги дома терпимости как бы завершил то призрачное существование, которое я вел почти что месяц (почти месяц бродил я, преследуя фантом и убегая от него!), я отделил от себя это свое существование и вновь оказался в той же самой точке, откуда вошел в этот страшный лабиринт. Невероятно, но только время до моего возвращения: Буэнос-Айрес, Авенида-де-Майо, Южный док, отделы предприятия и столовое масло марки «Андалузка», лавка Коутиньо, мой дом, Мариана — только это обладало объемностью, в то время как Сантьяго-де-Компостела вместе с моим дурацким паломничеством к Порталу Славы Господней и моими блужданиями в течение двух долгих недель, весь этот город, вот здесь за окном и гораздо дальше, далеко от этого квартала, от этого дома, от свечной торговли, был таким же наваждением, как вчерашняя грязная встреча в борделе с этой обреченной, с Марией Хесус. А что я сделал с тех пор, как приехал в Сантьяго? Ничего я не сделал, и это ничто и было ничем, чистой бессмыслицей.

В довершение пришла моя тетя будить меня (я давно проснулся и просто тихо лежал в постели, умиротворенный душой и телом), она вошла, как я смог заключить по ее поведению, готовая к тому, чтобы осыпать меня упреками, никак она от меня этого не ожидала. Она пришла с целой кучей упреков, намеков и своих обычных жалоб, что было в ее характере, и она их заранее обдумывала. Пожелав мне сперва доброго утра и сделав очень ценное сообщение о том, что уже почти одиннадцать, она села напротив моей кровати, и тут рекой полились рассуждения о том, что я, быть может, привык в Америке к другому образу жизни и что, кажется, я и не стараюсь приспособиться к нынешнему положению вещей в Испании; при этом она все же внушала мне, что всего лишь немного доброй воли — и я быстро восстанавливаю мой интерес к торговым делам фирмы, тем более что ведь они и мои дела тоже, а вовсе не кого-то там еще, и уж она-то меньше всего думала, что я так ее обману, и мой покойный дядя тоже верил до конца в меня и только мне хотел он оставить все, что кровью и потом заработал за всю свою жизнь, понятно, всегда думая, что я... Ладно, я пообещал ей, что с завтрашнего дня с головой уйду в работу, ни о чем другом и думать не буду, и что если я до сих пор этого не сделал, так только потому, что мне необходимо было рассеять одно сомнение, которое именно вчера вечером — потому-то я и задержался — наконец рассеялось. Я также сказал ей, что, прежде чем погрузиться в обыденную жизнь, я хотел бы сегодня сходить на могилу дяди.

Я хотел сходить на могилу дяди, но куда больше хотелось мне сходить на могилу Абеледо. Мне захотелось этого только что, когда я говорил с тетушкой, но захотелось так сильно, что вся моя лень мигом испарилась, я соскочил с кровати и, не откладывая дела в долгий ящик, оделся и пошел на кладбище.

Найти свежую могилу дяди, следуя указаниям тетушки, особого труда не представляло. На поиски могилы Абеледо я затратил куда больше труда; но после всех блужданий прочитал наконец в нише его имя: «Мануэль Абеледо Гонсалес». Краткая надпись гласила:

Здесь покоится наш боевой товарищ Мануэль Абеледо Гонсалес, погибший за Родину. Рука предателя сразила его 15 июля 1937 года.

Здесь он лежал, под камнем и грязью.

Я повернулся, вышел с кладбища и спустился, не торопясь, в город. По дороге я принял решение и не премину его исполнить: я уеду обратно в Буэнос-Айрес.

Баранья голова

Отдохнувший и довольный, я выходил из гостиницы, чтобы под ликующим солнцем спокойно прогуляться по городу, который накануне по пути из аэропорта не мог разглядеть из окошка автобуса, мчавшегося по залитым белым лунным светом проспектам и площадям, но едва вынырнул из полусумрака вестибюля на улицу, собираясь оглядеться, как сидевший на краю тротуара марокканец, по виду нищий, бросился ко мне, церемонно раскланиваясь на ходу и что-то бормоча на неразборчивом французском. Я тут же, не раздумывая, бросил — почему бы и не бросить? — обязательную в таких случаях монетку. Она мгновенно исчезла — только ее и видели; но этой дани оказалось недостаточно: оборванец продолжал преграждать мне дорогу, не переставая причитать. Прежде чем я успел рассердиться, что мне пытаются омрачить прекрасное настроение, следивший за этой сценой швейцар отделился от роскошных кадок с цветами у дверей, держа в руках форменную фуражку, и поспешил сообщить: этот человек дожидается меня с самого утра, чуть ли не с семи часов — у него поручение от моих родственников.

Моих родственников? Бессмыслица какая-то! Явное недоразумение. Я никого в Фесе не знал, мне не приводилось раньше бывать в Марокко. Конечно, это ошибка; так я ему и сказал:

«Узнайте лучше, кого он ищет». Но нет: оборванец искал меня. Меня, и только меня,—швейцар не ошибся, когда, надо полагать, увидев, как я выхожу, указал ему пальцем в мою сторону. Разве я не дон Хосе Торрес? «Вы ведь—прошу прощения, господин,—дон Хосе Торрес родом из Альмуньекара, что в Испании, и прибыли вчера вечером из Лиссабона самолетом?» Ну так вот: Юсуф Торрес через своего посланца просил меня оказать честь его дому, где он хотел почтительно приветствовать гостя.

Швейцар улыбался, всем своим видом выражая услужливость и полную сдержанного достоинства уважительность. Я испытующе посмотрел на него—знаю я этих пройдох в униформах с золотыми пуговицами и сверкающими позументами! Но взгляд мой был лишним: я уже решил пойти. Ведь это забавно! Мне, несомненно, подвернулся один из тех сентиментальных мавров, что, снедаемые ностальгией по утраченной Испании, от нечего делать занимаются раскапыванием своих древних корней. Интересно только, каким образом—причем за такой короткий срок—мавр сумел разузнать, как меня зовут, где я родился, а также о том, что я прибыл в Фес...

Был выходной день, ничего более занимательного не предвиделось, и я решил сходить посмотреть, что это за тип такой, мой родственник Юсуф. В любом случае, подумал я, будет потом что рассказать в кругу приятелей; а может быть—кто знает?—удастся извлечь и какой-то прок из этой диковинной встречи. У меня давнее правило не пренебрегать ни одним подвернувшимся знакомством: в торговых делах даже самое никудышное может обернуться полезной сделкой—не сегодня, так завтра. А здесь я пока никого не знал. Прилетел только накануне поздним вечером в Фес, чтобы изучить на месте возможности сбыта в Марокко продукции филадельфийской фирмы «Радио М. Л. Роунер энд Сон, Инк.». Дорога была утомительной, самолет прибыл с большим запозданием, в воздухе меня укачало, и в конце концов сильно разболелась голова. Приняв таблетку аспирина и выпив чашку чаю, я сразу же улегся в постель, надеясь за ночь отдохнуть. Это мне удалось: проспал я больше десяти часов и проснулся совсем свежим. Вволю понежился в ванне, не спеша позавтракал, бегло проглядел заголовки местной газеты—«Вестник» не помню чего именно,—обнаруженной на столе; я нарочно тянул время, предвкушая чудесную прогулку по городу, которую задумал совершить. Еще бреясь в ванной комнате, я в распахнутое окно рассматривал розовые и белые домики под чистейшим небосводом, кипарисы, сады с гранатовыми и апельсиновыми деревьями—зрелище очаровало меня. Домики и деревья казались только что умытыми; видимо, гроза, которая так

помотала нас над морем, разразилась над этим городом, и теперь, словно приветствуя меня, он блестел под солнцем. Мне хотелось побродить по незнакомым улицам — так я обычно делаю, если по счастливой случайности попадаю в новые места в выходной день и могу позволить себе, не испытывая угрызений совести из-за впустую потраченного времени, предаться такому наслаждению. А потом, когда устану ходить по городу, собирался отыскать ресторанчик с местной кухней — но приличный — и лишь ближе к вечеру погрузиться в изучение телефонного справочника или какого-нибудь коммерческого вестника, привести в порядок бумаги, подготовившись к завтрашним хлопотам; наконец, если будет настроение, я бы написал пару писем домой, потом поужинал бы где-нибудь или прямо в гостинице, после чего выпил бы кофе и сходил куда-нибудь развлечься.

Вот такие я строил планы. Но их изменил случай — так распорядилась судьба, едва я ступил за порог гостиницы, намереваясь совершить прогулку по городу.

Я поглядел на швейцара и оборванца — они стояли передо мной на тротуаре в ожидании ответа. «Это далеко?» — спросил я посланца еще с сомнением. Пышно разодетый швейцар коротко перевел мне его путанный ответ: «Минут десять ходьбы, господин». Не раздумывая больше, я двинулся за проводником-оборванцем.

Дом, к которому он привел, находился на узкой кривой улочке, посыпанной мелким гравием. В верхней части фасада виднелись два крошечных зарешеченных окошечка, подчеркивавших внушительность входной двери, обитой гвоздями с узорчатыми шляпками, массивная ручка сверкала медью. В огромной двери была еще одна — поменьше; ее и открыл мой сопровождающий, пропустив меня вперед и притворив за мной. Я остался в прихожей, погруженной почти в полный мрак — лишь в глубине сочившийся в щели слабый свет обрисовывал контуры еще одной двери. Мои глаза не сразу привыкли к темноте, поэтому я рукой нащупал стол: на нем в вазе стояли белые лилии и гиацинты — впрочем, об этом можно было догадаться скорее по запаху, чем по слабому мерцанию цветов во тьме; по другую сторону стола виднелись ступеньки лестницы, ведущей наверх, — по ней, мелькнув пятками, скрылся оборванец. Ждать пришлось недолго — сверху меня позвали, и я поднялся на второй этаж. Там меня ожидал Юсуф, хозяин дома.

Признаться, пока я стоял в прихожей, барабанив пальцами по краю стола, будто по клавишам, меня не покидало легкомысленное, слегка ироническое настроение — вроде подтрунивал сам над собой, — в таком состоянии духа я и пустился в эту затею.

Но когда увидел необычайно серьезного юношу с изысканными манерами—сохраняя спокойствие во взгляде, он медленно шел мне навстречу,—мое легкомыслие тут же испарилось. Как будто я споткнулся на лестнице и покатился вниз, а потом, поднявшись на ноги, обескураженно приходил в себя. Весь мой апломб как ветром сдуло, я стоял, не зная, как себя вести. Только теперь до меня дошло, насколько опрометчиво я поступил. Можно ли являться в чужой дом вот так, ни с того ни с сего, не имея представления о том, кого встретишь? Надо было прежде хотя бы расспросить о хозяевах. Как это мне в голову не пришло, что там я могу встретить людей, совсем непохожих ни на оборванного посланца, ни на безликого швейцара?.. Тем временем хозяин дома с достоинством обнял меня, усадил рядом с собой, не произнеся при этом ни слова. Рассматривая меня, он улыбался и молчал. Пришлось первым нарушить молчание, и я выдавил: «Как все это неожиданно!..»

Полувопрос, прозвучавший в этой фразе, повис в воздухе—хозяин не спешил сказать что-либо определенное; судя по всему, он не намеревался прийти на помощь, облегчить мое положение. Прошло некоторое время, прежде чем он заговорил: голос был спокойный, но такой звучный, что заполнил всю комнату: «Премного благодарен тебе, господин, за честь, которую ты воздал нашему жилищу; можешь чувствовать себя в этом доме как полновластный властелин». Вычурная фраза, конечно, была приготовлена заранее, выучена наизусть, но произнесена уверенно, а в паузах не промелькнуло и тени сомнения, потому все воспринималось как само собой разумеющееся; к тому же легкий иностранный акцент снимал неприятный налет от устойчивых формул восточной любезности—впрочем, как ни странно, как раз чрезмерная условность оборотов делала всю замысловатую тираду вполне естественной. Потом я убедился, что хозяин говорит на своеобразном кастильском языке, архаичном и подчеркнуто литературном; впечатление возникало не столько от самих слов, сколько от затейливости фраз; велеречивую неуклюжесть придавало речи и то, что для обозначения современных понятий и предметов он пользовался английскими терминами, но произносил их с французским акцентом, а кроме того, без меры вставлял французские слова и рядом с ними—кастильские, которые теперь почти не употребляются в Испании; это звучало резким контрастом—хотя, надо отметить, в нашем языке неологизмы, возникающие для обозначения современного понятия, пришедшего из иностранного языка, часто со временем занимают место тех исконных корневых слов, которые могли бы—а по мнению блюстителей чистоты языка, и непременно долж-

ны — приспособливаться и приживаться в новых условиях.

Как бы то ни было, непомерно торжественная любезность хозяина еще больше сковала меня: я острее почувствовал, как неуместна лицемерная маска, за которой поначалу хотел скрыть чувство превосходства. Да, конечно, поступил я легкомысленно. Теперь, вынужденный на ходу перестраиваться на серьезный и уважительный, подобающий положению лад, я ловил себя на том, что держусь чопорно, а от этого совсем нелепо. Сидя на диване в мягких подушках, юноша являл такое умение владеть ситуацией, которого у меня, прожившего тридцать семь лет и объездившего полмира, сейчас не было — да, не было.

Немного придя в себя, я твердо решил не позволить увлечь себя потоку комплиментов и словесных реверансов — в этом молодой человек был намного искусней; решив перехватить инициативу, я сказал, что его желание увидеться со мной очень меня удивило, а потом спросил, каким образом он узнал обо мне, про то, что я прибыл сюда, и попросил объяснить его интерес к моей персоне. «Я полагаю, причина тому — любопытство, поскольку мы однофамильцы...»

После этого я решил замолчать и ждать хоть целый час, пока юноша не обратится к сути дела. После недолгой паузы он заговорил... Не буду пытаться воспроизвести точно его речь; если первая приветственная тирада целиком врезалась мне в память, то сказанное им в дальнейшем я не смог бы вспомнить слово в слово — да и невозможно передать буквально эту причудливую смесь устаревших и сугубо книжных кастильских слов и выражений с французскими, а также чудные словечки и обороты вроде *днесь, аэродром, офис, с вашего милостивейшего соизволения*. А смысл его речи сводился к тому, что через одного молодого человека, друга семьи, работающего в местном отделении «Компании воздушной навигации», им удалось узнать, что в Фес прилетает испанец по фамилии Торрес, родившийся в Альмуньекаре, откуда в свое время вышла их семья; поэтому, исходя из предположения — более того, глубокого убеждения, — что подобное совпадение свидетельствует о кровных узах, связывающих наши семьи, о том, что они — ветви одного родословного дерева, на домашнем совете было решено встретиться с приезжим — то есть со мной — и для начала заверить гостя, что дом их находится в полном его распоряжении. Юноша не стал скрывать, что его довольно долго терзали сомнения: он, как глава семьи, облеченный особой ответственностью, не был склонен к такому знакомству. Но в конце концов согласился — чему сейчас искренне рад, — главным образом уступая настояниям матери, которая с

присущей женщинам любознательностью хотела уточнить, какие именно родственные связи—в то, что они существуют, она верила твердо—связывают их семью с заезжим иностранцем...

«Но фамилия Торрес,—осмелился вставить я,—так широко распространена в Испании, что лишь по самой невероятной случайности...» Да, именно это утверждал Юсуф, споря с матерью: такая фамилия очень часто встречается не только в Испании, но даже и в Марокко! Однако мать твердила: он не просто Торрес, о сын и господин мой, а из Альмуньекара, из самого Альмуньекара! Возможно, она и права. Их род, как всем хорошо известно, вышел из Альмуньекара—факт этот передавался из поколения в поколение, стал, так сказать, основой основ их семейных преданий. «Мы все так прониклись этим,—говорил, оживившись, Юсуф,—что кажется: доведись мне оказаться в Альмуньекаре, я наверняка узнаю те места—большой сад за домом, давяльню, куда за сезон свозили по нескольку возов красного винограда». А мне, не известна ли мне знаменитая давяльня Торресов и их большой сад?

Его полудетское простодушье вызвало у меня улыбку, хотя я тут же отметил, что в нем есть своего рода кокетство, а в наивности моего собеседника сквозит нарочитость. «Может, и видел,—ответил я,—но в тех краях так много давлен, так много садов и так много Торресов! К тому же сколько веков прошло с тех пор, как вы покинули Альмуньекар; да и я сам, хотя родом оттуда, давно уехал...—(И верно, с той поры как мы с матерью—мне тогда восемнадцать было—перебрались в Малагу, я не возвращался в родной городок; не один десяток лет с тех пор прошел.)—Одним словом,—добавил я,—мои воспоминания об Альмуньекаре свежими не назовешь. Сколько ни стараюсь вспомнить наш дом—резной герб на деревянных дверях, за домом загон для скота, над беленой оградой ветви вишневых деревьев, а понизу струящаяся по арыкам вода,—одни обрывки в памяти мелькают...»

Я говорил, будто размышлял вслух. Слушая, Юсуф задумался, вид у него был озабоченный, возможно, ему было просто неинтересно. Помолчав, он спросил, не скучаю ли я о земле, по которой в Фесе тоскует уже не одно поколение Торресов-мусульман. Сам он, признался юноша, испытывает непонятную ностальгию, которая, должно быть, передается по наследству, с кровью, и стала в их семье традиционной, ритуальной. «Дело еще и в том, что в Испании наш род пережил свои лучшие времена. После того как мы оттуда уехали, дела наши шли хуже и хуже: теперь мы бедны...» Их бедность, сказал он, на семейном

совете была одним из главных доводов против того, чтобы приглашать меня в дом. Сестра—выяснилось, что у него есть сестра,—считала, что приглашать не следует. Зачем?—недоумевала она. Но мать твердо стояла на своем, рассуждая так: если гость окажется не родственником, нам безразлично, что он подумает; если же, как она была уверена, он одной крови, то не имеет значения, богаты они или бедны: достаточно в таком случае предложить ему стакан воды или цветок из сада.

Я слушал юношу, и наше пресловутое родство казалось мне все более сомнительным. Нет, почему же, такое могло и быть, но уж слишком все это надуманно выглядело, как история из романа. Конечно, исключать вовсе подобную возможность нельзя было: кто знает, какие побегі могло дать за столь долгий срок наше генеалогическое древо! Эти люди, как они утверждали, были из Альмуньекара. Фамилия их, как и наша, Торрес. Кто знает? Мне, правда, не приводилось слышать, чтобы у нас в родне, даже самой дальней, были мориски или что-то в этом духе: мою мать, думаю, удар хватил бы от такой новости... Но что из этого? В доме у нас вообще никогда подобные разговоры не велись, никому не нравилось рыться в прошлом семьи—просто не тянуло к этому. Но, может быть, не без причины избегали разговоров на эту тему? Бог знает! Строго говоря, веских оснований утверждать, что ничего общего у нас с ними нет, у меня не было; если я старался отогнать эту мысль, и все во мне восставало против подобной возможности, то не в силу предрассудков—я ими не страдаю,—а лишь потому, что сама по себе идея родства с этими арабами, такого спорного, скрытого в глубине веков, казалась мне слишком смелой и даже смешной. Как нередко случается, неприятие самой мысли строилось не на разумных доводах, а на смутном, ничем не обоснованном, но очень устойчивом ощущении, из-за которого я просто отвергал возможность такого родства. И оно было настолько сильным, что я бы сейчас и не поверил в наши кровные узы, даже если бы мне доказали, что они есть.

Впрочем, доказательств не было никаких; хотя—надо признать—ничего диковинного не было бы и в том, что у нас одна кровь. В любом случае мне не припомнилось ничего, что могло бы придать правдоподобность или подтвердить версию о предках-магометанах,—если только не это самое отсутствие в семье интереса к ее родословной. Хотя нет, было одно исключение, поправил я тут же себя: мой дядя Хесус, старший из отцовских братьев,—он жил прошлым, был человеком нетерпимым и агрессивным, истинным традиционалистом по убеждениям, таких даже прозвали пещерными людьми—очень любил возить-

сы с древними бумагами и пергаменами, бережно хранил их, время от времени просматривал, гордился тем, что, проникнув в глубь истории, сумел установить благородное происхождение нашего рода. Да, дядя Хесус—но только он один в семье—страдал той манией величия, какой нередко подвержены провинциальные идалго. Послушать его, так наш род был из тех, что основали город, причем задолго до того, как король Родриго лишился Испании (значит, еще до нашествия арабов!). Как он, бедняга, любил давать волю фантазии! Дядя Хесус пьянел, рассказывая о благородной древности нашего рода; глаза у него разгорались, он упивался звуками собственного голоса. Для его собственных сыновей и нас, его племянников, эти речи были что шум дождя за окошком. Вроде и приятно послушать, забавно; но слушали мы недоверчиво, посмеивались про себя. Интересно, что сказал бы дядя Хесус про мое нынешнее приключение? Как бы он к нему отнесся? С гордостью и радостью? Или оскорбился—ведь речь шла о родстве с *неверными*?.. В любом случае это наверняка привело бы его в сильнейшее возбуждение и уж точно он бы сразу же принял всерьез версию о родстве. Вот бы кому выяснить, что в этой истории верно, а что нет,—именно ему, хотя он и слишком любил фантазировать... Дядя Хесус единственный человек во всей семье, которого волновали такие вопросы, но, так как его нет в живых...

Несмотря на мой скептицизм, я не спускал глаз с Юсуфа—он был мне любопытен: я глядел, как он говорит, и пытался уловить на его лице, теперь оживленном беседой, черты, ненароком подтверждающие наше предполагаемое родство. В глубине души я как бы вызывал юношу выдать себя, раскрыться, подталкивал его на это; то была игра, развлечение, которым я предавался без особого азарта, однако с легким волнением, ибо все-таки ждал чего-то. Поначалу, конечно, я ничего не прочитал в чертах лица молодого человека. Напротив, все было для меня в нем чужим и странным—и блеск его темно-коричневых глаз со слегка желтоватыми белками; и высокий покатый лоб; и точеный нос с горбинкой; и тонкие губы, и складки в уголках губ, которые чуть подрагивали, едва он начинал фразу, словно юноша не был уверен, стоит ли ему говорить дальше... Но через некоторое время, когда я уже привык к этому лицу, перестал ощущать его как чуждое, мне, вопреки собственному желанью, стало казаться, что я вижу еле приметные, ускользающие черточки, едва заметные движения мышц, которые могли бы быть *нашими*—они неожиданно словно что-то подсказывали мне, давали условный знак, тут же исчезая, как легкая рябь на поверхности воды, что возникает то ли от слабого дуновения ветерка, то ли от твоего

собственного дыхания, то ли от того, что просто привиделось, потому что слишком пристально вглядываешься.

Но нет, я не обманулся: на лице юноши, обычно сдержанном, сосредоточенном, бесстрастном — казалось, он старался быть равнодушным к тому, что и сам говорит,—я улавливал что-то, присущее только нам, нашей семье, и это «что-то» будто из всех сил пыталось вырваться наружу, заявить о себе. Утверждать, что я нашел в нем семейные черты, было бы слишком; но что-то похожее, знакомые штрихи — безусловно, да. Объясню подробнее, как мало-помалу, но все более отчетливо стало проступать это проявляющееся в отдельных черточках семейное сходство — почему бы не назвать вещи своими именами? — которое в конце концов пробилось в Юсуфе Торресе. Я имею в виду не сходство его со мной (в этом смысле я не подхожу для сравнения: мне столько раз приводилось слышать — даже надоело, — что я весь в мать и, в отличие от двоюродных братьев, вылитых, как все утверждали, Торресов, пошел в материнскую родню, в Валенсуэла, был настоящим представителем их рода); сидевший передо мной юноша не был похож не только на меня, но и ни на одного из членов семьи, которых я хорошо и давно знал; никого из нас он не напоминал, но черты лица юноши заставили меня вспомнить холсты с портретами некоторых предков, украшавшие стены нашего дома, хотя большая часть картин находилась в домах моих дядьев, живших в Альмуньекаре. Картины эти в основном были посредственными, а признаться честно, бездарной мазней и представляли ценность только в качестве семейных реликвий; тем не менее я помнил до мельчайших деталей эти злополучные творения искусства, которые так недолюбливал, возможно из-за бесконечных нудных поучений моих дядьев, и прежде всего дяди Хесуса, — помнил, хотя в силу превратностей нашей жизни давным-давно их не видел. И, должно быть, они, как и многие другие вещи, пропавшие в водовороте гражданской войны, где-то затерялись. (Вообще-то я не очень уверен, что их не прихватил с собой другой мой дядя, Мануэль, когда ему пришлось распрощаться с родными местами, — я склонен думать именно так, — и теперь их носит по белу свету вместе с дядей.) Так вот, в лице молодого человека, который, разговаривая, повернулся в профиль, я вроде уловил что-то запомнившееся мне в тех портретах, особенно тонкие, короткие брови, слегка изогнутые ближе к виску и сросшиеся у переносицы, и еще холодный, я бы даже сказал, пронзительно-жесткий зрачок — точно такие я видел на портрете моего прадеда, где он еще ребенок, в колете рыжего бархата. И еще, пожалуй, видел я такое на портрете деда, изображенного в военной форме. Если убрать толстые щеки деда,

пышные усы, обрамляющие детский ротик, тяжелую нижнюю челюсть, если не замечать, какая у него огромная голова, словно без шеи вырастающая прямо из перетянутой лентой широкой груди, то сразу станет видно: брови те же самые, что у печального юноши, сидящего передо мной, так же своеобразно очерченные; да, пожалуй, и лоб похож; только у деда лоб как бы венчает лицо зрелого мужчины, своей надменностью внушившего почтение скромному художнику, но теряется на вульгарном, слишком тяжелом и рыхлом лице; а у безусого, худощавого и нервного юноши лоб был значителен, на нем лежала печать постоянного, с трудом подавляемого беспокойства... Но, боже мой, как все это зыбко! Едва заметив сходные черты, я тут же начинал сомневаться: слишком придуманными, искусственными казались мне сравнения... С другой стороны, зачем мне было что-то придумать?

И неужели сам Юсуф верит — и даже, как говорит, убежден, — что марокканские Торресы и мы, из Альмуньекара, на самом деле одной крови? Судя по тону, я бы не сказал, что очень. Дело не в том, что его словам не хватало уверенности, скорее — как бы это лучше передать? — заинтересованности, словно это его не трогало... Молча, с бесстрастной любезностью юноша глядел на меня.

«А вы, — спросил я (никак не мог заставить себя обращаться к нему на «ты», как принято у арабов, трудно привыкнуть к такому сразу, требуется время), — вы сами твердо уверены, что мы принадлежим к одному роду?» «Судя по тому, что утверждает моя мать, — ответил он, — полагаю, что да». «В таком случае могу ли я иметь удовольствие лично засвидетельствовать мое почтение вашей уважаемой матери? — сказал я и добавил: — Это было бы для меня огромной честью». Незаметно для себя я заговорил так же напыщенно, как и мой собеседник, — настолько чопорно, что мне и самому фраза показалась фальшивой; но, надо сказать, я намеренно выразил так высокопарно мою просьбу, ибо знал, что по арабским традициям женщинам не принято появляться при гостях-мужчинах и я просил о вещи чрезвычайной. Мысль увидеться с матерью Юсуфа пришла мне в голову внезапно, и я, не долго думая, тут же ее высказал. Отчасти потому, что решил идти до конца во что бы то ни стало и был готов даже на опрометчивый, неосторожный шаг; более того, я знал, что, как чужеземец, незнакомый с местными обычаями, мог рассчитывать на снисходительное к себе отношение; и, наконец, я был уверен — помянутая мною госпожа внимательно слушает наш разговор, укрывшись где-то поблизости. Такое ощущение — настолько четкое, что я готов был побиться об заклад на любую сумму, — основывалось не только на логическом предположении

(разве не мать Юсуфа настояла на этой встрече, пытаясь, как сказал сын, выяснить степень нашего родства?), но и на чисто интуитивном чувстве; оно не покидало меня, подсказывало, что где-то рядом, возможно всего в двух шагах, вот за этой тяжелой портьерой, обвисяющей недвижимыми складками, прячется человек — а может, и двое, — вслушиваясь в нашу беседу.

Я присовокупил еще несколько любезных фраз в том же духе — не столько чтобы, иронизируя в душе, послушать свою вычурную речь, сколько желая убедить молодого человека сделать мне приятное и помочь ему выполнить мою просьбу. Но в этом не было особой нужды: услышав мое столь витиевато выраженное пожелание, юноша, совсем не смутившись моей просьбой, без тени сомнения, быстро и легко поднялся с дивана и, не говоря ни слова, вышел из залы. Походка его была спокойной и размеренной, в ней даже чувствовалось удовлетворение; видимо, с самого начала он ждал, что я попрошу его об этом.

Я остался в комнате один. Бросил взгляд на часы — они показывали двенадцатый час. Дожидаясь хозяина, я осматривался, и только сейчас увидел вокруг множество вещей, прежде не замеченных: и медные подносы, и многоугольные столики, огромный барометр на стене, ковры, обшитые по краям золотой бахромой подушки, шкатулки — чего тут только не было...

Юсуф скоро вернулся и предложил выйти в сад — туда должны были спуститься мать и сестра: тем самым они докажут, что доверяют родственнику, даже испытывают к нему теплые чувства. Ну, с богом! — подумал я и пошел вниз по лестнице за хозяином. Мы прошли прихожую и в распахнутую дверку рядом с основным входом увидели залитый солнцем внутренний дворик, в глубине которого росли деревья. Туда мы и направились. Только мы уселись на лавках у железного столика под вьющимся виноградом, как нам тут же пришлось встать, чтобы приветствовать пожилую женщину, за которой, немного отстав, шла девушка; женщина, улыбаясь, прямо с порога заговорила со мной, потом взяла мои руки в свои, принялась оглядывать меня со всех сторон, поднимая лицо и вглядываясь в мои глаза. «А ну-ка, а ну-ка! Дай мне посмотреть на тебя, сынок! Вот ты какой, я тебя узнаю, лавровый листок моего сада, жасмин моего сердца!» Вот в таком духе она говорила, хотя всего я не припомню. Я бесстрастно выдержал этот осмотр. «Ах, какая это для меня радость, какая радость!» — сказала она и опустилась в плетеное кресло. Дочь встала за ее спиной, а сын снова сел за стол лицом ко мне.

Как и прежде, я счел нужным заговорить первым. «Итак,

госпожа уверена, что мы принадлежим к одному роду?» — «Еще бы! Мало того, что у тебя та же фамилия и ты из нашего города,—теперь я увидела тебя!» А я приглядывался к ее лицу, круглому и веселому, на котором быстро менялось выражение,—приглядывался, следя за оживленной жестикуляцией, мимикой, и старался найти сходство с чертами, застывшими на старинных семейных портретах моих предков, как недавно пытался уловить его на непроницаемом лице юноши. К великому моему удивлению —я такого не ожидал, вернее, ожидал не в такой мере, тем более что предыдущие мои находки внушали мне большое сомнение и ничем, собственно говоря, не подтверждались,—я нашел в ней поразительное сходство с дядей Маноло. Оно проявлялось в горячности, с которой изъяснялась добрая сеньора, в том, как вообще вела себя, как сопровождала слова движениями рук, головы, плеч, а также в некоторой ее нескладности и нерешительности (после длинной фразы, которую она, разбежавшись, не знала, как закруглить, женщина вдруг осекалась и чуть закатывала глаза, застывала, потеряв уверенность, словно чем-то пораженная). Открытие, прямо скажу, не из приятных; такое сходство—действительно сильное,—подтвердив сомнительный для меня факт родства с этой арабской семьей, вовсе не принесло мне успокоения, а повернуло мысли в другую сторону: я неожиданно вспомнил дядю Маноло, которого столько лет не видел—да и не видеть бы мне его вообще до самой смерти, ибо нас разделяли теперь не только океан, но и моря пролитой крови... Порывистые жесты, живость движений, особая манера рассуждать, развивая мысль как бы скачками,—все это в моей памяти неразрывно связывалось с былыми ожесточенными спорами про политику, которые обычно заканчивались бранью и хлопаньем дверьми,—воспоминания не слишком приятные... Но я подавил нахлынувшие чувства и, возвратившись из прошлого в сегодняшний день, вынужден был признать в глубине души, что, видимо, этих Торресов из Феса и мою семью все же связывают некие родственные узы.

Я уже успокоился, придя к этой мысли—хотя не скажу точно, нравилась она мне или нет,—и вдруг неожиданно, явно не к месту, громко расхохотался. Словоохотливая сеньора осеклась, смутилась и спросила, что меня так рассмешило. «Вы только послушайте,—сказал я, едва мне удалось перевести дыхание,—послушайте, до чего могут довести досужие размышления о нашем сходстве, общих семейных чертах и прочем. Вот что меня рассмешило: я все думал о наших, возможно, общих корнях и желал найти тому подтверждение, старался увидеть на ваших лицах признаки кровного родства с нашей семьей. С первого мгно-

венья, как только я имел честь быть представленным госпоже, я решил, что она удивительно похожа на младшего из моих дядьев, Мануэля,—он сейчас где-то в Америке; я так обрадовался этому убедительному доказательству, такое облегчение почувствовал... Но тут как с небес на землю упал —меня осенило: ведь если между нами и имеются кровные связи, госпожи это не касается, так как родство идет по мужской линии! Значит, сходство — плод моей фантазии. Вот мне и стало смешно,—добавил я и снова, но уже деланно засмеялся.—Видите, до чего может довести воображение!»

«Погодите, погодите! —откликнулась немедленно женщина, выставив вперед руку с обращенной ко мне ладонью.—Не спешите с выводами, друг мой! Я ведь тоже из семейства Торресов. Муж мой приводился мне двоюродным братом, так что в наших детях кровь торресовского рода особенно густо замешана». Она торжествовала, лицо ее сияло.

После этого я переключил свое внимание на ее детей, всматриваясь то в дочь, то в сына. Теперь, когда цепь оказалась прочной в том самом месте, где я счел ее разорванной, брат и сестра, сидевшие рядом, показались мне поразительно похожими на моих двоюродных братьев и сестер, на дочерей дяди Маноло, на Габриэлильо и, мало того, на детей несчастного дяди Хесуса.

Пока мы молчали, девушка чуть склонилась к матери — черные гладкие волосы на ее круглой головке точно посередине разделяла ровная линия пробора —и выслушивала ее распоряжения, которые мать давала вполголоса. Никакого секрета: просто девушке велено было приготовить прохладительные напитки, и та, проворно выпрямившись, обошла стол и направилась к колодцу во дворе, взяла лежавшие на закраине ровным рядом лимоны, сложила их в подол и скрылась в доме. Несколько минут спустя она появилась с большим кувшином, а затем принесла и поставила на стол перед нами очень чисто вымытые стаканы из простого стекла.

Пожилая сеньора тем временем снова оживилась. С нескончаемыми подробностями она объясняла, кто кому приходится в родне, кто с кем в каких отношениях, кто на ком женился, кто за кем замужем. Судя по всему, ее свадьба с Мулеем бен Юсуфом Торресом, отцом юноши, который сейчас, в присутствии матери, молчал и рассеянно теребил губами лепесток розы, сорванной перед этим в саду, вызвала в семье целую бурю, глубокие распри и даже смертельные обиды. В этой сваре, породившей массу проблем, не обошлось без резких столкновений, сложным образом перемешались разные интересы, все разделились на вражду-

ющие лагеря; в семейную междоусобицу оказались втянутыми не только свои, но и чужие, и лишь благодаря мудрости, природному такту и богатому жизненному опыту одного из прадедов, глубокого старика, разбитого параличом, удалось несколько, хотя и не до конца, утихомирить семейные страсти... Однако я не мог следовать за женщиной по лабиринту ее повествования: слишком много мелькало имен, и я быстро запутался. Да и разве под силу было вообще разобраться в этом вихре имен и событий? Сеньора рассказывала все эти запутанные истории, я продолжал узнавать в ее манере, жестах, выражении лица сходство с манерами, жестами и выражением лица моих дядьев. Причем с каждым разом для меня становилось все яснее: гораздо больше, чем на Мануэля, живого и увлекающегося, но способного временами быть осторожным и сдержанным, она похожа на дядю Хесуса, беднягу Хесуса, простодушная порывистость которого или старческая глупость, ну, скажем мягче — упрямство, помноженное на фанатичность, — довело его до бессмысленной гибели в смутные дни гражданской войны. Вот бедняга! Мне показалось, что я снова вижу, как он в гневе закатывает глаза, словно призывая небеса в свидетели своей правоты, вижу его руки, не знающие ни минуты покоя; слышу интонацию его меняющегося, полного патетики голоса, то и дело прерываемого гротескным смехом; снова передо мной оживает его напыщенная жестикуляция поклонника оперных представлений — так я определял его манеру, и он действительно был горячим любителем оперы (а в чем он не проявлял горячности?), хотя, насколько мне известно, за всю свою жизнь в опере дядя Хесус побывал не более четырех-пяти раз... Женщина, правда не так громогласно, с долей мягкой иронии, исполняла передо мной репертуар дяди Хесуса, на который я вдосталь нагляделся в детские и юношеские годы, когда он беспрестанно устраивал свои представления перед семьей. Честно признаться, это открытие доставило мне не большую радость, чем прежде, когда я решил, что сеньора похожа на дядю Маноло. Глядя на нее, воодушевленную, словно устремленную вперед, я спрашивал себя: как могло слабое сходство с Мануэлем скрыть от меня поначалу ее подлинный характер, так напоминающий характер Хесуса? Может, произошло это потому, думал я, что она похожа была на первого из них округлостью лица, простоватыми и незначительными чертами? Или дело в том, что в начале разговора она сдерживала свой темперамент, решив взять особую линию поведения и казаться более холодной, чем на деле, скрывая свою подлинную суть, а затем понемногу отбросила все это, и потому теперь сходство с дядей Маноло сохранилось лишь в виде искорок чуть вредной

ироничности, да и она угасала под напором наивной и горячей открытости, свойственной также и Хесусу?

Внезапно замолчав, сеньора смотрела на меня и ждала ответа: по-видимому, она что-то спросила. Надо же! А я следил не за ее словами, а за выражением лица, движениями рук, ломающимся голосом, подрагиванием бровей — только эти особенности ее речи я улавливал, только они мне что-то говорили, а не те странные и сбивчивые слова, что срывались с ее губ. «Как? Простите, что вы сказали?» — спросил я. Прежде чем она повторила вопрос, я увидел в ее глазах оттенок доброжелательной лукавинки: а не хотел бы ли я рассказать о своей семье, живущей в Испании, чтобы нам лучше узнать друг друга.

Вместо ответа я снова задал все тот же вопрос: «А вы действительно уверены, что мы — одного корня? На чем основана эта уверенность?»

«Достаточно было увидеть тебя, и сомнений у меня не осталось», — сказала она горячо, уставив в меня палец, весь в перстнях. «С первой же минуты! Неужели ты не понимаешь: не будь я полностью уверена, стала бы я говорить с тобой так доверительно? Мне довольно было одного взгляда! И тут же сердце сказала: что же ты стоишь, почему ты не спешишь обнять его? Но я сдержалась, подумала: а вдруг ему это не понравится? Я тебя побаивалась (тут я улыбнулся: если это и было так, теперь от ее боязни следа не осталось), стеснялась. И не потому, что у меня были сомнения, — просто ты стоял с таким отстраненным, холодным, гордым выражением... впрочем, это присуще всем Торресам. И потом... хочешь посмотреть на свой портрет? Подожди минутку!»

Не дожидаясь ответа, сеньора быстро вошла в дом. Ее суетливость начинала раздражать меня; несколько минут, пока сеньора отсутствовала, во дворе царил тягостное молчание: казалось, брата с сестрой тут и не было; молодой человек продолжал отрешенно сидеть, зажав в зубах розу, — возможно, ему все это прискучило и не очень было по душе; а девушка осталась стоять, где стояла, за опустевшим креслом матери, ее голоса я еще не слышал. Я украдкой бросил на нее взгляд и увидел, что она смотрит в глубь сада: там на крохотном огорожке давешний мой проводник-оборванец, присутствия которого я до этого не заметил, согнувшись над грядкой, кетменем рыхлил землю и поглядывал в мою сторону. Рядом с ним щипал траву привязанный к дереву барашек... Сеньора недолго оставалась в доме; она скоро появилась и протянула мне медальон с портретом, написанным цветной эмалью. Вручая его, женщина с многозначительным видом ожидала, как я отреагирую. На ме-

дальне был изображен мужчина примерно моего возраста, похожий на меня, и—к чему отпираться?—даже очень; только волосы у него были посветлее (такие, впрочем, были у меня лет в двадцать, затем они потемнели, стали каштановыми), а взгляд (тут, правда, мог приложить свое старание художник) был мягче и мечтательно устремлен вдаль...

Внимательно всматриваясь в мои глаза, застыв и вся напрягшись, как кошка перед прыжком, сеньора ожидала, что я скажу,—лишь в глазах у нее был прежний оттенок легкой иронии. Увидав, что я поднял взгляд от портрета, она торжествующе воскликнула: «Ну, как? Кто это? Нет, это не ты, нет. Это мой прадед, Мохаммед бен Юсуф, самый прекрасный в нашем роду человек—ему удалось здесь, на земле Африки, вернуть семье Торресов достойное место, которое она занимала в Андалусии. Сейчас наш дом беден, но в свое время был одним из самых богатых в Фесе. Все изменилось с приходом французов, да и до них бед случилось немало—наживались на этом недостойные люди, узурпаторы чужого богатства и славы, умеющие лишь интриговать, без зазрения совести пользоваться страданиями других, в то время как...» И она опять углубилась в словесный лабиринт.

«...Ты расскажешь нам, как сложилась судьба Торресов в Испании?» Я вздрогнул—ее вопрос застал меня врасплох. В потоке утомительного многословия, от которого у меня закружилась голова, вопрос прозвучал неожиданно, и я не сразу понял его смысл: мне пришлось как бы задним числом возвращать его в память, словно он застрял у меня в ушах, и с трудом разбирать его смысл, будто полустертую надпись карандашом; итак, она сказала что-то вроде: «А как живете вы, Торресы, в Альмуньекаре? Ты расскажешь нам, как сложилась их судьба?» Все, что было до этой фразы—нудное, путаное, невнятное изложение непонятных событий,—осталось за пределами моего восприятия; четкий смысл вопроса, подчеркнутого последовавшим затем молчанием, вырвал меня из глубокого смятения, в которое я погрузился, глядя на портрет человека, о существовании которого я и не подозревал, человека, умершего давно, когда я еще и не родился, но вместе с тем имевшего настолько схожие с моими черты, что его изображение вполне могло сойти за мое, нарисованное вчера,—он вызвал у меня внезапное и странное ощущение тошноты. Мне захотелось бежать от самого себя, покинуть свою оболочку, отказаться от собственного облика, так меня тяготившего, и даже от своего имени, от этих двух слов *Хосе Торрес*, которые пристали ко мне будто ярлык,—я вдруг ощутил, что не желаю воспринимать их как свои, что они мне не нравятся.

Правда, это чувство длилось всего несколько мгновений, как короткое головокружение. Освободился я от него, вспомнив вдруг почему-то—видимо, по дальней ассоциации—другой портрет, фотографию моего дяди Хесуса, уже в летах, с седой бородкой и обычным надменным видом, нелепо наряженного мавром на фоне бутафорского дворца Альгамбры. Я никогда не мог понять, как мог серьезный и уважаемый человек, городской судья, ушедший на покой, позволить себе столь безвкусную эскападу: вырядиться словно чучело гороховое, нацепить тюрбан, восточные туфли без задников и со старинным мультиком в руках усесться в подушки подле мавританских сводчатых окошек из картона перед объективом. Меня всегда возмущала эта фотография—в *арабской* рамке,—которую дядя показывал с большим удовольствием. Так вот, неожиданно мне вспомнился этот нелепый снимок, забытый бог знает сколько лет назад и ничуть не похожий на портрет, который я сейчас держал в руках: с него на меня смотрел молодой еще человек, одежды его не было видно—только голова, нарисованная просто и без ухищрений, но с явным желанием добиться наибольшего сходства с оригиналом... Так что же стало с нашей семьей? Ощущение, испытанное мною при воспоминании о старой фотографии, отдававшей непростительной провинциальной театральностью, было таким острым, что на сей раз я даже не почувствовал прилива сострадания или бессильного бешенства, которое всегда охватывало меня, стоило вспомнить—а тут он сразу же припомнился—дядю Хесуса, убитого выстрелом в затылок и выставленного прямо на земле, среди других покойников, словно ярмарочный товар, на обозрение толпы, в которой были и убитые горем люди, искавшие в этом скорбном ряду исчезнувшего родственника, но главным образом—зеваки, непременно слетающиеся на любое зрелище: некоторые отпускали мрачные шуточки, другие что-то злобно бормотали; все это в равной степени было омерзительно. Теперь ужас от воспоминания о навсегда врезавшейся в память сцене смешивался с раздражением, вызванным памятью о безвкусной фотографии дяди, выряженного арабом; странная смесь чувств действовала на меня словно успокоительное средство—не унимая боли, она в то же время словно отдаляла ее; нет, боль, пожалуй, была даже более острой, чем обычно, но она изменилась, как бы лишилась реальности, осязаемости. Итак, значит, что случилось с нами, Торресами, в Испании? Прекрасное настроение, в котором я пребывал весь день с самого утра, было вконец испорчено. Спаси нас бог—что с нами случилось!

Поглядев на часы, я увидел, что уже больше половины

первого. Я встал. «Слишком поздно,—сказал я, оправдываясь,—лучше в другой раз расскажу». «Поздно? Тогда ты должен прийти сегодня поужинать с нами,—распорядилась сеньора.—Верно, сын?—спросила она у Юсуфа.—Попроси гостя, чтобы он согласился». Мне пришлось уступить. Новые родственники просили так настойчиво, так изысканно, пуская в ход замысловатые доводы, которым мне нечего было противопоставить, даже если бы чувствовал себя более спокойным, чего сейчас и в помине не было. Решив положить конец назойливым уговорам, я резко сказал: «Хорошо, пусть будет так: я приду к вам ужинать. Но с одним условием: сейчас Юсуф пойдет со мной—мы пообедаем вдвоем и вместо сиесты немного поболтаем». Мать улыбкой выразила согласие, и сын отправился со мной.

Выйдя на улицу, всю белую от яркого солнца, я вздохнул полной грудью. Посмотрев на моего спутника, я подумал, что, похоже, и с него, как только он переступил порог дома, спала тяжесть: как по мановению волшебной палочки Юсуф преобразился, повеселел и превратился в обычного молодого человека, ничем особенно не примечательного, живого и легкого, почти мальчишку. Я попросил его показать мне приличный ресторан, и, пройдя пешком минут пятнадцать-двадцать, мы уселись друг против друга в просторном зале, претендовавшем на некоторую респектабельность: на каждом столе—цветы, официанты—в белых жилетах. Мы выбрали место у окна во всю стену, откуда виден был красивый проспект, и в приятной обстановке—цвет потолка и стен ложился на белые скатерти свежим зеленоватым отсветом, а шуршанье вентиляторов под потолком действовало умиротворяюще—не спеша обедали, а я расспрашивал юношу о городе и его окрестностях, имея в виду интересы своего торгового дела. По правде говоря, ничего полезного он мне не рассказал. Юсуф был взволнован приглашением в ресторан—это было для него внове: хотя он пытался сохранить обычную свою сдержанность, блеск глаз, готовность, с которой он поддерживал беседу, любезность и внимание к каждому моему слову выдавали его удовольствие. Молодой человек буквально забросал меня вопросами по радиodelу, которым очень интересовался. Юноша знал многие марки приемников, их характеристики, по ходу беседы выяснилось, что он в свое время изучал радиотехнику и даже собрал небольшой приемник, который они всей семьей слушали, пока аппарат не вышел из строя. «Где-то дома валяется...» Слушая его, я посочувствовал этим бедным людям—неважно, родственники они или нет,—и дал себе слово презентовать им «Роунер», пусть самой скромной модели: их это наверня-

ка обрадует, а мне обойдется недорого. Да, решил я, обязательно сделаю им такой подарок...

Наступила пауза, она была долгой. Желая положить ей конец, я воскликнул: «Бывает ведь, до чего неожиданно: в дальних краях столкнуться с родственниками! А когда ваши предки покинули Испанию? Должно быть, когда изгоняли морисков? Какой ужас! Бросить все, что имели: землю, друзей, имущество — и кто в чем был отправиться на чужбину искать своей доли! Говорят, многие закопали клады, надеясь когда-нибудь вернуться и потихоньку вырыть. Может, и ваши предки оставили какие-нибудь сокровища?» — предположил я, улыбаясь. Юсуф искоса глянул на меня и подтвердил: «Что-то в таком роде и у нас говорили, верно. Но кто знает! Все семьи, уехавшие из Испании, уверяют, будто оставили там, в земле, сокровища». «А у нас, — продолжал я, — и в Андалусии, да и повсюду в Испании видимо-невидимо таких легенд, прямо наваждение какое-то: каждый мечтает найти клад. Кругом разговоры: *«Быть такого не может, чтобы не скрывалось тут тайника с сокровищами. Один крестьянин недавно пахал поле и нашел монету чистейшего золота. А вот в этом доме наверняка есть клад — он такой старый...»* Но и правда, клады время от времени находят, и тогда страсти разгораются с новой силой. Я и сам такой случай помню, произошел он, кстати говоря, с моим дедом — но не с отцом моего отца и дядьев, которые Торресы, а с дедом по материнской линии, из рода Валенсуэл, — с доном Антонио Валенсуэла. Впрочем, сам я его никогда не видал. Рассказать, как все произошло? Очень интересно. Случилось это, я так прикидываю, еще в конце прошлого века, представь себе. Шел дед по пустынной улочке, неожиданно его прихватило, он свернул в глухой закоулок, уселся у каменной ограды. И, сидя так, принялся развлекаться, отковыривать тростью куски штукатурки. Ковырял он, ковырял, и вдруг... на тебе! — посыпались на землю, прямо в пыль, золотые монеты: две, три, еще и еще... Старик вскочил, быстро привел себя в порядок и стал рассовывать по карманам блестящие монеты. Потом внимательно осмотрел кладку стены: бог ты мой, что там творилось, дружище, она вся золотом была начинена! Ну, он набил карманы брюк, пиджака, жилета, заделал дыру, которую расковырял в ограде, пошел домой и сложил монеты в ящик стола. Затем, никому ничего не сказав, вернулся, снова набил карманы и еще сумку, прихваченную из дома. Трижды наполнял он карманы и сумку, прежде чем выбрал из стены монеты». Юсуф слушал меня внимательно, глаза его, блескующие как обычно, были серьезны. «Странный человек был этот мой дед, — продолжал я. — Ушел от жены, бросил дочерей, жил один, в

запущенном старом доме. И вскоре его обнаружили утром в постели убитым. Так и не удалось установить, кто совершил преступление. Может, и его собственные слуги—многие так думали, но ничего установить не удалось. А мавританское золото как испарилось. Вот тебе еще пример, что не всегда богатство приносит счастье».

Так мы говорили о всякой всячине. Но молодого человека больше волновали дела современные, чем стародавние; Соединенные Штаты были ему интереснее, чем Испания. Он рассказал мне, что тут пережили люди во время минувшей войны, какие надежды она вызвала, какие тяготы принесла; о переполохе, вызванном конференцией в Касабланке, когда для встречи с Черчиллем и французами прилетел из Вашингтона Рузвельт, которого возили в кресле-качалке; поведал множество историй про американских солдат... Вдоволь насидевшись в ресторане, мы пошли в кафе и там, на удобных диванах из красного бархата, провели сиесту.

Юсуф проявил такт—в тяжелые послеобеденные часы он снова стал немногословным. Кафе, как всегда в это время в Марокко, было забито посетителями—в воздухе слоями плавал табачный дым, привычно спорили завсегдатаи, которых стенные зеркала множили до бесконечности, музыкальный автомат снова и снова повсюду повторял какую-нибудь из восьми модных песенок: в него без конца опускали новые и новые монеты. Несмотря на шум и гам, там было хорошо. Отяжелев от сытного обеда—во всяком случае, я, признаться, чуть было не заснул,—мы лишь обменивались дружелюбными взглядами или лениво перекидывались банальными фразами. Юноша порою спрашивал у меня подробности про ту или иную страну: вопросы его подчас были по-детски наивными, но в них чувствовалась бесконечная любознательность, тяга к неведомому миру. Это было совершенно естественно для его возраста, а потому я отвечал с благосклонностью, хотя вопросы молодого человека начинали мне прискучивать. С другой стороны, что мне еще было делать в Фесе, где я никого не знал, в этот ничем не занятый долгий день? Сидя за второй чашкой кофе и рюмкой коньяка, от которой еще не отпил и половины, я чувствовал себя прекрасно и охотно делил с Юсуфом эти послеобеденные часы, когда на улице все словно вымирает.

Глядя сейчас на Юсуфа, такого размягченного, уважительного, совсем молоденького,—он смотрел мне в рот в ожидании каждого моего слова и с удовольствием прихлебывал кофе,—я вспомнил двоюродного брата Габриэилью; припомнилось, как он однажды приехал с отцом в Малагу, и я пригласил парнишку

в кафе-мороженое, что на террасе по улице Лариос. Брат, тогда совсем мальчишка — он был лет на пять-шесть моложе меня, — ходил еще в коротких штанах. Помню, с каким восхищением он смотрел на меня, как был внимателен, старался вести себя соответственно случаю, не совершить промаха, помню, с какой осторожностью снимал он ложечкой верхушку затейливой пирамиды мороженого и нес таявшую ореховую массу ко рту, еще детскому, вокруг которого уже начинал пробиваться первый пушок. Я решил разыграть его, вспомнил старую шутку и весело спросил: «Ну-ка, а ведь наверняка не знаешь, что такое верх блаженства у мороженого?» Он застыл, держа ложку на весу, стал еще серьезнее и сосредоточеннее — как если бы преподаватель математики предложил ему доказать теорему, которую он не выучил. А потом, смешно удрученный, признался: «Нет, не знаю, даже не догадываюсь». «Не знаешь? Вот тебе на! Как же ты, глупыш, не сообразил: как раз ешь самую верхушку мороженого, а не догадываешься!» Брат стал весь пунцовый, даже уши покраснели; того и гляди расплатится. «Давай, давай Габриэлильо, навались на верхушку!» — смеялся я, похлопывая его по голой коленке. Должно быть, сам того не желая, я своей шуткой испортил ему удовольствие. Бедный мальчишка! Несчастное создание!

«Я расскажу тебе об ужасной судьбе моего двоюродного брата Габриэлильо Торреса — я о нем только что вспомнил, — сказал я, выдохнув клубы сигарного дыма раз, другой. Потом сделал паузу, допил до дна рюмку и начал: — Совсем молоденьким парнишкой, представляешь, он погиб во время гражданской войны — и все по вине собственного отца, эдакого *старомодного вольтерьянца*: упрямство папаши и довело парня до гибели. Беда в том, что отец его, дядя Мануэль, всю жизнь строил из себя героя. Когда провозгласили Республику, он был на седьмом небе от счастья, изо дня в день все больше шалел, начал при всех поносить церковь, превратился в антиклерикала. Вел он себя так агрессивно и глупо, что в конце концов мы перестали с ним знаться; любой наш разговор из-за его крайностей всегда оканчивался ожесточенным спором, причем он переходил на крик. Дядя был человек неплохой, просто экзальтированный до невозможности; вся сила у него в глотку уходила. Бог ты мой, как мы часто сами жизнь себе портим, болтая что надо и не надо! Мальчик, конечно, привык повторять все, что говорил отец, а молодость всегда норовит слова превратить в дела, вот и записался он — кажется, без ведома родных — во всяком случае, мать об этом не знала, — вступил он, короче говоря, в организацию социалистической молодежи, причем как раз незадолго до того, как у нас началась

заваруха. Что бы он натворил, застань его события, как меня, в красной зоне, одному богу ведомо: боюсь, словами он не ограничился бы. Но они жили в Гранаде, а она с первых дней попала в руки националистов, и парня тут же упрятали в тюрьму. Но как ему не повезло: сложишь все как обычно, отсидел бы свое, а потом его отправили бы на фронт, вместе с другими ребятами, которых схватили тогда же,—сидел-то он в специальной тюрьме для несовершеннолетних, там никому больше восемнадцати не было. Так бы все и кончилось, как и у остальных. Но с ним получилось иначе. Послушай, что произошло... Однажды утром один охранник заметил, что кто-то позабавился, нарисовав ему на мундире серп и молот; ну конечно, он тут же донес — разве можно расхаживать с таким рисунком? Молчание в таких случаях расценивалось как сообщничество. Учинили расследование и пришли к выводу, что автор проделки — один из двадцати трех арестантов, сидевших в камере с моим братом Габриэлильо. Их допросили, все отрицали свою вину, — да и кто бы взял на себя такое, как бы на него ни давили? Но и оставить дело так не желали: было велено каждый день наказывать по одному из арестантов, пока не объявится виновный. И принялись выполнять приказ. Когда по утрам очередной из ребят, весь избитый, возвращался в камеру, из носа, ушей и рта у него шла кровь. Заключение стали уговаривать друг друга признаться, кто из них устроил эту шутку, обошедшуюся всем так дорого. Прошло восемь, десять, пятнадцать дней, все были на пределе, некоторых покалечили, другие харкали кровью, и все поняли, что так будет продолжаться, пока не объявится виновный. А виновник не объявлялся. Еще бы, страшно! А может, и не было среди них виновного, кто знает; может быть, кто-нибудь из солдат над товарищем подшутил или — всякое бывает, человеческая подлость пределов не знает, да и глупость тоже — натворил это сам охранник, а потом пошел и пожаловался... Отчаявшись, ребята высказали начальству и такое предположение. Но это не подействовало — было поздно: солдаты в охране уже несколько раз менялись, того охранника и след простыл, остался только приказ избивать их одного за другим до полусмерти каждое утро, пока не признаются. А ребята в конце концов пришли к выводу, что ни один из них не был автором злополучного рисунка, и решили тогда: пусть лучше умрет один из них, хоть и невиновный, чем будут продолжаться истязания и забьют всех до смерти. Было решено: бросить жребий и, на кого упадет, тот возьмет на себя вину; так и поступили, и, представляешь, он пал на Габриэлильо, моего брата. На следующее утро в камеру по обыкновению вошли охранники, в очередной раз спросили, кто нарисовал серп

и молот, а Габриэль сказал: *Это сделал я*. Его вывели из камеры и тут же во дворе расстреляли. А его товарищи, избавившиеся от побоев, оплакивали его гибель. Вот как бедному парню не повезло!»

«А что стало с его семьей?» — спросил после короткого молчания Юсуф с подчеркнутым спокойствием.

«Его матери посчастливилось: она умерла, ничего не зная об этом. Что касается отца и братьев, им каким-то образом — то ли кто-то помог, то ли взятку дали — удалось вскоре после окончания войны уехать из Испании в Америку, и с тех пор я о них ничего не слыхал. Устроились где-нибудь, если живы. Надеюсь, теперь-то мой славный дядюшка Мануэль перестал из себя героя строить. После войны ему, кстати говоря, тоже пришлось испытать на себе прелесть тюрьмы... Слушай, а не пора ли нам уходить?»

Дышать в кафе было нечем, шум стоял оглушительный — дальше сидеть было невмочь, и я предложил Юсуфу прогуляться по городу, благо полуденная жара спала. Так мы и поступили. Не спеша прошли по центру, поели мороженого, поглазели на анонсы кинотеатров, но в кино пойти не решились, а потом мой спутник предложил то, чего я никак не ожидал, — даже не сразу понял его, — побродить по мусульманскому кладбищу. Название его, кажется, было «Карнеро». Забавный мне попался гид, а сама идея какова! Но я подумал, что там есть на что поглядеть, прогулка может оказаться экзотичной. Я спросил, далеко ли до кладбища, но, не дождавшись ответа, согласился: «Хорошо, поехали». Мы сели на трамвай и замолчали — лишь иногда Юсуф старательно, но без надоедливости объяснял мне, по каким местам мы проезжаем.

Мы приехали, но ничего достойного внимания я не увидел и решил, что юноша просто-напросто любезно пожелал показать могилы покойных родственников, прежде всего отца, Мулея бен Юсуфа. Мы не спеша, рассеянно прогуливались по аллеям кладбища, время от времени молодой человек так, будто мы оказались там по чистой случайности, останавливался — я вместе с ним, — читал надпись на очередной могильной плите, превозносящую добродетели какого-нибудь Торреса, и рассказывал мне соответствующий случаю эпизод из жизни покойника, потом мы шли дальше. Можно представить, в какую скуку это меня повергло. Да и Юсуф читал надгробные надписи без воодушевления — казалось, ему самому скучно, как бывает неинтересно музейному служителю без конца повторять пояснения, думая при этом совсем о другом.

Я перестал вслушиваться в слова спутника и любовался

великолепием заката, который окрашивал все вокруг в горделивый пурпур. Глядя с пустынного холма, на котором находилось кладбище, на обвятый пламенем горизонт, я спросил Юсуфа: «А где же молитва? Разве вы, мусульмане, не совершаете молитву на закате?» Я спросил, слегка забавляясь в душе, чтобы поддеть юношу, и замолчал, ожидая ответа. «Да, мне следовало помолиться. Следовало»,—ответил он серьезно, грустно посмотрел вдаль, где теперь все было окрашено в золотистые и розовые тона, и двинулся дальше вдоль могил. Я молча пошел за ним.

Юноша довольно долго шел по аллее, потом снова заговорил. «Вот здесь,—сказал он, показывая пальцем на могилу,—похоронен Торрес-Беглец, иногда его еще называют *Тот, кому помог ангел*. Точнее, здесь погребено его тело, то есть туловище с руками и ногами, а голову ему отрубили, на целый месяц выставив на всеобщее обозрение; но раньше срока ее растерзали хищные птицы».

«Могила довольно старая»,—заметил я полувопросительно.

«Ей больше ста лет, вернее, около полутора—это случилось в пору правления султана Абдель-Ахмеда. Он и повелел отрубить моему предку голову—судя по всему, не без оснований. Этот мой предок, говорят, был великим греховодником... О нем ходят, вернее, ходили, забавные истории, легенды.—Юноша улыбнулся.—Султану он много хлопот доставил—повади́лся в его гарем. О предке шла слава, будто Аллах одарил его необычайными мужскими качествами, кстати, из-за этого при жизни ему еще одно прозвище дали, очень неприличное, в Фесе его только так и называли. И в конце концов у самой султанши разыгралось любопытство. Уж не знаю, удалось ли ей удовлетворить его или нет, много на этот счет злословили, но кончилось тем, что он угодил в подземелье. И вот тут начинаются легенды. Якобы в один прекрасный день—он уже больше года томился за решеткой—его разбудил ангел, знаком велел молчать и следовать за ним, провел по галереям дворца сквозь все двери и решетки, которые расступались перед ними. Наутро охрана нашла в подземелье лишь полупустой кувшин, а все запоры были целы, будто никто к ним и не прикасался... Правда, некоторые не верят в эту легенду, говорят, что деду удалось открыть двери тем же чудесным ключом, с помощью которого он раньше проникал в султанский сераль.—Теперь Юсуф говорил живо, с удовольствием, на него приятно было смотреть. Потом вдруг снова стал серьезным, голос у него изменился.—Мать, естественно, утверждает, что все это клевета, а *Беглеца* жестоко казнили за то, что он возглавил заговор против узурпатора Абдель-Ахмеда, хотел вернуть власть свергнутому с трона его двоюродному брату

Абдалле, и в заговоре, уверяет она, принимали участие и пленники-христиане».

Вот что рассказал юноша; вернее, так сохранила его рассказ моя память по прошествии времени. В точности его я не мог бы воспроизвести; Юсуф оживился и говорил без обычной сдержанности, отчего его манера изъясняться стала еще более причудливой.

«А как же история бегства?..» — спросил я. «Главное в ней верно: с ангелом или без ангела, но он сбежал из тюрьмы, укрылся в горах Риф и, опираясь на местные племена кабилов, принялся возмущать против султана страну, собираясь на рамадан поднять восстание. Но кто-то его предал, и *Беглецу* пришлось в конце концов вернуться в Фес, теперь уже верхом на осле, со связанными за спиной руками. А два дня спустя его отрубленную голову выставили на позор у городского рынка».

Мы все еще гуляли, но, двигаясь к выходу, я поинтересовался: «Юсуф, а где могила того твоего деда или прадеда, которого я видел на портрете? Ты мне ее не показал». Юноша ответил коротко: «Он похоронен не здесь».

Домой мы вернулись в сумерки, вошли в прихожую — маленькая дверца оказалась незапертой, — и Юсуф, подойдя к лестнице, остановился и громко, так, что голос его гулко разнесся в пустой тишине, спросил меня, в котором часу ужинают в Испании. Я догадался, что таким образом он хотел заранее оповестить домашних о нашем прибытии, принял его игру и так же громко принялся подробно изъяснять, что к чему, а он, присев на краешек стола, кончиками пальцев растирал на столешнице желтоватую пыльцу, которая осыпалась с белых лилий, начинавших уже увядать в керамической вазе.

«Пойдемте в сад, там удобнее дожидаться ужина». Юсуф взял меня за руку, и мы прошли во двор за домом. Совсем стемнело, беленые стены отсвечивали синевой, цветы, почти невидные в темноте, продолжали жить, не уснули окончательно, как смолкшие уже птицы. Мы уселись под переплетением виноградных лоз, где сидели утром, молча обменялись взглядом, и я подумал, что и у меня, должно быть, глаза блестят, как блестят глаза Юсуфа на матовом лице, приглушенном и стертом темнотой. «Как здесь хорошо, — сказал я юноше, — иметь такой дом, сад с фруктовыми деревьями и розами, огородик, где можно выращивать салат и всякую зелень, — чего еще пожелать для спокойной жизни и счастья, если оно возможно; я, поверьте, завидую вам». Он кивнул, но добавил, что, возможно, все это годится тому, кто,

устав от жизни, задумал удалиться от мирской суеты, предаться воспоминаниям о пережитом; но ему смешно даже думать, будто я могу позавидовать его участи; он готов поменяться со мной местами; впрочем, мне легко говорить—я довольно поездил по свету.

Мы разговаривали и слышали, как в доме хлопчут, готовя пир в мою честь. Юсуф сидел спиной к двери, а я со своего места, не оборачиваясь, краем глаза видел зарешеченное окно внизу и другое, поменьше, на втором этаже,—время от времени там мелькали тени, иногда до меня вместе с кухонными шумами доносились обрывки арабской речи, которой я—могло ли быть иначе?—не понимал. Ясно было одно: в доме вовсю стараются ради меня.

А потом во двореике появилась моя тетушка в сопровождении дочери и тотчас же завладела моей рукой, ласково прижала ее к себе, словно любимое чадо, требующее самого нежного внимания. «Ну, вот вы и пришли!—сказала она.—Давайте же ужинать, пора!»

Мы поднялись в маленькую залу, где я был утром,—там на низеньком столике нас дожидалось угощение, запах которого я ощутил еще на лестнице. На огромном круглом подносе с гравировкой, вперемежку с горками белого риса лежал зажаренный барашек, порезанный на куски. В центре подноса распласталась на дне баранья голова.

Юсуф предложил мне выбрать место, а сам сел напротив. Женщины остались стоять по обе стороны от нас. Я не знал, как себя повести, и поспешил вежливо встать, но тут же вспомнил, что мусульманский обычай вроде бы запрещает женщинам садиться за стол с гостями-мужчинами. Неизвестно, правда, строго ли выполняется он на деле. Заметно было, что женщины смущены не меньше, покраснели и нервно посмеиваются. Я не знал законов этих людей, их обычаев; но мне показалось, что в этом доме готовы пожертвовать традициями, лишь бы гость чувствовал себя как можно лучше, просто хозяева не знают, что мне по нраву. Наконец я пробормотал: «А как же вы... У вас не принято, я слышал... И все же...» «Да, сынок,—поспешила ответить мать.—Раз ты—наш гость, мы можем сесть с тобой за стол. Правда, нам все равно придется за вами ухаживать, так что иногда мы будем вставать и выходить... Садись, Мириам»,—веледа она, усаживаясь справа от меня, и добавила что-то по-арабски; девушка, опустив глаза, повиновалась.

Наконец мы все расселись вокруг барана. Взяв нож и вилку, я попытался отрезать от куска баранины, лежавшего поближе, но оказалось, что это непросто: стол был непривычно низким, да и

сиденье тоже, я проваливался в нем, локти упирались в колени. К тому же есть мне, как выяснилось, не хотелось: было еще рано, да и баранина остыла, жир на подносе сгустился в крупные комья, а сухожилия на мясе, желтоватая масса вокруг них, пересохшая кожа—все это, честно признаться, делало не очень аппетитной грудку темного мяса. И уж если говорить совсем откровенно, то мне было противно. Особое отвращение вызывала мерзкая баранья голова, которая посреди подноса оскалила зубы, уставившись на меня пустыми глазницами. Но я не мог отказаться есть и решил выйти из положения, занявшись рисом. Однако и он—это стало ясно, как только я поднес его ко рту,—был пропитан все тем же жиром. Пересиливая тошноту, я изо всех сил растягивал интервалы между каждым куском, но решил все-таки не портить хозяевам праздник—сами они ели баранину с наслаждением, которое не могло быть притворным. Это было мне на руку: поглощенные едой, они ничего не замечали, даже не разговаривали, так что надо было лишь постараться, чтобы мое пренебрежение к их лакомству не слишком бросалось в глаза.

«Юсуф показал тебе наше кладбище?» — спросила спустя некоторое время сеньора, глянув на меня поверх огромного куска мяса, который крепко держала в руках. «Да,—ответил я,—он отвез меня туда, показал могилы родственников, очень интересно рассказывал о каждом». Она удовлетворенно улыбнулась.

А еще через несколько минут хозяйка попросила рассказать о моих родственниках — «о тех Торресах, что остались в Испании», причем главным образом о том, кто они такие — эти представители рода. «Это нелегко объяснить,—заметил я.—Мне бы, как в романах, пришлось описывать всех, одного за другим, но рассказывать я не очень умею, да и сюжета этому повествованию не хватает. Давайте я просто перечислю их, как *действующих лиц* в пьесе, хотя и простое перечисление тоже мало что даст». Тема была мне неприятна. Однако единственным способом съесть поменьше было рассказывать, лишь время от времени поднося ко рту кусочек этого мерзкого мяса, заранее тщательно очищенного от жира. Во всяком случае, добрая женщина немало помогала мне, засыпая вопросами: «А ну-ка, начнем с тебя. Расскажи нам: отец твой жив? Братья и сестры у тебя есть? Сколько вас в семье?»

«Отца в живых давно нет, а братьев и сестер у меня не было. Я — единственный сын, отца едва помню: совсем маленьким был, когда он умер. Мои детские воспоминания, если говорить о доме, связаны с матерью; но мать, наверное, вас не интересуется, она из другого рода...» — начал я. Затем рассказал, что отец мой был

средним из трех братьев; двое других—дядя Хесус и дядя Маноло. Старший, дядя Хесус, дипломированный судья, женился, вырастил двоих сыновей; его расстреляли в Малаге во время гражданской войны за то, что оба сына—они живы—ушли на ту сторону, добровольцами в армию националистов. Другой мой дядя, Маноло, был врачом, у него две дочери и сын—«тот самый невезучий Габриэлильо, о котором я тебе рассказывал»,—пояснил я Юсуфу. Дядя Маноло овдовел и живет с дочерьми—то ли в Колумбии, то ли в Венесуэле. Добавил я и кое-какие детали из жизни своих родственников, несколько смешных эпизодов—живописные и чуточку преувеличенные подробности, позволявшие лучше представить каждого из них,—при этом я старался как можно реже прикасаться к еде, словно, увлеченный рассказом, вовсе ее и не замечал, как можно дольше очищал от жира каждый кусочек, прежде чем поднести его ко рту. (Таким образом, за весь ужин мне удалось съесть совсем небольшой кусок баранины.) Сеньора слушала меня самым внимательным образом, застывая точно птица, со склоненной набок головой и немигающими глазами; но оказалось, что она все перепутала, принимая одного родственника за другого,—пытаясь уяснить все, она задавала нелепые вопросы, из которых явствовало, что почти ничего не поняла из моего подробного и терпеливого изложения.

Я поправлял ее ошибки, но она запутывалась еще больше: так, например, спросила, как могли такого доброго человека—она имела в виду дядю Маноло, о веселых юношеских проделках которого я только что рассказывал,—как могли его расстрелять, у какого чудовища поднялась на него рука. Я объяснил: его не расстреляли, хотя, правда, он спасся чудом, находился на волоске от смерти. В таком случае, переспрашивала она, при чем тут старые истории про то, как он в молодости, в студенческие годы, да и после женитьбы, подшучивал над старшим братом Хесусом, человеком серьезным и шуток не терпевшим,—он наверняка злился, ведь обиделся же он из-за розыгрыша с раскаявшимся ныганом. Да, объяснял я, Маноло, особенно в молодости, был человеком веселым, большим любителем погулять и подурачиться, хотя, надо сказать, уже тогда у него проявлялись другие черты—в частности, несдержанность,—которые со временем усиливались; он был мастер на выдумки, а это порою раздражало окружающих, однако сердце у него доброе—он, как правильно сказала госпожа, в этом смысле был *добрый*, в этом ему не откажешь; кто знает, может быть, все эти разнообразные качества и помогли ему потом выбраться живым из такой переделки,—нелегко было выйти из тюрьмы, а затем и вовсе уехать из страны.

Но госпожа спутала его с дядей Хесусом, об ужасной участи которого, хотя не так подробно, я только что ей рассказывал. «Убили не его, а старшего брата»,—уточнил я.

Внезапно я почувствовал усталость и опустил глаза. Как я устал, и сразу, неожиданно! Все вокруг молчали; подняв глаза и посмотрев почему-то влево, я наткнулся на взгляд Мириам, которой до этого почти не замечал. Девушка тут же опустила глаза, но спрятать лицо не могла—она сидела совсем рядом, я видел ее пухлые губы, блестящие от бараньего жира. Я перевел взгляд на Юсуфа—тот, полуоткинувшись на сиденье, смотрел со спокойным, чуть заметным любопытством, пожалуй даже холодно-новато, лениво покачивая сползшей с ноги табачного цвета туфлей без задника. Мать без устали продолжала сыпать вопросами; юноша, более тактичный и умный, дал ей понять, предложив мне новый кусок баранины, что пора убирать со стола. Женщины встали, унесли поднос, вскоре вернулись с другим—на нем стояла банка варенья, а вокруг крохотные пирожные и другие сладости. Большой стакан напитка из лимонов опередил мою просьбу, и, взяв в помощь мутный ледяной лимонад, я решил все-таки загрузить десертом свой истерзанный желудок. Попробовав варенье, я похвалил его. Из чего оно? Мне ответили, что из роз. «Из цветов?—изумился я.—Как это?» «Да, из роз, я сама его варила»,—сообщила мне хозяйка, улыбаясь. Узнав, что я никогда не пробовал такое варенье и даже не знал, что существует «столь поэтическая», как я выразился, его разновидность, сеньора решила посвятить меня в секреты его приготовления: как собираются лепестки свежих роз, как отмачиваются, что сперва, а что потом... Вкус у варенья был приятный, но не лучше и не хуже, чем у любого другого; особого аромата я не ощутил.

Наконец принесли кофе, очень хороший кофе, жаль только, что в крохотных чашечках; я проглотил свой одним махом, похвалил—мне подали еще... После этого, выждав немного, но самую малость, потому что сил больше не было сидеть там, я стал прощаться, ссылаясь на то, что завтра вставать рано, работы много. Юсуф Торрес пытался было уговорить меня посидеть еще, но, поняв, что это напрасно, позвал слугу и велел ему проводить меня до гостиницы. Мы стали прощаться, обнимаясь и обмениваясь любезными фразами, у двери я помахал всем рукой и последовал за своим проводником; говорить не хотелось, я шел молча и заметил, глядя ему в спину, которая то вдруг тонула в тени от домов, то снова выныривала,—шел он ловко, словно пританцовывая в лунном свете,—я заметил не без удивления, что это был не старик, как, возможно, из-за лохмотьев и жалкого вида мне показалось утром, а молодой человек, почти юноша. У

входа в гостиницу я дал ему чаевые, и он пропал, словно отпрыгнул в темноту, сказав мне какие-то слова, которые я лишь спустя несколько секунд расшифровал как «*merci sieur*»¹.

Должно быть, оттого, что я выпил слишком много кофе, или потому, что накануне слишком долго спал, а потом целый день ничем особенным себя не утруждал, я долго мучился бессонницей, чего давно со мной не бывало. Я лег, решив утром встать пораньше, но среди ночи, на тебе, проснулся — и сна ни в одном глазу. Посмотрел на часы: двадцать пять минут четвертого. Попытался снова заснуть — никак. Не могу! Не могу — и все! А когда совсем отчаялся заснуть, вместо желанных сновидений в памяти стали громоздиться сцены встречи с мавританской родней; вот уж сюрприз так сюрприз поджидал меня в Фесе... да уже несколько столетий! Мой репертуар устных рассказов для друзей пополнится еще одним, и очень даже забавным. Я представлял себе, с каким недоверчивым любопытством слушает меня сеньорита такая-то, как рассуждает по этому поводу дон такой-то, мастер захватывающе рассказывать о вещах самых пустяковых; уже видел себя в кругу друзей, в руках — стаканы виски, и я с блеском пересказываю приключение в Фесе, и все вокруг мне внимают, казалось, я даже отдельные фразы слышу. Таким вот образом все, что выпало пережить мне сегодня вместе с этими славными людьми, у которых я побывал в гостях, целый день нашего существования вдруг обратился в сюжет для банальной байки.

Но, продолжая перебирать все это в памяти, я постепенно стал ощущать, что приключение не такое уж забавное; понемногу в нем мерк веселый блеск, что был поначалу, я уже не чувствовал легкой приподнятости, которую временами испытывал днем; все теперь виделось иначе. Поразительно, как бессонница способна менять все, белое превращать в черное: в ночной тишине то, что днем было незначительным случаем, заполнившим пустоту воскресного дня в чужом городе, начинало выглядеть серьезным, приобретать оттенок, как бы сказать... зловещий, даже, пожалуй, страшноватый; и это ощущение комом застревало в душе — куда девалось шутовское, ироническое и даже ласково-насмешливое настроение, с которым я утром пустился в приключение, — точно новая, незнакомая мне ответственность неожиданно и оттого особенно тяжело и невыносимо легла на сердце.

Снова и снова беспорядочно, вперемежку припоминались мне подробности наших разговоров — я устал от них, бессонница становилась оттого еще непереносимей; причем вспоминалось все нелепо искаженным, а то и вовсе в грязновато-мутном свете,

¹ Спасибо, господин (*искаж. франц.*).

отчего моменты, которые днем были приятными, милыми или просто смешными, теперь ощущались как постыдные и фальшивые. Вот, к примеру, милый обмен репликами по поводу розового варенья: «Я сама приготовила его собственными руками». Так вот, варенье было — я прекрасно помнил, и ошибки тут быть не могло — приятным на вид, прозрачным, карминного цвета, а тут вдруг мне стало казаться, что некоторые лепестки потеряли цвет и потемнели, и я различал — отчего стало невыносимо противно — в густом сиропе сверкающий кармином человеческий ноготь. Бред, верно? Но я не мог отделаться от омерзительного видения, и рот мой наполнился кислой слюной; я приподнялся и, не вставая с постели — сил не было, — сплюнул прямо на пол у кровати... Поистине, бессонница даже самым безобидным вещам способна придать зловещий, отталкивающий характер.

Но особенно измучило меня воспоминание о портрете, который *моя тетушка* (так я называл ее — другого слова подобрать не мог), портрете, повторяю, который она показала мне, чтобы я увидел, как я поразительно похож на другого человека, давным-давно умершего. Я тогда долго смотрел на него, но теперь, сколько ни пытался воскресить в памяти его лицо, оно ускользало — лишь четкие дуги бровей ясно сохранились в памяти, да печальный взгляд, как у юного Юсуфа Торреса, мерцавший на бледном лице в полумраке, — черты лица его расплывались, как если бы вода попала на краски и размыва линии. Теперь тетушка совала портрет мне под нос и смеялась издевательски: «Кто это? Это ты и не ты, ты, но после того, как помрешь». Мне слышались эти слова, которых она не говорила, я точно знаю. И вдруг перед носом у меня оказывался уже не портрет ее предка, а фотография покойного дяди Хесуса в дурацком балахоне, стоявшего у картинного домика с мавританскими окошками. Будь она проклята, эта фотография! Она не только каждый раз вызывала горький привкус во рту, но в силу каких-то неумолимых, хотя и неизвестных мне законов воскрешала в памяти навсегда врезавшееся зрелище — убитого дядю, брошенного в котловане вместе с другими жертвами, а вокруг быдло, зеваки, они гнусно ржут и отпускают по адресу покойников гнусные шутки, некоторые пинают их ногами. А я стою подле дяди и делаю вид, будто меня это не трогает, будто я — один из этих любопытствующих... Напрасно старался я избавиться от видения, тщетно старался думать о другом: о нынешних заботах, о торговых делах, о том, как наладить торговлю и рекламу нашей продукции, — сцена снова вставала перед глазами: сперва вспоминалась новообретенная марокканская родня, затем старый портрет, который «вполне

мог быть моим портретом», потом—фотография дяди Хесуса, наряженного мавром, и, наконец, непременно—проклятый котлован, убитый дядя, я над трупом, притворяюсь, будто знать его не знал, и мне горько, но все-таки я упрекаю дядю в безрассудстве и всех дурных чертах, которые, видно, и обрекли его на бесславную роль жертвы.

Ну почему, если ночью не спится, все видится в таком мрачном, смертельно тоскливом свете? Днем, случись мне вспомнить скорбные события в Малаге, что, к счастью, теперь происходило не часто—со временем такое случалось все реже и реже, а боль приглушалась, ибо время милосердно и, как известно, все смягчает, а может быть, просто чувствительность притупляется, как мертвеет от ожога кожа,—так вот, если изредка это мне вспоминалось среди бела дня, вполне хватало душевных сил лицом к лицу встречать воспоминания, хладнокровно разобрать собственное поведение, сохраняя спокойствие и чувство правоты. Да и любой, способный судить беспристрастно, признал бы, что в те смутные времена я вел себя благоразумно и в конечном счете единственный проявил здравомыслие. А что мне было делать? Увеличить на одну единицу число жертв—всего лишь на одну единицу, что она значила для целого мира, а для меня эта единица была все, это был весь мир, она была я, Хосе Торрес (сколько испанцев с этим именем—Хосе, да и с этой фамилией—Торрес, сколько других Хосе Торресов бессмысленно погибли в те годы по ту или по другую сторону!),—увеличить на одну-единственную единицу число жертв, кому от этого был бы прок; а я мог только это. И какая польза несчастному дяде Хесусу—он был уже мертв,—признай я его и начни добиваться выдачи тела, чтобы похоронить? Никакой ему пользы, а себя я поставил бы под удар. Я уж не говорю, что произошло бы, поддайся эмоциям, которые меня чуть не ослепили, так что я едва не набросился с кулаками на грязного типа, что стоял рядом со мной и носком ботинка ковырял в седой дядиной бороде, набросился бы я на него, и... Кому это было нужно? В тех обстоятельствах один неосторожный шаг—и ты пропал. Поди узнай, какую очередную глупость выкинул бедный дядя Хесус, что его схватили! Наверняка болтал лишнее, не иначе! Не умел он держать язык за зубами, сдерживаться, мнил о себе бог знает что, а был, в сущности, бедолагой-неудачником... Какой хвостун!.. Я понимаю, характер не переделаешь, не виноват он был, что его таким бог создал, ну а я при чем? Натворил небось глупостей, сам дал повод для ареста, ну и, конечно, сразу вспомнил потом меня, попросил передать, чтобы помог ему, выручил; а я в тот момент крутился как черт на сковородке, из кожи лез вон,

выбивался наверх; и я, видите ли, должен был подвергать себя опасности, брать дядюшку на поруки, отвечать за его старческие выходки—словом, идти на риск, в то время как оба сына бросили отца на произвол судьбы, пристроились на той стороне, к концу войны сделали военную карьеру, вышли в начальники. Конечно, легко обвинять меня, как они, подлецы, потом делали, даже намекали, мол, не исключено, что я выдал старика на погибель. Негодяи!.. Я сделал все, что мог: через того человека, который передал просьбу дяди, посоветовал старику проявить благоразумие и молчать, главное—молчать и ни в коем случае не упоминать мое имя; дядюшкин язык мог только навредить ему, а заодно и мне. А у меня положение вовсе не было твердым, тогда ни у кого не было твердого положения, каждому приходилось крутиться, спасать шкуру, ох, как это было непросто! Кто может попрекнуть меня, что я сгибался, выжидал, пока пронесет бурю? А я не только шкуру спасал—по мере возможности пытался уберечь и имущество фирмы. Чего еще от меня требовать? А как повезло управляющему, когда меня, бывшего начальника по сбыту и снабжению, во время экспроприации неожиданно для всех выбрали председателем рабочего комитета; до сих пор смех берет, как вспомню лицо англичанина, глаза—как плошки, когда он увидел, что я вдруг превратился в *ответственного товарища*, рабочего руководителя, что я, анархист с давним стажем, профсоюзным билетом в кармане и пистолетом за поясом, всем по своему усмотрению распоряжаюсь, а с ним самим обращаюсь при остальных без церемоний. А того он долго не понимал, дурак, что я решил действовать так лишь для того, чтобы по возможности защитить интересы фирмы. Между нами говоря, особенно там защищать нечего было. Мы были филиалом, а основная фирма, поставлявшая продукцию для экспорта, находилась за границей, и с ней ничего не могло случиться. Ну, потеряла немного из-за временной заминки в делах, но потом с лихвой все возместила. Склады, конечно, конфисковали, но что с ними сделаешь—не снесешь же, остались на месте... Фирма даже выгадала в конечном счете; переоборудовали их, приспособивая под военные нужды, хорошо при этом поработали. Товар, хранившийся там, само собой, пропал: тонкие вина и дорогие крепкие напитки народ тогда пил как воду. Ну и, разумеется, жалованье по-прежнему приходилось всем платить. В конце концов я оказался довольно ловким и еще—к чему отрицать?—удачливым. Будь это не экспортная фирма, где работали главным образом конторские служащие, а промышленное предприятие, мне, бывшему начальнику, не так легко во время экспроприации оказалось бы замаскироваться и пролезть в

руководство, чтобы помешать еще бóльшим безобразиям. Один я знаю, как мне приходилось вертеться. Но в конечном счете все обернулось хорошо—сказать правду, очень хорошо. Я ловко продержался до конца, а уж потом, когда пришло время, ничего не стоило чуточку преувеличить риск, которому подвергался, и услуги, оказанные фирме. Но и все кругом преувеличивали и ввали, пытались выглядеть героями, чуть ли не мучениками, спекулировали на том, что кто-то из их близких погиб. Однако не все они могли предъявить такой серьезный довод, как я: родного дядю—бедного дядю Хесуса!—погибшего от рук красных варваров. А кроме того, был и живой свидетель—англичанин-управляющий: он безотрывно наблюдал за моими действиями, сперва с тревогой, правда, но потом успокоился; а тут видит, как мне трудно в новой ситуации, сам приходит вроде бы за советом и предлагает взять дело в свои руки, и я беру, как только итальянские войска освобождают Малагу. Какая это была победа, какое торжество! Одно лишь немного омрачало мою удачу: наших служащих—тех немногих, что остались и не сбежали куда глаза глядят,—одного за другим брали и ставили к стенке. У этих бедняг в голове не укладывалось, как это я, *ответственный товарищ*, с которым они еще вчера распивали хересы и коньяки из хозяйских подвалов, снова оказался в чести и доверии; и смотрели они на меня с такой тоской... А что я мог? Ничего себе, подходящий момент вступаться за других! Нет, я ничего не мог для них сделать—даже намекнуть им, дурачкам, спрятаться подальше, хоть рвалось с языка—это было бы крайне неосторожно с моей стороны... Да, все это омрачало час моего торжества. Ну и, конечно же, невероятная грубость двоюродных братьев—они все хотели взвалить на меня ответственность за несчастье с их отцом, будто я виноват, что старик, чистый самоубийца, не умел придержать норова, а они сами погнались за карьерой, перешли на ту сторону и бросили папашу—с его-то характером—в такой заварухе. Откуда мне было знать, что с дядей все так быстро решится, даже времени не будет подумать, как помочь старику? Я же передал ему, чтобы вел себя тише воды, ниже травы и молчал—а что еще можно посоветовать... Да, вышло, что... замолчал он навсегда. Нет, пусть мне все-таки скажут: что я мог поделаться? Что предосудительного в моих действиях? Как иначе мог я поступить, в моем-то положении, в тех трудных, необычных обстоятельствах? Любой, если он не полный скотина, подумав хорошенько, поймет и оправдает меня. И если подходить к делу здраво, то нет причин терзаться совестью. Одна беда: по ночам, если не повезет и навалится бессонница, здравый смысл улетучивается, благоразумие пропадает

ет, все перепутывается, искажается, начинает видаться в черном свете. Даже самые ясные вещи представляются в превратном виде, ложно; все извращается до невозможности, сил нет такое терпеть... Именно так и произошло в ту ночь: я не мог прогнать из памяти искаженное лицо мертвого дяди Хесуса, как ни старался, не мог от него отделаться. Я ворочался с боку на бок и все больше злился; простыни сбились и раздражали, напрасно я пытался расправить их ногой—они сбивались еще больше. Я не знал, как лечь,—и на спину переворачивался, и на живот, и на бок, даже свешивался с постели, а чувствовал себя все хуже... Что за чертовщина? Что со мной творится? Рот полон слюны, в желудке—страшная тяжесть. Ну, конечно же, еда... Не раз я отбрасывал воспоминание о ней, но оно снова и снова лезло в голову; воспоминание подкрадывалось, я запирался от него, старался думать о чем-нибудь другом. И все-таки заползла в голову смехотворная мысль. Абсолютно дурацкая мысль. К чему, спрашивается, весь наш высокий разум, если пошлого засорения желудка достаточно, чтобы самые невероятные ощущения стали вдруг казаться реальными и вопреки здравому смыслу овладели тобой? Вот какая идиотская мысль засела у меня в голове: мне чудилось, что непереносимая тяжесть в желудке—из-за того, что там застряла баранья голова, да, да, та самая баранья голова с оскаленными белыми зубами и пустыми глазницами. Яснее ясного, что мысль эта—совершенно сумасшедшая: я прекрасно знал, что к голове той никто даже не притрагивался. Она осталась лежать посреди огромного подноса, в окружении кусков бараньего сала. Правда, был момент, когда я испугался, как бы мне не предложили ее в качестве изысканного деликатеса, но я ведь точно помнил, что никто к ней так и не прикоснулся и ее, по-прежнему распластанную в центре подноса, унесли на кухню. И все же—вот до чего может довести засорение желудка—ощущение, будто огромная баранья голова застряла у меня в желудке, было настолько реальным, что, сколько я ни твердил себе: ее унесли на кухню нетронутой!—ощущение не проходило, и эта гадость давила на меня изнутри всей своей отвратительной тяжестью.

Господи боже мой, просто пища камнем легла на желудок, у меня несварение—вот и разгадка моих кошмаров. Это, а не кофе, повинно в моей бессоннице и в том, что зловещие мысли и ощущения так яростно набросились на меня. «Хоть бы вырвало!»—подумал я. Однако непохоже, что я так легко отделаюсь: меня подташнивало, но едва ли я смогу так просто избавиться от гадости в желудке. Я прислушался к себе, призвав на помощь все пять чувств: нет, пожалуй, не выйдет! А впрочем, когда-нибудь

это кончится, надо только постараться не думать об этом. В столь поздний час я не решался попросить чашку чая, хотя и очень хотелось—он наверняка бы помог. Я снова лег на живот, съежился, прижался щекой к подушке—и вроде почувствовал себя лучше.

Теперь я проклинал судьбу за то, что поддался искушению, дал втянуть себя в глупую авантюру с новообретенными марокканскими родственниками, согласился пойти на этот чудовищный ужин, который мне, как стало ясно, дорого обошелся. А как они меня потчевали, добрые люди! Послушайся я их, пришлось бы одному съесть всего барана. Как потчевали... Тяжесть в желудке как будто стала проходить, меня охватила блаженная слабость, и я почувствовал, что засыпаю... Мне чудилось, что я стою у порога какой-то двери, а моя *тетушка* из Феса что-то многословно советует; я чувствую, как она взволнована и никак не хочет отпустить мою руку, ведет себя с доброжелательной открытостью, что заставляет меня в конце концов принять ее тон и устыдиться собственной сухости. Я вдруг перенесся в давние времена, в окрашенные закатным солнцем вечера моего детства, в Альмуньекар, где после обеда у дяди Маноло, чьи забавные проделки так меня веселили, его жена донья Анита, расставаясь, заставляла взять «для твоей мамы, пусть и она попробует», домашний пирог, что-то напоминала, велела передать приветы. А Габриэлильо держал ее за руку или цеплялся за юбку... Давно уж донья Анита спит под землей и так страшно погиб Габриэлильо: мать всегда жаловалась, что он постоянно под ногами крутится. Жив ли дядя Мануэль? Сколько ему, бедняге, привелось выстрадать—и не только в тюрьме, где он просидел больше двух лет, но и из-за детей—сын погиб, а дочери таким издевательствам подвергались. Может, хоть в Америке дела у них пошли получше, подумал я. Совсем потерял их след; дай бог, чтобы хоть там они зажили счастливо.

Ох! Снова резануло в желудке. Нет, ощущение отвратительной тяжести не проходило; наоборот, я чувствовал себя все хуже. Баранья голова безжалостно раздирала мои внутренности; казалось, она прокусывает стенки желудка, от тошноты закружилась голова. Я соскочил с постели и бросился в ванную, чувствуя, что больше не выдержу—бежал, будто на поезд опаздывал. Ну, еле успел! Баранья голова словно бодала меня изнутри, подкатывалась к горлу, яростно рвалась, желая выскочить на волю... Ну, давай, выскакивай! Вон!.. Слава богу!.. Я был весь в поту, на глазах слезы выступили, казалось, вот-вот умру. А что за лицо глянуло из зеркала, боже милосердный, какое у меня стало лицо!

Я тщательно ополоснул рот, спустил воду в бачке, закрыл за собой дверь, вернулся, качаясь, к постели и тут же уснул.

Когда на следующее утро я открыл двери на балкон, солнечные лучи на полу доходили почти до середины комнаты. Проснулся я поздно, но чувствовал себя совершенно свежим. То была веселая бодрость, и я воспрянул духом: все теперь виделось в ином свете. От ночных ужасов следа не осталось, они рассеялись, как туча мошкеры, и я чувствовал себя легко и свободно! И голова была поразительно ясная—я не просто избавился от зловещих призраков, порожденных банальным засорением желудка; теперь и план деловой поездки, до того рисовавшийся мне в самой смутной форме, представал четким и стройным, обещая как никогда большие перспективы. Сразу стало ясно, как наилучшим образом организовать дела «Радио М. А. Роунер» в Марокко; все сомнения по поводу деталей разом отпали, и—что было гораздо важнее—исчезла неясность, в которой мне прежде виделись дальнейшие действия, поскольку умственная лень подталкивала положиться на импровизацию и я собирался решить все по ходу дела. Ничего такого теперь в помине не было: в это сверкающее утро дышалось так легко, тело казалось счастливо невесомым и инициатива снова была в моих руках. словно бы рваные мысли и беглые наброски, возникавшие в мозгу среди отупения от поездки, которые я, занятый множеством мелких забот, не спешил обдумать до конца, вдруг в это ясное утро разом выстроились в четкий ряд, и я вновь обрел способность принимать уверенные и точные решения.

Итак, начнем по порядку: о чем я только думал, когда решил лететь в Фес? Да, собственно говоря, ни о чем: надо признать, просто не дал себе труда подумать. Просто решил полететь в столицу Марокко и открыть там представительство, забыв, что в такого рода делах совершенно ни при чем административный центр края и официальные учреждения протектората. Чем больше я думал, тем глупее выглядело мое скороспелое решение, и я все больше поражался, что поступил так. Какого черта мне надо было в Фесе? Что я здесь потерял? Ведь настоящий коммерческий центр Марокко не Фес, а Марракеш. Туда мне и следовало отправиться. И я туда отправлюсь. В общем-то ничего страшного не случилось...

Я собрался было позвать портье, чтобы навести у него справки, но решил спуститься в вестибюль, так как успел уже привести себя в порядок. Внизу, как обычно, дежурил швейцар в униформе с золочеными пуговицами. От него я узнал, что поезд

на Марракеш отправляется в 19.25, но туда каждые два часа ходит и автобус, причем поездка на нем не утомительная. Когда отходит следующий? Следующий (взгляд на часы — они показывали четверть десятого, другой — на расписание, висевшее на стене за стойкой портье среди других объявлений)... следующий — в 10.30; до него еще час с четвертью.

Швейцар, не удивившись, выслушал мою просьбу заказать по телефону удобное место в этом автобусе («Господин, наверное, пожелает на теневой стороне, верно?»); у меня было время собрать чемодан — занятие привычное, а потому пустяковое, — распорядиться, чтобы его отнесли вниз, оплатить счет, спокойно позавтракать и без спешки добраться до автобусной станции.

Я шел по улице и радовался. На автостанции я все оформил и, сев на свое место в еще полупустом автобусе, достал карандаш, записную книжку и стал подсчитывать расходы: за житье в гостинице, расходы в ресторане накануне, потом в кафе (Юсуф Торрес заплатил только за проезд на трамвае до кладбища), мелочь на чаевые, автобусный билет до Марракеша — впрочем, этот расход, пожалуй, надо включить в другую статью; короче, когда я превратил франки в доллары, то получилось ровно 12 долларов 30 центов. Совсем немного. А что касается времени, то и всего ничего.

Водитель уже сел за руль и запускал мотор, и тут мне показалось, что среди арабов на станции я увидел того, кто ровно сутки назад передал мне приглашение от моих чудаковатых родственников, — слугу, садовника или посыльного *моей тетушки*; бог знает, кем он там у них числится. Я вздрогнул и (что за глупость!) отвернулся; потом, повернувшись и незаметно поглядев, убедился, что это действительно он; слуга тоже увидел меня и, казалось, вот-вот подойдет. Но не сделал этого; наоборот — вдруг сорвался с места и побежал. Он был уже далеко — бежал и все оглядывался, — когда злосчастный автобус наконец тронулся... Мы свернули за угол и уехали.

СБОРНИК

«ИСТОРИЯ МАКАК»



HISTORIA DE MACACOS

MADRID, 1955

Из жизни обезьян

I

Если бы я, раз уж все равно ни на что другое не гоюсь, решился наконец взяться за столь неблагодарное дело и занялся бытописанием нашей колонии, то, возможно, облек бы повествование в пурпурные одежды историко-сатирической поэмы, как это иногда приходило мне в голову в минуты мрачного расположения духа; замечу сразу, что о последнем банкете пришлось бы говорить особо—как об одном из самых существенных происшествий в жизни общества. По многим причинам тот ужин стал для нас памятным, поистине памятным. Для его описания вполне подошел бы витиеватый стиль местной газетенки, а также гиперболы и иносказания, которыми непременно воспользовался бы наш несравненный диктор Тоньито Асусена, комментируя по радио это важное общественное событие. Достаточно уже того, что самые ответственные лица, то есть мы, собрались, дабы отметить возвращение одного из нас в «лоно цивилизации». Празднество стало бы подлинной сенсацией при общей непролазной скуке нашего существования, даже если бы ему не предшествовали определенные события и не вскрылись некоторые обстоятельства, которые повлекли за собой серьезные последствия. Несомненно, прощальный ужин уже сам по себе представлялся весьма замечательным. Во-первых, управляющий перевозками и грузами любезно пригласил нас, вместо того чтобы принять приглашение самому. Управляющий настоял на своем решении, желая таким образом отблагодарить коллег за бесчисленные знаки внимания, оказанные во время «африканской кампании» не столько ему, Роберту, сколько его супруге. Стоит ли говорить, какое впечатление произвела эта затея—вне всякого сомнения, весьма экстравагантная—на всех и каждого из нас, особенно

если учитывать предысторию банкета. Как и следовало ожидать, решение Роберта вызвало всеобщее бурное веселье, в котором, надежно огражденный высоким служебным положением, особенно отличился главный инспектор администрации Руис Абарка, начисто лишенный способности не просто удерживать себя от буйных и оскорбительных выходок и подчиняться нормам — пусть даже не очень строгим, ведь жили-то мы в колонии, — но, черт возьми, по крайней мере не выходить за рамки элементарного приличия, к коему обязывал его занимаемый пост. Даже напротив, чуждый всяческой деликатности, Абарка позволил себе непростительную наглость завести и поддерживать потехи ради учтивый спор с Робертом о том, кто кого должен был приглашать, и при этом искоса поглядывал на публику, от души забавлявшуюся зрелищем, а также произносил фразы, подобные следующей: «Что вы, дорогой друг Роберт! Мы сами должны благодарить за внимание вас, а в особенности вашу супругу. Думаю, что от имени всех собравшихся могу назвать донью Розу истинным даром небес, ниспосланным нам в этой негостеприимной стране. Даже не знаю, как мы станем обходиться здесь без нее. Вы, дорогой коллега, вне всякого сомнения, можете понять, насколько нам будет недоставать вашей супруги». И далее подобные же двусмысленности, которые управляющий перевозками выслушивал с видом уклончивым — не то с тайным удовлетворением, не то с иронией, — иногда углублялся в свои мысли, иногда, держа в руке стакан виски, вежливо возражал на несколько преувеличенные любезности дорогого друга. Роберт тем не менее утверждал — и мы едва сдерживали смех, — утверждал совершенно серьезно, и некоторые из нас просто давились хохотом, что Абарка не прав, удовольствие от общения было взаимным — и даже более того: он и его супруга извлекли из этого общения гораздо большую пользу, нежели остальные; так что, пожалуйста, не надо лишать его удовольствия, и давайте не будем больше спорить: прощальный ужин он оплачивает сам... Тогда Руис Абарка притворился, будто весьма неохотно сдает свои позиции и уступает. А Тоньито Асусена, со свойственной ему назойливостью, вмешался в разговор, вставив какую-то шуточку, не имевшую, впрочем, успеха: никто не обратил на диктора внимания, а сам Роберт воззрился на Тоньито как на мерзкую жабу. Остальные же в душе ликовали, заранее предвкушая обильные смачные комментарии и остроты по поводу предстоящего зрелища. Тем не менее подозреваю, что некоторые, в ком конформизм и покорность общественному мнению еще не загасили искру былого благородства, ощутили стыд, а возможно, и внутренний протест против издевательства, зашед-

шего слишком далеко. Что касается меня, я держался в стороне (имея на то свои причины) и с удивлением спрашивал себя, каким образом этот субъект, Роберт, о котором много можно было бы сказать, но которого никак не назовешь ни дураком, ни блаженным, ухитряется не замечать окружающей его атмосферы насмешливой почтительности. Станным казалось уже то, что бедняга целый год ничего не подозревал. Недаром утверждают, будто мужья обо всем узнают последними, хотя о себе могу сказать... слишком увлеченный охотой за деньгами или же чересчур занятый собой—а был он высокомерен до чрезвычайности,—Роберт не допускал и мысли, что кто-то осмелится покуситься на его честь, осквернив святилище семейного очага, и уж тем более не замечал всеобщего злорадства сейчас. Я смотрел на управляющего перевозками, раскрыв рот от изумления. Он сидел с каменным лицом, и все же иногда мне чудилось какое-то напряженное и жестокое выражение, а может, грустное и насмешливое. Так или иначе, каменное лицо управляющего было бледно. Хотя, возможно, это всего лишь фантазии стороннего наблюдателя.

Настал день банкета. Я, как и подобало скромному зрителю, удобно устроился в дальнем конце стола (в нашем обществе мне отводилось малозаметное место, да я и не принадлежу к числу тех, кто из кожи вон лезет, лишь бы выделиться), собираясь, однако, из полумрака внимательно следить за ходом событий; все взгляды были устремлены в центр, где, естественно, восседал губернатор, по правую руку от него королева праздника, а дальше, и это уже не естественно, а, напротив, возмутительно и неслыханно, несчастный паяц Тоньито Асусена—подумаешь, какой-то там диктор! С другой стороны расположился организатор банкета, управляющий перевозками, а затем, уже без всякой последовательности, прочие чиновники колонии.

Единственной женщиной за столом была жена Роберта. На праздник, или прощальный ужин, устроенный в Кантри-клубе супружеской четой накануне отъезда в Европу, пригласили только мужчин. Вот вам еще одна странность, хотя, если разобраться, такое решение являлось наиболее удачным. Вне всякого сомнения, Роберт прекрасно умел оценивать обстановку и отличался острым умом; созвав «чисто мужское общество», он сразу же устранил множество проблем. Подумайте сами: в колонии семейное положение почти у всех весьма нетрадиционное. Большинство чиновников, повинувшись крайней необходимости, отправляются в добровольное изгнание в Тропическую Африку совершенно одни. И хотя почти всем им—или всем нам, как угодно,—суждено окончить здесь дни, по приезде каждый

полагает, что его «кампания» продлится недолго, что это всего лишь временное испытание, необходимое, чтобы скопить кое-какие средства, поправить дела и начать новую жизнь; но проходят месяцы, затем годы, письма домой, а с ними и денежные переводы становятся все реже, и постепенно появляется в колонии — конечно, никто из нас не впадает в ту крайность, в которую впал Мартин, этот странный и пренебрежительный тип, сгинувший среди черного сброда, — потомство смешанных кровей, результат отношений почти постоянных, но официально не признанных и не принятых. Короче говоря, все мы здесь «чисто мужское общество». С другой стороны, жены тех, кому волею-неволею пришлось тащить за собой семейство, обычно ведут себя в Африке с глупым несносным высокомерием, ничего, кроме смеха, не вызывающим, если принять во внимание обычную участь этих королей в изгнании — нищету и лишения, а порой и соперницу низкого происхождения, ни в какое сравнение не идущую с культурной, образованной и в высшей степени достойной половиной какого-нибудь достославного обманщика. Так что, попав в общество чванливых куриц, очаровательная донья Роза Г., супруга управляющего перевозками, очутилась не в лучшем для себя окружении — отчасти по причине зависти, которую вызывали ее наряды, красота, манеры и так далее, отчасти же потому, что — нельзя этого не признать — слухи распространяются быстро, а для завистников нет большего удовольствия, чем возвысить себя, очернив чью-либо безупречную репутацию... Пригласить только мужчин, несомненно, означало избежать многих осложнений и обид или свести их до минимума; что и говорить, разумная мера.

Впрочем, нашу очаровательную Розу мало трогали слухи и сплетни и совершенно не интересовало, «что скажут люди»; она уже не раз доказывала самое что ни на есть решительное презрение к чужому мнению. Роза восседала перед нами, по правую руку от губернатора, сияющая и счастливая, такая же свежая, как цветок, именем которого ее называли. Восхитительная самоуверенность! Сияющая и счастливая, она блистала и царила среди нас, осененная властью и покровительством нашего почтенного губернатора. Слов нет, момент был волнующий даже для тех, кто, подобно мне, довольствовался ролью скромного статиста в этом театре абсурда. Уже стемнело, и землю окутал прохладный сумрак, большую часть года дающий людям желанный отдых от адского дневного пекла. Мы сидели в темноте; чернокожие слуги клуба двигались по террасе, неслышно ступая босыми ногами; внизу, на площади перед клубом, сгрудилось стадо уснувших автомобилей. Из глубины сельвы время от времени

доносились пронзительные вопли обезьян, заглушавшие неумолчное пение бесчисленного лягушачьего хора; а в порту, совсем рядом, черной громадой возвышался силуэт корабля «Виктория II», который отчалит на рассвете, увозя от нас Розу и ее счастливого супруга...

Ужин начался в полном молчании, в обстановке несколько таинственной и, хотя за столом росло напряженное ожидание, проходил совершенно мирно, пока не подали десерт. Огней зажигать не стали, чтобы избежать нашествия назойливых насекомых; довольствоваться приходилось отсветами далеких фонарей, вокруг которых вились тучи мошек и бабочек. Мы ели, говорили мало и вполголоса, но во всем ощущалось скрытое волнение. Все ждали, ждали с нетерпением, что произойдет нечто необычное. В противном случае мы сочли бы себя обманутыми — и поэтому почувствовали даже некоторое облегчение, когда подали кофе, задымились сигары и бомба наконец-то взорвалась, да еще как!

Готов биться об заклад, что взрыв спровоцировала глупая назойливость Руиса Абарки, главного инспектора. На глазах у всех он тяжело поднялся с кресла, держа в руке бокал, который на протяжении ужина неоднократно пустел и вновь наполнялся, и заплетающимся языком промямлил тост, где с бестактной настойчивостью напомнил присутствующим о добродетелях и щедрости сеньоры, и вновь принялся сетовать, что она уезжает, бросая нас на произвол судьбы. Тогда Роберт, слушавший тост несколько рассеянно, с улыбкой на бледном лице, вдруг встал, чтобы произнести ответную речь, которая впоследствии и принесла столь широкую известность нашему банкету. Я воздержусь от комментариев и ограничусь тем, что приведу здесь этот любопытный образец ораторского искусства. И не подумайте, будто подробность изложения обязана моей замечательной памяти; ничего подобного: даже теперь, когда прошло довольно много времени, ответный тост Роберта, давший пищу для многочисленных толков и пересудов, нет-нет да и всплывает в наших разговорах. Текстуальная точность, таким образом, результат коллективных усилий.

Итак, управляющий перевозками попросил тишины, одним только движением руки прервав затянувшийся путанный и бестолковый пьяный тост, и приготовился ответить Руису Абарке; за столом, разумеется, воцарилось напряженное молчание. Роберт вполне наслаждался им, раскурив сигару, затянувшись и выдержав значительную паузу. Затем заговорил тихо, медленно, голосом сдержанным и даже несколько неуверенным. И вот что он сказал: «Господин губернатор, уважаемые друзья! До нашего

отъезда осталось всего несколько часов. Корабль, который доставит нас в Европу, уже стоит в порту, готовый поднять якоря с первыми лучами солнца. Скоро мы расстанемся, и, по всей видимости, навсегда; а если и встретимся случайно, бог знает когда и где, то произойдет это в обстановке столь отличной от теперешней, что мы вряд ли вспомним друг друга. И все же как тесно переплетались наши жизни здесь, в Африке! Теперь, когда я оставляю колонию и покидаю вас, сердце мое разрывается от грусти, и я просто не могу не поведать вам моих сокровенных чувств, хотя до последнего момента сомневался, стоит ли говорить о них вслух и не лучше ли ограничиться сдержанным, немногословным прощанием. Но, очевидно, с моей стороны было бы вероломно увезти с собой одну маленькую тайну и не поделиться ею с такими замечательными друзьями. Возможно, это сущая безделица и даже едва ли может называться тайной, но она касается наших с вами отношений, и, раскрыв ее, я, возможно, облегчу совесть здесь присутствующих, себе же позволю насладиться ничем не приукрашенной правдой».

Роберт снова сделал паузу и спокойно затянулся сигарой. Мы боялись шелохнуться; снаружи, из-за спин слуг, которые почтительно отступили в тень колонн и оттуда следили за происходящим, доносилось неумолкающее кваканье лягушек да время от времени раздавался оглушительный обезьяний вопль.

Управляющий перевозками продолжил речь, голос его окреп, и в нем зазвучали нотки горького удовлетворения: «Позвольте мне, дорогие друзья, вспомнить мой первый приезд в колонию. Роковые события вынудили меня отправиться в изгнание, где я надеялся прийти в себя после жестоких разочарований и — к чему скрывать! — поправить материальное положение. В самом деле, почему бы не сказать об этом открыто, ведь мы свои люди. В моем положении не было ничего стыдного или противоестественного. Все мы, не исключая самого господина губернатора, чье высокое служение общественным интересам трудно переоценить, — тут Роберт обратился на губернатора смелый, вызывающий взгляд, принятый, впрочем, вполне благосклонно, — повторяю, все мы и даже его превосходительство терпим изгнание, лихорадку, тропические ливни, полчища аборигенов, палящее солнце, муху цеце — словом, то, что составляет предмет наших постоянных жалоб и наносит непоправимый ущерб здоровью, ущерб, на который мы стараемся даже не жаловаться, чтобы лишний раз о нем не думать. Мы стойко выдерживаем всевозможные испытания; а почему? Да потому, что, на первый взгляд, здесь недурно платят. Но, увы, это досадное заблуждение. Ибо разве можно назначить достойную цену загубленной жизни? И если мы так

небрежно обращаемся с нею, то лишь потому, что в глубине души не слишком высоко ее ценим и считаем сделку вполне выгодной, а плату—щедрой... Лучше уж так, все довольны... Но, господа, прошу прощения, я отвлекся. Итак, по приезде у меня сразу появилось чувство солидарности с вами. В какой-то степени все мы здесь изгнанники, тоскующие о тех радостях, чрезмерная любовь к которым ввергла нас в эту трясицу, где мы погрязли телом, душою витая в иных краях. И тогда я подумал, сколько счастливых минут могло бы принести вам общество Розы. Разумеется, эта страна не для наших жен, но Розе—и вы прекрасно это знаете—не присуще ни малодушие, ни уныние, ни капризы. С улыбкой на устах она готова принести любую жертву, и ничто не может смутить ее... Так вот, в следующий приезд решено было взять жену с собой. Я вернулся, предложил ей свой план, она согласилась; и вот теперь, когда настало время возвращаться на родину, я ни капли не раскаиваюсь в нашем совместном решении. Вы же со своей стороны, не таясь, горько сетуете, что столь очаровательное существо покидает вас навсегда. Прекрасно понимаю вас, уважаемые друзья, прекрасно понимаю. Не думайте, будто мне неизвестно, чем была она для всех на протяжении целого года. Мысль о том, что я мог этого не знать, мне кажется смешной, так же как вам—забавной или, возможно, постыдной. Но нет, от меня ничто не укрылось, и здесь я не вижу причин для недовольства. Мне прекрасно известно, какого рода услуги оказывала Роза каждому из вас, а также известно, с какой щедростью каждый из вас эти услуги оплачивал. Да и разве я мог пребывать в неведении, если сама Роза полностью доверяет мне как свои материальные дела, так и духовные устремления. Думаю, мне потребуется известная доля сдержанности, чтобы не воздать должного той восхитительной душевной широте, с которой вы отблагодарили мою очаровательную супругу за ее добродетели. Должен сказать, что широта эта порой граничила с расточительностью. Господин губернатор—как и подобает столь высокой особе,—первым почтивший своим вниманием наш скромный семейный очаг, буквально озолотил Розу, на чьей груди он смог забыться от своих возвышенных и благородных, но утомительных обязанностей. Однако были и более щедрые подарки, и я считаю своим долгом во всеуслышание об этом заявить. Нас искренне тронуло, что некоторые коллеги, имен которых я не называю из опасения задеть их гордость, не побоялись заложить ценные вещи и сделать долги, когда пришла их очередь сменить высшее начальство, дабы золотыми буквами вписать свои имена в книгу нашей памяти. Роза, чье сердце из того же драгоценного металла, с трудом дала убедить себя, что,

вернув дарителям часть подношений, она нанесет обиду людям, пошедшим ради нее на большие жертвы...»

Можно представить себе, какое ошеломляющее впечатление произвела речь Роберта—вначале нерешительная, а затем до неприличия самоуверенная и насмешливая—на слушателей. Неслыханный цинизм! Никто не знал, как следует воспринимать сказанное. Два откровенных намека на его превосходительство, куда как смелые, были сокрушительными ударами, парализовавшими нас. Все глаза устремились на господина губернатора, но его взгляда не встретили. Потому что глаза его превосходительства, обычно такие живые, ясные, веселые и до странности молодые на седобородом лице, теперь внимательно изучали блюдо с фруктами в центре стола. Нас охватило смятение. И потом, прекрасно было известно, кто из чиновников просил выдать деньги в кредит; заговорить об этом означало назвать их поименно. Послышался шепот, даже смех. Раздраженное брюзжание на разных концах стола вот-вот готово было перерасти в негодующий вопль, но тут оратор прервал паузу и как ни в чем не бывало продолжал тоном спокойным и благодушным, готовя сокрушительный удар, чтобы окончательно нас добить. И вот каковы были его заключительные слова: «Конечно, все это, увы, долгое время я разыгрывал неведение, а вы в свою очередь весьма тактично делали вид, будто продолжаете считать безупречной репутацию женщины, которую по приезде я, позволив себе маленькую хитрость, назвал своей женой. Хитрость, впрочем, вполне безобидная, поскольку уверен, что, познакомившись с Розой поближе и оценив ее манеру поведения, умение и опыт, ее скромность и глубокое уважение к чинам, столь отличное от глупой заносчивости наших милых женушек, вы наверняка поняли, кто же на самом деле перед вами: опытная куртизанка, верная добрым старым традициям. Вот в чем заключается наша маленькая тайна, и, хотя я уверен, что вы давно обо всем догадались, считаю своим долгом сегодня раскрыть ее. В результате длительной и разнообразной практики наша дорогая подруга,—тут он указал кончиком сигары на Розу,—уже была подготовлена к труду на этом нелегком поприще, когда год назад я предложил ей разделить со мной тропическую авантюру, сегодня счастливо завершившуюся. Сейчас мне осталось сообщить вам по просьбе нашей дорогой Розы, которая прожила яркую молодость и решительно отвергает возможность спокойно существовать на проценты от капитала, что теперь, благодаря сделанным сбережениям, она сможет открыть изящное увеселительное заведение, коему, я не сомневаюсь, не будет равных и где вы всегда сможете рассчитывать на значительную скидку и радушный прием. Желаю

вам всяческих благ!» Вот и все. Роберт поклонился и сел.

Боже, какое смятение! Какой удар! Никто не знал ни что думать, ни что говорить, ни что предпринять. А Роза, очаровательная, загадочная, далекая от всего Роза, улыбалась, сохраняя полную невозмутимость и спокойствие. Просто глазам не верилось...

И снова Абарка, достойный всяческого осуждения главный инспектор администрации, поддался первому необузданному порыву: весь красный от гнева, он занес кулак, грохнул по столу и сдавленным голосом произнес: «Ах, ты такая!..» Он швырнул это оскорбление, как булыжник, в прекрасное лицо нимфы. Онемев, мы ждали реакции... Все только что происшедшее скорее напоминало жуткую галлюцинацию, но то, что случилось дальше... Не дрогнув и не смутившись грязными словами этого мерзавца, дама подняла правую руку и мягко, медленно, грациозно пошевелила средним пальцем, в то время как ее левая рука, униженная драгоценными камнями, покоилась на столе. Такого никто не ожидал. Этот непристойный жест, в откровенности которого присутствовала определенная доля изыщества, в одну минуту разрушил представление, сложившееся у нас за год о благородной, хотя несколько легкомысленной, супруге господина Роберта.

И все же, более хладнокровно обсуждая впоследствии случившееся, мы не могли не признать восхитительной меткости ответа. Разве могла Роза после слов пьяного нахала дать более краткое и более убедительное подтверждение тому, что минутой раньше сообщил *in voce*¹ управляющий перевозками о ее истинном занятии? А тот — какая удивительная ловкость! — сумел избежать худшего; всеобщее возмущение разрядилось холостым выстрелом, Роберт закончил ужин, лично попрощавшись с каждым, начиная от губернатора и кончая самыми низшими чинами, не исключая даже Руиса Абарки («Ну же, Роза, господин главный инспектор хочет поцеловать тебе руку, сейчас не пристало сердиться»), и оставил нас в полной растерянности; сбившись в кучки и стараясь перекричать друг друга, мы принялись обсуждать сенсацию, в то время как парочка отправилась на борт корабля.

33

Да, откровение Роберта обрушилось на нас как удар, способный уложить даже быка. Его потрясающая речь оглушила

¹ Во всеуслышание (лат.).

всех. В душе многих начинала зреть досада на жестокую шутку, как зреет прыщ на теле; еще бы, ведь десерт, который пришлось проглотить за ужином, костью застрял у нас в горле. Когда на следующее утро миновало первое оцепенение и рассеялись винные пары, отупляющие мозг, виденное и слышанное показалось людям просто невероятным; мы ходили подавленные и жалкие, как побитые собаки. К вечеру намеки и недомолвки сменились открытым обсуждением случившегося; и уж тогда каких только удивительных вещей мы не наслушались! Но, как это ни странно (я весьма опасался грубых эксцессов), ярость в адрес Розы, ту самую необузданную ярость, которой накануне дал волю Руис Абарка, испытывали отнюдь не все. Казалось, на голову этой женщины падут самые страшные проклятия и оскорбления, но ничего подобного не произошло. Женское вероломство, со вздохом признанное нами, не вызывало такого чувства протеста, как злая шутка Роберта. А ведь негодай, думали мы, сейчас издевается и смеется над нами, причем смеется последним. Долгие месяцы все полагали, что обманывают его, и вот сами оказались обманутыми; многие просто выходили из себя, задыхались от гнева при одной лишь мысли об этом. Да, действительно, поведение господина управляющего перевозками и грузами нелегко было переварить; чего стоило только воспоминание о том, с какой возмутительной легкостью — а вернее, с каким холодным цинизмом — раскрыл он свои карты, оказавшись подлым сводником, грязным сутенером. Одно это воспоминание будило гнев и запоздалое возмущение, причем возмущало не столько само открытие, сколько жестокая насмешка. Ах, господин управляющий перевозками! Неплохо вы с нами управились! Нашлись, однако, и такие (и число их росло), которые уверяли, будто давно заподозрили неладное, имели некое тайное предчувствие и (ну конечно же!) предвидели, чем закончится дело, хотя благоразумия ради хранили свои догадки про себя. Другие глупцы весьма кстати изошрялись, строя планы ответного удара. Раздались даже упреки в адрес губернатора, чья недостаточная бдительность позволила этим двум мошенникам (грязным мошенникам) спокойно скрыться, не получив по заслугам; можно было бы по крайней мере постараться, чтобы кусок, который они отхватили, встал им поперек глотки.

Тем не менее следует отметить, что люди, настроенные трезво, выслушивали возмущенные излияния сдержанно, если не с иронией, и что мы почувствовали облегчение, когда в половине шестого Тонио завершил свою ежевечернюю передачу словами: «На этом ваш покорный слуга Тоньито Асусена прощается с вами», ни словом не обмолвившись о сенсации, занимавшей все

умы и дававшей пищу для разговоров. А вот то, как освещала происшествие газета «Эхо колонии», напротив, вызвало беспокойство. «Согласно сообщением,— писала газета,— вчера на террасе Кантри-клуба в изысканной обстановке состоялся прощальный ужин по поводу отъезда управляющего перевозками и грузами и его достойной супруги сеньоры Розы Г. Роберт. Пока мы вынуждены умалчивать о событиях, коими было отмечено это замечательное торжество. Однако в следующем номере читатель самым тщательным образом сможет ознакомиться с некоторыми весьма пикантными фактами и подробностями». Вот, собственно, и все. Но не хватало только—думал я, просматривая злосчастную газетенку, пока на столе стыл утренний кофе,—не хватало только после вчерашнего холодного душа затевать никому не нужный скандал! Мне-то, собственно, все равно. Не все равно только губернатору, да начальнику колониальной полиции, да еще правительственному секретарю, да и, наконец, самому Руису Абарке, нашему достопочтенному главному инспектору. Ну а кроме высшего начальства, не все равно тем чиновникам помельче, которые привезли с собой семьи. Меня же в глубине души это нимало не волновало. Но, разумеется, я не мог сохранять полного безразличия, конечно же, не мог, хоть и чувствовал себя всего лишь зрителем, едва причастным к событиям. Помню, что в ту ночь, когда в котелке моем еще клубились винные пары, мне приснился сон, нелепый, как и прочие сны, но отражавший ощущения, испытанные во время банкета. Мне привиделось, что сижу я за столом, а Роза восседает на отведенном ей месте, то есть рядом с губернатором. Ужин идет своим чередом; меня печалит мысль о скором отъезде нашей подруги; вдруг Абарка, главный инспектор, во сне сидящий совсем рядом, хотя наяву мы были довольно далеко друг от друга, наклоняется и так по-свойски шепчет мне на ухо: «Посмотрите, дружище, как поблекла Роза. Думала уехать такой же свеженькой, как приехала, но тропики есть тропики...» Я поднял глаза и с изумлением увидел, что лицо ее покрыто морщинами, заметными даже под слоем пудры, под намазанными глазами—мешки, в углах рта—глубокие складки, плечи ссутулились; короче говоря, развалина. Я ограничился тем, что прошептал в волосатое ухо Руиса Абарки: «Что поделаешь, тропики, здесь всем приходится туго...» Такой сон легко истолковать, размышляя я, допивая утренний кофе. Увядавшее лицо предмета всеобщих вожделений символизирует, как нетрудно догадаться, падение репутации Розы в наших глазах. И потом, это ведь общеизвестно в колонии, уж можете мне поверить—тропики выматывают и мужчин и женщин, вытягивают из них силы, ломают и перемалывают...

Гораздо больше расположенный послушать, что говорят о вчерашнем скандале, чем работать, я допил кофе и пошел на службу. Моя контора находилась в нижнем этаже Правительственного дворца, напротив Пласа-Майор, туда-то я и направился. Солнце поднялось уже довольно высоко, но утро стояло чудесное, ясное, без той утомительной яркости, которая делает невыносимым полдень. Шагая вдоль берега неухоженного ручейка, пробираясь сквозь стайки голых ребятишек, копошащихся в пыли возле лачуг, огибая кучи мусора, облепленные мухами, я, как и каждый день, подвигался к Имперскому проспекту и Пласа-Майор (лучше уж пойти короткой, хоть и менее приятной, дорогой, чем делать крюк и обливаться потом); я уже миновал дом Мартина, поздоровался с хозяином, получил в ответ обычное приветствие в виде невнятного мычания и едва заметного взмаха руки из гамака, как вдруг мне пришло в голову — замечательная мысль! — выяснить, не просочились ли вести о вчерашнем происшествии за пределы так называемых официальных кругов колонии, а если просочились, то в каком виде. Мартин и принадлежал, и не принадлежал к официальным кругам; он пребывал в своего рода лимбе. Вне всякого сомнения, старик был одним из первых европейцев в колонии. Каждый из нас, приезжая, уже заставлял его лежащим в гамаке... Он давным-давно жил в хибарке из зеленых досок. Компания платила Мартину деньги, хотя и очень небольшие, так как в бюджете он фигурировал как помощник координатора. Прежде эта должность имела какой-то смысл, но теперь, когда пост координатора был ликвидирован, старику не оставалось ничего другого, как лежать в гамаке, похожем на огромную паутину, подвешенную к двум столбам, которые подпирали цинковую крышу. Итак, я остановился, вежливо отступил на шаг и, положив руку на источенные жучком перила, осведомился, не знает ли он чего-нибудь про вчерашний скандал. «Вчерашний скандал?» — переспросил Мартин бесстрастно, не выпуская трубки изо рта. Я пояснил: «Ну да, вчерашний скандал на ужине в честь управляющего перевозками». Старик затаился и медленно произнес: «Что-то об этом говорили там внутри, но я не разобрал». «Там внутри» означало: в зловонном полумраке дома, где кишмя кишело многочисленное семейство — вечно занятая по хозяйству старуха с отвисшей грудью и огромными ножищами, светлые пятки которых сверкали при ходьбе, а также мальчишки и девчонки всех возрастов. На их черных лицах сияли голубые глаза Мартина, а вокруг лица мелким бесом вились рыжеватые волосы, поседевшие у старика и вновь расцветшие на круглых вертявых головенках его детей... Ничего себе — не разобрал! И о чем только думает этот блажен-

ный! Дремлет себе в гамаке, с трубкой в зубах и только краем уха слышит, что болтают на своем языке родственнички и дружки; может, какой-нибудь слуга из клуба уже поведал им все, опершись на перила, пока старуха стирала белье под пышной банановой пальмой. Он действительно толком не разобрал, да и теперь не задавал вопросов, что заставило меня воздержаться от дальнейшей беседы. Станный тип! Не отпускает меня и молчит. Сейчас повернусь к нему спиной и пойду своей дорогой. Но вместо этого я продолжал выпытывать: «А что скажете про нашего уважаемого управляющего перевозками, хорош оказался, а?» И тут Мартин возьми да и скажи: «Бедный человек!» Какой нелепый ответ! Я посмотрел на него и—что еще оставалось делать?—«Ну ладно, Мартин, всего хорошего»—отправился дальше. Чудной старик!

Однако добраться до конторы мне было не суждено, поскольку, проходя мимо кабачка Марио, я увидел, что там, перед батареей бутылок и консервных банок, собралась большая часть моих коллег. Соседство кабачка всегда являлось сильным искушением для служащих Правительственного дворца, а уж сегодня там заседала настоящая ассамблея. Я тоже вошел, чтобы узнать, о чем речь; конторские дела могут и подождать—в конце концов, нет ничего срочного. Когда я присоединился к товарищам, речь держал этот несчастный шут Бруно Сальвадор. Кривляясь, он комментировал—ну конечно же!—выступление Роберта, и все его личико, от морщинистой лысины до острого дрожащего подбородка, ходило ходуном. Глупец пытался уверить нас, будто все знал наперед, будто он, Бруно Сальвадор, давно раскусил управляющего перевозками, «ведь здесь, если хочешь жить, надо уметь молчать, но, черт подери, если у тебя есть глаза и ты смотришь и наблюдаешь, если ты не наивный младенец...» «Значит, ты обо всем догадывался, так?»—насмешливо прищурив воловьи глаза, перебил его Смит Матиас, который, как служащий бухгалтерии, находился в курсе выплат, авансов и займов и помнил наперечет все кредиты, выданные жалкому болтуну. Но Бруно не смутился. «Одно могу сказать,—ответил он,—для меня все это не было громом среди ясного неба, как для остальных. Уж мне ли не знать Роберта!» Крохотные глазки-щелочки старика глядели из-под набрякших век; поколебавшись для вида, Бруно решил поведать нам, как однажды, находясь наедине с достопочтенным доном Рогоносцем, намекнул тому, что его так просто не проведешь, «ведь, господа,—заклучил он с полной серьезностью,—порой людям достаточно одного взгляда, чтобы понять друг друга». Мы сделали вид, будто поверили вранью и приняли бахвальство за чистую монету; Смит Матиас

помолчал, потом покачал головой и язвительно усмехнулся: «То-то мне казалось, что управляющий перевозками больно уважительно с тобой обходится. Теперь понятно: он тебя боялся... Но в таком случае,—продолжал Смит после задумчивой паузы, и в его воловьих глазах отразилось напускное отчаяние,— в таком случае ты, Бруно, прости, пожалуйста, но ты—укрыватель... Нет, Бруно Сальвадор, ты плохо с нами поступил: дал нас надуть и даже не предупредил...»

«А знаете...—вмешался я, отчасти чтобы спасти бедного шута, так как подобные комедии действуют на меня угнетающе,—попробуйте угадать, что сказал наш выдающийся коллега Мартин по поводу проходимца Роберта?» И поведал им, как этот престранный субъект, заросший бородой, словно нищий, с трубкой в зубах, воскликнул «бедный человек!» и не произнес ни слова больше. «Бедный?—захохотал кто-то.—Вот именно, бедный!» И снова всколыхнулась волна гнева при мысли, что подлый обманщик не побрезговал ограбить своих товарищей, обогатиться за их счет, как будто ему было мало заработанных денег. «Так он сказал, «бедный человек»? Этот Мартин совсем свихнулся». «Он блаженный,—добавил я,—и витает в облаках. Но что самое удивительное—это быстрота, с которой распространяются слухи. Валяется в своем гамаке, по уши в грязи среди черного сброда, а знает гораздо больше, чем могло бы показаться. Я уверен, что аборигенам известно о нас очень многое; не такие они идиоты, какими кажутся. А мы под взглядами сотен черных глаз знай себе разыгрываем занимательный спектакль. Скорее всего, негры все понимали с самого начала и корчились от смеха, наблюдая, как Роберт преспокойно обводит нас вокруг пальца». «Бруно Сальвадор вот тоже догадался,—насмешливо уточнил Смит Матиас.—Бедный человек! Забавно. Он как раз сейчас развлекается с красоткой на наши денежки. Разбойник! Бедный человек!»—повторял Матиас, поджав губы и закатив глаза.

На подобную чепуху у нас ушло все утро, к великой радости Марио, трактирщика, которому наше общество сулило добрую репутацию, хорошую выручку и развлечение; он слушал, подносил стаканы и не упускал возможности вставить замечание всякий раз, когда ему заблагорассудится. Многие остались обедать; некоторые ушли домой. Я же предпочел есть в клубе, ведь я состоял его членом, а потому не подобало оставаться в трактире. Конечно, взносы были мне не очень-то по карману: на моей должности доход не особенно велик. Но в конце концов членство давало немалые преимущества, и игра стоила свеч. Когда я явился, в клубе как раз находились главные персонажи фарса.

Невыносимый Руис Абарка давно уже завладел аудиторией и разглагольствовал, во всем блеске демонстрируя свою грубость и невежество. Он смешивал с грязью имя очаровательной особы — или, как ее называли некоторые (не могу без неприязни думать, что именно я, несчастный литератор, придумал это прозвище), ветреной нимфы. Кстати замечу: мы всегда, с самого начала, не знали, как же именовать Розу; первое время, когда она только что приехала, о ней говорили как о госпоже Г. Роберт или как о жене управляющего, в зависимости от обстановки («Вы уже знакомы с госпожой Г. Роберт?» или «Ну, как тебе жена управляющего?»). Но как было называть ее потом? Сложный вопрос, особенно если принять во внимание, как менялось отношение к ней с того самого момента, когда пополз слух — многие не желали ему верить, — будто Роза завела роман с губернатором; особенно если подумать о ее сомнительной добропорядочности, так легко меняющейся в зависимости от момента, обстоятельств, человека. Слово «донья» — донья Роза — звучало вполне достойно и одновременно заключало в себе некоторую недомолвку, а потому было признано подходящим. Но даже и оно оказалось негодным теперь, когда на закуску нам подали неожиданный сюрприз, и любая ирония могла обернуться против нас самих, обманутых обманщиков, теперь, когда — о неисповедимая человеческая натура! — мы почувствовали себя одинокими и покинутыми без Розы, чье отсутствие казалось нам тяжелее пережитого позора. С этих пор сложилось обыкновение туманно именовать ее личным местоимением «она», которое своей сдержанностью возвращало Розе важную роль в нашей скудной бесцветной жизни.

Между тем яростные выпады безумца, чей высокий пост не налагал печати на уста, а, наоборот, делал речь все более развязной и недостойной, тяжелым градом сыпались на голову хрупкой женщины, которая, находясь теперь далеко от нас, не могла прервать их, повторив свой блистательный жест. Так что Абарка имел возможность сколько угодно отводить душу — и делал это с такой неудержимой злобой, что стыдно было слушать. Можно подумать, только у него одного есть причины негодовать и жаловаться. На самом деле все мы стали жертвой обмана, над всеми нами жестоко посмеялись.

В атмосфере полной растерянности протекала наша беседа, состоявшая из более или менее нелепых высказываний и прерываемая изредка взрывами хохота. Наконец по радио, из которого до сих пор неслись песенки вперемежку с рекламными объявлениями, раздался ни с чем не сравнимый голос Тонио Асусены и

сообщил о начале ежедневного выпуска новостей. Кто-то повернул выключатель на полную громкость, и затянувшийся разговор пришлось прекратить; мы все сгрудились у приемника, чтобы послушать сообщение. Но Тонио—как я уже говорил—ни словом не упомянул в передаче о случившемся: ни единого намека, ни звука. Снова заиграла какая-то неопределенная музыка, прерываемая объявлениями, и все принялись с жаром обсуждать причины такого молчания. Мы прекрасно знали, что молодой блистательный диктор все важные шаги предпринимал только под непосредственной опекой божественного провидения, то есть следуя явным или тайным распоряжениям губернатора, имевшего в лице Тонио верного и любимого пса. Некоторые сплетники с известной натяжкой утверждали даже, будто диктор—родной сын губернатора. Так или иначе, никто не сомневался, что безмолвие Тоньито—результат высших секретных указаний всемогущего. Вопрос заключался в следующем: чем могло быть вызвано подобное решение? Как это всегда бывает, посыпались самые противоречивые предположения, в том числе весьма здравые и логичные (случившееся хотят поскорее предать забвению и не допустить скандала, ибо пальма первенства в печальном приключении принадлежит губернатору), были выдвинуты также и довольно нелепые гипотезы: старый сатрап, дескать, влюбился в очаровательную особу; или еще чище: его превосходительство сам был сообщником жуликов, потому что как иначе объяснить... и так далее, и так далее.

Конечно, едва Асусена, всегда такой предупредительный и учтивый, вышел из своей небесно-голубой машины, благоразумие заставило нас замолчать—многие презирали Тонио как наушника,—и воцарилась тишина, пока я самым безразличным тоном его не спросил: «Ну, что новенького?» Но этот хитрец, угадывая нетерпение присутствующих, позволил себе немного покуражиться. Он произнес несколько многозначительных, как ему самому показалось, фраз, сообщил о своем полном неведении, чтобы заставить нас поверить, будто ему что-то известно, и в результате создалось впечатление—у меня по крайней мере,—что бедняга точно так же *in albis*¹, как и все остальные. Конечно, ему приказали прикусить язык, заткнуться, поскольку опасались, что рассказ о вчерашнем происшествии красной нитью будет проходить через вечерний выпуск новостей.

¹ В полном неведении (лат.).

И снова потянулись однообразные дни. Прошло два дня, три — никаких событий. Хотя чего, собственно, можно было ждать? Все находились в тревоге и растерянности, как люди, которых внезапно разбудили. Слишком уж мы увлеклись спектаклем, и даром это пройти не могло. Теперь все кончилось; минутное замешательство — и кончилось. Птички упорхнули. Где-то они сейчас? Что намерены делать? Сойдут в Лиссабоне или поплывут дальше, до Саутгемптона? Но догадки и предположения на пустом месте ломаного гроша не стоят, и мы вскоре отказались от них; вернее, вынуждены были отказаться и с головой уйти в воспоминания, кои принялись пережевывать вновь и вновь, до тошноты, до отвращения.

Как же иногда трудно различить истинную суть вещей! Кажется, наконец-то правда в твоих руках, но нет, вот она, дразнит тебя издалека. Даже я, который — к счастью или к несчастью — осведомлен лучше других и могу судить обо всем с большей беспристрастностью, чем остальные, — даже я иногда бьюсь в паутине неопределенности. Кажется, будто мозг плавится в тропической жаре. Мысленным взором окидывая то, что мне лично пришлось увидеть и пережить, я — хоть ни разу и не терял голову, чем далеко не все могут похвастаться, — продолжаю терзаться сомнениями. А уж об услышанном из чужих уст и говорить нечего... Да, собственно, чего стоит лично увиденное и пережитое? Увы! Оно не прибавит мне ни радости, ни славы; ну и бог с ним! Будь что будет, я поведаю вам все, приведу неопровержимые факты, которые, возможно, прольют свет на тайны столь хорошо всем нам знакомой спальни.

Дело в том, что и до меня дошла очередь произнести в спектакле свой скромный монолог. Да, пришел мой черед, мой выход. Смешно, и просто не верится. Но Роза с протокольной аккуратностью начала с первой величины в колонии, и вскоре сей почтенный муж уступил позиции не столь церемонному, а потому и менее сдержанному шефу полиции; вслед за ним последовал правительственный секретарь — и так далее, вниз по служебной лестнице, с такой скрупулезной точностью, что вскоре мы научились вычислять следующего кандидата в фавориты и показывали на него пальцем. Она действовала с потрясающей последовательностью и тактом, словно руководствуясь указаниями заведующего персоналом. Нетерпеливых искусно ставила на место, охлаждая их пыл, а робких и неуверенных вовремя подбадривала, вдохновляя на решительный шаг. Смешно было

думать, что когда-нибудь выпадет жребий, например, Тоньито Асусене, чье положение в обществе представлялось более чем странным, если учитывать его доходы и влияние в высших сферах, далеко не соизмеримые со скромной должностью. Не стану сейчас заново перебирать все совершенные нами глупости и безрассудства. Важно, что наконец пробил мой час, и пришлось повиноваться. Меня шутливо хлопали по плечу, подбадривали, поздравляли. Но ни в каких особых поощрениях я не нуждался. Сам прекрасно знаю, когда и что следует делать, и не собираюсь отступать, выставляя себя всем на посмеище. То, что я, как и многие холостяки колонии, пару раз обходился дешевыми услугами какой-нибудь туземной женщины из тех, что промышляют в округе, в счет не шло; а кроме того, держал на заметке двух-трех негритяночек, с которыми в один прекрасный денек, когда этот чертов климат позволит... Но теперь речь шла не об этих апатичных созданиях, глядящих на тебя с сонным безразличием козы, а о настоящей женщине, да еще такой знатной особе, с благоуханным телом и сверкающим взглядом. Словом, я дожидаясь своей очереди с радостью и нетерпением; да и чего ради, скажите, отказываться от такой прекрасной возможности?

Само собой разумеется, я был преисполнен решимости, хотя, к чему скрывать, несколько нервничал, когда разрабатывал план военных действий, но тут Роза сама опередила меня, сделав ненужными все формальности, и необычайно приветливо поздоровалась со мной на вечере в пользу туземных детей, страдающих туберкулезом. Мы мило поболтали; она посетовала на скуку — единственный удел в этой ужасной колонии, на недружелюбие окружающих («нелюдимы — вот вы все кто») и в конце концов пригласила меня провести «любой вечер, хотя бы и завтрашний», у нее дома, чтобы выпить чаю и развлечься беседой. «Так, значит, я жду, завтра в пять», — добавила она, и мы расстались. Ну что ж, дело сделано; Смит Матиас, посмеиваясь, уставился на меня издали своими близорукими глазами; Бруно Сальвадор нахально похлопал по плечу, поздравляя. Дело было сделано, и, не стану отрицать, в желудке я ощутил странную пустоту, а во всем теле — жар нетерпения. В ту ночь мне не спалось, но наутро я поднялся с твердым намерением не давать волю нервам; в таких испытаниях нет ничего хуже, чем нервы; разволнуешься — и пропад.

Весь день я старательно гнал от себя всяческие тревожные мысли, и, когда ровно в пять постучал наконец в ее дверь, она встретила меня с самым искренним радушием; ей-то все казалось просто. Я поздоровался, и она сжала в ладонях обе мои руки, показывая тем самым, что очень меня ждала; на нее, видите ли,

напало сегодня, «не сплин, нет, я, бедняжка, слишком вульгарна для сплина», глубокое уныние, и сил больше нет переносить одиночество, прямо хоть плачь. Но она не заплакала, а продолжала болтать весьма мило и оживленно, украдкой на меня посматривая. Вот это мне знакомо; признание своей вульгарности, разумеется, являлось чистым кокетством, так как само слово «сплин» свидетельствовало об утонченности и изяществе. Готовя ответ, я мысленно прикидывал, как буду расстегивать длиннейший ряд пуговиц на ее почти ученическом платье, закрытом до самого подбородка, которое она решила надеть ради моего прихода. От ее близости, аромата духов, от ее взгляда у меня пересохло в горле, слегка задрожали руки и охватила та легкая вялость, которая, очевидно, и становится причиной всех моих неудач. Вероятно, она умела читать мысли, потому что вдруг поднесла руку к горлу, и ее тонкие пальцы принялись взволнованно теревать пуговицу. Возможно, бедняжку смутил мой слишком настойчивый взгляд. Теперь я не знал, куда девать глаза, вдруг совершенно пал духом и уже готов был любым способом положить конец приключению. Но она, заметив мое смятение (теперь я ясно понимаю ее тактику), поторопила события и спешно перешла к доверительным признаниям, пожаловавшись для начала, что муж совсем ее забросил, и задала вопрос: «Разве я этого заслуживаю?», подразумевавший, конечно же, отрицательный ответ. И тем не менее ее жизнь так печальна! Этот мужчина, ненасытный эгоист, мало того что держит бедную жену в забвении и невнимании, обрекает ее на одинокое существование в этой кошмарной дыре, в самом сердце сельвы, но еще и мучает ее ужасающей скаредностью (как нелегко пойти на подобное признание!). Да, он ограничивает ее даже в тех мелочах, которые необходимы каждой женщине из простого тщеславия, каприза, если хотите, и которые стали бы весьма скромным вознаграждением за ее страдания.

Так, слово за словом, она взвалила на мои плечи такой тяжкий груз супружеских обид, что скоро я уже не знал, как с ними быть; оставалось только разыгрывать сострадание и делать сочувственное лицо. В приступе отчаяния она положила прекрасную руку на мое колено, одновременно продолжая засыпать меня вопросами (риторическими, конечно, ибо что я мог ей ответить?) относительно своей незаслуженно печальной участи. В конце концов я счел необходимым нежно сжать эту самую руку в своих ладонях, как испуганную птишку, в глубине души вполне искренне признавая обоснованность ее жалоб.

Будем немногословны и скажем честно: ее тактика победила по всей линии фронта. Мы торжественно заключили договор о

дружбе, который, однако, должен был войти в силу только на следующий день, в тот же самый час, когда я мог вступить в свои права, принеся ей бóльшую часть моих сбережений, как я и поступил. Тем не менее деньги эти были потрачены впустую. Но вина здесь моя: зачем снова и снова, несмотря на печальные уроки прошлого, пытаться совершить невозможное? А ведь как я был бы счастлив хоть один раз доказать самому себе, что все это не так уж непоправимо и безнадежно; почти уверен, что причина кроется в каком-то нервном расстройстве, объяснить которое вовсе не трудно! Но не будем больше об этом! Ничего тут не поделаешь. Я потратил деньги впустую, вот и все. Однако могу сказать даже теперь, когда бедную женщину столько поносят, что она вела себя со мной очень тактично как в первый, так и во второй вечер, хотя и наши чрезмерные предосторожности, и щедрое подношение, переданное ей в скромном замшевом бумажнике, привели лишь к тому, что я оказался в нелепейшем положении и обнаружил полную тщетность своих любовных притязаний. Ни одного упрека, ни одной насмешки, даже ни одного косого взгляда, которых я ожидал в наказание за оплошность. Напротив, она приняла мои извинения сочувственно и отнеслась ко мне так доброжелательно, можно даже сказать — ласково, что я, растроганный, взволнованный, почти в бреду, схватил ее руку, рассеянно гладившую меня по голове, и поцеловал пальцы, влажные от пота, выступившего у меня на лбу. Более того, когда я заметил испуганное удивление в ее взгляде при виде слез у меня на глазах, я открыл ей душу и объяснил причину столь горячей благодарности; вы, сказал я, гладите лоб, который другая, из пустого тщеславия светской дамы, украсила парой великолепных рогов, предварительно поиздевавшись и помучив меня за мое несчастье — нервную слабость или бог его знает что такое; так я и сказал: «парой великолепных рогов» — и только потом понял, что ведь она тоже, по крайней мере так мы тогда полагали, обманывает своего мужа. Но я совершенно не думал, что говорю, и в конце концов поведал ей все свои печали, все чудовищные перипетии супружеской жизни и облегчил душу. Никогда раньше я никому не доверялся и сомневаюсь, что еще раз смогу это сделать. То была первая настоящая, исчерпывающая исповедь со времен сватовства и свадьбы (до сих пор я не могу спокойно вспоминать шуточек соседей по поводу «осечки» — подумайте, какая издевка: «осечки»!) и до того момента, когда я, осмеянный и затравленный, отправился в добровольную ссылку, согласившись на должность, которую, для пущего уничтожения, выхлопотал этот проклятый хлыщ, мой тесть. Роза, добрейшая женщина, выслушала

меня внимательно, с состраданием, как могла успокоила и — такая потрясающая деликатность — в свою очередь поделилась со мной собственными семейными неурядицами — как я сейчас понимаю, от начала до конца придуманными, чтобы развлечь и утешить меня. И все-таки не тайлась ли в ее жалобах доля правды, пусть искаженной? Потому что в те минуты, когда мы ничего больше друг от друга не ждали, когда все уловки остались позади, нас объединяли дружеские, хоть и невеселые, чувства и беседа была, или казалась, действительно искренней. Роза предстала передо мной безоружной, доверчивой и немного подавленной, печальной. Мы распрощались самым сердечным образом и с тех пор с удовольствием обменивались коротким приветствием или двумя-тремя словами.

Послушайте теперь в сокращенном варианте, что Роза рассказала мне тогда, поскольку это гораздо более важно для нашей истории, чем мои собственные злоключения. Короче говоря — все сентиментальные уловки и отступления я опускаю, — она описала своего мужа, то есть Роберта, как хладнокровного субъекта, для которого на свете существуют только деньги. Он молчалив, скрытен, неприступен, как скала, и жить с ним чувствительной женщине очень нелегко. Могу ли я себе представить, что этот нелюди́м ни разу, ни разу не сказал ей ни одного ласкового слова, а ведь подобные слова так мало стоят и так иногда необходимы. Супруги садились за стол и чинно обедали; бесполезно даже пытаться растопить ледяное молчание, изменить неприветливый, сухой тон ответов; непонятно, отчего бы ему быть в дурном настроении, ведь дела идут лучше некуда. А вдобавок ко всему — хотя это уже другой разговор, — вдобавок ко всему ее наглым образом осаждает главный инспектор Руис Абарка, несносный тип... Словно старому другу и советчику, поведала мне Роза свои несчастья. Не знаю, правда это или нет (у женщин всегда имеются в запасе слезы для подкрепления своих доводов), но Роза сообщила, что Абарка, к которому она некогда была благосклонна, в чем теперь почти раскаивается, непременно хочет заставить ее бросить Роберта и бежать с ним куда глаза глядят, неважно куда, и быть там счастливыми. «Не понимаю, — говорила Роза, — очевидно, им овладела безумная страсть, или каприз, или уж не знаю что такое». Этот ужасный человек необуздан, и стоит ей сказать одно слово — он бросится в самые немыслимые авантюры, увлекая ее за собой. Вот что рассказала мне Роза, слегка польщенная, слегка испуганная. Если бы она слышала, что этот страстный воздыхатель и поклонник сейчас честит ее на чем свет стоит, что он исчерпал свой запас самых скверных ругательств, чтобы смешать с грязью ее имя... Но

женщинам так нравится верить каждому, кто обещает бросить к их ногам весь мир; она поверила Абарке. «Пойти за ним — не значит ли это разделить его безумие?» — робко спрашивала Роза себя, а может быть, и меня... И готов поклясться, не лгала. Уже накануне, во время первого визита, она, тогда еще с некоторым жеманством, демонстрировала доказательство щедрого благорасположения главного инспектора, доказательство в виде крупного бриллианта, одиноко сияющего в золотом перстне. «Подобная неосмотрительность меня компрометирует», — сообщила Роза. Хорошо еще, что «этот» — то есть Роберт — так мало внимания обращает на ее вещи и почти наверняка не заметит новой драгоценности. «Я знаю, что поступаю дурно, — призналась она, — принимая подарки, но ведь я женщина, и подобные знаки внимания мне необходимы; тем хуже для мужа, если он меня забросил». Разумеется, я сделал из сказанного должные выводы и поступил согласно им; но, когда на следующий день Роза снова заговорила о неразумных ухаживаниях Абарки, вопрос о моей лепте уже был решен, надобность в предостережениях отпала, и, выслушав от меня жалкие признания, она принялась вслух размышлять о том, что за люди эти мужчины, сколько конфликтов они создают и как иногда трудно бывает решиться... «Сначала они рассуждают очень здраво, с чувством превосходства, и все кажется так просто; но скоро становится ясно, кто они на самом деле: дети, незащитные создания, капризные, упрямые, раздражительные и непонятливые. И вся ответственность ложится на женщину. Но почему бы не оставить ее в покое? Что за необходимость, боже мой, так все усложнять?» С отсутствующим видом, откинувшись на спинку кресла, Роза рассуждала сама с собой, не глядя в мою сторону, не обращаясь ко мне. А я, сидя рядом, смотрел на ее профиль, смотрел, как устало опускается веко ее левого глаза, опущенного длинными ресницами. Если она поставила себе целью развлечь меня, то вполне достигла этого. Красота, достойное и человеческое поведение — за это я всегда буду ей благодарен, хоть и знаю, что причиной такого отношения послужило полное безразличие к моей скромной особе.

Итак, я истратил деньги — те, что отложил на покупку столь необходимого мне автомобиля (я один из немногих членов Кантри-клуба, у кого до сих пор нет машины), и истратил совершенно зря, но не раскаиваюсь. И потом, таким образом я купил право находиться среди приглашенных на прощальный банкет и остаться на нем в тени, а это уже немало.

По крайней мере мне кажется, что я — единственный человек

во всей колонии—могу думать о Розе без раздражения и вспомнить ее добрым словом.

IV

Только тот, кто сам знает или может себе представить, как пуста жизнь здесь, как изнуряюще действует тяжелая душная атмосфера на людей, которые и прибыли-то в Африку не в лучшем состоянии, сгибаясь под грузом пережитого, поймет, в какой глубокий маразм ввергло нас исчезновение человека, чье присутствие целый год придавало интерес нашему пресному существованию. На протяжении года интерес этот возрастал и достиг апогея на знаменитом банкете. Но миновал банкет, бомба взорвалась, и—ничего. На следующий день ровно ничего, тишина. Многие не могли такого вынести и пустились во все тяжкие. Что верно, то верно: несчастная парочка испарилась и лишила нас покоя, уверенности, равновесия и денег. Тогда многие, некогда осыпавшие Розу подарками, теперь принялись осыпать ее проклятиями, а также ломать себе голову, пытаясь определить местонахождение беглецов. Но пустые предположения мало что дают, а оскорбления, пусть даже самые обидные, быстро теряют силу, если падают в пустоту. Вот почему в один прекрасный день, когда тема совершенно приелась, Абарка весьма своеобразным образом прекратил пересуды, повторив тот самый памятный жест, который некогда получил в ответ на пьяную дерзость. «Хватит с нее!—воскликнул он, в гневе воздев правую руку.—Займемся чем-нибудь другим». Эти слова стали своего рода лозунгом. За исключением редких случайных упоминаний, никто больше не возвращался к случившемуся.

Но нет никакого сомнения: подобно больным, которые неожиданно забывают одну манию ради того, чтобы увлечься совершенно иной, но являющейся, однако, проявлением все той же болезни, мы нагромодили массу глупостей—это дали обильные всходы зерна смятения, посеянные в колонии.

Наш знаменитый Руис Абарка стал инициатором самого знаменитого из всех фарсов и представлений, разыгранных тогда. В самом деле Абарка весьма необычный тип; готов признать это, хотя с трудом его перевариваю. Подобные дикари страшно меня раздражают. У него вечная потребность развивать бурную деятельность, и выходки его изяществом не отличаются. На этот раз речь зашла о вещах совсем уж отвратительных. Здесь бытует поверье, происхождение которого мне неизвестно, будто для

некоторых празднеств, примерно совпадающих с нашим рождением, аборигены убивают и жарят обезьяну, а затем торжественно и с большим удовольствием ее поедают. Знатоки утверждают, что это якобы остатки антропофагии и что раньше, до основания колонии, несчастные негры пожирали человеческое мясо. Теперь им приходится довольствоваться чисто символическими трапезами, на которых, по правде сказать, никто из белых не бывал; однако разговор на эту тему непременно возникал каждый год в одни и те же числа, приводились косвенные улики, а также прямые доказательства в виде «обглоданных и обсосанных костей, похожих на детские, которые не спутаешь ни с кроличьими, ни с пороссячими». Кроме того, легенда утверждала: единственным белым, все видевшим и даже участвовавшим в отталкивающих действиях, был Мартин. Говорят, однажды ему поднесли кусок какого-то необычного жаркого, не сказав, что это такое; поскольку Мартину мясо понравилось, ему объяснили, какому животному оно принадлежит; он же, не переставая покачиваться в гамаке, задумчиво продолжал жевать и таким образом, неожиданно для себя, приобщился к ритуалу дикарей. Несчастному Мартину вечно приписывали экстравагантные поступки; такова уж его судьба... В этом году вышеуказанные рассказы снова выплыли на свет божий, а с ними поползли различные слухи, некоторые весьма драматичные: пропал якобы пятилетний ребенок, неосмотрительно взятый в Африку каким-то моряком, а некоторые забавные: первому-де губернатору колонии, много лет назад, местный царек, ничтоже сумняшеся, преподнес роскошный дар в виде жареной макаки, скрестившей на груди лапки и похожей на мумию младенца; были также высказаны довольно здравые мнения: не стоит впадать в пустые предрассудки, ведь едим же мы животных куда более неприятных, лягушек например, или устриц, или хотя бы свиней; поднялась оживленная дискуссия, повторяли сто раз слышанные остроты, смеялись тем же дурацким шуткам, что и всегда. Именно в одной из таких бесед и возник знаменитый спор между Абаркой и правительственным секретарем, сможет ли главный инспектор съесть жареную обезьяну.

Абарка, как всегда выпив лишнего, упрямо утверждал, что нет ничего отвратительного в обезьяньем мясе, если мы спокойно едим свиней и кур, питающихся отбросами; а есть и такие, которые обожают черепах, угрей, кальмаров и даже уверяют, что нет мяса нежнее, чем крысиное. Почему можно есть козлят и баранов и нельзя собак? Индейцы специально выкармливали собак, как мы — поросят... Когда же ему напомнили о близком родстве обезьяны с человеком, он, выпучив глаза в наигранной

ярости, возразил: «Так вот чего вы боитесь. Дело в том, что всем нам хотелось бы попробовать человеческого мяса, но мы не осмеливаемся. Поэтому-то столько шума и поднимают вокруг этих несчастных макак». «Так, значит, вы,—спросил правительственный секретарь,—в состоянии съесть макаку?» «А почему бы и нет, конечно, да».—«Быть не может!»—«А я говорю, может!»—«Хотел бы я на вас посмотреть».—«На что спорим?»

И конечно, вышло так, что Руис Абарка, несмотря на весьма нетрезвое состояние, сумел обвести правительственного секретаря вокруг пальца и заставил заключить пари на огромную сумму; то есть на такую огромную, что, поостыв немного, несчастный раскаялся (конечно, если Абарка проиграет, то немедленно раскошелится... А если выиграет?..) и пошел на попятную. Но было поздно. На следующий день секретарь попробовал отказаться: «Дружище Абарка, не думайте, что я принял всерьез наше вчерашнее пари; это шутка, я понимаю», но добился только того, что пари было лишний раз закреплено, а также установлен срок условия, к вящей радости достопочтенного жюри, чье участие помогло Абарке подзадорить противника и оказать на него решительное давление. Конечно, Абарка дикарь, но не глуп; а уж этот маневр удался ему просто мастерски. Тем не менее срок был установлен довольно большой, что давало возможность господину главному инспектору администрации подогреть и раздуть любопытство колонии в ожидании торжественной минуты, когда он, Руис Абарка, в кабачке у Марио на глазах у всех нас съест половину жареной обезьяны, согласно условиям пари; да, да, пол-обезьянки, кроме, конечно, головы. Не так уж это и много: местные макаки совсем маленькие и очень мохнатые; если такую ободрать, получится тушка чуть ли не меньше заячьей. По мере того как срок истекал, кабачок Марио сделался самым модным в колонии, а его хозяин, не терявший времени даром, чем-то вроде доверенного лица, которого непрестанно осаждают вопросами: «Ну, Марио, как идут приготовления? Ведь не подашь же ты господину инспектору какую-нибудь дряхлую, жилистую макаку?» Или: «Но послушай, на базаре обезьяны не продаются, где же ты достанешь мясо?» «Он полезет на дерево и поймает одну, правда, Марио?» «Кто знает, может, блюдо войдет в моду?» «А ведь тебе, как хорошему повару, положено первому пробовать...» А Марио чуть не лопался от важности, расплывался в гордой ухмылке, и маленькие хитрые глазки совсем пропадали за толстыми щеками.

Вскоре кабачок превратился в биржу, где заключались пари; дело дошло до того, что на специальной доске *ad hoc*¹ ежедневно

¹ Здесь: предназначенной для этого (лат.).

писалась текущая ставка. Пари являются (и всегда являлись) в колонии любимым видом спорта и одним из основных развлечений; и вот вокруг Абарки и его почтенного противника выросла целая сеть пари, густевшая с каждым днем; сформировались различные группировки, не обошлось без споров, ссор и даже пощечин. Пари превратилось в важный общественный вопрос, обширную дискуссию и, казалось, совершенно стерло из памяти случай с супругами Роберт. Стоит ли удивляться, что Марио, субъект куда как деловой, организовал в свою пользу контроль над ставками и стал банкиром в этом импровизированном игорном доме, отбившем клиентуру даже у Кантри-клуба. Откуда он взял наличные деньги, чтобы покрыть разницу в ставках, каким образом преуспел, никто не знает; были, были робкие предположения и даже серьезные опасения, в большой степени — этого нельзя отрицать — вызванные выступлением по радио Тоньито Асусены. В живописной и развлекательной манере, свойственной его «Дневному выпуску новостей», он комментировал напряженную обстановку, царящую в колонии, и склонял общественное мнение то в одну сторону, то в другую. Вне всякого сомнения, это был всего лишь бессовестный способ повлиять на ставки, и некоторые даже удивлялись, как только власти такое терпят. Другие же злонамеренно утверждали, будто правительственный секретарь убеждал губернатора раз и навсегда прикрыть все дело, запретить пари, которые сам же, честно и открыто заявлял губернатор, имел неосторожность допустить. Кроме того, говорили, да так, словно лично при сем присутствовали, что его превосходительство улыбнулся в бороду и произнес: «Посмотрим», не вынеся никакого окончательного решения.

Так шло время, и вот наконец настал долгожданный день. Слух о том, что Абарка струсил и сдался, сенсационный слух, потрясший болельщиков, не был обязан своим появлением передаче Тонио и не возник из пустоты. Скорее всего, проболталась служанка, и стало известно, что еще накануне наш герой почувствовал себя дурно, у него разболелся желудок и началась тошнота. После тщательных расспросов конторский курьер к полудню подтвердил, что действительно господин главный инспектор трижды удалялся в туалет и выходил оттуда осунувшимся и бледным; более того, он даже попросил чашку чая. Легко представить себе, какая невообразимая паника поднялась и как низко упали акции Абарки. Уже во второй половине дня задешево продавались билеты в пользу генерального инспектора, что обернулось ужасающей катастрофой, когда пари все-таки состоялось, катастрофой, разыгравшейся в присутствии Марио,

чье невозмутимое спокойствие несколько умерило страсти; толстые белые руки трактирщика так и мелькали над кассой, и ничто в нем не выдавало волнения, если только не считать легкой бледности, проступившей на пышущей здоровьем физиономии. Молчаливо и бесстрастно, с деловым видом готовился он к торжественному моменту ужина, хотя Абарка весь день не подавал признаков жизни.

Осталось полчаса до трапезы, слуги Марио, ошалевшие от беготни, сбивались с ног, подавая напитки любопытным, набившимся в кабачок, чтобы взглянуть на поставленный в углу большого зала стол, на белой скатерти которого красовался прибор и—был ли то намек хитреца трактирщика?—одинокая алая роза. Согласно уговору, за ужином могли присутствовать только свидетели спора, то есть жюри, состоящее из членов Кантри-клуба и представляющее все общество колонии, чрезвычайно заинтересованное в исходе пари. Люди, собравшиеся перед кабачком, вдруг замолкли, затем по площади прокатился легкий шепот: Абарка медленно и важно плыл в своем автомобиле, раздвигая густую толпу и не выказывая ни малейшего признака нездоровья или растерянности. Те, кто еще недавно мучительно сомневались в его победе, теперь при виде подобной самоуверенности вздохнули с облегчением и горько посетовали, что поддались панике.

Правительственный секретарь подкреплялся вином в ожидании противника, при взгляде на которого слегка изменился в лице, но встал, чтобы должным образом его приветствовать. Мы сгрудились вокруг. Абарка улыбался с видом человека, желающего продемонстрировать всем свою уверенность в себе. «Как дела, Марио? Как жаркое?»—громовым голосом осведомился он у трактирщика. Тот с готовностью отозвался из кухни: «Пальчики оближете!»

Нелепо и невероятно, но всех охватил настоящий азарт игроков, несмотря на экономические последствия, которые мог иметь для каждого из нас исход поединка. Абарка уселся за стол, отодвинул вазу, налил себе стаканчик виски и одним глотком осушил его. Было ясно видно, что он собирается выиграть пари; вымученная улыбка правительственного секретаря служила тому лишним доказательством.

«Принести закуски для аппетита?»—осведомился Марио, подходя к столику Абарки. Трактирщик принарядился: новая куртка сияла незапятнанной белизной. «Нет,—приказал главный инспектор.—Я очень голоден. Начнем с чего-нибудь поплотнее; неси жаркое». Воцарилось гробовое молчание, казалось, слышно будет, как муха пролетит. Марио откланялся и удалился, но

вскоре появился снова, ступая вразвалку и торжественно неся блюдо, которое сначала продемонстрировал всем присутствующим, а затем опустил на стол перед Абаркой. Среди моркови, румяных картофелин и лука на блюде покоилась жареная макака. «Посмотрите только, как она скалит зубы, улыбается,— произнес Абарка.— Привет, детка! Ты довольна? Сейчас увидишь, что папочка тобой не брезгует». И под выжидательными взглядами публики он взял нож и вилку с таким видом, будто собирался фехтовать ими. Но в тот же момент Марио поспешил отодвинуть блюдо. «Позвольте его разделить»,— заявил трактирщик тоном, не допускающим возражения, и унес жаркое на кухню, откуда вернулся с тарелкой, полной нарезанного кусками мяса и различных овощей.

Никто не решился возражать, хотя во многих взглядах читалось недовольство. Да и затем, в последующие дни, мы так и не решили, был совершен подлог или нет. Основным доводом, подтверждающим честность игры, являлся следующий: Абарка был хозяином положения и мог бы прикарманить немалые деньги, просто-напросто тайно поставив против себя же самого, затем в последний момент сдаться и проиграть пари, но заполучить крупную сумму с помощью ставки в пользу своего противника. В конце концов мы—увы, слишком поздно—осознали, что так или иначе этот хам надул нас и безнаказанно присвоил неплохие деньги, о количестве которых оставалось только гадать, несмотря на все подсчеты. Никто также не сомневался, что сообщником Абарки в этом грязном обмане выступал Тоньито Асусена, и, как всегда, не обошлось без намеков в адрес самого губернатора.

Хоть и не очень к месту, но мне бы хотелось рассказать, как странно и неожиданно кончился этот полный тревог день. Несмотря на запрет, толпа с площади ворвалась в кабачок, и какой-то хитрец—возможно, как средство *habeas corpus*¹, дабы суд лишний раз удостоверился в природе жаркого,—потребовал, чтобы другую половину тушки отнесли Мартину, который, как утверждалось, обожает это экстравагантное блюдо; предложение, выдвинутое плебсом, было поддержано жюри. Марио, минуту поколебавшись, удалился на кухню и вскоре вернулся с подносом, где красовались какие-то части туловища и голова разделанного животного. Местный шут Бруно Сальвадор пробился вперед, завладел подносом и возглавил шумное шествие к жилищу старого Мартина на самой границе владений черномазых. Но там

¹ Начальные слова английского закона XVII в. об обязательной явке задержанного перед трибуналом.

нас ждала большая неожиданность. Бедный Мартин лежал на кухонном полу, скрестив руки на груди, в ногах и в изголовье у него горели свечи, и выглядел он весьма торжественно. В тот день во время сиесты бедняга умер, и теперь тучи ребятишек висли на окнах, взирая на почтенного покойника. Уж не знаю, куда делись в суматохе остатки жаркого.



Равно как и некоторые другие нелепые поступки, случай с пари—я уже говорил об этом—мог показаться коллективным способом отвлечься, выпустить пары после того, как закончилась навсегда и без надежды на продолжение история с обманщиком Робертом и его спутницей, занимавшая мысли всей колонии. Однако вскоре выяснилось, что между этими событиями существует гораздо более прочная связь. Когда Абарка выхлопотал и получил разрешение на поездку в Европу и исчез, почти ни с кем не попрощавшись, все уже знали, что отправился он на поиски Розы, мнимой жены управляющего перевозками. И что именно для того, чтобы поехать ее искать, Абарка, предварительно продумав детали, затеял авантюру, призванную обеспечить его средствами для путешествия, и на самом деле принесшую огромный и столь необходимый доход. Абарка не мог жить без этой женщины. Конечно же, отъезд главного инспектора вновь вызвал к жизни тему, которую мы, несколько поторопившись, считали исчерпанной.

Вскоре после знаменитого пари, в кабачке, где мы освежались ананасовым соком, появился Смит Матиас и обрушил на наши головы весть о разрешении, полученном главным инспектором, который только что по дешевке сбыл свой автомобиль комиссару по общественному жилью, как будто денег, нажитых на человеческой глупости, оказалось недостаточно, да еще ходатайствовал в бухгалтерии о выплате ему шести месячных жалований вперед. Вот какие новости принес нам вестник. Никогда раньше, возмущался Смит Матиас, никому не выдавались такие огромные авансы, а тем более не стоит доверять типу, который собирается уезжать и, возможно, имеет тайное намерение исчезнуть навсегда. «Да нет, вернуться-то он вернется»,—подмигнул Бруно Сальвадор. «Слишком уж лакомый кусок ему здесь перепадает»,—согласился с ним кто-то. Я, чтобы что-то сказать, вставил: «Кто знает, кто знает!» «Нет, не вернется»,—уверенно заявил Смит (этот диалог я помню очень хорошо, так как из него я впервые

понял, что обстоятельства меняются и дело принимает иной оборот),— не вернется, если только...» «Только—что? Не томите, нас, дружище»,—с некоторым нетерпением попросил я, потому что, честно говоря, ему удалось здорово нас заинтриговать. Смит улыбнулся: ничего определенного он не знал. И тут же, после нескольких риторических фигур, впрочем совершенно излишних, заявил, будто Абарка намерен достать Розу хоть из-под земли и завладеть ею любой ценой, а для того, чтобы все это осуществить, ему пришлось бы самому печатать деньги. Очевидно, с тех пор как Роза исчезла, оставив беднягу с носом, он не мог выбросить ее из головы; раненое самолюбие, конечно, ведь Абарка не в состоянии был спокойно проглотить оскорбление, полученное во время банкета. И вот, чтобы отыграться, он решил приковать очаровательную особу золотыми цепями к своей триумфальной колеснице.

Пока Смит Матиас смаковал, толковал и обсуждал добытую им новость, Бруно Сальвадор строил хитренькую гримасу—улыбку человека, осведомленного гораздо больше, чем окружающие; и Смит, заметив ее, запальчиво осведомился: «Что, может, я ошибаюсь?»; тогда Бруно, не дожидаясь дальнейших расспросов, выдал собственную, потрясающую версию, которую—я уверен в этом, так как знаю его особый талант,—только что состряпал: «Верно то, что он едет искать потаскушку, но не для себя». Сказал—и замолчал. «Не для себя?»—повторил Смит Матиас все еще несколько агрессивно, хотя в голосе его уже слышалась растерянность. Все мы тут же поняли, на кого намекал Бруно; и, возможно, больше всего Матиаса раздосадовало то, что он сам не додумался до такой заманчивой гипотезы. «Так для кого же тогда, говори». Но Бруно не спешил с ответом. Сам того не подозревая, он владел искусством паузы, многоточия и прочей ораторской эквилибристикой. И тут этот урод, не знаю уж, каким образом, скроил рожу, как две капли воды похожую на нашего высшего начальника. Вот и весь ответ. Мы дружно расхохотались—даже Смит Матиас неохотно присоединился к общему хору,—глядя, как паяц застыл в торжественной позе и, растопырив пальцы, изобразил окладистую бороду его превосходительства. Бруно Сальвадор—прирожденный шут; и его предположение, конечно же, ошеломляло. Я воскликнул: «Какая глупость!», и Смит Матиас бросил на меня благодарный взгляд за то, что я не поверил его сопернику. А тот, воодушевленный собственной выдумкой, принялся защищать ее всеми способами, потрясая сначала своей осведомленностью: «Я это знаю наверняка; если бы я только мог говорить!..», а затем ссылаясь на влюбчивый нрав старого лицемера, который «только с виду такой важный, а на

самом деле настоящий бабник». «Да ведь он содомит, вот он кто»,—грянул за нашими спинами голос трактирщика; до сих пор Марио стоял, привалившись к стойке, и молча слушал беседу. А теперь вот взял да и высказался—и весьма некстати вмешался в разговор, буквально огорошив нас всех. И чего только не взбредет в эту глупую голову!

Вот как я узнал, что Абарка вылетает на поиски нашей нимфы. Эта новость потрясла меня до глубины души. И тут на память пришли странные, загадочные, похожие на пророчество слова, сказанные покойным Мартином незадолго до его неожиданной кончины; тогда я быстро забыл их (наступили волнующие дни знаменитого пари), но сейчас, когда столько всего произошло, они явились мне совсем в ином свете. Повторяю, в те дни все взгляды были устремлены на Абарку. Однажды ночью жара не давала мне сомкнуть глаз, и я вертелся в постели, не зная, что предпочесть: духоту mosquito-сетки или раздражающий звон мошкеры; в конце концов я решил спастись бегством, вышел на улицу и отправился в порт в надежде, что легкий морской ветерок успокоит мои измученные нервы. Машинально я пошел привычной дорогой и очутился (вот досада!) в зловонных улочках, среди грязных домишек, где вовсю храпели и сопели негры. Я ускорил шаги, чтобы скорее выбраться оттуда, и оказался на «границе», то есть около терраски Мартина, где, к немалому удивлению и неудовольствию, обнаружил самого хозяина с неизменной трубкой в зубах. В темноте прозвучало мое приветствие; пришлось объяснить, что жара гонит сон, и, оказывается, не только от меня... Вдруг по его лицу—или то была игра лунного света?—расползлась язвительная ухмылка. Бедный Мартин! Мы перемолвились парой слов, думая при этом каждый о своем. Кстати, что могло навести его на такие странные суждения относительно главного инспектора, что вызвало эти непонятные слова, которые только теперь, когда на устах, произнесших их, лежит печать вечного молчания, обрели смысл? Плохо то, что я уже не могу в точности их восстановить. Мартин словно намекал, будто Абарка околдован нашей очаровательной Розой. «Пока она далеко, люди спят, а мы тут болтаем, он,—изрек Мартин,—проливает в уединении горючие слезы.—А затем добавил:—У нас будет свадьба». Эта последняя фраза показалась такой нелепой, что врезалась мне в память. И потом Мартин сказал, что здесь, в колонии, не хватает царицы, своего рода белой покровительницы, чтобы утешать и защищать несчастных негров; ну да, что-то в этом роде он и сказал. Бедняга Мартин, я не обратил на эти бредни никакого внимания. Ему уже ничто не поможет, не отведать ему ни свадебного пирога, ни

остатков жаркого; через несколько дней он отправился есть землю, а его ребяшня разлетелась, как мошки, кто куда. Но как же мог я знать тогда, что больше не увижу в живых старого доброго Мартина?.. Я пропустил мимо ушей почти все его слова, попрощался и зашагал своей дорогой; но вскоре другая удивительная встреча заставила меня забыть о нашем разговоре. Я уже свернул было на пустынную площадь, как вдруг в глубокой тишине что-то скрипнуло; я остановился и пригляделся: в кабачке Марио отворилась дверь, и кто-то вышел. Кто бы это мог быть в такой час? Из полуоткрытой двери упал луч света, и, притаившись в тени, я тут же узнал: Тоньито Асусена! Тонио рассмеялся фальцетом и что-то сказал, а за его спиной трактирщик—я не видел, но уверен, что это был он,—медленно прикрыл дверь. Очень интересно! В голове зашевелились смутные, нелепые, почти бредовые от долгой бессонницы мысли и догадки. И слова Мартина, тоже довольно странные, совершенно вылетели из памяти. Только сейчас известие о Руисе Абарке приоткрыло их смысл. Но увы, теперь мне с трудом удастся восстановить отдельные обрывки разговора.

Поразительно, как старик, не вылезая из гамака, всегда все знал. Может, просто угадывал, а может, глаза и уши его слуг подсматривали и подслушивали повсюду, чтобы сообщить хозяину, что происходит в колонии. Может, он и обо мне знал? Хотя какая разница: все это ушло с ним в могилу. Да и потом, глупо приписывать ему какие-то сверхчеловеческие возможности. А все-таки странно, что уже тогда, когда никому и в голову не приходило провести связь между поведением инспектора и женой Роберта, Мартин с такой уверенностью предсказал: «У нас будет свадьба». Позже выяснилось, что Руис Абарка, человек, без сомнения, высокомерный и хитрый, но не способный сдерживать свои порывы, как-то разоткровенничался перед близкими друзьями—или теми, кого он считал таковыми,—и, заранее оправдывая свои действия, заявил *ex abundantia cordis*¹ о желании показать всем, и особенно ей—здесь подразумевалась, конечно, Роза,—что никому не дано его переломить и что все равно он сделает по-своему. «Я упрямый,—сказал он, явно похваливаясь собой,—и, если мне потребуется заключить брак, не останавлиюсь ни перед какими трудностями и условностями; плевать я хотел на всякие там формальности, бумажки и прочую чепуху»,—схитрил Абарка, грубой откровенностью прикрывая точный расчет. И все-таки если он не женился на нашей общей подруге, то уж не от недостатка решимости. Видно было, что

¹ Со всей откровенностью (лат.).

намерения его тверды; очевидно, Роза не солгала, рассказав о тех домогательствах, мольбах и просьбах, которыми он ее осаждал; так оно, наверное, и было.

VI

Но Абарка не женился по той простой причине, что застал ее уже замужем.

Вопреки предсказаниям людей, не веривших, что главный инспектор вернется к своим обязанностям, Руис Абарка вернулся. Он прибыл сегодня утром. Многие удивились, разглядев на палубе «Виктории II» его тяжелую фигуру, и весть облетела все уголки колонии прежде, чем Абарка успел сойти по трапу. Легко представить себе, с каким нетерпением ждали мы его появления на террасе Кантри-клуба. Нам предстояло первыми насладиться новостями.

Словно невзначай, как человек, рассказывающий об увлекательном путешествии и случайно упомянувший один любопытный эпизод, он сообщил — «Да что вы говорите!», — что ему вдруг взбрело в голову отыскать мнимых супругов Роберт, «ведь вы сами знаете, — уточнил он с неожиданной серьезностью, — у меня были кое-какие счета с этой парочкой. Но, господа, — тут он холодно рассмеялся, — мои личные счета, как, впрочем, и ваши, оплачены. Могу вас порадовать». Он сделал паузу, на минуту задумался, затем продолжал с язвительной ухмылкой: «Вот что значит иметь совесть. В глубине души он был человеком чести — и доказал это. Известно ли вам, что наш дорогой управляющий перевозками закрепил право на ношение рогов, заключив брак с достопочтенной сеньорой Розой Гарнер, в настоящее время являющейся его законной и верной 'супругой'?.. Такое поведение, — пояснил Абарка, — подобно поведению того, кто выписывает чек, не обеспеченный в банке, а затем отправляется к кассе, чтобы изловчиться и получить деньги. Мы осудили его, но были опрометчивы и поторопились с выводами. Этой женитьбой он в последнюю минуту доказал, что является человеком достойным и не способным обмануть ближнего».

Абарка еще немного пошутил, настойчиво угощал всех, сам пил без удержу, расшвырял официантам клуба кучу денег и не успокоился, пока мертвецки пьяным не рухнул на диван. Там он и сейчас храпит.

«Порой жизнь сама преподносит нам готовые сюжеты, остается лишь придать им соответствующую форму; форма эта — не что иное, как индивидуальный стиль писателя, который из множества мелких событий своего времени избрал несколько наиболее близких собственному восприятию и оттачивал на них перо, пока не сформировался особый почерк или же стиль, являющийся на самом деле обычным и привычным присвоением чужого опыта. И вот когда вы имеете счастье — или, точнее, несчастье — в повседневной жизни самолично столкнуться с таким вот соблазнительным готовым сюжетом — как быть? Обратиться к нему еще раз с помощью стилиевой обработки, изказив и изменив форму, наиболее ему подходящую, но, увы, «найденную» другим писателем? Или же впасть в грех *pastiche*¹, понадеявшись, что повествование так или иначе будет носить отпечаток вашей индивидуальности? Наверное, самым разумным было бы вовсе отказаться от этого сюжета, так как он уже был использован таким-то автором (пусть даже рассказ затерялся среди неизданных рукописей), и лишь взирать на него с некоторой досадой, подобно тому как бедняк взирает на состояние богача, не успевшего при жизни распорядиться своим имением и умершего, не составив завещания». Наш почтенный друг улыбнулся, весьма довольный произнесенным монологом; затем отхлебнул из кружки с пивом, затянулся трубкой и приготовился продолжать; все сказанное выше было только вступлением. «Такие «готовые» сюжеты — сущее наказание. Однажды мне пришлось порядком помучиться с темой, «принадлежащей» Генри Джеймсу, и могу с уверенностью сказать, что хваленая разница между «сырым» и уже обработанным жизненным материалом — чистейшая выдумка. Я взял за основу реальные события, но, в сущности, они или уже были рассказом Генри Джеймса, или же не имели никакого смысла. Как ни старался я ввести современные детали и обстоятельства, о которых Джеймс и понятия не имел, рассказ все равно оставался его собственностью...»

Он снова сделал паузу, на этот раз довольно значительную, повертел в руках трубку и, убедившись в нашем глубочайшем внимании, продолжал тоном несколько более сдержанным: «Ну так вот, дело в том, что я снова столкнулся с той же проблемой, только теперь случай произошел со мной самим, а рассказ принадлежит Мопассану». Затем он уточнил, что непосредствен-

¹ Плагиат, повторение (*франц.*).

ного участия в событиях не принимал, а был всего лишь свидетелем, и, повременив еще немного, соизволил наконец поведать нам все.

«Вы, конечно же,—начал наш знаменитый друг,—знакомы с великим Антуньей, одним из самых светлых умов, всеми признанным и почитаемым, поистине выдающейся личностью».— (Довольно! Речь шла не о ком ином, как об Антунье. Уже одно это могло придать истории остроту и интерес—независимо от ее содержания. Разумеется, мы его знали, как же иначе; Антунью знали буквально все, правда, восхищались им немного на расстоянии, поскольку он сам—и это делало его личность еще более привлекательной для нас, молодых, хотя некоторые скептики утверждали, будто такое поведение—всего лишь хитроумная уловка,—он сам сохранял дистанцию, вел жизнь уединенную, словно скрытую за дымовой завесой; во всяком случае, Антунья относился к собственной персоне с чрезвычайной бережностью, граничащей со скарденностью. Кто же его не знал! Так продолжим наш рассказ.)— «Всем известно, что мне выпала честь быть другом этого удивительного человека с тех давних пор, когда мы, подобно вам, робко вступили на литературную стезю и, имея разные цели и интересы, устремились к писательскому будущему, которое нам предрекали. И предсказания не замедлили сбыться, по крайней мере относительно моей скромной особы... Именно сей многолетней дружбе я обязан редкостной привилегией изредка прикасаться к уединенной жизни Антуньи, со времен нашей юности, а особенно после женитьбы философа ставшей еще более скрытой от чужих глаз; я получил право, пусть украдкой, изредка проникать в ее тайники. Женитьба эта, несомненно, сильно повлияла на характер Антуньи и, конечно же, тесно связана с эпизодом, который я собираюсь вам поведать... Господа, умоляю вас: никогда не впадайте в широко распространенное заблуждение и не относитесь пренебрежительно к обыденной стороне жизни выдающихся личностей. Само собой разумеется, рутина будней искажает и придает некий комический оттенок благородному облику героев, представляя этот облик в свете тем более ложном, что неизменно тщится выдать себя за единственную и неоспоримую истину. Да, разительный контраст между размышлениями Сократа и тоном его пререканий с Ксантиппой неизменно создает благоприятную почву для шуток в духе Аристофана. Но разве нельзя допустить мысль, что есть нечто трогательное и даже загадочное в покорности Сократа низменной доле, в том, как трезво он осознает свое падение, одновременно отвергая множество блестящих возможностей творить и жить совершенно иначе?»

Знаменитый писатель оставил свой вопрос без ответа и продолжал: «Все вы знаете Антуњу, но, вероятно, не знаете его жену. А если кто незнаком и с самим Антуњей, прошу выслушать меня. Вне всякого сомнения, вы много раз видели этого загадочного человека. Выходя из концертного зала или же из Академии наук и художеств, он мимоходом бросает несколько слов, какое-нибудь туманное суждение (понимайте сами как знаете!) и приоткрывает завесу над тайнами бытия, но тут же отказывается — очень вежливо, но решительно — продолжать и оставляет вас изумленными, жаждущими причаститься его познаний, восхищенными потрясающей nonchalance¹, которая в менее категоричной и оттого в менее отталкивающей форме повторяет цинизм Диогена... Я отнюдь не претендую воссоздать облик Антуњи более достоверно, чем это могли бы сделать его соседи, люди простые, чуждые всяких интеллектуальных мудрствований; для них сеньор Антуња всего лишь несчастный муж злой жены, занятый исключительно добычей различных продовольственных припасов, по уши загруженный прочими домашними делами, в общем, настоящий Хуан Ланас, способный лишь иногда ответить иронической улыбкой на злобные, недостойные выпады супруги; бедный сеньор, он заслуживает только сочувствия. С другой стороны, мне всегда хотелось стать на место Ксантиппы, чтобы найти оправдание и для нее. Эта женщина вовсе не такое уж исчадие ада, каким, по глазам вижу, вы ее себе представляете. Нет, перед нами вовсе не феноменальный образчик воинствующей глупости. Супруга Антуњи прекрасно отдает себе отчет в достоинствах своего мужа; постоянные издевательства, которым она его подвергает, как это ни парадоксально, свидетельствуют о своеобразном признании высоких заслуг философа. Но...

Что ухитрился найти наш добрый мыслитель в сухой и неласковой девице? Ведь она с неизменным, можно сказать, с ослиным упрямством отвергала все ухищрения, на которые он шел, отважившись наконец просить ее руки. Никто не в состоянии этого понять; возможно, Антуњу привлекло крупное белое тело; возможно, утонченного философа притягивала ее цельная, упрямая натура ослицы... Так или иначе, несколько раз безразлично обнюхав изящный букетик любовных притязаний Антуњи, она наконец-то его распробовала и двинулась под венец. Мне всегда нравилось ставить себя на место других, и я понимаю, сколь невыносимым может быть союз с личностью типа Антуњи. Вы знаете, что для него талант — это не свойство, которое можно иметь или не иметь, как, например, музыкальный

¹ Небрежность (франц.).

слух; нельзя сказать, что он обладает талантом, как, например, его жена — роскошными широченными бедрами. Пожалуй даже, конкретного, осязаемого таланта Антунья лишен (ибо какую книгу он написал, каким произведением потряс человечество?) или же по крайней мере может похвастаться отнюдь не блестящими способностями, с которыми она все же не в состоянии соперничать, хотя совсем не глупа. То, что мы называем талантом Антунья, — это некое субъективное и почти не выражимое словами качество, некие флюиды, исходящие от его существа, некие удивительные свойства его обаяния.

Но, конечно, такое обаяние, щедро раздаваемое всем, должно быть просто невыносимо — что вполне понятно — для той, которая, разделяя с Антуньей хлеб и ложе, чувствует себя обойденной таинственным даром супруга; она понимает, что ее только терпят рядом, отводя роль женщины великого человека. Наша Юнона гневается, и, дабы умиловить богиню и добиться, чтобы, покинув темный угол, она осчастливила его своим благорасположением, пусть даже мимолетным и брюзгливым, Антунья готов на все. На какие унижения не согласится он, на какие самнитские пытки! Какие лишения во имя такой цели не покажутся ему выносимыми и даже сладостными! Его существование превратится скоро в сплошную оборону, ведь если «за тайное оскорбление полагается тайная месть», то как же могут удовлетворить ревнивую гарпию скрытые от людских глаз победы, если обидное превосходство мужа столь очевидно всем? Только вытащив на свет божий грязное белье великого человека, размахивая его кальсонами, на всех углах крича о его ничтожестве, найдет она утешение от горького сознания чужого превосходства, основанного не на конкретных заслугах, а на какой-то непонятной милости божией...

Вам, конечно же, все это неизвестно, но соседи супругов Антунья могут подтвердить, как он неуклюже суетится, подобно ученой собачонке, торопясь вызвать смех публики, прежде чем дрессировщица щелкнет кнутом. Да, друзья, Антунья с наслаждением паясничает и вытворяет нелепейшие фокусы и строит из себя рассеянного чудака философа, лишь бы успокоить уязвленное самолюбие богини! Увы, напрасная жертва! Можно изображать шута и победить именно своим шутовством. Клоунада будет свидетельствовать о торжестве разума, в котором тоже можно обрести радость. Антунья, кажется, и вправду черпает тайное удовольствие, и притом немалое, в своем унижении. Но здесь я предпочел бы воздержаться от каких бы то ни было предположений. В подобных вопросах опасно или по крайней мере легко ошибиться; да мне и не по душе копать в них.

Множество раз я, и не только я один, спрашивал себя и других, какого черта зарывает Антунья в землю талант, данный ему богом. Весьма заманчиво объяснить это крушением жизненных планов или свалить вину на новоявленную Ксантиппу. Ясно одно — он не сдержал обещания, данного человечеству самим фактом своего существования, не оправдал надежд, возлагавшихся на него в молодости. Попусту расточают себя, говорим мы о распутниках. Но разве можно представить худшее расточительство, чем бесцельное прозябание Антуњи, который целыми днями считает мух, не предпринимает ровно ничего и ни к чему не стремится, витая в полнейшей пустоте? По доброй воле Антунья не шевельнет и пальцем; а поскольку вечный двигатель его разума не может бездействовать — ах, вот бы выключить, остановить его, ни о чем не думать! — философ изобрел и приспособил для личного пользования эзотерическую теорию, позволяющую ему пренебречь мнением окружающих, смириться с заблуждением и глупостью, со спокойной улыбкой сносить пошлости и хранить про себя свои идеи и суждения; что в наше время думать опасно, ясно как божий день. Даже более того: я бы сказал, само молчание таит в себе опасность. Не подлежит также сомнению, что, стоит кому-нибудь свернуть с торной дороги, люди приходят в беспокойство, поскольку такой смельчак сеет смятение и напрасно тревожит неподвижную гладь их серого существования. Но имеет ли право мыслитель прятать открывшуюся ему истину за малодушными мудрствованиями, замешенными на ложном сострадании к ближним и на подлинном презрении к ним? Любая истина, скрытая от людских глаз, запертая в четырех стенах, постепенно увядает и в конце концов обращается в прах, как обращается в прах жизнь скупца, спрятавшего свое золото от людей. Мои юные друзья, именно это и произошло с великим Антуньей, да послужит он вам печальным примером. Делая вид, будто принимает чуждую ему точку зрения, философ мало-помалу утратил свой собственный взгляд на вещи (стоит ли оберегать этот взгляд, если никто никогда о нем не узнает?). Постепенно оригинальное мышление Антуњи становилось все примитивнее, а вскоре добровольно уступило место готовым суждениям — или, будем до конца откровенными, суждениям, навязанным ему супругой в свойственной ей властной и агрессивной манере. Да, друзья мои, вот до какой крайности можно дойти; и, надеюсь, вы представляете себе, чего мне стоит признавать это сейчас. Трудно поверить, но философ, наш бедный Сократ, покорно воспринимает и принимает категоричные мнения своей могучей Ксантиппы, которой, конечно же, хватает ума и проницательности подавать их в удобоваримом

виде даже теперь, когда, следуя намеченным курсом, она надежно держит мужа под каблуком.

Однако вернемся к нашему рассказу — или, точнее, к рассказу Мопассана, героем которого является Антунья и который я, возможно, когда-нибудь отважусь воспроизвести, довольствуясь скромной ролью переписчика. Итак, к делу! Хотя кто знает, может, случай покажется вам сущей безделицей, недостойной столь пышного вступления.

Речь пойдет о ссоре, возникшей месяца полтора-два назад, между Антуньей и Хосе Луисом Дураном, еще одним нашим старинным приятелем. Возможно, вы уже тогда кое-что слышали об этом. Скандал разразился во время премьеры какой-то дрянной вещицы, до сих пор не сошедшей со сцены Муниципального театра. Происшествие не получило ни дальнейшего развития, ни широкой огласки благодаря прежде всего мудрому поведению Хосе Луиса Дурана, добрейшей души человека. Совершенно уверен: вам, молодые люди, трудно будет даже вообразить себе, что нынешний Дуран, добродушный чиновник, прилежный посетитель премьер и выставочных залов, скромный участник празднеств и вечеринок, на заре нашей молодости являлся одним из самых, если не самым многообещающим дарованием и наслаждался первыми лучами славы тем более уверенно и самозабвенно, что увенчан был лаврами вовсе не за ранние произведения, как всегда небезупречные, а вследствие загадочной веры окружающих в его великое будущее. В большой степени авторитет, которым он сейчас пользуется, — эхо и отсвет подававшей блестящие и неизвестно на чем основанные надежды молодости, делавшей его чуть ли не соперником Антуньи на литературном поприще. И если Антунье каким-то чудом удалось сохранить репутацию оракула, то Дуран постепенно опускался, и вот теперь его чело окружает лишь неяркий ореол уважения, вполне заслуженного моим приятелем, как человеком приветливым, вежливым и в материальном отношении независимым. С тех самых, теперь уже далеких, дней дружба между этими двумя людьми, так же как дружба их обоих со мной, ничуть не ослабела и лишь приобрела большую утонченность благодаря стараниям Дурана. Решительно отвергнув всяческую творческую деятельность, но не утратив к ней тяги, он занял по отношению к нам позицию своего рода скромного и заботливого мецената, приглашая нас на обеды и прочие празднества к себе домой, не рассчитывая при этом на подобные знаки внимания с нашей стороны. Ведь у Дурана есть удобный, на широкую ногу обставленный дом, как и подобает занимающему высокий пост человеку, жена которого к тому же пошла под венец не с

пустыми руками. Если бы наше с Антуньей положение не было также вполне приличным, каковым оно, к счастью, и является, хотя, что касается меня, отличается известной скромностью (ничего не поделаешь, таков удел даже весьма и весьма знаменитых писателей), то я не сомневаюсь, что Дуран не преминул бы прийти к нам на помощь в случае любых материальных затруднений. Более того: я подозреваю, только подозреваю, ибо никто из них двоих, конечно же, не рассказывал мне об этом, но я готов руку дать на отсечение, что Антунья получал от Дурана наряду с прочими знаками внимания весьма существенную поддержку совсем иного характера, в коей я никогда не нуждался благодаря моему монашескому существованию, посвященному служению искусству и не обремененному никакими обязанностями, кроме весьма небольших обязанностей пожилого холостяка. К Антунье жизнь, напротив, предъявляла гораздо более высокие требования; правда, с другой стороны, их дружба с Дураном усугублялась и укреплялась взаимным расположением обеих супругов, что значительно облегчало путь меценатству, снимая неловкость, которая неизбежно возникает, когда мужчина преподносит подарок мужчине. Поэтому как было не удивиться происшествию в Муниципальном театре, поссорившему моих друзей!

Сам я при сем не присутствовал, знаю обо всем понаслышке, так что, если кто-нибудь из вас там находился, пусть поправит меня. Поговаривали даже, что не обошлось без взаимных оскорблений, крика и, не вмешайся посторонние, дело дошло бы до рукоприкладства. Люди, столпившиеся вокруг, заметили, что поводом для размолвки послужила одежда обеих жен, и с удивлением увидели на супругах Дурана и Антунии совершенно одинаковые туалеты—платья из *satin bordeaux*¹, с одинаковыми квадратными вырезами и сборками по талии. В конце концов под любопытными взглядами зрителей обе женщины покинули театр: супруга Дурана—задыхаясь от гнева, вытирая заплаканные глаза—висла на руке у мужа, а супруга Антунии—бледная, прямая, величественная—прокладывала себе дорогу в толпе, и ее философ плелся сзади... Меня там не было; вам, наверное, известно, юные друзья, что я не люблю тратить время и деньги на премьеры, которыми потчует нас Муниципальный театр; зрелище человеческой глупости действует на меня угнетающе... Так что когда на следующий день я узнал о случившемся, то немедленно взялся улаживать это досадное недоразумение, ведь речь шла об отношениях между двумя старинными друзьями,

¹ Бордовый атлас (франц.).

которые самым невероятным образом оскандалились, затеяв публичную ссору. Уверяю, я был взволнован, встревожен, подозревая, что за размолвкой кроются какие-то серьезные причины, и тут же отправился на поиски Дурана — поговорить наедине с Антуньей представлялось почти невозможным; я явился к Дурану в министерство и от него узнал кое-какие подробности. Дуран пребывал в самых расстроенных чувствах и в полнейшей растерянности. Бедняга сказал мне, что сначала, когда Антунья принялся выговаривать ему за платья, он ничего не понимал, решил, что это всего лишь далеко зашедшая шутка нашего общего друга. В конечном счете, уверял Дуран, он до сих пор не понял, почему Антунья требует от него объяснений и сатисфакции в столь несдержанной форме. По-видимому, супруга философа разъярилась, войдя в ложу Дурана и его жены и увидев на той платье, как две капли воды похожее на ее собственное. Наша Ксантиппа восприняла этот факт как преднамеренную и оскорбительную насмешку, бог знает почему... Дуран не хотел продолжать. Он был подавлен, уязвлен глупой, необъяснимой грубостью Антуньи, учинившего скандал. Даже если предположить за ним хотя бы малую толику правоты... После настойчивых расспросов Дуран подтвердил, что платья действительно сшиты одной модисткой, модисткой его жены. Их точное сходство является, очевидно, следствием злого умысла и недомыслия — а скорее, именно недомыслия — портнихи. Это досадное совпадение чрезвычайно расстроило его собственную супругу, хотя, конечно же, оно не заслуживает столь бурной реакции. С какой стати должна его жена просить извинения у своей бывшей подруги, как на том настаивал Антунья? Это просто нелепо. Ведь он, Дуран, вправе требовать того же. Невероятно... И так далее в том же духе. Хосе Луис Дуран сдерживался, не желая давать волю гневу, старался взять себя в руки и предпочел не продолжать разговор. Но в то же время с яростью, на которую только способен по натуре незлобивый человек, Дуран отверг все мои призывы поразмыслить здраво и не принимать скандал так близко к сердцу. В конце концов я, прекрасно зная характер своих приятелей, отказался от дальнейших уговоров и решил сделать заход с другой стороны, то есть побеседовать с Антуньей, обладавшим достаточно светлым умом, чтобы понять, как несправедливо обошелся он с нашим общим другом. И когда наконец я смог высказать ему все упреки, философ признался, что тоже чрезвычайно огорчен, что ссора была для него тяжелым ударом, но, видно, ничего с этими женщинами не поделаешь. И, закатив глаза к потолку, он полушутя-полусерьезно позавидовал моему безбрачию. Антунья поспешил окутать себя защитной паутиной

из туманных, расплывчатых фраз и обобщений, пока терпение мое не лопнуло и я одним махом не разорвал эту паутину, спросив, что же, собственно, произошло. И тогда философ, голосом и взглядом взывая к сочувствию и делая вид, будто уже заручился им, поведал мне — «ох уж эти женщины!» — что жена Дурана, решив подарить его супруге (терпеть не могу подобных подарков!) платье ко дню рождения, послала ее к своей модистке, чтобы заказать все, что придется по душе. «Вот из этой-то никому не нужной фамильярности возникают потом осложнения», — заметил Антунья. В тот злосчастный вечер бедняжка была просто счастлива, что сможет покрасоваться в Муниципальном театре выбранным туалетом; и вдруг на тебе: другая одета совершенно так же! Ну, тут уж кровь бросается в голову, гнев ослепляет, еще немного — и в ложе прозвучит звонкая пощечина, философ улыбнулся смущенно и насмешливо, в общем, ему, мало того что пришлось быть свидетелем ужасной сцены, пришлось еще сделать все, чтобы успокоить жену, другого выхода просто не было. У него не было другого выхода! Антунья, очевидно чувствуя себя не в своей тарелке, поторопился перейти к наблюдениям точным и несколько меланхоличным — в любой другой ситуации вызвавшим бы восхищение — о последних днях индивидуализма в нашем чересчур социализированном и безликом мире, где большинство женщин не смогли бы даже понять неловкость, смущение и гнев этих дам, увидавших друг друга в одинаковых ливреях; да, нелегко понять это теперь, когда наивысшее удовольствие, сулящее людям внутренний комфорт и покой, заключается в том, чтобы найти в других точное отражение своих вкусов, идей, любви, пристрастий и так далее. Антунья собрался даже кстати рассказать старинный анекдот о чудаке солдате, заказавшем себе шелковую форму с разными замысловатыми украшениями. Мне пришлось довольно резко прервать его, чтобы не дать снова уйти от объяснений. «Конечно, конечно, — сказал я, — все это прекрасно; но ты, надеюсь, понимаешь, что бедный Хосе Луис...» «Да, — ответил он, — думаю, ты сам видишь, как мне все это тяжело. Но что оставалось делать? Я был в совершенно безвыходном положении». Пытаясь оправдаться передо мной, Антунья принялся расписывать, сколько усилий он приложил, чтобы утихомирить разгневанную супругу, урезонить ее, объяснить, что такое совпадение — чистая случайность, ведь и жене Дурана оно не доставило никакого удовольствия; уговаривал покинуть театр без шума, обещая впоследствии непременно выяснить, в чем дело, и действовать самым решительным образом, если вскроются дурные намерения с чьей бы то ни было стороны. Но обещания и мольбы оказались тщетными. В упрямой

ялости женщина твердила, что ее нарочно хотели оскорбить идиотской выходкой. А все козни подлой модистки! Теперь понятно, почему она так настойчиво уверяла, будто именно такой фасон особенно по душе госпоже Дуран,—хотела хитростью внушить доверчивой заказчице желание купить именно это несчастное платье... Увещевания философа лишь еще больше распаляли гнев Ксантиппы. Одним словом, Антунья очутился перед печальной необходимостью рассориться с Дураном и требовать у него публичного извинения.

Уверяю вас, услышав такое, я чуть не задохнулся от негодования, смешанного с жалостью, даже с отвращением. Я высказал Антунье, стараясь тем не менее выбирать выражения, все, что думал о нем, на тысячу ладов порицал его поведение, осторожно привел примеры из литературы, вспомнив рассказ дона Хуана Мануэля¹ о кротком человеке, женившемся на сварливой особе, и также «Укрощение строптивой» Шекспира, и в конце концов несколько несдержанно, признаю это, заявил: «На твоём месте я бы просто хорошенько взгрел жену». И замолчал. Антунья воззрился на меня с насмешливой улыбкой, потом ответил: «Сразу видно, что ты не заметил, какие у нее бицепсы!»

Знаменитый писатель закончил свой рассказ. Он с трудом раскурил погасшую трубку, с наслаждением затянулся, затем обвел нас всех пристальным взглядом.

«А знаете, учитель,—заявил вдруг Кальвет, наше юное дарование,—рассказ этот, может быть, и Мопассана, но вот главный герой—типичный персонаж Достоевского».

Встреча

— Нелли! Ты ли это! *Mamma mia!*

Ну да, это была она, она самая: знаменитая Нелли, или Лошадка, или Нанду, или Нелли Мотоциклетка. Ну да, она самая, только... *mamma mia!* Ее просто не узнать; еще бы, столько воды утекло!.. Он остановился на углу, как раз там, где улица Ривадавиа выходит на Пласа-де-Майо, и, отступив на шаг, разглядывал Нелли со смешанным чувством изумления и любопытства. А она смущенно улыбалась и молчала, не поднимая глаз от кромки тротуара. Пока наконец не бросила с некоторым раздражением:

¹ Хуан Мануэль (1282—1348)—выдающийся представитель дидактической литературы; его лучшее произведение—«Книга примеров графа Луканара и Патрисио».

— Неужели я так изменилась?

Вместо ответа он взял Нелли за руку повыше локтя. Пальцы легко сжали дряблую плоть.

— Пошли; здесь мы сможем спокойно поговорить.— И Красавчик потащил ее в ближайший бар. Они уселись в углу, возле двери. Не спросив Нелли, он заказал два виски. Женщина изучала его с нескрываемым любопытством, и он не без удовольствия подумал о своем костюме. Еще в молодости была у нее привычка внимательно разглядывать одежду собеседника; а уж своей одеждой Красавчик мог быть доволен: костюм, возможно, несколько кричащий, но из прекрасного английского полотна; шелковая рубашка; роскошный галстук. Он спокойно дал осмотреть себя с головы до ног и только тогда ответил на вопрос, заданный еще там, на углу: — Изменилась? Да нет, не очень. Разве что похудела. Но надо же встретить тебя здесь, вот это сюрприз!

— Я всегда была худой.

Да, она всегда была худой. В молодости друзья прозвали ее Лошадкой: высокая, тонконогая, нервная, Нелли имела к тому же привычку резко встряхивать головой. Завистники же окрестили ее Нанду—за пышные меха, которые окутывали ее худощавое, жилистое тело. Да, слишком уж худа, на вкус многих мужчин... Но сейчас! Господи боже мой!..

Нелли с жадностью отпила виски, поморщилась и поставила стакан на столик. Руки у нее были неухоженны, ногти острижены до самого основания.

— Черт, надо же, вот это встреча! — никак не мог успокоиться мужчина.— Сколько лет прошло! Сколько лет, а!

— А у тебя дела идут неплохо,—заметила она.

— Да, нормально,—расплылся в счастливой улыбке Красавчик,—что там говорить, жаловаться не могу.— Оба вдруг поняли, что им совершенно нечего сказать друг другу. Красавчик любовался собой и в то же время не мог отвести взгляда от тощей шеи с бьющейся над острыми ключицами жилкой, от обтянутого кожей изможденного лица в паутинке тонких морщин. А ведь это та самая Нелли. На него глядят (теперь уже из-под увядших век) те самые глаза, «синие, как льняной цветок», которые стольких ухажеров сводили с ума, глаза, которые Мартин Авалос воспел в своих незабываемых «Лицах и масках»; да, те самые глаза глядят на Красавчика, как и прежде, в годы далекой молодости.— А помнишь, Нелли?

Нелли сдержанно улыбнулась; отпила еще глоток; рассеянно окинула взглядом пустой бар; было утро, в окна били солнечные лучи, выхватывая на паркете светлые квадраты.

«А помнишь?» Разве она могла забыть? Скорее уж ему придется теперь рыться в памяти. Ведь это он, Хуансито Красавчик, надутый, самодовольный и сытый, строит из себя важную особу, угощает ее шотландским виски по невероятной цене; и тут Нелли вспомнила круглолицего паренька с красивыми глазами, который замечательно умел изобразить благородное негодование всякий раз, когда она — золотые были времена! — посылала его в кафе за цыпленком и бутылкой вина и совала в руку деньги или когда бедняге приходилось, потупив взор, с наигранной непринужденностью просить у нее в долг небольшие суммы, чтобы, конечно же, никогда их не вернуть. Эти воспоминания, где ласковая насмешка смешивалась с грустью, придавали лицу Нелли выражение мягкое и отрешенное.

— О чем ты думаешь?

— Так, ни о чем; обо всем сразу,—уклончиво ответила женщина.

Он пристально рассматривал ее, объясняя улыбку лишь приятными воспоминаниями и не переставая удивляться, что эта бедолага (с такой и на улице-то показаться стыдно) была когда-то — к чему скрывать — причиной столько его страданий и слез. «Чуть худее тело, парой кило меньше, парой лет больше — и вот вам пожалуйста: трагедия превратилась в комический куплет», — рассуждал Красавчик. Хотя полно... Трагедия? Полно... Конечно, одно время он с ума сходил, плел невообразимые интриги и чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Бродил растерянный и жалкий, не мог думать ни о чем, оборвал все телефоны в соседних кафе... Это было похоже на лихорадку. Ну да, лихорадка юности. «Настоящая развалина», — сказал он себе, — развалина, огрызок». До сих пор еще стыдно вспоминать те смешные, просто нелепые положения, в которые он попадал по ее милости; как, например, однажды вечером, наконец дозвонившись ей, он с удивлением обнаружил, что Нелли, обычно неразговорчивая, тут ни за что не желает его отпускать: «Послушай! Представляешь!», а тем временем рядом переминался с ноги на ногу какой-то лощеный типчик, сгорал от нетерпения заполучить телефон и, дыша Красавчику в затылок, выслушивал все глупости, которые ему пришлось говорить Нелли; так продолжалось, пока наконец галисиец за стойкой весьма недвусмысленно и даже грубо не намекнул: пора, мол, вешать трубку; а тут еще мучительное, невыносимое подозрение, что там, на другом конце провода, она — неожиданно ласковая и приветливая, — может быть, не одна и, возможно, смеется над ним сейчас. Каким потерянным чувствовал он себя в такие минуты! Каким несчастным! Мир вокруг становился тусклым и

бесцветным. Тогда он ненавидел буквально все: ненавидел часы в кафе за углом, ненавидел сладкий запах жимолости во дворе и оклики соседей, ненавидел английский выговор своей матери, ее неприятные, совершенно неинтересные рассказы. Какая все это гадость! Но зато какое блаженство, да, именно блаженство, видеть ее рядом с собой, смотреть, как Нелли, его Нелли, не подозревая о пережитых им муках, смеется, приоткрыв влажный, свежий рот; играя, она ерошила ему волосы, запускала в них пальцы с острыми ногтями, глядела на него с нежностью, снова заливалась смехом, говорила ласковые слова... И тогда он, неделями жадно ждавший этого момента, пользовался случаем и засыпал ее вопросами, коварными вопросами, стараясь задавать их словно невзначай, в шутку; ему хотелось знать все, и он строил всевозможные ловушки, чтобы уличить ее во лжи; но куда там! Она уворачивалась, ускользала, и он временами даже ненавидел ее. Нелли клала ему руки на плечи, сильно сжимала, заглядывала в глаза—завидная выдержка у женщины—и смеялась, смеялась. «За что я тебя люблю? Ах ты, глупышка! У тебя лицо как у девочки, у куколки, ты красавчик... Хочешь, буду тебя называть Красавчик?» И опять хохотала. Нелли прекрасно знала, что Хуансито этого слова терпеть не может. Да и как оно могло нравиться, если его придумал этот (до сих пор без досады невозможно и подумать о слюнявом старикашке)... этот нелепейший тип, Салданья, сеньор Салданья, типичный мошенник, с чьей легкой руки Хуансито окрестили Красавчиком; и прозвище словно прилипло—это к нему-то, у которого никогда не было никаких кличек. Друзья называли его по фамилии—Ваттеоне или уж в крайнем случае ласково—Толстячок Ваттеоне. Просто убил бы мерзкого старикашку! «Красавчик»! Так и пошло: «Держи, Красавчик!», «Идем, Красавчик», «Давай-ка, Красавчик!»... «Хуже всего то,—утешал он сам себя,—что хочешь не хочешь, а надо помалкивать. Раз уж другой платит, а ты знай себе пользуешься, то терпи и помалкивай, иначе—адью». Разве сама Нелли, гордячка Нелли, не помалкивает, когда ее называют Нанду? Это Два Су, он отлично помнит, придумала такое прозвище—роскошные меха, подаренные бразильцем, на худых плечах Нелли напоминали пышное оперение страуса вокруг тощей шеи... А теперь бедняжка и вправду похожа на общипанную птицу, смотреть жалко...

Красавчик спросил, о чем она думает; женщина ответила, ни о чем. И это было так: ни о чем она особенно не думала. Вот он сидит напротив, совсем чужой; Нелли вспоминала его молодого и улыбалась тому далекому образу, улыбалась в одутловатую вульгарную физиономию самодовольного пожилого мужчины. Тол-

стяк больше не был Хуансито Красавчиком (куда там!), он стал сеньором Ваттеоне — всеми уважаемым сеньором! — разжиревшая карикатура на самого себя в те золотые времена, вдруг вспомнившиеся ей с отвращением; дураки, хамы, бедные донжуаны кабаре, ее нищего царства; преподаватель Пепе Съесо, слюнвявый Салданья, метис Авалос (дон Мартин Авалос со своими стихами и текстами танго) — и Красавчик, мой милый Хуан.

— Сколько же лет мы не виделись, черт возьми! Скажи, ты ведь уезжала?

— Я нечасто бываю в центре, — ответила она, растирая пальцем по столу хлебную крошку.

— А как ты жила все это время? — снова спросил он и только потом подумал: а стоит ли спрашивать? Все и так ясно: совершенная развалина, полный крах и никаких надежд. Пока Нелли допивала виски, Ваттеоне, украдкой поглядывая на нее, сказал: — Я думал, ты уезжала.

— Уезжала? Куда?

— Ну откуда мне знать! В Бразилию, например, с твоим покровителем. По крайней мере так я думал.

Она махнула рукой. Последние месяцы с Салданьей были самыми тягостными. Страшно вспомнить, сколько всего обрушилось на ее голову, когда старый распутник вдруг вообразил, будто слышит далекую музыку, и тогда он застыл в немом восторге, а потом до смерти пугал ее припадками: хохотал, кричал, кашлял, плакал, ни с того ни с сего принимался болтать по-французски, пока наконец из Бразилии не налетели наследники и не увезли его, сначала изрядно попортив ей жизнь; в результате от всей этой истории Нелли не перепало ровным счетом ничего, кроме неприятностей. А теперь еще этот идиот, тоже хорош: «Твой покровитель...» Господи, до чего же идиот!.. Ей вспомнилось, на какие уловки шел Красавчик, какие глупые сцены ревности ей закатывал — прямо как в театре *a la finale*¹; в общем, обыкновенное мальчишество — и все для того, чтобы потом — а что поделаешь? — послушно сносить все, глотать слюнки и притворяться, будто ничего не замечает. Дурачок! Если бы он только знал, как отвратителен был Нелли чудаковатый Салданья с его покровительственным тоном; сколько труда ей стоило поддерживать беседу, когда этот старикашка делал вид, будто он с ней на равных, будто ее могла интересовать всякая чепуха, о которой он читал и разглагольствовал... Невероятно, но она предпочитала ходить с ним на концерты в зал Колон и там целых два невыносимых часа бороться со сном, пока Салданья,

¹ В финале (итал.).

сморщившись в кресле, как мартышка, и зажмурив глазки, изображал на лице гаденькую гримасу блаженства.

— Ну ладно,—не отступал Ваттеоне,—но скажи, чем ты занимаешься, чем живешь? Если не бываешь в центре, то где же тогда?

Он старался угадать, какую жизнь ведет Нелли теперь. Что дела идут из рук вон плохо—это ясно. И не удивительно. Интересно, сколько ей сейчас лет? Должно быть, много больше, чем ему, так что... Хотя, с другой стороны, Нелли не из тех женщин, которые быстро сдаются, скиают и уходят в запас. Никогда не умела пользоваться своими победами, поэтому-то все так к ней и льнули. Чересчур темпераментная, подумал Красавчик. Он не забыл, как однажды Нелли призналась ему тихонько, в самое ухо: «Это самое мне нравится больше всего на свете. На остальное наплевать!» Так и сказала: это самое; не сказала ведь, что ей нравится он, ни даже что любит заниматься этим с ним, а просто: это самое... Ну и ... же!

— Ну,—повторил Ваттеоне Красавчик,—чем же ты сейчас занимаешься?

А она:

— Вышла замуж.

Нелли произнесла эти слова усталым голосом, глазами показывая на безымянный палец, где поблескивало—черт возьми, и правда!—обручальное кольцо, почти скрытое роскошным перстнем с огромным аметистом.

— Вышла замуж? Быть не может!—Он откинулся на стуле в притворном изумлении.—И кто же на тебе женился? Вот это забавно!.. Неужели старый Салданья повел тебя под венец? Хотя этот тип из прихоти способен был сделать все, что взбредет ему в бабку. Так я угадал? Салданья?

Нелли покачала головой. На щеках ее вспыхнули пунцовые пятна. Смешной он человек; ведь понимает прекрасно, что это не бразилец, иначе не ходить бы ей такой ободранной. Но кто же? Красавчик оживился, разулыбался во весь рот и все повторял: «Вот это забавно!» Он допил виски и заказал еще два стакана.

— Так, значит, ты теперь замужняя дама! Забавно! Что ж на свадьбу не пригласила?

— Тебе пришлось бы взять с собой жену,—дразниво бросила она.

И тогда Ваттеоне тоже посмотрел на свое обручальное кольцо.

— Да, ведь и я женился,—признался он, вдруг посерьезнев.

И представил себе нелепейшую сцену: Беба, его супруга, полная, белая и величественная, выплывает из автомобиля,

чтобы войти в церковь, где венчают какую-то Нелли Мотоциклетку... с кем?

— Так за кого ты вышла, Нелли? — спросил он с притворным участием в голосе.

Она медленно отпила виски. Затем, поразмыслив немного, произнесла:

— Он хороший человек, правда хороший. Может, ты его помнишь? Он работал в баре «Виктория». Помнишь, такой черноволосый официант, галисиец?..

Нет, Красавчик не помнил. А Нелли, напротив, ясно видела мужа перед собой, но не таким, каким он стал, — лысым, обрюзгшим, больным, иногда просто невыносимым, — а совсем молодым, учтивым, тонким, почтительно молчаливым. Она ясно видела, как он подходит к столику, где сидит она в отвратительном настроении, становится рядом и тихо, почти шепотом, говорит — сначала о чем-то постороннем, а потом, понемногу...

— Нет, забыл, — ответил Ваттеоне, — да и откуда мне помнить?

Не успел он закончить фразу, как в памяти всплыл один эпизод, весьма неприятная сцена, в которой этот самый Муньос принимал некоторое участие. Наверняка уже тогда бедный официант тайком вздыхал по Нелли Лошадке. Во всяком случае, он очень внимательно прислушивался к тому, что говорили о Нелли в ее отсутствие всевозможные рожи, собравшиеся в баре. Разговор шел о старом Салданье, о его миллионах и о том, как повезло Нелли, что она ему понравилась; обсуждались также достоинства и фигура Лошадки. И вот тогда этот отвратительный тип Пепе Съесо отпустил гаденькую шутку. Он заявил: «В искушенности ей не откажешь, не спорю, но тело!.. Что вы, должно быть, это все равно что сесть верхом на мотоциклет или, еще того лучше, на велосипед». И заерзал на стуле, будто крутил педали. Смех затих почти мгновенно, когда кто-то завидел Нелли в глубине коридора: «Эй, *attenti*¹. Мотоциклетка катит!» Тут официант отозвал шутника в сторону, словно хотел передать какое-то поручение, и сказал ему что-то — должно быть, очень неприятное, судя по выражению лица обоих. Красавчик, сгорая со стыда, наблюдал за всем этим... И теперь, через много лет, ему стало почти так же не по себе, как тогда.

— Откуда мне помнить? — повторил он. — Ты бы сама помнила, не женись он на тебе?

— А ты на ком женился?

— Я? — Ваттеоне не сразу сообразил, что ответить. — Я? Ну... женился на одной девушке...

¹ Внимание (*итал.*).

— ...со средствами,—закончила она фразу. И в эти слова, прозвучавшие с издевкой, вложила, сама того не желая, тоску по недостижимому для нее миру.

Ваттеоне отвел глаза.

— Ничего подобного.

Он чувствовал на себе настойчивый взгляд Нелли, сначала внимательно изучавший его одежду и теперь начавший мешать ему. Спокойствие синих глаз, «синих, как льняной цветок», казалось ему холодным, дерзким, и он принялся неловко и торопливо оправдываться, объясняя, каким образом жизнь переменялась к лучшему и дела пошли в гору. Но Нелли почти не слушала, а только рассматривала расплывшееся лицо, толстый нос и мохнатые брови, принадлежащие солидному господину, который повстречал ее на углу Ривадавиа и Пласа-де-Майо и теперь угощал виски и собственной особой; тучный самодовольный хлыщ— вот что стало с Красавчиком прежних лет, бессовестным, безалаберным, в любую минуту готовым поджечь хвост, но таким юным и наивным. Впрочем, превращение се *petit farceur*¹, Салданья всегда называл его се *petit farceur*, нетрудно было угадать, подумала Нелли. Ему стоило только подрасти. Уже в двадцатилетнем юнце просматривался сеньор Ваттеоне *que voilà*², как опять же сказал бы бразилец, то есть во всей своей красе. И в то же время кто бы мог подумать, что так изменится Муньос, ее муж, продолжала размышлять Нелли, что он будет постепенно катиться вниз к полному безразличию, к невыносимой смиренной неподвижности? Но господи, он тоже не виноват, ведь Муньос—несчастный паралитик, рассуждала Нелли, повторяя слова мужа. В конце концов, каждому свое. И еще она подумала, что Муньос от всего сердца хотел изменить к лучшему—и изменил бы—судьбу Нелли Лошадки. Но, наверное, размышляла Нелли, так было написано мне на роду; по правде говоря, не один Муньос делал ей предложение, не один он хотел, даже жаждал, вытащить ее из всего этого—под «все^м этим» подразумевалась «грязь», «низость»—и дать ей достойное положение, доброе имя... При мысли о такой высокой чести на губах у Нелли появилась холодная усмешка. «Сеньора де Муньос»,—прошептала она. И потом: «Так было написано мне на роду, да и ему тоже». Ведь если бы не простота сдержанного, немногословного человека, говорить с которым было отдыхом для нее, с которым она чувствовала себя защищенной, от которого, казалось, исходили спокойствие и уверенность, разве Нелли дала бы

¹ Этот маленький фигляр (франц.).

² Таким, каким он стал (франц.).

согласие? Нет, она с негодованием отвергла бы его, как отвергла многих, как отвергла снисходительное предложение Салданы с его вечным чувством непогрешимого превосходства, учтivity доброжелательностью, со всеми его миллионами... Миллионы, «кадиллак», Стравинский, Елисейские поля — провались они все к черту! А вот Муньос ей сразу понравился: такой высокий, красивый, любезный, с лицом одновременно и мягким, и мужественным; и потом, это его молчание, его почтительность, стойко выдержавшая все искушения... Он понравился Нелли сразу, и она так полюбила его, как никогда и никого раньше. Муньос сделал ей предложение — и уединенное, скромное, но спокойное существование бок о бок с ним показалось Лошадке счастьем. Раскаивалась ли она теперь? Считала ли себя жестоко обманутой жизнью, как считают почти все женщины? Теперь... теперь бедняга прикован к своему плетеному креслу, и то же самое спокойствие, молчание и безграничное терпение, которое когда-то так нравилось, теперь невыносимо раздражало: он неподвижен и бесстрастен, а она должна бегать взад-вперед, без всякого отдыха...

И что еще там заладил этот дурак Ваттеоне, тоже привязался со своим виски!.. А Красавчик, все более оживляясь, рассказывал ей, как занялся политикой, завел разные знакомства, потрясающие связи — он вовремя подсуетился, да к тому же повезло, — дела пошли хорошо, очень даже хорошо, так что теперь, хотя его тесть (тут Ваттеоне невольно поморщился: чертов неаполиташка!)... «хотя мой тесть человек не маленький, мне его помощь не нужна; потому что сейчас, знаешь, только круглый дурак... Теперь не то, что раньше, когда сынов этой благодатной земли топтали и унижали, пока наша страна (самая богатая страна на свете, черт подери!) была заложена и перезаложена иностранному капиталу...».

— Ладно, хватит, этого я наслушалась по радио, — перебила Нелли.

Ваттеоне удивленно посмотрел на нее, хотел возразить; но зачем? Лучше превратить все в шутку. И он неохотно засмеялся, чувствуя себя немного обиженным.

— Ну что ж, как хочешь. Так, значит... Но послушай, у тебя-то как дела? Он все еще работает официантом?

— Он?

Нелли замолчала. Она нервничала, скучала, и от гнева на щеках снова выступили пунцовые пятна. «Только зря время теряю с этим кретином, а там...» Нелли взглянула на часы и мысленно перенеслась домой, на Вилла Креспо: добираться туда час в омнибусе, в толкотне и давке, люди совсем обнаглели. Там

в маленьком дворике, установленном цветочными горшками, в тени глицинии стоит плетеное кресло, и Муньос ждет, когда заглянет какой-нибудь мальчонка, чтобы послать его за сигаретами, ведь он уже, наверное, сто раз вынимал из кармана серебряные часы, «привезенные из Испании», пока она тут слушает глупую трескотню Красавчика.

— А? — переспросила Нелли. — Да, да, работает... когда здоров, — солгала она и подумала: «Не забыть бы зайти в аптеку». — Ладно, — Нелли взяла со стола перчатки и сумочку, — мне пора, а то опоздаю. Уже опоздала, заболталась тут с тобой.

— Ты спешишь?

— Извини, но я правда спешу.

Красавчик подозвал официанта, бросил на стол крупную купюру и не глядя сунул сдачу в карман. Нелли уже встала и дожидалась его. Ваттеоне неторопливо, несколько тяжело поднялся.

— Нам надо чаще видаться, — сказал он.

— Да, конечно, — согласилась Нелли.

Но Красавчик, слава богу, не стал ничего уточнять.

Они вместе вышли из бара; Нелли остановилась у самой двери и стала прощаться.

— Тебе куда? — осведомился он.

— Туда, — ответила она неопределенно, протягивая ему руку.

Красавчику почти силой пришлось удержать ее.

— Послушай, я хочу кое-что тебе сказать.

— Что?

— Даже если мы больше не увидимся, мы все равно старые друзья, так ведь? Прошное не забывается, и... В общем, если тебе что-нибудь будет нужно, не стесняйся. Моя фамилия есть в телефонном справочнике. А хочешь, позвони мне в Секретариат индустриального развития, хорошо?

— Да, да, конечно, — ответила она.

Красавчик не отрываясь смотрел на ее напряженное лицо, смотрел, как подергивается у нее щека. Нелли не поднимала глаз.

— Ты позвонишь? — повторил Красавчик.

— Да, большое спасибо.

— Но ты правда позвонишь?

Она вырвала руку и зашагала вверх по улице; Ваттеоне остался стоять на углу, провожая ее взглядом. Черт, настоящая развалина!

Он поправил галстук и, довольный, посмотрел на свое отражение в витрине.

«Наш безвестный коллега»

Грузный мужчина в самом расцвете лет, он в полной мере успел ощутить хмельной вкус славы, в совершенстве овладел искусством держаться соответственно своему растущему престижу; ему, еще «молодому писателю» — несмотря на довольно ранние седины, — предрекали славу, почести и лавры, коими общество венчает за выдающиеся заслуги на литературном поприще (ибо мой друг уже в самом начале творческого пути был тепло встречен публикой как ярчайший представитель нового писательского поколения и вскоре его имя облетело многие страны как одно из самых громких имен американского Парнаса; вот уже десять лет с неиссякающим удовольствием он созерцал свое имя на обложках шикарных изданий, а рядом — заглавия произведений, переведенных на иностранные языки); и вот, когда личность писателя сложилась и была осенена ореолом славы, с Пепе Ороско случилось нечто, на протяжении довольно длительного периода — недель, а может быть, и месяцев — угрожавшее счастливому, плодотворному и упорядоченному развитию творчества моего друга, пошатнув его уверенность в себе, которая покоилась на прочном пьедестале славы.

Возможно, прибегая к подобному стилю, я несколько преувеличиваю истинное значение этой истории. И если я сказал «случилось» — а мог бы даже сказать «стряслось», — то лишь из-за неожиданности происшедшего, а отнюдь не из-за его особой тяжести. Нет, страшного ничего не было — сущий пустяк, не повлекший за собой никаких пагубных последствий; самый что ни на есть заурядный случай с некоторым даже комическим оттенком, однако все мы довольно долго переживали его... Но хватит разглагольствовать, пора поведать вам факты, коим я сам был свидетелем...

История эта произошла — а точнее, началась — на приеме в посольстве, куда были приглашены Пепе, я и наши друзья; мы стояли тесной кучкой и говорили между собой, поскольку, сказать по правде, не знали никого из гостей, а тот желанный момент, когда хрупкий ледок излишней сдержанности незаметно тает, растопленный не столько даже взаимным общением, сколько своевременно поданным коктейлем, еще не наступил; мы ждали этой чудесной минуты, и тут новый культурный атташе, который всю усердствовал, выполняя свои обязанности, подвел к нам незнакомого господина весьма приятной наружности, лет сорока с небольшим и, представив его, поспешно скрылся; появление незнакомца заставило нас прервать беседу, не особенно интерес-

ную или конфиденциальную, но понятную только узкому кругу друзей.

Таким образом, вновь прибывший сразу погрузился в неловкое, тягостное молчание, которое мы тщетно пытались прервать. Однако незнакомец сам легко нашелся и, обращаясь к Пепе Ороско, стоявшему в центре группы, спросил:

— Простите, сеньор, я слышал, ваше имя Хосе¹ Ороско?..— А поскольку тот с видимым удовольствием кивнул, осведомился:— Вы случайно не брат майора Ороско?

И, к своему великому огорчению, услышал отрицательный ответ; но любознательный незнакомец, полный недоверия, обманутый в своих ожиданиях и при этом отнюдь не намеренный сдаваться, разочарованно продолжал, скорее рассуждая, чем вопрошая:

— Так, значит, вы не сын генерала Ороско...

Я довольно давно дружу с Пепе, чтобы не заметить, как его покорила подобная глупая назойливость. Тем не менее, не переставая улыбаться, он ответил незнакомцу:

— Мой отец был адвокатом...

А незнакомец, вдруг поняв, что теряет нить начатого разговора, принялся нащупывать новую точку опоры, искать общие темы и высказал пустое предположение:

— В таком случае вы, наверное, тоже адвокат...

Мы уставились друг на друга с изумлением, чуть ли не с ужасом. Неужели имя Пепе Ороско ничего не говорило этому субъекту? Может быть, конечно, волнение, растерянность... Но Пепе с веселым благодушием поспешил сообщить:

— Нет, сеньор, нет. Я писатель.

И вот тут-то оно и случилось. Мы вдруг увидели, что лицо незнакомца озарилось улыбкой и, кажется, даже темные глаза заблестели за внушительными линзами очков.

— Писатель?— возликовал он и заявил:— Невероятно! Я тоже писатель!

Лицо Ороско, до того момента почти бесстрастное, тут расплылось в наигранном удивлении, в язвительной ухмылке; глаза теперь совсем пропали и напоминали два свежих надреза на коже. Я, да и не я один, чувствовал, что еще немного—и он затрясется в приступе неудержимого хохота. Пришлось вмешаться и спасти положение.

— Черт возьми, да здесь, как видно, собрались одни писатели. Вот это удача. А вы, уважаемый, что же пишете? И печатаетесь?

Еще один сюрприз: самозванец ответил, что да, уже несколько

¹ Пепе—уменьшительное от Хосе.

книг, стихи и проза. Это бесхитростное признание повергло нас в глубокое молчание. Однако я вновь принялся за дело:

— А позвольте—и, ради бога, простите—узнать ваше имя, я не расслышал, когда вас представляли...

— Пожалуйста, пожалуйста,—ответил он и, слегка поклонившись, произнес:—Альберто Стефани, к вашим услугам... Так и вы, значит, тоже пишете?—Теперь вопрос был задан уже мне.

Мы снова обменялись недоумевающими взглядами, просто не зная, как все это понимать. Имя такого автора, Альберто Стефани (автора, заметьте, нескольких книг—стихов и прозы), было нам совершенно незнакомо. А он еще спрашивает меня—меня, чей голос гремит с газетных страниц,—пишу ли я... Все это выглядело забавной шуткой и могло быть принято только в шутку. Так мы и поступили, а когда живописный субъект наконец освободил нас от своего присутствия, почти откровенно насмешливые взгляды сменились градом язвительных замечаний и смехом. Пепе Ороско, казалось, больше всех потешался над случившимся. Как только мы уединились в крошечной гостиной, мимо которой фланировали толпы приглашенных, то на тысячу ладов принялись склонять странного безвестного писателя, демонстрировавшего полное неведение не только относительно наших скромных, но выдающихся трудов, но также относительно творчества одного из самых знаменитых в стране и во всем мире писателей, Хосе Ороско, неизменно являвшегося мишенью наших дружеских шуток, коим он сам неустанно и с удовольствием подавал повод.

Вот, собственно, и все. Как сами видите, сущая безделица, так, забавный эпизод... Я, да и мои друзья, быстро забыл бы о нем, не всплыви он по какой-то случайной ассоциации в нашем разговоре с Пепе несколько дней спустя. Пепе рассказал мне, что, выходя тогда из посольства, столкнулся в дверях с молодым атташе и воспользовался случаем, дабы расспросить, каким образом очутился на приеме тот невероятный субъект. «Как интересно было познакомиться,—сказал Пепе,—с писателем, столь любезно представленным вами! Мы, литераторы, подчас вращаемся в совершенно разных кругах...» Атташе зарделся до корней белокурых волос и принялся поспешно объяснять, что, насколько он полагает, сеньор Стефани был приглашен по неофициальному предложению министерства просвещения, которое, возможно, попросили назвать несколько имен—он улыбнулся,—ведь дипломатические представительства вынуждены принимать во внимание... Сие довольно пространное объяснение навело моего друга на мысль, что в посольстве не раз возникали споры относительно списка приглашенных, а также вызвало у

него желание побольше разузнать о «нашем безвестном коллеге» — так мы в шутку окрестили сеньора Стефани. Как несколько позже признался мне Ороско, он немедленно достал пару книг, на чьих обложках и в самом деле красовалось имя Альберто Стефани.

— Ну и как? — с нетерпением осведомился я.

— Сам понимаешь, — рассмеялся Пепе.

Его смех лучше всяких слов говорил о том, как бессодержательны, глупо сентиментальны, ничтожны книги, которые Ороско молча протянул мне и с чьих страниц на меня пахло откровенной, тошнотворной пошлостью.

Мы еще неоднократно возвращались в разговорах к случаю в посольстве. Я осмелился высказать следующую мысль: очевидно, наше общество показалось тому субъекту столь же нелепым, как и он — нам. «Нет никакого сомнения, — рассуждал я, — что как писателя он себя воспринимает совершенно всерьез; он выпустил в свет несколько книг; между тем мы осведомлены о его произведениях не больше, чем он о наших. Но тогда почему же мы считаем...» Пепе придал моему скептическому замечанию гораздо больше значения, чем я сам, добавив:

— И потом, в посольство и нас и его пригласили как писателей.

Я заметил, что Ороско несколько встревожен, но насколько глубока эта тревога, понял лишь позже, когда мой друг, преодолев некоторые сомнения, поведал свою одиссею, полную опасений, тяжких сомнений и колебаний. Слава богу, к Ороско быстро вернулась былая уверенность в том, что далеко не любая рука в силах натянуть тугую тетиву большого искусства, и Пепе смог рассказать мне все с присущим ему добродушным юмором.

Это самое «все» заключалось в открытии неведомого и дотоле незримого литературного мира, по чьим извилистым тропам блуждал мой бедный друг несколько недель и где его ожидало множество находок, неожиданностей и приключений, над которыми теперь он с удовольствием смеялся. Уже знакомство со Стефани, «нашим безвестным коллегой», позволило Пепе впервые различить это неведомое царство, о чьем существовании он, да и мы тоже, даже не подозревал. Когда прошло первое, довольно *amusée*¹ впечатление от открытия, мир этот стал надвигаться все ближе, очертания его обретали ту тревожную ясность, какую порой обретает вдруг обнаруживший себя грозный заговор, до сих пор зревший во мраке глубокой тайны. В конце концов Пепе Ороско и вправду стал бояться, что литера-

¹ Занимательный, приятный (франц.).

турный заговор возобладает над законным писательским цехом, сомнет, подавит и уничтожит его. Короче говоря, Пепе начал подозревать, что общепризнанное писательское сообщество, то есть совокупность отношений, рангов, оценок, суждений и так далее, к которому мы все принадлежали и которое единодушно именовали «литературными кругами», на деле само могло оказаться неведомым и невидимым людям; и даже более того: оно могло оказаться преходящим, ничтожным, несуществующим, иллюзорным, пугающе призрачным — и при этом именно неведомым! — ибо все его отношения, ранги, оценки, суждения и так далее были неизвестны за рамками узкого круга наших *coteries*¹, в то время как обширная и многочисленная публика там, в большом мире, жила произведениями других авторов, которых мы не замечали скорее из сознательного презрения, чем по неведению. Так каким же образом мы, писатели, люди, обязанные быть зоркими и проницательными, оказались такими слепыми и не разглядели жизни, бурлившей у нас под самым носом, не собиравшейся ни скрываться, ни прятаться (по коей причине неправомерно называть ее заговором); жизни, которая сама заявляла, кричала о себе, выставляла себя на всеобщее обозрение? Но в таком случае возможно, что из-за чудовищного оптического обмана мы впали в невероятное заблуждение и, обитая в подвалах и клоаках, с презрением взираем оттуда на мир, полный воздуха и света и населенный низшими, с нашей точки зрения, существами. Или, используя менее отталкивающее сравнение: мы — тени или трепетные перевернутые отражения, повторяющие в воде облик тех, кто твердо ступает по земле.

Прежде всего Ороско обратил внимание, что министерство предложило посольству кандидатуру Стефани как весьма представительного писателя, каких и положено приглашать на подобные приемы. Пепе спрашивал себя, сколько же еще неведомых имен назвало министерство, сколько еще «безвестных коллег» присутствовало на празднестве, хотя никому не пришло в голову познакомить их с нами. Тут мой друг с улыбкой подумал, как непредсказуемы порой литературные вкусы и пристрастия дипломатов и что иногда достаточно быть зятем, кузеном, а то и просто приятелем жены какого-нибудь министра или генерального директора, чтобы тебя, никудышного поэта, самого заурядного журналиста, назначили на высокий и доходный административный пост, присудили официальную премию и пригласили на прием в посольство, где ты с гордым видом будешь представлять интеллигенцию страны; к такому положению дел давно привык-

¹ Кружки (франц.).

ли, и только дураки, которых, впрочем, не так уж и мало, могут заблуждаться на этот счет. Искусство, литература, разумеется, не те области, где государство и его чиновники достаточно компетентны. И лишь некоторая стихийность общественной жизни, ее капризы, как известно, могут приводить к тому, что одни ценности произвольно отвергаются, другие устанавливаются.

Однако эти здравые рассуждения утратили свое успокоительное действие на душу Ороско, лишь только мой друг спустя несколько дней спросил в книжной лавке Сантоса, куда частенько заглядывал, не завалалось ли случайно какой-нибудь книги Альберто Стефани, и сам Сантос Лопес, пристально взглядевшись поверх очков в бесстрастное лицо знаменитого писателя и странно обрадовавшись такому интересу, поспешно выложил перед Пепе четыре книги разного формата, а также вызвался достать, если угодно, «Зловещий квартал» и «Шелковое сердце», которые расхватали еще несколько месяцев назад, но, возможно, удастся раздобыть пару экземпляров, хоть и не последнего издания. «Неужели эти книги пользуются таким спросом?» — удивился Ороско. И хозяин лавки Сантос уклончиво и многословно, дабы не задеть самолюбия писателя случайным намеком на судьбу его собственных произведений (старый хитрый галисиец, хотя и был человеком необразованным, обладал определенной сметливостью), объяснил, что книги Стефани, по мнению знатоков весьма посредственные, не лишены, очевидно, некоторых достоинств, так как издаются большими тиражами и иногда переиздаются... Из четырех предложенных томов Пепе выбрал два, как раз те самые, которые я пролистал у него дома. Подобная популярность Стефани заставила Ороско несколько видоизменить утешительные рассуждения и, обличив политиков и чиновников, обличить также достойные всяческого осуждения пошлые вкусы безграмотной черни. Конечно же, за Альберто Стефани стоит целый легион популярных писак, сумевших обратить пустую болтовню, потертые острооты и нелепые страдания в звонкую монету. Но разве все это может называться литературой? Разве могут называться литературой бесчисленные радиоповести, сценки на рыночных подмостках, тексты песен, танго и болеро, душесипательные репортажи?.. Если так, то...

И все же, какими бы убедительными ни казались приведенные аргументы, сделанное открытие отняло у Ороско всю уверенность в себе; если отвернуться от официального признания, если добровольно пренебречь признанием и восторгами публики (а разве мнение правительства и народа не одно и то же в такой демократической стране, как наша?), то в чем же цель изящной словесности, каковы ее основа и польза? Может быть, это всего

лишь игра, и притом пустая игра, которую затеяла кучка праздных, незрячих, а возможно, и глупых людей и так увлеклась, что стала принимать себя всерьез?

В конце концов продукция Стефани и все подобные ей творения, выходявшие колоссальными тиражами, заставили Хосе Ороско, писателя с твердой репутацией, усомниться в том, что продажа нескольких тысяч экземпляров его собственных произведений является таким уж значительным успехом; книги Стефани превратились в глазах моего друга в некий символ, печальное свидетельство сильнейшего влияния на общество авторов дешевых, сенсационных репортажей; популярность «нашего безвестного коллеги» лишний раз говорила о внушительных суммах, которые зарабатывают киношники и радиописатели, и, что самое главное, о власти над умами и сознанием публики полчищ бумагомарателей, сотнями выпускающих низкопробные произведения и именно поэтому удачно попадающих в тон общей глупости. Рассуждая подобным образом, Пепе особенно удивлялся, что никогда раньше не обращал ни малейшего внимания на огромный и, как он теперь понимал, вездесущий, квазилитературный мир. Просто непонятно, как можно было жить, не сталкиваясь с этим миром на каждом шагу, как теперь... Конечно же, мы сами — увы! — творцы своего жизненного опыта, мы сами писатели и драматурги своей судьбы, каждый сам виноват в том, что с ним происходит. Пепе Ороско, уверенный в себе, гордый достигнутым успехом, вдруг именно в тот момент, когда на горизонте замаячили мирные пейзажи писательской зрелости, ни с того ни с сего погрузился в пучину тягостных сомнений, которые порой всерьез мучали его и мешали жить. А ведь началось все с нелепого случая! Так что если раньше Пепе обходил полным невниманием обширное царство человеческой глупости, где благоденствовало и цвело пышным цветом то, что он привык считать полнейшим ничтожеством, то теперь, в эти тревожные недели, полные терзаний, доверенных мне, только когда все осталось позади и вернулась былая уверенность, покой и веселость, в это тяжелое время, мой друг целиком, с почти болезненным интересом отдался исследованию враждебной империи. Впрочем, мало сказать — с интересом, волнение, иногда ужас, а чаще всего изумление сопровождали Пепе, и тем неотвязнее, чем более пошлой была глупость, более вопиющей бездарность, более очевидным ничтожество, царящее вокруг, пожинаящее бурные овации и дарующее власть немыслимым писателям того литературного лагеря, который он уже не осмеливался называть ни неведомым, ни призрачным, а именовал просто «другим».

Да, велики были тиражи, а с ними и прибыли Альберто Стефани, «философа чувств» — так называла его публика. Вскоре Ороско узнал из уклончивых, но велеречивых ответов того же Сантоса, что Стефани далеко не одинок и даже не является самым большим любимцем читателей; впрочем, успех писательской братии подобного толка вполне объясним, хоть очень неожидан и неприятен, но объясним. И он не самый существенный результат деятельности противоположного лагеря. Ведь остаются еще брошюры, которые Пепе видел (но не замечал) в киосках на каждом шагу; на обложках сих творений красовались размалеванные, прилизанные, тупейшие физиономии каких-то типов, являвшихся, вне всякого сомнения, мандаринами империи глупцов, знаменитые в своих владениях всякие там литовские и сирийские писатели, о которых он не имел ни малейшего понятия; остаются еще иллюстрированные, юмористические и спортивные журналы, вечерние газеты с их постоянными сотрудниками, чью писанину читают и любят тысячи и тысячи людей; остаются еще эстрадные драматурги, поэты, скетчисты, ежедневно потрясающие эфир своими передачами, заставляющими смеяться, плакать и переживать бесчисленное множество слушателей: писаки, стряпающие книжонки, которые увлекают, волнуют и питают воображение огромного большинства человеческих существ, трепетно следящих за судьбой персонажей — несостоятельных, нелепых, пустых — и отождествляющих себя с ними... Перед лицом сей горькой действительности глупо и смешно прятать голову в песок — особенно теперь, когда действительность эта заявила о себе так неожиданно и грубо.

Несомненно то, что обнаруженные факты — простые, ясные, выразительные — вдруг выбили почву из-под ног Ороско, дотоле уверенно ступавшего по стезе *homme de lettre*¹. И надо же так случиться! Именно тогда, в дни тягостных раздумий, на моего бедного друга свалился один из тех пренеприятных визитов, от которых Пепе не всегда удавалось отделаться: приходилось идти на уступки супруге и платить дань уважения родственным чувствам, участвуя в пошленьких мирных сборищах с их непременно сандвичами, кока-колой и традиционной рюмочкой хереса для дядюшки Родригеса, директора одного из филиалов Земельного банка, для вдовы инженера Ордуни, для самого Ороско и еще для нескольких почтенных родственников, тех самых, что, несмотря на всеобщее сопротивление, неизменно удаляются, едва молодежь заводит радиолу и устраивает танцы в патио. На этот раз, когда супруга Альвареса Сото осведомилась у

¹ Литератор, писатель (франц.).

Ороско, не оставил ли он свою должность курьера, а сам Альварес Сото, не дав Пепе и рта раскрыть, поспешил сообщить жене, что хозяин дома служит вовсе не курьером, а в редакции газеты «Курьер»; предприятию не менее значительном, чем любое министерство, мой друг вспомнил, что подобное заблуждение в прошлом году вызвало точно такую же дискуссию между супругами Альварес Сото и Хосе Ороско собственной персоной, только на этот раз, вместо того чтобы поморщиться, мысленно назвать супругов дураками—характеристика, подходящая, впрочем, ко всей благородной компании,—и обругать себя за то, что согласился прийти на вечеринку, Пепе, неожиданно ощутив нечто похожее на испуг, бросил на сеньору Альварес Сото, благожелательно взиравшую на него близорукими глазами из-за толстых очков, взгляд, в котором явно читалась робость. Все это он поведал мне, рассказывая о самом себе так, словно речь шла о постороннем человеке. И потом, в тот злосчастный вечер мой друг не воспользовался минутой, когда начались танцы, чтобы улизнуть, подобно прочим солидным членам семьи, а, напротив, к великому удивлению жены, не перестававшей втихомолку за ним наблюдать, взял да и уселся в углу, возле кадки с каким-то растением. И там, укрывшись ото всех, просидел довольно долго, не двигаясь, погруженный в смутные размышления о том, какой смысл имеют, да и имеют ли вообще смысл, муки творчества, и после жаркого спора с самим собой решил, что, вероятно, поддался обману, всеобщему обману, без сомнения разделенному его товарищами по перу, но от этого не менее досадному, и что все его так называемые заслуги—результат мелкой драчки, борьбы самолюбий вокруг ничтожных доходов, ради которых любой скромный служащий в конторе или в торговом учреждении не должен ни творить, ни потворствовать, ни притворяться. Взять хотя бы газету, где он служит,—разве это не торговое предприятие? И что общего имеет с литературой работа, требуемая от него в обмен на жалованье? В глазах, пусть близоруких, управляющего разве не является он обычным чиновником, с равным успехом могущим служить и курьером? Ну да, именно чиновником, и никем иным. Так воспринимали журналистскую работу почти все его товарищи по редакции: как обычную работу, трамплин, чтобы повиситься в послужном списке, выйти в большой свет. Им вместе со всеми своими книгами (Пепе, презиравший коллег, никогда не строил иллюзий на этот счет) он казался просто тщеславным, напыщенным выскочкой. «В те минуты,—признался мне потом Пепе, вдруг помрачнев,—я понял, что еще немного—и дойду до края; было даже как-то сладостно ощущать себя таким безнадежно пропащим». Ему вдруг

показалось, что образ солидного писателя Хосе Ороско — всего лишь видимость, что он самый обыкновенный неудачник, а вся его жизнь — чистейшей воды обман.

Скрывшись от глаз, вжавшись в угол за бочкой с комнатным растением, Пепе терзал себя горькими вопросами, когда вдруг, в довершение к прочим неприятностям, в дом с победным, торжествующим видом нагрянул некий обитатель литературного антимира, чтобы окончательно смутить, смять, попросту стереть с лица земли моего несчастного друга; так бледная лампада стыдливо меркнет при появлении дневного светила. Полосатый костюм, аккуратная прическа, щедро расточаемое, словно на показ, радушие — вновь прибывший был, простите на грубом слове, самым что ни на есть настоящим хамом; но, если говорить о границах между реальным и призрачным, разве можно отрицать существование субъекта, который вот так хохочет, прыгает, суется, крутится среди юнцов, едва ли не более живой и подвижный, повергает в блаженный трепет самых очаровательных женщин, наизусть знающих его сентиментальные творения, чьи вкрадчивые интонации они пытаются воспроизвести с большим или меньшим успехом; дамы не верят глазам своим, упиваясь восхитительным зрелищем, устроенным в скромном патио их кумиром, их незаходящей, сказочно прекрасной, недостижимо далекой звездой... До чего он тонкий, изящный, благоухающий, как просто держится со всеми, боже, как трогательно, до слез трогательно... Что вы, Хосе Ороско даже мечтать не мог о том, чтобы сравнивать себя, весьма сомнительного писателя, чья фигура соткана из зыбких черт, почти неуловимых оттенков, с вопиюще реальным субъектом, которого, однако, *in mente*¹ и беззлобно окрестил хамом.

Слава богу, никому не взбрело в голову представить этого типа Пепе Ороско; и когда какая-то дама, не принадлежавшая даже к числу родственников, попыталась исправить досадную оплошность, мой друг мягко, но весьма решительно остановил ее, умоляя воздержаться, так как он уже и без того слишком засиделся на этом восхитительном празднике, им с женой пора уходить, и желательно сделать это незаметно, дабы не прерывать всеобщего веселья...

Пепе поведал мне еще некоторые перипетии своего рискованного путешествия по преисподней литературы, где едва не погиб — возможно, из-за отсутствия проводника. По крайней мере он нередко сбивался с пути в темных закоулках этого чуждого мира, о котором говорил теперь весело и легко; так

¹ Мысленно (лат.).

человек, вставший на ноги после болезни, с улыбкой рассказывает, что недуг оказался вовсе не таким уж тяжким и не заслуживал стольких волнений. Болезнь Пепе достигла кризиса в момент встречи с хамом от литературы, которого толпа дураков носила на руках; именно в тот вечер депрессия стала невыносимой, но именно тогда же и началось выздоровление. Трудно сказать, что за неведомые, темные, неисповедимые пути привели к этому перелому. Конечно же, в ту ночь бедный Пепе не сомкнул глаз и в горестные часы бессонницы вновь и вновь погружался в темные бездны тоски по своей *gâtée, manquée*¹, одним словом, неудавшейся жизни, предавался бессильному отчаянию человека, вдруг осознавшего, что он стал жертвой надувательства; и заметьте, слово «жертва» никак здесь не подходит, ибо обманутый сам завлек себя в ловушку пагубного обольщения, в чем и заключается горькая насмешка, и ярость обманутого должна быть обращена только против себя самого. Ведь он впустую растратил прекрасную юность, энергию, талант, силу — неоценимые сокровища, — чтобы взамен получить конверт с пожелтевшими газетными вырезками: свою славу, никому не нужную в большом мире...

Но, как я уже говорил, на следующее утро началось выздоровление, и — так часто бывает после особенно тяжелых болезней — выздоровление чрезвычайно быстрое. За завтраком Пепе ощутил, что его мрачное настроение рассеивается под благотворными лучами утреннего солнца, которые лились в окно столовой; душа моего друга светлела от мысли (отнюдь, кстати, не новой и не оригинальной, но за все предыдущие дни ни разу не посетившей Пепе, чтобы указать ему спасительную лазейку), что достоинства произведения искусства измеряются вовсе не его популярностью и сиюминутным успехом, а благодарной памятью грядущих поколений; из чего следует, что можно подать потомкам апелляцию на современников, если твое творчество выдержало испытание временем и тем самым обеспечило тебе бессмертие.

Вот что говорил мне Пепе Ороско, и я полностью с ним соглашался, соглашался со всей горячностью. Мне так радостно было вновь видеть моего друга невозмутимо спокойным, безмятежным, видеть, что к нему вернулась та восхитительная уверенность в себе, которая позволила ему создать неоспоримо прекрасные творения... Постепенно наша беседа становилась все более общей и отвлеченной, и Пепе начал рассуждать, и довольно убедительно, относительно малой или вовсе ничтожной ценности

¹ Попусту растрченный, неудачный (франц.).

побед на литературном поприще—это Пепе, одержавший чуть ли не самые крупные из них. И тогда я, дабы удостовериться, что уверенность моего друга в себе вновь непоколебима, что все сомнения канули в Лету, принялся возражать ему:

— Все это, конечно, так; но скажи, чего ради ты, я, да и все мы стараемся публиковать книги, счастливы, когда нас читают, сердимся, когда не понимают? Почему овации звучат для нас сладостной музыкой?

Я-то хотел показать Пепе, что не сомневаюсь в его полном выздоровлении, что теперь можно беседовать с ним без прежних предосторожностей, подобно тому как с выздоравливающим начинают разговаривать нарочито грубоватым и непочтительным тоном, внушая тем самым уверенность в том, что опасность осталась позади. И потом, я до смерти люблю спорить и анализировать или, как утверждают некоторые, перечить нашему светилу. И светило мне ответило:

— Все это—противоречия творчества; если хочешь, могу признать, что и мне свойственны человеческие слабости. Однако труду моему они нисколько не вредят.

— Извини, пожалуйста,—продолжал возражать я,—но ни ты, и никто другой, не сможет убедить меня, что публикация написанного—всего лишь издержки литературной деятельности; напротив, мне кажется, что именно в этой публикации и кроется истинная цель этой деятельности. Согласись, нет смысла писать то, что никто никогда не прочтет. Даже потерпевший кораблекрушение, бросая бутылку в море, адресует своё послание другому, и делает это с тем меньшей охотой, чем больше существует вероятность, что другого, то есть вождя, адресата, не существует. Представь, что ты последний житель Земли; разве стал бы ты писать?

— Я писал бы для бога,—улыбнулся Пепе Ороско.

— Так, значит, ты пишешь, чтобы скрасить досуг господ? Я—нет, я пишу для людей из плоти и крови, грешных и смертных. И потом,—я сменил патетический тон на насмешливый,—не разделяю мнения императора-страдальца Карла V, будто бы испанский—язык, предназначенный для бесед с богом. А вдруг бог и вовсе неграмотный и читает только в сердцах?

— Что ж, такая позиция рискованна; никто не вправе утверждать, что Стефани, «наш безвестный коллега», не обладает сердцем лучшим, чем мы... Что же до тебя,—усмехнулся Пепе,—то ты, очевидно, пишешь из любви к господу для его чад. Для людей, да, но из любви к богу: из милосердия, ради которого ты трудишься неумолимо и непрестанно.

ИЗ КНИГИ

**«О ПОХИЩЕНИЯХ, НАСИЛИИ И
ПРОЧИХ НЕДОПУСТИМЫХ ВЕЩАХ»**



DE RAPTOS, VIOLACIONES Y OTRAS INCONVENIENCIAS

BARCELONA, 1966

Похищение

На своем великолепном мотоцикле он, словно метеор, влетел на сельскую площадь, остановился перед баром Анаклето и, предоставив машину любопытству вездесущих мальчишек, вошел внутрь выпить пива.

Давно уже это случилось, в будний летний день, около одиннадцати утра, когда в баре было мало народа. Анаклето налил пива, даже не взглянув на посетителя, и только потом, когда пригубил, разглядел его как следует и подумал: «Ну и птица!» Подумал так с удивлением и восхищением.

Несколько завсегдатаев, сидевших за столиком в углу у двери, тоже разглядывали его, удивленные и восхищенные его нарядом. Они слышали, как приблизился и смолк треск мотоцикла, и вскоре увидели, как он, твердо ступая, вошел в бар и заказал пиво. На нем были черная замшевая куртка, длинная и настолько приталенная, что ни вздохнуть, ни выдохнуть, великолепные брюки орехового цвета с кожаными вставками, высокие кожаные краги и блестящие ботинки. Ничего подобного видеть в те годы еще не доводилось, разве что в кино. Из своего угла они наблюдали, как он снял и положил на стойку бара белый шлем, как снял и положил в шлем шикарные перчатки, на перчатки — огромные зеленые очки, после чего левой рукой, на которой красовался перстень, поднял бокал с пивом, жадно отпил, а потом вытер оставшуюся на усиках пену носовым платком в полоску.

Сидевшие за столом прервали беседу и наблюдали. Один из них встал, чтобы незаметно взглянуть на мотоцикл. Машина, блестя на солнце, стояла, облепленная роем мальчишек. На

сиденье двумя ремешками был прикреплен симпатичный чемоданчик.

Между тем вновь прибывший обратился к Анаклето с вопросом:

— Вы ведь Анаклето?

— Конечно, Анаклето,—ответил ему тот и в свою очередь поинтересовался: — Проездом здесь, а?

— Нет, почему же проездом. Насовсем. Вы меня не узнали? А вот я вас помню. Я Висенте де ла Рока.

Он сказал, что родился здесь, в этом селении, и вся его родня отсюда—семейство Рока, не помните? Так вот он племянник того Педро де ла Рока, который во времена Республики стал алькальдом, а потом—известное дело. Из его родни никого уже, наверное, не осталось, но он точно родился в этом селении и здесь вырос. Вот только его матери, так уж случилось, пришлось уехать, все переехали в Валенсию, а из Валенсии в Барселону. Но он не каталонец, конечно, вовсе нет. У него чувствуется каталонский акцент? Может быть, пристал. Хотя в последнее время он был за границей—работал в Германии. Надо сказать, Германия—вот это да, страна что надо. Его мотоцикл немецкого производства, если бы только вы видели, как он мчится по шоссе. Отличная машина.

Парень был симпатичный, общительный, очень даже симпатичный был парень. Вскоре он беседовал уже не только с Анаклето, но и с сидевшими за столиком. Он подключил их к разговору, пожелал всех угостить. «Хоть кто-то из вас должен же вспомнить обо мне или о нашей семье!» Неужели никто не припоминает? Да, нашелся кто-то, кому его лицо показалось немного знакомым. А другой, Техера, Патрисио Техера, некоторое время спустя даже стал уверять, что среди мальчишек, помнится, был такой Висентико, Висенте Рока и, конечно же, это он самый и есть. «Вот видишь? Ну конечно, это я!»—возликовал вновь прибывший. Остальные наблюдали и ничего не говорили. Анаклето, старше всех по возрасту—сидевшие за столом были молодые ребята, как и Висенте,—подтвердил: «Да, да. Точно». (А почему бы, в конце концов, всем этим байкам не оказаться правдой?)

— Так, значит, насовсем.

— Да, конечно. Правда, в Германии заработки хорошие, это бесспорно. Но, с другой стороны, какой мне прок, я вас спрашиваю, от этих денег, если я не могу делать, что мне заблагорассудится? Нет, не то чтобы в Германии плохо жилось, о чем говорить. Но спустя какое-то время возникает желание вернуться и посмотреть, как тут идут дела. Испания остается

Испанией, черт подери. В Испании жизнь слаще, здесь скопил самую малость, а удовольствие получаешь большое. А уж что касается еды, господи, тут вообще никакого сравнения. Да будь Германия развита сколько ей угодно, но разве там угостят таким шашлыком, как в Кантимпалос, или паэльей¹!... Дорогая моя Испания! Чтобы работать и зарабатывать деньги, Германия хороша, это верно, но... Кстати, должен вам сказать, что управляющий фабрикой не хотел меня отпускать и даже взял с меня слово вернуться туда, если я еще раз захочу покинуть любимую родину в поисках презренного металла.

И так далее.

Нескончаемая песня. Язык у парня был подвешен хорошо. Он подошел вместе со всеми к дверям бара, чтобы показать мотоцикл, и предложил Патрисио Техере разок-другой прокатиться. Он умеет водить мотоцикл? «Это очень просто, уверяю тебя». Он сразу же подружился с Патрисио. Да и с другими, правду сказать, тоже, парень он был симпатичный.

Он спросил, где можно подыскать удобное жилье и чтобы оно не встало ему слишком дорого, «я ведь все-таки не наследный принц, а кроме того, больше чем на несколько дней отели не годятся», отелями он уже сыт по горло. Ну, так что они ему порекомендуют?

Они переглянулись и решили обратиться за помощью к Анаклето: хозяин бара был дока во всем. После некоторого раздумья тот позвонил свояченице, вдове своего брата Димаса, донье Леокадии, которая в настоящее время, пока сын служит в армии, располагала одной свободной комнатой. И таким образом все было улажено в один миг.

— Великолепно! Огромное спасибо. Спасибо всем. До свидания.

Надев шлем, очки и перчатки, Висенте сел на мотоцикл, посадил с собой рыжего шустрого паренька, чтобы тот показал ему дорогу к дому доньи Леокадии, с ревом сорвался с места и, преследуемый роем мальчишек, скрылся за углом.

Минуту спустя другой юноша, Фруктуосо Триас, спросил Техеру:

— Слушай, Патрисио, ты вправду вспомнил его или сказал просто так?

— Да знаешь, мне кажется...—замаялся Техера.

Но Анаклето оборвал его:

¹ Испанское национальное блюдо, характерное для Валенсии; готовится из рассыпчатого риса, кусочков мяса, рыбы, овощей и приправ.

— Вспомнил, парень, вспомнил.

И больше из него ничего нельзя было вытянуть. Этот Анаклето был несловоохотлив.

Все заговорили:

— Мотоцикл у него, конечно, штука что надо.

— Еще бы.

— И все, что на нем надето, тоже. Где ты здесь найдешь такое?

— Ведь вот за границей любой бедолага, последний чурбан может себе позволить такие выверты.

— Но не видно, чтобы у него было много багажа.

— Какой там багаж. Все, что у него есть, на нем. Здесь это, конечно, впечатляет. Но я говорю, что в Германии нынче любой...

— Ну уж нет, преувеличивать тоже не надо.

— Это не преувеличение. Неделию назад...

И так далее. Они заспорили. А потом, когда после полудня компания распалась и они разошлись по своим домам, кто больше, кто меньше, но каждый уносил в душе легкое раздражение, смешанное с презрением, по отношению к этому типу, который с такой помпой ворвался в их жизнь, но который наверняка был голодранцем. Разве он сам не объявил об этом? Со всей своей непосредственностью. Он был простым рабочим, и только. Что в Германии высокие заработки, все об этом знают. Но рабочий и есть рабочий, с каким бы оглушительным грохотом он ни ездил на мотоцикле, сколько бы ни кичился очками и перчатками. Они здесь не тратились на такие дешевки, слава богу, но у всех, у кого больше, у кого меньше, как говорится, машина была не пустая. А если это и не совсем так, то вот возьмем, к примеру, Фруктуосо Триаса. Он хоть и невзрачный, а уже компаньон своего отца, имеющего плавильню и мастерскую сельскохозяйственных орудий. Или вот Патрисио Техера. Он своими собственными усилиями стал хозяином кинотеатра и акционером цементного завода, а ему ведь нет еще и тридцати. Или Анисето Гарсия Диас—он распорядитель в филиале банка; или Обдулио Альварес—владелец механической мастерской; и даже курносый Себастьян, который со своим носом с куриное яйцо, хочешь не хочешь, а... Да тот же Анаклето, зачем далеко ходить за примером, хотя уже не молод... И никто ничем не чванился, не кичился и никогда бы так не выпендрился. А эта птица, поди ж ты: и тебе усы, и тебе краги! Правда, выходить из трудного положения парень умеет, ничего не скажешь.

Да нет, этот Висенте де ла Рока действительно умел расположить людей. Уже вечером, вечером того же самого дня, освежен-

ный и отдохнувший, он вновь явился собственной персоной в бар на площади, на сей раз красуясь в клетчатом пиджаке кофейного цвета, черных брюках и ярком галстуке. Громко поблагодарив хозяина бара за любезность, которую тот ему оказал, подыскав столь приятное жилье (донья Леокадия была добрейшая женщина, воистину очаровательный человек), он завязал разговор теперь уже с другой группой посетителей, среди которых успел заметить двоих из тех, что были в компании утром. У Анаклето он выяснил кое-что, что ему необходимо было знать: можно ли в случае надобности достать здесь, в селении, батарейки для его транзистора? Это был портативный радиоприемник «Грюндиг» последней модели, лучшее, что делают в Германии. Они не видели последнюю модель портативного приемника «Грюндиг»? Ну конечно, где же было им увидеть, если его только что выпустили. Жаль, что не захватил, но завтра он его обязательно принесет и покажет всем с превеликим удовольствием: чудесная вещь, сами увидят.

В общем, Висенте де ла Рока сумел завоевать симпатии и благосклонность всего селения. Его признали хорошим парнем, может быть, немного фанфароном, но все-таки хорошим парнем, и даже те, что были посдержаннее или недоверчивее и продолжали относиться к нему с подозрением, не имея ничего против, оставляли при себе свои сомнения и скрывали и быстрые взгляды, и покачивание головой, и другие неодобрительные жесты. Между тем вновь прибывший очень естественно влился в группу молодых людей, причем, правду говоря, не того уровня, который, казалось бы, ему, как рабочему, больше соответствовал. Как с самого его приезда мы могли видеть, он начал общаться с лучшей частью молодежи.

С другой стороны, вряд ли можно было ожидать другого. Во-первых (об этом стоит сказать), хотя никому не нравится ворошить прошлое, да и ни к чему это, факт остается фактом: семья, из которой, по всей видимости, вышел этот блудный сын, занимала в селении приличное положение, намного лучшее, чем положение некоторых лиц, процветающих и могущественных ныне благодаря везению, заслугам, таланту или чему-нибудь другому, но выходцев из самых простых семей. Правда, этим соображениям не следует придавать чрезмерное значение. Кто сейчас придает значение таким соображениям? А если речь идет, как в данном случае, о приятном молодом человеке, общительном и непосредственном, о юноше, повидавшем мир и посему имеющем что рассказать, обладающем, по всему видно, достаточными средствами, чтобы отблагодарить за внимание и одеваться со вкусом, что же, он должен был сойтись с батраками и со всей

этой братией? Кроме того (надо признавать реальности времени, в котором живешь), квалифицированный рабочий, получивший профессию не где-нибудь, а в самой Германии,—это почти техник, и даже не почти, это, считай, инженер. А что касается заработка... Возможно, средств этому самому Висенте хватит ненадолго. Скоро все узнают, велики ли его ресурсы. Было даже наиболее вероятно, что в один прекрасный день ему придется вернуться туда, откуда он явился на своем пресловутом мотоцикле. Так что же? Если парень захотел преподнести себе подарок в виде отпуска и получить удовольствие, вновь побывав в том селении, где он мальчишкой гонял собак, немного покрасоваться здесь и развлечься, а когда все спустит, раз—и снова рвануть в Германию, что в этом плохого, кому он мешал? Каждый понимает жизнь и удовольствие получает по-своему. Не все должно заключаться в накоплении денег, чтобы, проведя молодые годы в трудах и заботах, в конце концов... Во всяком случае, наш герой был не из таких. Он часто заявлял об этом во всеуслышание, и кто знает, может, он был и прав, черт подери.

«На мой взгляд,—возглашал он,—на мой взгляд, деньги сделаны для того, чтобы они обращались; так надо тратить их и получать удовольствие, разве не так? Вот что я вам скажу: зачем это нужно—работать всю жизнь, пока не испустишь дух, и разве это жизнь, если ты хоть изредка не можешь гульнуть?» Он улыбался с победоносным видом, довольный сам собой, и, когда кто-нибудь хотел узнать, как живет в Германии, где все должно было быть столь непохожим на местную жизнь, он немного медлил и потом, махнув рукой, с довольным и снисходительным видом принимался рассказывать.

Очень скоро его лучшим другом, его наперсником стал Патрисιο Техера. «Тебе это покажется странным, Патрисιο,—говорил он,—и действительно это странно, но в первый же раз, когда мы с тобой увиделись,—помнишь, когда я приехал на мотоцикле и зашел в бар выпить пива, так как умирал от жажды, а ты был там с другими?—в этот самый момент я понял, не знаю почему и как, что мы с тобой станем друзьями. А ведь, признайся, ты тогда смотрел на меня несколько презрительно, как бы говоря: «Ну и пижон!» Не спорь, сначала я произвел на тебя скорее плохое впечатление, чем хорошее, но, несмотря на это, не могу сказать почему, я тут же понял, что мы подружмся. И вот, видишь, так оно и вышло. Многое из того, что я тебе говорю, я бы не рассказал никому. Тебе я это рассказываю потому, что знаю: ты поймешь правильно и не подумаешь плохо. А думаешь, к примеру, из всего того, что я тебе только что

рассказал, другие не выудили бы чего-нибудь против меня? Из зависти, понимаю, но тем не менее...»

Этот упомянутый им рассказ, правдивый или придуманный или, что более вероятно, почти правдивый, но украшенный блестками преувеличения и отороченный выдумкой, был одной из многих историй о его жизни в Германии, рассказанных Патрисио, «чтобы тот узнал, какие там люди». Если верить ему, в последнем доме, где он жил перед самым отъездом в Испанию в ежегодный отпуск, две женщины в семье хозяев, мать и дочь, не могли его поделить между собой и боролись за него с глухим упорством, а отец и муж ни о чем не догадывался или же, если и догадывался, поди узнай, предпочитал не подавать виду. И ситуация была тем более комичной, что иногда принимала вид абсурдной пантомимы, поскольку он, Висенте, знал по-немецки всего несколько слов, едва хватавших, чтобы объясниться в повседневных делах. «И вот представь себе, что однажды... Я уже стал примечать: взгляды, забота, внимание, какое-нибудь специальное угощение, обе, соревнуясь друг с другом,—тебе не надо говорить, каковы эти женщины, когда им в голову взбредет какой-нибудь каприз. А я что, я, конечно, только «danke schön» да «danke schön»¹. А что я мог еще сказать, только «danke schön» и «sehr gut»². Так вот, как я тебе говорил, однажды...»

Дочь, конечно, производила впечатление: это была дородная блондинка. Но его уже поставили в известность: один приятель, который порекомендовал его на постой, предупредил, что эта самая Элиза развлекалась со всеми без разбору; но, правда, когда он поселился у них в доме, она позабыла и думать бегать за кем бы то ни было и направила все свои помыслы на то, чтобы его, этого новенького испанца Висенте де ла Рока, окрутить, и даже, как можно предположить—ведь все женщины такие фантазерки,—с матримониальными целями. И давай она его обучать языку, да с каким невероятным терпением! И давай приглашать на прогулки за город! Этих немцев загород с ума сводит; они готовы, несмотря на весь тамошний туман и пронизывающую до костей сырость, растянуться на траве и лежать хоть бы что. Но его не проведешь, нет, он стреляный воробей.

Однако и мать ее была совсем недурна: невысокого роста и, конечно, в годах, но с таким самомнением старуха! Ну и, конечно же, тоже души не чаяла в этом испанце Винценте. С утра, едва дочь уходила на работу (Элиза работала в перчаточной мастерской), фрау Шмидт была уже тут как тут—не нужно ли чего ему,

¹ Большое спасибо (нем.).

² Большое спасибо. Очень хорошо (нем.).

и, пока молодой постоялец в спешке заканчивал бриться, боясь опоздать на заводской автобус, она садилась на край его неприбранной кровати и принималась без умолку болтать, хотя он почти не мог ей отвечать—потому, в частности, что почти ничего из ее болтовни не понимал. И потом вечером именно она подавала ему что-то вроде ужина, как они там привыкли, и, словно заботливая и внимательная нянька, не отходила от него ни на шаг до самого конца ужина. По этому поводу мать и дочь не единожды цапались, а однажды они даже перешли на крик и возникла целая свара, которую, к счастью, властно и решительно пресек герр Шмидт, разгневанный тем, что ему помешали слушать по радио концерт. Это становилось не просто неприятно, но уже невыносимо. «И однажды дело дошло до того, что я понял—надо выбирать: или мать, или дочь, или решиться удовлетворить их обеих. И я подумал, что последний выход, при всех его неудобствах, возможно, был бы наименее безболезненным, так как, выбери я дочь, кто знает, какой скандал могла бы устроить старуха (наверняка она бы постаралась отомстить мне и заставить жениться на Элизе), а если бы, напротив, я предпочел ее, то Элиза тоже ведь была не из тех женщин, которые смиряются и помалкивают в тряпочку. В глубине души я не чувствовал никакого желания быть втянутым в такую передрагу, и если хочешь, Патрисию, правду, то женщины не стоят того, чтобы из-за них... Ты меня понимаешь? Я никогда не мог понять одной вещи: откуда берутся люди, позволяющие женщинам себя облапошить. Несмотря ни на что, некоторые так и не усваивают урока: женщины приносят им одни неприятности, но они, едва отделившись от одной, уже ищут другую. Что касается меня, то мне удалось счастливо избежать ловушки, которую они вдвоем, мать и дочь, расставили. В общем, оставалось только три недели до моего отпуска, не могло быть и речи о перемене местожительства со всеми объяснениями, которые мне пришлось бы давать, с предварительным предупреждением и т. п. Так что я просто стал по утрам пораньше уходить из дома вместе с Элизой, а поскольку остановка ее трамвая была в другой стороне от остановки моего автобуса, то— «Пока, до свидания! Aufwiedersehen!». А субботы и воскресенья я проводил вне дома—либо на экскурсиях с кем-нибудь из приятелей, либо в пивной. Таким образом я выскользнул из лап этих фурий и снова стал дышать свободно. Может, женщинам кажется, что кому-то очень нравится, что за ним бегают! Но со мной это у них не выйдет—я их слишком хорошо знаю. Все это я рассказал тебе, Патрисию, для того, чтобы ты понял, какие они, и чтобы ты не дал себя обмануть, потому что здесь, в Испании, они действуют более замаскированно, и,

следовательно, оказывается труднее раскрыть их замыслы».

— Видишь ли, Висенте, подобные вещи происходят везде, — ответил ему Патрисιο Техера. — Ты, конечно, поступил как настоящий рыцарь, но, пока ты рассказывал эту историю, я все время думал об одном случае, который произошел аккурат здесь не более двух лет тому назад. Это был грандиозный скандал. Случай очень похожий, тоже мать и дочь, только...

И он рассказал такую историю. Это были хотя и скромные, но весьма порядочные, пользовавшиеся уважением люди. Мать, овдовевшая много лет тому назад, никогда не давала поводов для разговоров, а что касается дочери, то это была девушка с хорошими манерами, воспитывавшаяся у монахинь. И когда Ромуальдо, отличный парень, парикмахер, которого все знали и ценили, стал ухаживать за девушкой и в конце концов женился на ней, все решили, что он поступил правильно. Со всех точек зрения это был подходящий, разумный брак. У вдовы был свой домик на углу улицы, и это место как нельзя лучше подходило для того, чтобы Ромуальдо открыл там свою собственную небольшую парикмахерскую. Итак, молодые женились, и все, казалось, шло великолепно. Молодая жена, никогда не бывшая уродкой, расцвела, как цветы на лугу после дождя, чему причиной, без сомнения, было внимание всегда изысканного Фигаро, который своим обхождением совсем вскружил ей голову. Так было до тех пор, пока однажды ночью... Это ужасно, бедная девочка! В полусне она почувствовала, что он встал с кровати и вышел — наверное, подумала она, по срочной нужде. Однако через некоторое время ей показалось, что он уж слишком задерживается, и, опасаясь, что он захворал, она тоже поднялась и пошла проверить, не случилось ли с ним чего. Не найдя его ни в туалете, ни на кухне, она заглянула в спальню матери. Каково же было ее потрясение, когда она увидела их, тещу и зятя, предающихся утехам в кровати! В чем была, в одной рубашке, с громкими воплями бедняга выбежала на улицу. В общем, она как будто помешалась и сейчас, говорят, совсем опустилась и пошла на панель не то в Мадриде, не то в Барселоне. Ну как-во, а?

— Ужас какой! — воскликнул Висенте. — А я тебе что говорю? И еще находятся такие, которые верят женщинам! Мать совершает немыслимую мерзость — и дочь пускается во все тяжкие. Вот я тебе и говорю: все они одинаковы.

— Ну, это не так, не надо преувеличивать, понимаешь? Что в некоторых из них сидит сам дьявол, это всем известно, но зато, если женщина порядочная...

— На всякий случай лучше не верить никому,— настаивал на своем другой.— Что до меня...

И тогда, поскольку они стали уже исповедоваться друг другу, а также, может быть, для того, чтобы его новый друг был осторожнее в речах и не ляпнул бы что-нибудь ненароком, Техера сообщил, что он, напротив, считает благословением неба, если сумеет найти женщину, достойную разделить с ним тяготы жизни, и что он как раз очень интересуется девушкой, замечательной во всех отношениях, интересуется настолько, что готов, как только она захочет, обручиться с ней и жениться.

— Наконец-то, дружище!— сказал Висенте и хлопнул его по спине.— А я все ждал, когда ты мне это расскажешь, чтобы убедиться, что ты мой настоящий друг. Ты что, думаешь, я не знал? Об этом все знают. Эта девушка— дочь Мартинеса Альвара, так ведь? Об этом знают все... Ну ладно, теперь скажи мне, она остановила свой выбор в конце концов на твоей кандидатуре?

Все в селении знали об этом, даже только что приехавший Висенте де ла Рока. Патрисио Техера и Фруктуосо Триас, два хороших друга и, без всякого сомнения, два наиболее обеспеченных молодых человека в здешних местах, уже давно ухаживали за Хулитой Мартинес, которая, помимо того что являлась единственной дочерью и наследницей приличного состояния, сама по себе была самым очаровательным созданием на земле. Еще почти девочка— ей недавно исполнилось восемнадцать,— изысканно образованная, она одевалась исключительно в столичные наряды, за которыми ездила с матерью два раза в год, и, конечно, только Фруктуосо Триас или Патрисио Техера могли осмелиться взглянуть на нее открыто, не украдкой, как остальные. А она, уверенная, что любой из них будет хорошо принят в семье, никак не могла решить, кого из них выбрать, и водила обоих за нос, давая завистникам повод прозвать ее гордячкой и кокеткой.

— Нет,— мрачно признался Патрисио,— она еще не сделала выбора, но, по некоторым признакам, одному мне ведомым, у меня есть надежда, что, когда, по ее мнению, наступит час выбора избранника, этим счастливец буду я, и никто другой. Просто она еще слишком молода и не спешит брать на себя обязательства, и хотя это мне досаждало, но тем самым она подтверждает свою осмотрительность, а может быть даже, зная, что мы с Фруктуосо такие большие друзья, ей не хочется отказать бедному Фруктуосо, вылив тем самым на него ушат холодной воды и лишив всякой надежды.

— Мне было бы очень жаль, если бы это разочарование

постигло тебя, и, чтобы избежать его, самое лучшее — не питать таких иллюзий, потому что в конце концов они ничего не стоят.

— Тебе легко говорить, ведь ты не заинтересованная сторона в этом деле, да и не знаешь ее.

— Знать-то ее я знаю, хотя пока еще ни разу не говорил с ней, но на днях я видел ее в кино, и мне тут же со всех сторон сообщили, кто это и все остальное. Конечно, я хвалю твой вкус, и только слепец мог бы отрицать, что это чудесная девушка. Без всякого сомнения, она очень красива, даже, если хочешь, слишком красива, для меня во всяком случае. Женщины, которых все восхваляют, в конце концов уверуют в свои чары и становятся невыносимо надменными, а когда по прошествии некоторого времени посмотришь на них...

— Это не так, Висенте. Должен тебе заметить, что ты говоришь понаслышке. Или ты думаешь, что я такой легкомысленный и бездумный человек, что способен влюбиться в красивую пустышку?.. Не красота и даже не деньги главное, когда речь идет о том, чтобы жениться, это значит, на всю жизнь. Я хотел бы, чтобы ты это понял, дружище... Но как ты это поймешь, если ты ее не знаешь, только раз видел? Вот когда узнаешь, тогда скажешь. Сделать это очень просто, при первом же удобном случае я тебя познакомлю с ней, и ты выскажешь мне свое мнение.

Первый удобный случай представился в тот же день. В селениях люди встречаются на каждом шагу, а Патрисию страсть как хотелось доказать своему другу, сколь разумен был его выбор. Ему даже пришло в голову попросить друга, чтобы тот, испытывая характер Хулиты, следил за каждым ее жестом, когда в беседе они заговаривают о Патрисии, что было почти неизбежно и логично вначале, поскольку именно он их познакомил. Их беседа наедине длилась с добрый час. Кому не любопытно узнать что-нибудь новенькое от приезжего? Патрисии отошел от них под предлогом, что ему надо что-то кому-то сказать, и издали, находясь в группе приятелей (конечно же, там был Фруктуосо Триас и еще двое, а сцена происходила в вестибюле кинотеатра), украдкой наблюдал за Хулитой, которая была очень оживленная, как и Висенте, которому, похоже, девушка понравилась. А как она могла ему не понравиться, если это чуждое существо было неоспоримым центром всеобщего восхищения, если это было украшение селения, если все...? А ей приезжий, видимо, показался занятым, потому что все видели, как пару раз она от всей души смеялась. Так ведь, сказать правду, этот самый Висенте был очень обаятельный, из тех людей, которые обладают даром мгновенно завоевывать симпатии, и Патрисии было очень

доволен тем, что познакомил его с Хулитой. Ведь все равно не сегодня завтра его познакомили бы с ней. А так он сможет как бы невзначай замолвить словечко за своего друга и тем самым сослужит ему хорошую службу. Потому что, несмотря на самоуверенный тон, с каким Патрисио высказывал свою уверенность в том, что именно ему достанется желанный приз в любовном поединке с Фруктуосо Триасом, в душе он, видимо, не был столь уверен, да и не было у него для этого оснований, потому что оспариваемая красавица пока что не выказала ясно своей благосклонности ни к одному из соперников.

Когда наконец Висенте вроде бы собрался самым изысканно-вежливым образом расстаться со своей новой знакомой, Патрисио подошел к ним и, конечно же, едва дождался, когда они останутся вдвоем с другом, чтобы попросить того рассказать не только свои впечатления, но слово в слово всю беседу, которую он только что вел с Хулитой. Впечатления, нечего говорить, были самые наилучшие, как и предполагал Патрисио; но над чем это она так хохотала, что ей рассказывал Висенте? Сначала Висенте не мог припомнить, но потом вспомнил: «Ах, да! — и тоже расхохотался. — Это как раз в отношении тебя, дружище. Я рассказывал твоей Дульсинее о страсти в твоей душе и как ты вздыхаешь по ней».

— Сам понимаешь, — добавил Висенте, — я не мог сразу же углубляться в это дело, надо было придать всему этому шутиливый характер. Но я постарался оставить вопрос открытым, чтобы вернуться к нему, как только сочту это разумным.

Патрисио Техере это понравилось. Но он упорно настаивал на том, чтобы друг рассказал ему все детали, повторил каждое слово из его беседы с Хулитой; и надо признать, к чести Висенте, что он с чрезвычайным терпением старался удовлетворить любопытство и успокоить страждущую душу влюбленного, снова и снова восстанавливая всю беседу и пытаясь воспроизвести, может быть с отдельными неточностями, слова девушки.

— Ну ладно, в общем, скажи, — наседал на него Патрисио, — разве я был не прав, когда говорил, что моя Хулита — исключительный случай, что стоит ей только открыть рот, как сразу же видны ее ясный ум и скромность, удивительные для ее возраста, разве я был не прав?

— Стой, остановись, приятель. Прежде всего, мне кажется, что одной двухминутной беседы с любым человеком, тем более противоположного пола, недостаточно, чтобы понять, что он собой представляет. Это во-первых. Теперь, с учетом этого обстоятельства, я тебе уже сказал, что мое впечатление совсем неплохое. Но дело не в этом, Патрисио. Послушай меня

внимательно. Я никогда не настраивал тебя против этой девушки, я ведь только-только с ней познакомился! Я предостерегал тебя и продолжаю предостерегать о лживой сущности всех женщин, которые в лучшем случае лишают мужчину спокойствия и покоя и отравляют ему жизнь заботами и ревностью.

— Да, это немного огорчает, я не спорю, но эти маленькие огорчения настолько связаны с блаженством, что в действительности делают наслаждение более полным, и оно никогда не надоедает,— был его ответ.

Висенте разозлился.

— Ну ладно, дружище. Я тебе больше ничего не буду говорить. Живи своим умом. Бог с тобой! Я сам виноват, что лезу туда, куда меня никто не просит.

Тогда Техера поостыл, так как меньше всего он хотел рассердить своего друга.

Прошли дни и даже недели, в селении не происходило ничего особенного, что могло бы дать пищу для постоянно алчущего воображения людей, для пересудов в компаниях. Но однажды в воскресенье поутру неожиданно — р-раз! — разорвалась бомба — селение облетела сенсационная новость: этим утром исчезли Висенте де ла Рока на своем мотоцикле и единственная дочь дона Лусио Мартинеса, Хулита. Ее исчезновение, к ужасу всего семейства, было обнаружено, когда постучали в дверь ее комнаты, чтобы позвать к завтраку, поскольку приближалось время идти к заутрене, но в комнате никто не отозвался. Чудо-птичка вылетела из клетки. И, как выяснилось после соответствующей проверки, унесла под крылышком все свои драгоценности — а они были отнюдь не дешевые и немалые числом, — а также огромную пачку денег, вынутую неизвестно как из запертого отцом на ключ ящика письменного стола. Хотя она не оставила ни письма, ни записки с объяснением своего бегства, очень быстро были связаны друг с другом оба таинственных исчезновения и сделан вывод, что Хулита бежала из дому на сиденье мотоцикла Висенте.

Надо ли говорить, какой разразился скандал! Не могло быть и речи, чтобы его замять или приглушить. Заработали телеграф и телефон, были приняты все меры, и при всем при том только в понедельник к полудню, после стольких ужасных часов, в течение которых все селение жило в возбуждении и волнении, переходивших у наиболее заинтересованных лиц в тревогу и

отчаяние, поступили наконец сведения о беглецах. То есть по крайней мере о ней. Власти с принятой в таких случаях осторожностью сообщили сеньору Мартинесу Альвару, что его дочь обнаружена в гостинице в городе Фигерасе. Туда и отправился, не медля ни секунды, бедный отец.

Несчастливая Хулита! Едва увидев в дверях того, кто ей дал жизнь, она, побелев от страха, бросилась ничком на кровать, зарылась лицом в подушку, насквозь промокшую от ее слез, и зарыдала, содрогаясь всем телом. Больших трудов стоило оторвать ее от этого прибежища и убедить рассказать все, что с ней произошло. Этот ее рассказ, прерываемый вздохами и всхлипами, в основном совпал с теми показаниями, что дала полиции хозяйка гостиницы: парочка молодых людей подъехала на мотоцикле к ее заведению поздним вечером в воскресенье, и он попросил, чтобы им показали свободную комнату. Посоветовавшись с девушкой, узнав цену и другие детали, он выбрал ту самую, где отец нашел свою дочь на следующий день и где накануне парень попросил девушку подождать его немного, пока он заполнит регистрационные карточки и заодно посмотрит, что там с мотоциклом. Однако вместо этого он сел на мотоцикл, рванул с места... и до сегодняшнего дня не возвращался.

Видя, что он задерживается, Хулита сначала разозлилась, потом начала недоумевать, а вскоре недоумение переросло в беспокойство. Она спустилась в холл, спросила о нем у хозяйки, и они обсудили несколько предположений: может быть, он поехал поставить мотоцикл в какой-нибудь гараж, чтобы на следующий день рано утром его починили; а может, поехал купить газету или сигареты да заплутался; а может быть, ему пришло в голову... Кто его знает!

— У вашего мужа нет знакомых в Фигерасе? — подозрительно спросила старуха. Она еще раньше окинула Хулиту пытливым неприязненным взглядом, как непонравившуюся вещь.

— Думаю, нет, а впрочем... кто его знает! Может быть, так вот вдруг на кого-нибудь и наткнулся. Но что это вдруг ему взбрело в голову? Все это очень странно...

Все это было очень странно, и тем более, чем больше времени проходило с того момента, когда Висенте завернул за угол — и был таков.

— Ну что ж, единственное, что остается, — это набраться терпения и ждать, — здраво рассудила несчастная Хулита, когда протекли долгих два часа. — Терпение — и продолжать ждать.

И, чувствуя спиной пристальный взгляд хозяйки, она поднялась в свою комнату и заперлась в ней, не пожелав ничего поесть и даже выпить кофе, как предлагала ей сеньора. До кофе

ли было бедняге! Одна в своем номере — излишне говорить, что она всю ночь не сомкнула глаз, да и не могло у нее быть такого намерения, девушка даже не ложилась на кровать, — она постаралась собрать остатки сил и, сконцентрировав на этом всю свою волю, принялась обдумывать свое положение. Она вдруг вспомнила, что этот негодяй под предлогом большей сохранности забрал у нее деньги и сумку с драгоценностями. Все было в его руках. Если он не вернется... Но как же он может не вернуться? Каждый шум: хлопанье двери, разговор, шаги на лестнице — заставлял сжиматься в ожидании ее сердце, ей казалось, что вот-вот он появится в дверях, и она представляла его себе то пьяным и бормочущим извинения, то раненым и бледным, а то, наоборот, бесстыже веселым и беззаботным, старающимся обратить в шутку свой подвиг. Так или иначе, он должен был вернуться. Как он мог не вернуться? Ей казалось невозможным, чтобы он оказался таким подлецом... А может, это был случай потери памяти, как показывают в кино? Может быть такое? Нет, на это было не похоже, какая глупость, это бывает только в кино. А вот подонков, законченных подонков, в реальной действительности полным-полно, и бедняги те дуры, которых они обманывают. То, что случается с другими, могло произойти и с ней, хотя она и считала себя умной. А кто не считает себя умным? А до нее не раз доходили слухи о Висенте, которые она и слышать не хотела, считая их плодом черной местечковой зависти. Если эти слухи окажутся верными... Но, господи, зачем Висенте было ее обманывать? Только для того, чтобы украсть деньги и горстку драгоценностей? Только для этого он умыкнул ее из дому? Нет, это не имело никакого смысла, и, сколько она ни размышляла, она никак не могла уразуметь его действий. Она бы могла понять полную его низость, то есть если бы он ее ограбил и бросил, проведя с ней ночь, это был бы более низкий, но более понятный поступок. Но как объяснить тот факт, что, в конце концов, единственное, что Висенте от нее было надо, — это деньги? Подобное презрение совершенно не укладывалось у нее в голове, такого просто-напросто не могло быть. Тогда это должно быть что-то другое. Наверное, с ним стряслась беда, наверняка с ним стряслась беда. И она даже с некоторым облегчением представляла себе возможность, что Висенте не просто задавил кого-то своим мотоциклом и находится в полицейском участке, а даже он сам разбился где-нибудь на повороте. Это было бы большим несчастьем, ужасным горем, но... это можно было понять, тогда как оскорбление...

В общем, проведя страшную, нескончаемо долгую ночь, Хулита, дрожа от холода, увидала, как сквозь балконные занаве-

ски стал просачиваться свет нового дня, уже понедельника, вновь услышала шум на лестнице и в коридоре, звук воды в туалете соседнего номера... И не заставил себя долго ждать осторожный стук в дверь, заставивший ее вздрогнуть, который возвестил о появлении хозяйки гостиницы. Старуха пришла поинтересоваться, нет ли каких новостей. Разумеется, никаких новостей не было. Разумеется, этот тип не подавал никаких признаков жизни. И разумеется, он не был ее мужем. «Вы не женаты, так ведь, дочка? Вы убежали из дому, правильно? Он тебя умыкнул из дому, не так ли? А потом, поразмыслив, мошенник испугался и смазал пятки...»

Хулита опустила голову. И когда сеньора, сжалившись, погладила ее по голове, бедная девушка залилась слезами в три ручья, с всхлипами, как младенец, каковым она, в сущности, и была.

— Ну, будет, будет, милая. Сначала делаете глупости, а потом... Погоди, я принесу тебе кофе. Это тебя подбодрит,— добавила она и вышла.

«Вот он, этот миг»,—подумала Хулита. За ночь в ее мозгу созрел зловещий план, который обрел полную четкость, едва чужие уста выговорили то, в чем она боялась себе признаться: что ее обманули и бросили. И вот он настал, этот миг, да, теперь, когда она снова осталась одна, она могла выполнить свой план. Когда добрая женщина вернется сюда, неся для нее завтрак, она увидит, что ее ожидает. «Вот он, этот миг»,—повторила Хулита.

Но она ничего не предприняла, даже не сделала попытки. Бессильно опустив руки и глядя в пол, она еще дважды прошептала ту же фразу, «вот он, этот миг», как будто, выговорив это, полностью израсходовала все свои силы. Она неподвижно продолжала сидеть на том же месте, когда спустя некоторое время вновь появилась сеньора, неся на подносе кофе с молоком и слойку. Сначала Хулита отказалась есть, но потом с жадностью принялась за слойку, поливая ее слезами и запивая большими глотками кофе. Все это действительно ее взбодрило, и она легко призналась своей благодетельнице, как ее зовут, кто она и где живет. Таким образом, когда позже заявили два агента, всю ночь занимавшиеся ее поисками после телефонного звонка в полицейский участок, им оставалось только записать эти столь необходимые данные себе в блокнот, после чего они, оставив сеньориту Хулию Мартинес на попечение и под ответственность хозяйки гостиницы, занялись выполнением всех необходимых в таких случаях процедур.

В результате этих действий, как уже было сказано, дон Лусио Мартинес Альвар ринулся на поиски заблудшей овечки, затратив на это ровно столько времени, сколько потребовалось автомоби-

лю для того, чтобы доехать от селения до Фигераса.

Вероятно, патетическая картина встречи отца с дочерью, которую мы могли бы нарисовать в воображении, выглядела бы очень красиво, но оказалась бы фальшивой. Возможно, оба они, как отец, так и дочь, каждый со своей стороны, были подготовлены к этой встрече. Во всяком случае, они едва перекинулись парой слов. «Пошли!» — скомандовал дон Лусио и, заплатив по счету за комнату, вышел из гостиницы, а следом за ним, понурившись, вышла Хулита. Они сели в машину, хлопнула дверца, машина вздрогнула и на полной скорости сорвалась с места. И только когда они оказались уже на шоссе, начался неизбежный допрос.

— В котором часу ты бежала вчера, в воскресенье, из родительского дома?

— В пять утра.

— Очень хорошо. А теперь расскажи мне по порядку, со всеми подробностями, ты меня слышишь, со всеми подробностями, все, что с тобой произошло, начиная с этого момента. Итак, ты вышла из дома вчера в пять часов утра. Что потом?

— Ничего.

— Как ничего?

— Этот ждал меня внизу.

— «Этот»! Продолжай.

— Все. Я села на мотоцикл, вот и все.

— Как это все? Продолжай, я тебе говорю, а не то...

— Ну ладно. Мы поехали по шоссе. Сначала хотели добраться до Барселоны, но потом он подумал, что лучше поехать в Фигерас.

— Где вы ели? Я думаю, вы должны были где-то остановиться перекусить.

— Да, в одной таверне, не помню где, уже было поздно, и я не присматривалась, это было что-то вроде ресторана с террасой около шоссе. Там мы и поели.

— А потом вы легли отдохнуть, не так ли? Послеобеденный отдых, да?

— Нет-нет. Мы поели и сразу же снова отправились в путь. И уже до самого Фигераса не останавливались. Мы хотели доехать как можно раньше. Мы остановились в этой гостинице и...

— И что?

— И ничего, он тут же исчез.

— Он что, исчез, не поднявшись в комнату?

— Нет, мы оба поднялись в номер вместе с сеньорой, которая нас туда проводила. Комната нам понравилась, и он сказал, чтобы я подождала его здесь, а сам спустился, чтобы заполнить

бумаги. Больше он не вернулся.

— Так, значит...

— Значит, больше ничего.

— Не хочешь ли ты мне сказать, что ты так же целехонька, как и до побега?

Она кивнула.

— Это невероятно. Кто же этому поверит? Послушай, не вздумай меня обманывать, а то...

— Я не обманываю тебя,— очень печально и серьезно ответила несчастная Хулита.

А ее отец снова повторил:

— Это невероятно. Ну и дела! Как все это понять?

— Я думала, что мы поженимся,— начала она свое признание.— Я хотела выйти за него замуж. А так как я знала, что мне будут чинить препятствия...

— Конечно, конечно, очень логично. Мудрейшее решение. И самое главное— очень порядочное,— с сарказмом воскликнул разъяренный сеньор Мартинес.— Родители, они никогда ничего не понимают! Подумать только, воспротивиться, чтобы их дочь вышла замуж за подобного... Послушай, не выводи меня из себя, я еще удивляюсь, как это я не...

— Ты прав, папа.

— Очень вовремя «ты прав, папа». Кстати, что ты говоришь о препятствиях, если никто ничего даже не подозревал?.. Господи, какое безумие! Но чего я никак не могу взять в толк, и никто в это не поверит, так это то, что... Если все, что ты говоришь, правда и этот тип оставил тебя, не... Может, он испугался последствий? Наверное, почему же еще? Теперь ты сама можешь убедиться, что за фрукт был твой Ромео. Ох, боже мой, какое безумие!

— Папа, ты многое должен мне простить. Это еще не все. Ведь он сбежал, прихватив деньги, которые я взяла из ящика твоего письменного стола. Прости меня, папа, я взяла у тебя из ящика деньги, я воровка, я не заслуживаю...

Вместо ответа отец нащупал руку своего удрученного горем чада и легонько похлопал по ней. И после долгого молчания— они проехали несколько километров— он сказал:

— Можешь себе представить, в каком состоянии сейчас твоя бедная мать.

«Трусиха я,— думала Хулита.— Не только дура, но вдобавок еще и трусиха. Почему я не сделала того, что должна была сделать? Если совершаешь проступок, должен быть готовым отвечать за его последствия. А я, трусиха, не нашла в себе

мужества, чтобы покарать себя своей собственной рукой, уйти со сцены и тем самым смыть позор, который лег на всю нашу семью. А теперь, когда я не нашла мужества, чтобы достойно принять этот решающий удар и оказаться по ту сторону, мне придется выдерживать эти китайские пытки, подковырки, переглядывания, намеки и недомолвки, презрение, жалостливые вздохи, медленную смерть». Нечто в этом роде смутно думалось ей, в то время как автомобиль нес ее к месту пытки, то есть к селению, которое, распираемое любопытством, жило напряженным, болезненным, ехидным ожиданием.

На ее лице появилось отрешенное выражение, как будто она уже ощущала себя полностью отделенной от этого мира. Но под внешней отрешенностью беспорядочно теснились разрозненные, странные, уже такие далекие детали всех тех событий, которые она столь глубоко пережила в предшествующие дни и которые закончились такой катастрофой. Даже Висенте де ла Рока, с которым она только что бежала и который всего несколько часов назад бросил ее и исчез, представлялся в ее воображении далекой и выцветшей фигурой, чьи черты стоит немало труда припомнить. Она уже ни о чем ей не говорила, ничего не значила, вызывая в ней даже не возмущение или ненависть, а простое любопытство. Кто это, Висенте де ла Рока? Каким он был? Ей казалось, что она различает вдалеке, в группе молодых людей, где были Фруктуосо, Патрисио и все остальные, его фигуру, его прическу, он был среди них, но другой; всегда в центре разговоров, он говорил больше всех, его все слушали... Прежде чем она его увидела, ей уже все уши прожужжали о его приезде, еще бы, он был у всех на устах, и, понятно, среди девушек возбуждение было еще больше, тем паче что его приходилось скрывать под маской надменного безразличия.

В действительности же еще прежде, чем она смогла взглянуть на него, легенда о нем, не разнесенная по площади глашатаями и бродячими артистами, а переданная из уст в уста сплетничающими подружками, с поразительной легкостью уже вошла в серую жизнь селения. Ее молодой герой возвращался из глубины страшного, полного темных страстей прошлого, неся с собой, словно легкий бриз, радостный отблеск, легкость и несравненную раскованность тех более богатых и счастливых краев, где он до этого жил. Расхваливали его мотоцикл, обсуждали его одежду, прическу, его холеные ногти, повторяли его фразы. И когда вскоре Хулита однажды встретилась с ним на улице (конечно же, ей не надо было подсказывать: это он), она уже знала, хотя ей никто об этом не говорил, что все ее подруги мечтали о том, чтобы при случае обратить на себя внимание приезжего.

Само собой, ни одна из них в этом бы не призналась, тем более Хулите Мартинес. Она слыла высокомерной гордячкой, и она отлично знала, какое удивление и зависть вызывала у подружек тем, что она, за которой настойчиво ухаживали два лучших жениха (не говоря о многих и многих других, которые даже не осмеливались начать ухаживать), держалась одинаково как с Патрисио Техерой, так и с Фруктуосо Триасом, не убивая, но и не поддерживая ни в одном из соперников надежд. «Кокетка»,—обвиняли ее другие, она хорошо могла это себе представить. Но, хотя она и находила определенное удовольствие в том, чтобы и дальше продлить это соперничество, удерживая на расстоянии тех, кого многие девушки мечтали окружить и сошли бы с ума от счастья, если бы им это удалось, ее побуждения не были столь поверхностны. Она полагала, что, хотя оба, и Фруктуосо, и Патрисио, были, без сомнения, хорошими, симпатичными парнями, твердо стоящими на ногах, перспектива провести здесь, в селении, всю оставшуюся жизнь, совершая поездки в Мадрид, все более редкие и кратковременные даже по сравнению с теми двумя поездками в год, которые она обычно совершала с матерью,—эта перспектива мало ее прельщала. А поскольку ее ранние годы позволяли ей отложить окончательное решение, самое лучшее было не спешить с обязательствами и подождать, посмотреть, ведь никогда не знаешь, что тебе преподнесет жизнь.

Бедняжка и вообразить себе не могла, что жизнь преподнесет ей то, что в конце концов преподнесла. Когда Висенте де ла Рока появился на горизонте, она не сочла его, и никогда бы не могла его счесть—какая глупость!—как серьезную возможность для себя, хотя у других, может, и защемило сладко в груди. Как вообще могла прийти подобная мысль ей в голову? Она настолько была выше этого, что даже не нашла ничего предосудительного в том, что весело, от души поболтала с ним, это было увлекательное развлечение, и ничего больше. А что еще могло быть? Парень действительно оказался приятным: остроумный и находчивый, бойкий на язык. С их первой встречи в кинотеатре «Мундиаль»—и какое совпадение, какая ирония, что именно Патрисио Техера церемонно представил их друг другу!—с этой первой встречи между ними установилась атмосфера веселого, непринужденного общения. Он умел придать беседе легкий характер, у него было множество тем для разговоров, которыми он свободно оперировал, он был неистощим. При случае он, как говорится, мог отпустить и непристойность, но у него это получалось мило, он мог выйти из любого затруднительного положения, вовремя сострив, и превратить в шутку опасный

поворот в беседе. В общем, разговаривать с ним было одно удовольствие. Беседа с ним шла не по накатанным рельсам, у него в запасе всегда были маленькие неожиданности и сюрпризы, это была увлекательная беседа.

Когда настало время им прощаться в тот первый раз, так как уже прозвенел звонок и начинался сеанс, и добряк Патрисио снова подошел к приезжему, тот сказал на прощание новой знакомой: «Ну ладно, пока, при случае я тебе это доскажу».

Но о чем бы он ни был, этот рассказ должен был быть как «Тысяча и одна ночь». В тот день кинокартина оказалась одной из тех скучнейших вещей, что иногда попадают, и, пока ее двоюродная сестра Тина, с которой была Хулита, казалось, вся ушла в глупейшие перипетии фильма, она принялась перебирать в уме те безделушки, которые, как купец на ярмарке, разложил перед ее глазами некий Висенте де ла Рока.

При выходе из кино они, как старые друзья, приветливо помахали друг другу, и, как старые друзья, они принимались разговаривать каждый раз, когда встречались, а в селениях, как известно, люди встречаются то и дело. Помимо этого, Патрисио Техера прилагал необычайные старания, чтобы они встречались.

Каждый раз, когда они оказывались в одной компании девушек и парней, Хулита старалась всем показать, что если приезжий так выделялся, что стал естественным образом предводителем местной молодежи—без сомнения, предводителем-узурпатором, с большим трудом признаваемым, но принимаемым фактически,—то она по праву является законной предводительницей, которую все должны почитать. И, таким образом, они становились двумя полюсами общего разговора. Забавная и даже, если хотите, увлекательная игра, но не более чем игра. Почему же она, не колеблясь ни секунды, дала ему согласие на свидание; едва он, улучив момент, сказал однажды, что ему надо поговорить с ней наедине? Почему? Она спрашивала себя об этом и, как будто судила о ком-то другом, была удивлена собственным поведением. Она не колебалась ни секунды, и тени сомнения не промелькнуло у нее. Можно было даже подумать, что она ждала этого момента и заранее обдумала, каким образом сделать так, чтобы это свидание выглядело как случайная встреча, но проходило без лишних глаз.

И действительно, оно прошло без лишних глаз, хотя и случилось на улице, и любой человек мог бы их увидеть. Но никто не узнал, как Хулита, направляясь рано утром в церковь, прикрыв лицо вуалью и держа под мышкой молитвенник, столкнулась с приезжим на маленькой площади перед входом в ризницу и как посреди этой площади они остановились на минуту поговорить.

— Так что ты мне хотел сказать?—спросила она его тут же.

— Хотел спросить тебя, что ты тут делаешь, в этом глухом селении. Ты знаешь сказку о жемчужине в навозе?

— Никакой это не навоз, и никакая я не жемчужина,— поспешно возразила Хулита.

Но Висенте пропустил ее возражение мимо ушей. Даже не подумав ответить на него, он продолжил:

— Слушай. Через несколько дней мне надо будет отправляться. Я бы давно уже уехал, если бы не важная причина. Через несколько дней я уезжаю, и ты поедешь со мной.

— Что? Что ты сказал? Ты что, с ума сошел?

— Может, я и сошел с ума, но, сошел или не сошел, ты поедешь со мной. Сначала в Париж, вот увидишь, а потом, когда у нас кончатся деньги, в Германию, где можно жить со своей женошкой как царь.

— Ты сумасшедший!—проговорила она, с изумлением глядя на него. Она должна была бы возмутиться, оскорбиться, но она рассмеялась и только снова сказала:—Ты совсем с ума сошел.

— Вот увидишь, малышка, как мы будем счастливы. Все, больше ни слова. А теперь прощай, девочка, ступай в церковь.

Вот и все, это был всего лишь миг. Откинув голову на спинку сиденья и прикрыв глаза, Хулита, в то время как автомобиль пожирал километры дороги, возвращая ее обратно в загон, никак не могла заставить себя поверить в то, что она, Хулия Мартинес, столь легко влипла в такую нелепую историю.

Само собой разумеется, после этого вздорного разговора был обмен тайными записками и другие торопливые беседы, в которых были обговорены детали побега. Но он, этот побег, был для нее решенным делом уже в тот самый момент, когда Висенте с такой откровенностью, без зазрения совести предложил ей это там, на маленькой площади позади церкви. Возможно, она всячески сопротивлялась перспективе закинуть в этом безотрадном селении после того, как исчезнет лихой парень на мотоцикле, и, поскольку сама мысль об этом была ей невыносима, зачем задумываться о последствиях?

Теперь, свалившись с небес на землю, она чувствовала, как все эти последствия, о которых она не задумывалась, обрушились на ее голову. «Можешь себе представить, в каком состоянии сейчас находится твоя бедная мать»,—упрекнул ее глубоко опечаленный отец. Еще бы она не представляла себе этого! Господи, хоть бы этот путь обратно никогда не кончился! Она даже подумала, что лучше, если бы какая-нибудь авария положила ему трагический конец. В воображении она уже видела смятый в лепешку от удара в дерево автомобиль и их двоих внутри,

превращенных в месиво, а так как в то же самое время автомобиль как ни в чем не бывало продолжал свой путь, ее изумляло и возмущало, что отец мог вести его с невообразимым для его состояния, в котором он должен был находиться, присутствием духа и спокойствием. Да, вовремя случившаяся авария избавила бы от стольких вещей, которые в ином случае были неизбежны...

Но аварии не случилось. Машина безжалостно завершила свой пробег и поздним вечером въехала наконец в селение, остановилась у дома, и Хулите не оставалось ничего другого, как окунуться в атмосферу скорби, несомненно, атмосферу скорби и траура по ее усопшей девственности, по ее поруганной чести, и она опустила глаза под встревоженно-испытующим и жалостливым взглядом покрасневших материнских глаз.

Сеньор Мартинес поспешил со всей осторожностью успокоить свою удрученную супругу. Это ему удалось не без труда. А когда он в конце концов убедил бедную сеньору в том, что ее дочь после всех перипетий вернулась невредимой, когда у нее не осталось никаких сомнений относительно вопроса о ее целостности (так уж устроен мир!), она почувствовала такое облегчение на своем материнском сердце, что крепко сжала Хулиту в объятиях, покрывая ее поцелуями и поливая счастливыми слезами, и тут же засуетилась, чтобы приготовить ей ужин, который бедное чадо, хотя и не оправившись от стыда, проглотило с волчьим аппетитом.

В конце концов семейство Мартинес Альвар решило, что на следующий день мать и дочь выедут в Мадрид и проведут там, как обычно, некоторое время, хотя в этот раз, возможно, несколько большее, чем раньше.

Дон Лусио Мартинес, как мы могли убедиться, был не только замечательным отцом, но и очень мудрым человеком. Чтобы не приводить в действие устрашающий полицейский и судейский аппарат, он не стал заявлять о краже драгоценностей. Пропавшие пропадом, все эти ценности и все деньги в мире, говорил он своим собеседникам. Он даже простил этому мерзавцу его постыдную проделку, поскольку он не тронул девушку и ей был причинен только тот вред, который она сама себе причинила, совершив глупую детскую выходку, случившуюся в результате легкомысленных выдумок и капризов, которыми от безделья занимаются эти избалованные и плохо воспитанные девицы.

Этот проходимец мог бы без всякого труда воспользоваться доверчивостью девушки, и если он этого не сделал, то уж

наверняка не из порядочности или сочувствия, к чему себя обманывать. Должно быть, он просто испугался, а не то, ясное дело, сеньор Мартинес бросился бы на поиски и достал бы его даже из-под земли. А так этот мошенник очень удачно вывернулся, унеся с собой то, что для него составляло целое состояние.

Такая версия, надо признать, была весьма приемлема. Все селение приняло ее и разделило как свою собственную. В то же время с яростью прорвалась вся затаенная против пришельца Висенте де ла Рока злоба. Те, кто был насторожен, кто завидовал, кто чувствовал себя тем или иным образом задетым, с наслаждением воспользовались этим часом отмщения. Не было ни одной детали, дающей повод для злонамеренного толкования и неодобрительного суждения, которую бы не вытащили на свет. Припоминали его слова, жесты, промашки, подчеркивали его реальные и мнимые недостатки, и кого теперь только не было, кто бы не предвидел заранее, что дело кончится именно какой-нибудь подобной выходкой с его стороны!

Все это стало источником маленьких радостей для большинства людей, которые, не будучи, как говорится, злопыхателями, тем не менее не могут не испытать сомнительного удовольствия каждый раз, когда рассыпается в прах что-то, что считалось в каком-то смысле более высоким или отличным от них. Унизить Висенте де ла Рока, сравнять его с землей, плюнуть и растереть доставляло редкое удовольствие и одновременно давало возможность поквитаться с Хулией Мартинес за заносчивость и даже с ее родителями за их богатство. Какое наслаждение иметь возможность посочувствовать этим шишкам, пожалеть этих высокомерных людей! Но в разгуле столь понятной оргии милосердных и низких чувств по крайней мере два человека—и при этом имеется в виду, что они, возможно, не были единственными,—восприняли все происшедшее как страшный удар, от которого им, быть может, никогда не суждено оправиться. Эти два человека были, как можно догадаться, претенденты на руку Хулиты.

Фруктуосо Триас, горячий и решительный по своему характеру, в первый момент хотел было броситься в погоню за бежавшими и учинить над ними расправу, но где было их искать? Потом, когда стало известно, что заблудшая овечка вернулась в сопровождении своего сеньора отца, он попытался увидеть ее, чтобы, как он выразился, сказать в лицо все, что он о ней думает. Но его встретил сеньор отец, дон Лусио (мать и дочь только что выехали в Мадрид), провел в дом и длинными рассуждениями сумел убедить, что в данном случае самое лучшее не ворошить особенно прошлое, успокоиться и держать язык за зубами, а

там—время покажет, господь бог скажет. С тем он и вернулся домой и, хотя у него все кипело внутри, занялся обычными своими делами, смирившись с тем, что ему оставалось разрядить свой гнев ударами кулаком по столу да сорвать раздражение на своих подчиненных.

Это что касается Фруктуосо. Патрисио Техера был более мягким, меланхоличным и раздумчивым. У него даже не промелькнула мысль о том, чтобы воспользоваться случаем и получить какую-то выгоду. Он был ошеломлен. И это его состояние в большой степени вызывало сознание того, что он, хотя и невольно, действуя с самыми благими намерениями, способствовал развитию тех событий, которые теперь бумерангом били по нему, жестоко ранили его душу. Он обзывал себя обормотом и болваном, вспоминая, сколько раз он не то что расхваливал, но и с жаром восхвалял этого самого Висенте де ла Року, и ладно бы перед теми, кто того недолюбливал и кто теперь дружно над ним посмеется, а то ведь и перед самой Хулитой. Может быть, именно он высек искру, которая разожгла огонь в ее юном воображении, что и привело к этой глупости, так как только состоянием зачарованности грезами можно объяснить этот поступок столь умной, уравновешенной, рассудительной и, самое главное, столь гордой и знающей себе цену девушки. Надо полагать, это была вспышка безумия, и, возможно, именно он в ней виновен.

К этому самобичеванию удрученного Патрисио примешивались боль, вызванная несчастьем, случившимся с его Дульсинеей (как этот несчастный обычно ее называл), и жгучий стыд оттого, что позволил столь оскорбительно провести себя типу, которому он, глупец, предложил дружбу (а тот ее не заслуживал, вот в чем дело, вот в чем его вина!) и который с неслыханным вероломством, якобы раскрыв свои объятия, вонзил ему в спину нож. Он заперся у себя дома и дня три-четыре почти не выходил, разве что в случае крайней необходимости, и более всего его угнетало и изумляло внезапное открытие под привычной личиной Хулиты и Висенте двух людей, столь отличных и далеких от того представления о них, которое до того у него сложилось. Все-таки что касается Хулиты, то это можно было объяснить только действием мгновенного ослепления, ничем иным: это воплощение божественного совершенства, которое едва снисходило, чтобы коснуться грешной земли, вдруг в мгновение ока меняется и, словно какая-нибудь пошедшая вразнос девица, самая настоящая потаскушка, пускается в бега с первым встречным, который распустил перед ней хвост и ослепил дешевой мишурой!.. Но разве он сам, Патрисио, прежде всего он сам, не был также очарован фокусами этого проходимца? Как болван, он позволил

облапошить себя этому шарлатану, балаганному фокуснику, а теперь, когда тот эффектным театральным жестом неожиданно срывает с себя маску и исчезает в глубине сцены, оставляя после себя лишь эхо демонического смеха, ему, законченному идиоту, осталось только недовольно бурчать по поводу пережитого разочарования.

Время, лучший лекарь для всех ран, который залечивает все синяки и шишки, вскоре излечит—какое может быть сомнение!—раненые сердца этих двух отвергнутых влюбленных. А пока что Фруктуосо и Патрисио, чья старая дружба выдержала борьбу их соперничающих желаний, снова сблизилась благодаря своему общему поражению и несчастью.

И вот однажды воскресным утром, несколько дней спустя после прискорбного события, закинув за спину ружья—на случай, если им попадетсЯ какой-нибудь крольчонок или если они вспугнут перепелку,—они вышли из селения, чтобы под предлогом охоты получить возможность на свободе поделиться друг с другом своими тяжелыми думами. Пока они шли по полю, их диалог с трудом пробивал себе дорогу сквозь робкие, полные намеков фразы. Но когда растаяла разделявшая их завеса холодного тумана, мешавшая приступить к волнующей их теме, оба охотника присели на валуны под деревом и под взглядами растянувшихся у ног, словно приготовившихся слушать, собак Патрисио и Фруктуосо одновременно, перебивая друг друга, обиженным тоном первый и гневным и раздосадованным второй, принялись изливать свою душу по поводу постигшего их разочарования.

Осторожно и грустно возражал Патрисио, огорченный больше всего предательством того, кого он считал своим другом («Это не укладывается в голове!»—повторял он снова и снова), но скорее сочувствуя несчастной Хулите, ставшей, как и он, жертвой злых чар этого отвратительного субъекта, Фруктуосо, который с самого начала косо смотрел на пришельца и в глубине души не одобрял излишнего радушия, с каким некоторые, как он говорил, не указывая на личности, встретили этого незнакомца, так вот, Фруктуосо высказывался непримиримо. Он не был склонен прощать девушке, которая, как женщина и из уважения к своему положению и своей семье, была обязана вести себя значительно более осмотрительно и благоразумно. Чтобы поддаться чарам, аргументировал он, она должна была отважно приблизиться к силкам, расставленным тайным охотником, так ведь? И на это столь разумное замечание Патрисио мог ответить лишь глубоким печальным вздохом, в котором звучало тяжелое

признание того, что и он сам, не заметив опасности, подтолкнул ее к той пропасти, в которую в конце концов они оба скатились, так что и на его плечи также ложится доля ответственности за безрассудный поступок Хулиты.

Поплакавшись, облегчаешь свою боль, а если знаешь, что ближний разделяет твою горе, легче его переносишь. Когда наши молодые люди до конца облегчили свои души и им уже не на что было жаловаться и не о чем больше говорить, Фруктуосо поднялся со своего импровизированного кресла и, хлопнув Патрисио по плечу, произнес:

— Ну ладно, пошли домой. Тут уж ничего не поделаешь, людей и зверей учат палкой.

И они возвратились в селение в полном молчании, решив, похоже, больше никогда не заводить разговора о горестном эпизоде, вновь погружившись в серость повседневного бытия.

Однако история не закончена, у нашей повести есть эпилог.

Две или три недели спустя почтальон вручил дону Патрисио Техере среди прочей корреспонденции довольно объемистый конверт с немецким штемпелем. Вскрыв его дрожащими руками, адресат достал длиннущее письмо... От кого бы вы думали? Ну конечно, от кого же еще, как не от Висенте де ла Рока, который с переходящим все границы цинизмом осмеливался писать ему.

Весь бледный, Патрисио прочитал шесть страниц письма, написанных убористым почерком, и раз, и другой, и третий.

«Дорогой друг Патрисио! Сдержи, пожалуйста, свой гнев, который ты наверняка испытываешь по отношению ко мне, пока не дочитаешь до конца это письмо. Может быть, тогда этот гнев сменится на чувство признательности и в твоей душе снова возьмет верх приязнь, которую я, надеюсь, заслужил.

Я действительно разрушил твои иллюзии, это верно. И скорее всего, ты воспринял это как удар ниже пояса. Но если ты хорошенько подумаешь, то должен будешь понять без всяких объяснений, что этот удар, это разочарование, каким бы жестоким оно ни было, освобождает тебя от слишком опасных иллюзий и открывает тебе глаза на действительное положение вещей. Ты наконец сможешь убедиться, что твоя обожаемая Дульсинья на поверку оказалась такой же, как и все другие женщины. Это в самой природе женщин — презирать тех, кто их любит, и любить тех, кто ими пренебрегает.

Я уже слышу, как ты в глубине души клянешь меня как предателя и негодного друга. Я клянусь, дорогой Патрисио, что мне больно так же и даже больше, чем тебе, от того страдания, которое я вынужден был причинить, чтобы вылечить тебя. Ты был настолько ослеплен, что не хотел слушать никаких доводов,

и, чтобы переубедить тебя, оставалось только одно средство—заставить увидеть все своими собственными глазами, почувствовать все на собственной шкуре. Теперь, Патрисио, бедный мой друг, ты это увидел... Только для твоего же блага я решился сделать то, что сделал; сколь ни болезненна эта операция (я это вполне понимаю!), но она была необходима для твоего здоровья.

А чтобы ты не истолковал превратно мои намерения и чтобы у тебя не оставалось и тени сомнения в отношении того, какими они были, я и не стал, продемонстрировав то, что задумал, похитив эту несчастную дуру, лишая ее того сокровища, которое, однажды потеряв, бесполезно пытаться обрести вновь. Как, наверное, без устали твердила эта гордячка, и это, действительно, так и есть, я ее оставил такой же целенькой, какой она покинула свой дом. Меня интересовало совсем иное... Что касается других сокровищ и ценностей, которые я действительно взял с собой и которые находятся у меня, я скажу о них, если у тебя хватит терпения дочитать, чуть позже. А сейчас я еще раз хочу подчеркнуть сказанное, потому что мне важно, чтобы у тебя не осталось и тени подозрения в отношении мотивов моего поведения. Это предательство, или то, что таковым может показаться на первый взгляд, никакого не предательство и не удар ниже пояса, вообще ничего похожего. Начиная с того, что я не искал и не получил никакого удовольствия. Наоборот, мне было неприятно и грустно от мысли, что ты смертельно обидишься на меня, и все это в обмен на то, что ты выйдешь из заблуждения, в котором ты пребывал словно околдованный.

В остальном, должен тебе признаться, операция сама по себе мне не стоила большого труда, вернее, вообще никакого. Это было проще простого. И если я сейчас сообщая тебе эти подробности, то, можешь поверить, вовсе не из садистского удовольствия, чтобы поглубже вонзить мой кинжал, или скальпель, в твою рану, а лишь затем, чтобы она вновь не зарубцевалась под действием твоих заблуждений или бальзама иллюзий. Лучше вылечить ее раз и навсегда, если не прижиганием, то по крайней мере знанием голой правды. А голая правда заключается в том—лучше тебе это сказать, чтобы ты знал,—что едва я поманил пальцем, как дама твоей мечты побежала за мной как собачка. Разумеется, стоило мне только перекинуться с ней парой слов, когда ты познакомил меня с ней, как я понял, что так оно и будет. Вот почему для меня было невыносимо (припоминаешь мои раздраженные, полные иронии слова, которые иногда помимо моей воли вырывались у меня, припоминаешь наши споры по этому поводу?), повторяю, я не мог перенести, что ты—и этим ты все сказано,—будешь жить в этом болоте вульгарности,

погибнешь в рутине провинциальной жизни.

А больше всего выводило меня из себя, что, как я понял, ничто столь крепко не привязывало тебя к этому прозябанию, как безрассудная влюбленность в никчемную, глупую девчонку. Когда я по-дружески пытался добиться, чтобы ты сбросил с глаз пелену и протер их хорошенько и, отведав по крайней мере чего-нибудь другого, выбрался из своего угла, посмотрел на мир и попытался бы зажить другой жизнью, а перед тобой, с твоими личными достоинствами и материальными ресурсами, открылись бы блестящие перспективы, ты, возражая мне, никогда не говорил как о возможных препятствиях ни о семейных обстоятельствах, ни о своих интересах или делах, но вечно о своей Хулите, только о Хулите, и ни о чем другом, кроме этой своей утки Хулиты, которая в конце концов надела бы на тебя хомут и превратила бы в отменного местного господинчика. Тогда-то, думая только о твоём благе, поскольку я не мог примириться с мыслью о подобном падении, я и решил одним пинком свалить на землю идола и заставить тебя увидеть его обломки.

Как я тебе сказал, это было проще простого. Стоило мне только закинуть крючок, погреметь погремушкой, немного погримасничать и нацепить пару масок — и вот уже несравненная Дульсинея мчится по белу свету на заднем сиденье мотоцикла с этим странствующим рыцарем, прихватив с собой сумки с немалым количеством денег и полные, помимо всего прочего, драгоценностей. В высшей степени простая операция. Мне очень жаль! А теперь посмотри, дорогой Патрисию, — на земле валяется разбитый вдребезги идол, можешь потрогать его собственными руками и убедиться, из какого хрупкого и грубого материала была вылеплена чудесная фигурка. Именно это и было моей целью. Поскольку моим намерением было то, о чем я тебе говорю, прости мне тот урон, который я тебе, видимо, нанес, исполнив его. Уверен, что теперь в глубине души ты не только меня прости, но и должен быть мне благодарен за то, что я помешал тебе скатиться в пропасть, к которой ты мчался на всех парах с завязанными глазами. Бедный Патрисию, веселой истории ты избежал благодаря мне, этому самому твоему другу Висенте, чье имя ты наверняка проклинал, страдая от постигшего тебя разочарования!

А теперь, заканчивая, два слова о содержимом сумок, которые я взял с собой, оставив эту идиотку без денег. Я сделал это, во-первых, чтобы она не могла, вернувшись, сочинить какую-нибудь сказку, которую все поспешили бы принять, а во-вторых, для того, что я тебе хочу сейчас предложить.

Патрисию, если ты, как я надеюсь и чего желаю всей душой,

уже оправился от пережитых неприятностей и этот урок тебя хоть чему-то научил, если ты принимаешь все, что я тебе пишу, как доказательство искренности моих чувств, я тебя умоляю — приезжай ко мне. Откровенно и до конца объяснимся. А потом, если ты предпочтешь вернуться и забиться, как крот, в свою нору, ты сможешь забрать с собой пакет с драгоценностями и деньгами твоей возлюбленной и вернуть все это ее отцу таким же нетронутым, каким он нашел добродетельное сокровище самой Хулиты. Этот трофей более чем в достаточной степени оправдал бы твою поездку и был бы скромной компенсацией за время, которое ты потратил бы на поездку ко мне.

Давай, дорогой Патрисио, решайся, долго не мудри. С нетерпением жду от тебя известий. Надеюсь, что ты не обманешь снова мои ожидания, это будет уже в последний раз, можешь быть уверен. Всегда твой Висенте».

Перечитав несколько раз письмо, Патрисио надолго погрузился в размышления, потом аккуратно вложил его снова в конверт, сунул в карман и отправился на поиски Фруктуосо.

— Фруктуосо,— обратился он, войдя в его контору,— подготовься, не падай в обморок.

И, закрыв за собой дверь, он протянул ему письмо и уселся по другую сторону стола в ожидании, пока тот прочитает письмо.

— Что это?— спросил Фруктуосо своего друга.

— Посмотри на подпись,— ответил Патрисио.— Ты упадешь. Фруктуосо воскликнул:

— Нет, не может этого быть! Вот сукин сын!

— Читай.

Фруктуосо принялся читать письмо, изредка прерывая чтение подобными же восклицаниями и бросая на бесстрастно наблюдавшего Патрисио удивленные и возмущенные взгляды. Дочитав письмо до конца, он ударил кулаком по столу.

— Это неслыханно, Патрисио. Если бы мне кто это сказал, я бы не поверил. В жизни никогда бы не поверил.— И, помолчав, добавил:— Знаешь, Патрисио, что бы я сделал на твоём месте? Вместо ответа я бы сел на поезд, и, поскольку здесь есть адрес этого негодяя, явился бы к нему как снег на голову, и дал бы ему по заслугам, чтобы этот подонок получил то, на что напрашивается. Вот что я бы сделал на твоём месте.

Патрисио ничего не ответил, он сидел задумавшись. Спустя некоторое время Фруктуосо спросил его наконец:

— Ладно, так что ты думаешь делать, скажи мне?

— Да... не знаю. Может быть...— уныло ответил Патрисио.

— Что?

— Это самое. Может, сделаю, как ты говоришь.

ИЗ КНИГИ

«САД НАСЛАЖДЕНИЙ»



EL JARDIN DE LAS DELICIAS
BARCELONA, 1971

Вырезки из вчерашнего номера газеты «Лас нотисиас»

В пожелтевших подшивках парижских газет за 1921 год можно встретить заметки о бандитском нападении на экспресс Париж — Марсель, которое неделю спустя стоило жизни четырем бандитам, отстреливавшимся от агентов полиции в фешенебельном ресторане, и о суде над их соучастником Мечиславом Шарье, приговоренным к смерти и казненным в Версале. В преступлении этот несчастный, прозванный газетчиками *un petit tuberculeux*¹, играл второстепенную, вспомогательную роль, но отвечать перед правосудием пришлось ему одному, да к тому же и держался он на суде дерзко, что и привело его на гильотину. Понапрасну защитник расписывал его несчастную судьбу, пытаясь пробудить жалость в сердцах присяжных; когда разбирательство дела было закончено, подсудимый встал и, смело глядя в зал, бросил вызов всем этим буржуа: если им так хочется, пусть отрубят ему голову... Именно так рассказывает об этом Андре Сальмон в своих «*Souvenirs sans fin*»².

Почему же это событие запомнилось поэту и попало в строки его мемуаров? Оказывается, Сальмон пытался хоть как-то помочь юноше, за судом над которым следил очень внимательно, потому что тот был сыном весьма любопытного персонажа, представителя богемы, из тех, что мыкали горе в Латинском квартале, эмигранта-поляка Мечислава Гольдберга (по-немецки «золотая гора»), однако сыну в наследство он златых гор не оставил, а лишь *grénot exotique*³ Мечислав и чахотку. Целая глава «Бесконечных воспоминаний» посвящена Мечиславу Гольдбергу, которого другой писатель окрестил «изголодавшимся ястребом из ботанического сада», что в какой-то мере отражало необычность

¹ Маленький туберкулезник (франц.).

² «Бесконечные воспоминания» (франц.).

³ Экзотическое имя (франц.).

и колоритность этой фигуры. Андре Сальмон, который *in illo tempore*¹ дружил с этим человеком, использует трагический постскриптум (я говорю: постскриптум, потому что отец умер за несколько лет до казни сына), чтобы закончить всю эту историю высокой патетической нотой.

Гольдберг был, как видно, не очень-то разговорчив, судя по тому, что о его любовнице, матери несчастного Шарье, Сальмон не сообщает почти ничего, ему была известна только ее фамилия, получившая впоследствии столь печальную известность, и еще ему было известно, что в один прекрасный день она покинула бедного поляка, оставив в залог маленького Мечислава, который был еще в пеленках. Можно много рассуждать по этому поводу, но это будут досужие измышления, да подробности здесь не так уж и важны, голый факт говорит сам за себя. А факт заключался в том, что, когда «изголодавшийся ястреб из ботанического сада» вдруг остался в своей жалкой каморке с грудным ребенком на руках, тому не исполнилось еще и полугода. За неимением колыбели он устроил младенца в вытасненном из комода ящике, который покачивал ногами, когда писал свои чахоточно-анархистские творения, и при этом, быть может, мурлыкал какую-нибудь запомнившуюся с детства колыбельную, фальшивя и перевирая слова. Чтобы прокормить сына, он вставал ни свет ни заря и реквизирует бутылку молока, оставленную молочницей у чужой двери... Вот и все. О том, что было между таким безрадостным началом жизни и ее концом на эшафоте, ничего не известно.

Прошло полвека. На полках библиотек пылятся мемуары Андре Сальмона, желтеют газетные листы. Почему я так много лет спустя вытаскиваю на свет божий эту историю, хотя подобных дел в судебной хронике не перечесть? Не могу сказать, сам толком не знаю — почему. Может быть, потому, что давно уже сочиняю выдуманные газетные заметки, которые по сути своей более чем достоверны, стараюсь использовать периодическую печать как зеркало того мира, в котором мы живем, как хронику той жизни, абсурдная никчемность которой отражена и в судебных протоколах по делу о загубленной жизни Шарье.

Дело старлетки Дукеситы (разрешенный казус)

Вчера неожиданно и благополучно завершилось расследование дела светлокудрой старлетки Дукеситы Лúны, чья

¹ В те времена (лат.).

смерть, наступившая при неясных обстоятельствах, дала пищу стольким предположениям и, естественно, задала работу уголовной полиции.

Наши читатели, без сомнения, помнят, что Дукесита была найдена мертвой в своей постели две недели тому назад, после того как полицейская бригада, вызванная привратницей, взломала дверь роскошной квартиры, которую молодая артистка занимала. Вскрытие подтвердило первоначальное предположение: смерть наступила в результате приема сильной дозы снотворного, на ночном столике была обнаружена почти пустая упаковка барбитала, рядом стоял стакан.

В большинстве случаев прием сильной дозы снотворного однозначно указывает на самоубийство, но здесь некоторые обстоятельства ставили под сомнение эту версию: во-первых, ни на упаковке, ни на стакане не было никаких отпечатков пальцев, во-вторых, анализ содержимого кишечника показал, что умершая, перед тем как принять смертельную дозу барбитала, выпила такое количество спиртного, которое было достаточным, чтобы потерять контроль над собой; зародилось подозрение, но не в том, что пострадавшая не сумела рассчитать дозу, а в том, что кто-то воспользовался опьянением молодой женщины, чтобы отправить ее на вечный покой,—почти идеальное преступление.

На прошлой неделе благодаря усилиям агентов полиции был подвергнут превентивному заключению некий Иносенсио Кабальеро, он же Кудрявый, «дружок» и «покровитель» несчастной Дукеситы, темное прошлое которого и нынешний образ жизни дали все основания считать его подозреваемым номер один. На ежедневных допросах этот субъект—о чем нам своевременно сообщили—запутался в показаниях и не смог предъявить надежного алиби, что укрепило первоначальное подозрение, и положение Кудрявого стало весьма затруднительным, но в последнюю минуту он все же вырвался из него, как бы совершив сальто-мортале,—предъявил письмо, написанное рукой Дукеситы, в котором несчастная молодая женщина недвусмысленно заявляла о намерении лишить себя жизни.

Документ этот если и не делает чести Кудрявому, то, во всяком случае, освобождает его от какой бы то ни было уголовной ответственности; в нем есть такие строки: «Я больше не могу, и ты это знаешь. Не могу. Но тебе на это наплевать. Что тебе до меня? Тебе нет дела ни до меня, ни до кого бы то ни было. Ты думаешь только о себе. И хуже всего то, что я все равно, как дурочка, не могу обойтись без тебя, не могу, нет! Пока я живу и дышу, мне без тебя не обойтись». (Дальше идут строки, воспроизвести которые не позволяют приличия, но из них

явствует, какого рода цепи приковали бедняжку к ее недостойному возлюбленному; а предыдущая фраза весьма многозначительна: «Пока я живу и дышу».) «Только когда ты лишишься того, что я тебе даю,—продолжает Дукесита,—но я говорю не о моей любви, не о моих ласках, не о моей душе, которая принадлежит тебе вся, без остатка, я говорю о деньгах,—вот когда ты лишишься денег, которые я для тебя зарабатываю, тогда ты, может быть, поймешь, что я чем-то была в твоей жизни». Далее она приводит подробности, то патетические, то мерзкие (вроде тех, о которых рассказали свидетели, в том числе владеец кабаре «Султанша»), упрекая в вероломстве того, кого она называет «мое наказание».

Благодаря этому письму, подлинность которого, видимо, сомнений не вызывает, Иносенсио Кабальеро был незамедлительно выпущен на свободу, и дело закрыли.

Снова насилие

Вчера среди бела дня в самом центре города зарегистрирован еще один бессмысленный акт насилия из тех, которыми развлекаются жестокосердые юнцы; мы уже не в первый раз сталкиваемся с такими случаями, но полиция до сих пор должных предупредительных мер не приняла. На этот раз жертвой юных вандалов стал государственный служащий, пятидесятичетырехлетний бухгалтер Франсиско Мартин, который спокойно, не помышляя ни о какой опасности, направлялся под вечер в парк Героев, ведя за руку восьмилетнего внука Пакито. У самого входа в парк дед с внуком проходили мимо группы юношей, стоявших на тротуаре, и тут сеньор Мартин почувствовал, как кто-то снял с него шляпу. Он обернулся, чтобы отобрать шляпу у шутника, который сразу передал ее другому юнцу, а тот, сделав вид, что собирается вернуть шляпу владельцу, подождал, пока пожилой человек приблизится к нему, но потом закинул ее за ограду и принял вызывающую позу, засунув руки в карманы брюк и выставив подбородок.

Судя по всему, сеньор Мартин сжал кулаки, выругался и замахнулся, но ударить обидчика (а кто усомнится в том, что гнев его был совершенно оправданным) ему не пришлось: два или три члена шайки схватили его за руки и, подталкивая, повели в парк; когда он упирался, его волокли или приподнимали, отрывая от земли, а Пакито, наблюдавший эту ужасную сцену, звал на помощь.

На этом дело не кончилось: сеньора Мартина усадили на скамью, по-прежнему крепко держа за руки и за плечи, и юные

садисты начали прижигать ему уши горящими сигаретами и причинили такие ожоги, что потом его пришлось отвезти в клинику «Скорой помощи». И в то время пока истязали несчастного сеньора Мартина, он увидел, как один из садистов схватил его внука Пакито, зверски встряхнул, а потом, взяв за руку и за ногу, раскрутил вокруг себя и закинул в небольшой прелестный пруд, в зеркале которого отражается статуя поэта Росамеля.

Случайный прохожий, не решившись вступить, вызвал полицию, но та прибыла на место происшествия, когда мальчика извлекли из пруда уже бездыханным. Оказалось, что у несчастного ребенка сильный ушиб на виске, который, хотя и не был непосредственной причиной смерти, несомненно, привел его в бесчувственное состояние.

Быстро прочесав парк, полицейская бригада задержала пять юных преступников, это были: братья Н. М. и Х. М. восемнадцати и шестнадцати лет соответственно, Л. Р. семнадцати лет, Х. А. Х. семнадцати лет и Х. В. восемнадцати лет. Все они после предварительного допроса были переданы судье по делам несовершеннолетних. Согласно имеющимся у нас сведениям, задержанные смогли дать лишь следующее объяснение своих действий, мы воспроизводим его дословно: «Этот тип шуток не понимает, обидел ребят». По поводу ожогов, полученных сеньором Мартином, добавили: у их жертвы уши как у слона, вот им и захотелось прижечь их и посмотреть, что он будет делать.

Когда Х. В. спросили, за что он бросил Пакито в пруд (он признался в этом преступлении), Х. В. вместо ответа задрал штанину и показал следы укуса — малыш вступился за дедушку.

Недостаток жилья в Японии

Пикантный случай, происшедший в Японии, подчеркивает серьезность жилищной проблемы в этой стране. На днях полиция задержала в центральном парке одного из городов парочку, занимавшуюся под сенью забора самыми интимными любовными делами. Пылких любовников препроводили в полицейский комиссариат для выяснения личности, и оказалось, что они муж и жена. Комиссар, столкнувшись с таким необычным случаем, пожелал узнать, что заставило их заниматься такими делами в общественном месте, а не в священном убежище, у домашнего очага; тогда супруг, смущенно улыбаясь, в цветистых восточных выражениях пояснил, что их семейный очаг представляет собой одну-единственную комнату, где вместе с ними проживают трое детей, его теща и две свояченицы, чье постоян-

ное присутствие гораздо более тягостная помеха их естественным побуждениям, чем какой-нибудь прохожий в глухой аллее парка.

Ради любовника мать убивает свою дочь

Густонаселенный и стяжавший недобрую славу квартал Эль-Серрон стал вчера местом чудовищного преступления, вызвавшего ужас — и не без оснований — у всех окрестных жителей, ибо не так уж часто до такой степени обнажается жестокость человеческой натуры, как в этом преступлении, обстоятельства которого, кстати, еще до конца не выяснены.

Жертвой страшного убийства стала полугодовалая девочка Инес Мартин, которой ее собственная мать раздробила голову молотком — видимо, по наущению своего любовника Луиса Антона (он же Волчок, без определенных занятий). Мать-убийца заявила в комиссариате, что он потребовал убить дочь в доказательство своей любви к нему.

Меж тем Волчок сам с невероятным нахальством заявил в полицию о совершенном преступлении, ужаснувшись, как он сказал, содеянному его подружкой, но, скорей всего, он убоялся последствий, так как был замешан в убийстве ребенка.

Из показаний этой зловещей парочки, во многом противоречивых, выяснилось, что несчастная Инесита плакала по ночам и тем самым мешала их отдыху и мерзостным любовным утехам и что не раз уже Волчок в раздражении покидал ложе и дом любовницы и искал приюта под кровом ее соседки, которую тоже не обходил своим вниманием, и при этом угрожал, что ноги его в доме не будет, если Луиса, мать девочки, не приучит дочь вести себя как подобает. Многие соседи подтверждали, что в таких случаях мать-выродок жестоко наказывала малютку, отчего та, как и следовало ожидать, кричала еще громче; приходилось вмешиваться соседям, а любовника этот крик выводил из себя.

Луиса, женщина молодая, но испорченная той жизнью, которую вела, стоит на том, что только требования Волчка: или я, или эта козявка — заставили ее решиться на дикий и зверский поступок. Вот в этом пункте их показания расходятся: он утверждает, что никогда таких требований не предъявлял, многословно расписывает стычки со своей зазнойбой: дескать, он давно уже хотел порвать тягостные для него отношения; а она продолжает утверждать, что Волчок не только требовал, чтобы она отделалась от малютки (и тем доказала свою любовь к нему), но и сам принес ей молоток, орудие убийства, и она в минуту ослепления раздробила дочери голову, но тут же в этом

раскаялась. Надо сказать, однако, что сухие глаза и безразличный тон никак не говорили о ее раскаянии.

Еще одна нищенка-миллионерша

Среди множества любопытных случаев, ежедневно происходящих в любом большом городе, мы не можем не упомянуть еще раз о таком случае, когда человек, живший в крайней бедности, после смерти оказывается обладателем огромного богатства. На этот раз речь идет о пожилой женщине. Донья Виртудес Сола, шестидесяти семи лет, слыла среди соседей женщиной со странностями, угрюмой и необщительной, но в общем безобидной; она даже вызывала сострадание и симпатию, так как жила в крайней бедности, но сносила ее с достоинством, гордости не теряла. Донья Виртудес ни с кем не заводила дружбы, только здоровалась с ближайшими соседями, жильцами того дома, где она жила более тридцати лет. Ранним утром выходила из дома всегда в одной и той же одежде, не из самых дешевых, но сильно обветшавшей, и часами где-то пропадала; иногда кто-нибудь видел, как она роется в мусорных баках или собирает полихлорвиниловые мешки и прочую тару на задворках крупных магазинов самообслуживания; когда возвращалась домой, из сумки ее торчали самые разнообразные трофеи.

Так вот, вчера соседи, обеспокоенные тем, что ее уже который день не видно, сообщили об этом в полицию; прибывший в дом инспектор, расспросив жильцов, распорядился взломать дверь. Как и опасались, несчастную старуху нашли мертвой на ее жалком тюфяке. Смерть наступила два или три дня назад.

После осмотра трупа и выполнения прочих необходимых формальностей старуху увезли, а полицейские власти приступили к тщательному осмотру комнаты, где столько лет жила умершая, жила одна как перст, никто из соседей никогда не слышал, чтобы у нее были родственники и друзья. Трудно вообразить себе, что творилось в комнате. От рваного и грязного тюфяка, лежавшего на полу, исходило зловоние. Полуразвалившийся шкаф был набит каким-то тряпьем, дамскими шляпками, плюмажами, вуалями — все это было изъедено молью и пахло гнилью. В одном из углов до самого потолка вздымалась груда старых газет и журналов. На кухне нашли покореженную кастрюлю, засаленную чугунную сковороду и одну-единственную тарелку, другой утвари не оказалось. В ящике небольшого стола хранились какие-то бумаги. Вот в этих-то бумагах и таился ошеломляющий сюрприз: там нашли банковскую гарантию и другие ценные бумаги, из которых следовало, что донья Виртудес располагала огромным

состоянием, которое пока что еще не полностью оценено, но уже и сейчас ясно, что оно исчисляется в миллионах—стало быть, усопшая отличалась не только неслыханным воздержанием, но еще и талантом накопительства.

Как мы сказали с самого начала, нищенское существование богачей—не такая уж редкость. Наши читатели, возможно, помнят недавний потрясающий случай: по сей день в тюрьме дожидается суда учитель Мендьета, обвиняемый в том, что уморил толодом—а это подтверждено результатами вскрытия—свою единственную дочь, тридцатисемилетнюю Антоньиту; как вот, следствием установлено, что Мендьета, обладая значительным капиталом, накопленным путем ростовщичества и ценой немыслимого воздержания, все больше и больше урезал своей дочери—и себе, разумеется,—рацион и довел его до минимума, которого уже недостаточно для поддержания жизни. Сам он истощен до крайности, но, к его несчастью, эксперты-психиатры, не склонны признавать его умственно неполноценным.

Quid pro quo¹, или Who is who²

В сообщении, полученном из Соединенных Штатов, рассказывается о случае quid pro quo, который хотя и носит трагический характер, однако имеет и свою комическую сторону. На аэродроме города Сиэтла совершил посадку пассажирский лайнер одной из ведущих американских авиакомпаний, и две стюардессы, Мэрилин Ботлин и Линда Меррей, отправились на такси в город, но по воле злого рока в пути произошла автомобильная катастрофа—такси столкнулось со встречным грузовиком, шофер погиб, а обе девушки получили тяжелые ранения. К тому времени, когда подобравшая их машина «Скорой помощи» домчалась до больницы, Мэрилин скончалась. У Линды были многочисленные переломы костей и сильные ушибы головы, и ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авиакомпания, в которой служили обе девушки, взяла на себя печальную обязанность известить о несчастье семьи пострадавших и великодушно предоставила родителям девушек бесплатные билеты на перелет в Сиэтл из мест их проживания: из Феникса, штат Аризона, и Белграда, штат Огайо.

Мать и отец Линды, просидев часа два у постели своей дочери, неподвижно лежавшей без сознания в гипсе и бинтах,

¹ Одно вместо другого (лат.).

² Кто есть кто (англ.).

решили навестить похоронное бюро, где над телом несчастной Мэрилин рыдала ее безутешная мать. Каково же было горестное изумление родителей Линды, когда, подойдя к открытому гробу, они увидели в нем свою дочь, которую, как им казалось, они только что оставили на больничной койке...

Нетрудно представить себе, какая душераздирающая сцена разыгралась в похоронном бюро. Произошла ошибка, и теперь, когда она была обнаружена, родителям Линды пришлось уступить матери Мэрилин таившуюся в их душах надежду и принять на свои плечи тяжкое бремя безысходного отчаяния, которое до тех пор несла эта бедная женщина.

Такая чудовищная ошибка объяснялась довольно просто: в больнице впопыхах перепутали документы девушек и зарегистрировали каждую из них под именем подруги. Труднее было понять, каким образом мать Мэрилин признала за тело дочери труп Линды, которую ни разу в глаза не видела. Заливаясь слезами, бедная женщина смущенно пробормотала, что у нее сразу же возникло сомнение на этот счет, только она о нем молчала из опасения, что искусная работа агента похоронного бюро, занимающегося косметикой покойников, еще раз поставит ее в такое же неловкое положение, в каком она оказалась два года назад, когда ее дочь, закончив курсы стюардесс и пройдя через руки косметички, предстала перед ней совершенно неузнаваемой — и потом она еще долго смотрела на дочь как на чужую. Не совершил ли mortician¹ такое же чудо, как beautician!²

Прощание с Исабело

Вчера вечером, после двухнедельного лихорадочного ажиотажа, завершились гастроли Исабело, исполнителя модных песен, и в аэропорту едва не произошла ужасная катастрофа, из-за того что провожать своего кумира собралась огромная толпа юных поклонниц — целый кортеж автомашин и несколько битком набитых автобусов.

Полиция с самого начала отнеслась к гастролям прославленного Исабело, которого восторженные поклонницы, дойдя до экстаза, могли разорвать на клочки, как к ситуации, чреватой нарушением общественного порядка (причем ситуации довольно деликатной, ведь это не какое-нибудь там заурядное восстание и не обычная заваруха во время футбольного матча или на скачках,

¹ Владелец похоронного бюро (англ.).

² Косметичка (англ.).

а настоящая эпидемия, охватившая всех школьников и особенно школьниц еще весьма нежного возраста), и поэтому вчера с утра были приняты необходимые меры предосторожности, с тем чтобы в момент прощания с почитательницами популярный артист не потерял безвозвратно своей физической целостности, которую до сих пор сохранял исключительно благодаря всевозможным хитростям и энергичным мерам блюстителей порядка.

Для того чтобы Исабело добрался до трапа целым и невредимым, самолет оцепили и был дан строгий приказ не выпускать из здания аэровокзала никого, кроме пассажиров, имеющих билет на этот самолет; и только когда все остальные пассажиры заняли свои места в самолете, на дорожке появился Исабело, местопребывание которого до той минуты не было известно никому. Как только его увидели, раздались дикие вопли, и, по мере того как артист в сопровождении своего импресарио и трех дюжих полицейских шагал к трапу самолета, то и дело оборачиваясь и потрясая над головой сцепленными руками в знак приветствия своим поклонницам и поклонникам, вопли все усиливались, толпа, собравшаяся на смотровых площадках, неистовствовала. Когда же наконец Исабело, поприветствовав почитателей в последний раз с верхней площадки трапа, вошел в самолет, восторженный рев сменился многоголосым воплем отчаяния и ярости. И началась суматоха. Огромная толпа юных поклонниц, собравшаяся на балконах и смотровых площадках, неудержимым потоком хлынула вниз по всем лестницам, прорвала полицейский кордон, сменяя все на своем пути, и вырвалась на летное поле.

Начальник охраны был вынужден прибегнуть к экстренным мерам, и путь пылким поклонницам Исабело преградили мощные струи воды из пожарных брандспойтов, но те, дрогнув на мгновение от неожиданности, ринулись вперед. Самолет тем временем уже тронулся с места, чтобы вырваться на взлетную полосу, но девицы прорвали оцепление, толпой бросились к огромному воздушному лайнеру и окружили его со всех сторон, рискуя попасть под массивные колеса шасси медленно набиравшего скорость самолета,—вот тут-то и могло погибнуть неизвестно сколько воинственных и безрассудных девчонок. К счастью, пилот сумел вовремя затормозить, и несчастья не произошло, если не считать нескольких нервных припадков, а также неизбежных синяков и шишек,—катастрофа была предотвращена.

Так как подобные порывы нашей молодежи, в особенности девушек, поражают и тревожат многих людей постарше, неспособных понять молодое поколение, мы сочли необходимым, после того как самолет исчез за горизонтом, унося обожаемого Исабело, попытаться прозондировать состояние духа его без-

утешно рыдавших поклонниц, которые к тому времени немного успокоились и скрепя сердце собирались разъехаться по домам.

И мы поразились полному их единодушию. Опросили с полдюжины девушек; все они, конечно, состояли в клубе Исабело, у всех были полные коллекции его дисков, экземпляры брошюрки «Исабело и его чарующий мир», косынки с его портретом, сотни тысяч которых были распроданы за несколько месяцев,—они хранят эти реликвии как святыню; но, как мы уже говорили, в своих ответах девочки были единодушны; поэтому мы не будем приводить читателям одинаковых интервью, а воспроизведем лишь один типичный ответ на наши вопросы, ответ Ильсы Мартин, очаровательной девчушки.

Узнав, как ее зовут, мы спросили:

— Скажи, пожалуйста, Ильса, как ты себя чувствуешь, после того как воочию увидела Исабело?

— О-о!—воскликнула она, поднимая брови, и это было выражением величайшего счастья, дарованного ей лицезрением обожаемого кумира.

— На седьмом небе, да?—попросили мы уточнить.

И Ильса несколько раз грациозно кивнула головкой.

Замечательная лекция (из рубрики «Культурная жизнь»)

Шумный успех имела лекция, прочитанная вчера в прекрасном зале Общества друзей искусства и народных традиций ветераном нашей науки достославным доктором Носедалем Каскалесом, ученым, достойным всяческих похвал, о представлении которого к Нобелевской премии не раз ходили упорные слухи. Не говоря уже о том, что тема доклада—«Биология преклонного возраста»—сама по себе, разумеется, вызывает всеобщий интерес как актуальная проблема и как перспектива, одного имени лектора было бы достаточно, чтобы собрать многочисленную аудиторию. Едва ли кто-нибудь из нас, вопреки утверждениям скептиков, считающих, что в нашей стране будто бы не могут воздать должное истинному гению, забыл о вполне заслуженной славе этого светоча науки. Кто осмелится заявить после описываемого здесь знаменательного события, что лавры доктора Носедала увяли? В зале царило напряженное ожидание, и, как только оратор взошел на трибуну, его встретили дружными бурными аплодисментами все собравшиеся, среди которых доктору Носедалю приятно было увидеть немало знакомых лиц.

И в самом деле, среди публики, до отказа заполнившей зал,

преобладающее большинство составляли — по крайней мере так показалось автору этих строк — люди в годах, и среди них мы увидели не только коллег уважаемого лектора, но и выдающихся деятелей других отраслей науки, техники и литературы. Наряду с высоким авторитетом автора лекции и несомненной актуальностью его темы такому дружному проявлению солидарности немало способствовало начало весны, первым вестником которой явился вчерашний день, когда погода звала насладиться теплой лаской царь-светила, и как раз этому обстоятельству мы были обязаны удовольствием увидеть среди собравшихся многих достойных мужей, которые давно уже уединились в укромных уголках, отошли от активной общественной жизни и на людях появлялись редко; нас приятно поразило присутствие даже кое-кого из тех, кому перевалило за восемьдесят и кого мы почитали исчезнувшими из общества навсегда.

Лекция убедительно показала, что наш убежденный сединой корифей несколько не утратил своего научного обаяния. С аттическим изяществом приступил он к трактовке проблем, связанных со старостью, дал им широкое и всеобъемлющее философское обоснование. Сослался, разумеется, на трактат «De senectute»¹, но при всем уважении к античному мыслителю доктор Носедадь с законной гордостью тут же заметил, что сам он не моралист, а ученый, а раз это так, его целью было изучить преклонный возраст с биологической и физической точек зрения; о том он и повел речь, хотя в строго научном изложении не раз звучали нотки немного грустного юмора. С большим одобрением, например, был принят его совет, обращенный к тем, кто достиг уже почтенного возраста, постоянно давать своим ногам усиленную работу, не пренебрегая часто предоставляющейся в эту пору жизни возможностью выполнить свой священный долг и проводить в последний путь бранные останки кого-нибудь из своих друзей, приятелей и знакомых. Периодические упражнения совершенно необходимы для всех частей нашего тела (всех без исключения, подчеркнул он), без них нет долголетия, нет здоровья, которое является источником всех радостей жизни.

Коснувшись этого пункта и обрисовав преимущества ритмической гимнастики, оратор обрушился на предрассудки — столь же нелепые, сколь устаревшие — относительно старости, предрассудки, совершенно лишенные научных обоснований, и среди них особенно распространенное мнение о том, что, мол, в шестьдесят пять — семьдесят лет ослабевают или вовсе исчезают мужские потенции. Энергичное отрицание этого нелепого заблуждения,

¹ Речь идет об известном сочинении Цицерона «О старости».

которое доктор Носедадь Каскалес зло и едко высмеял, не преминуло вызвать у присутствующих взрыв хохота, и это было весьма ярким и убедительным подтверждением торжества научной мысли, которая противостоит бытующим в народе глупым предрассудкам. Веселый смех и шум в зале утвердили и подписали научный приговор заблуждениям и затем перешли в бурную овацию. Именитый ученый склонил голову в знак благодарности, но овации не утихли, наоборот—такое проявление скромности удвоило энтузиазм аудитории, выражавшей свое горячее одобрение выдвинутого докладчиком тезиса.

Великолепный доклад выдающегося ученого завершился гигиеническими и профилактическими рекомендациями, и оратор удалился, провожаемый шумными изъявлениями восторга.

У выхода мы остановили нескольких из присутствовавших на лекции, и все отозвались о ней с высочайшей похвалой. Из всех проявлений энтузиазма мы выделили одну лишь реплику нашего прекрасного поэта Хименеса Мантекона: «Оратор доказал справедливость своих утверждений самим фактом своего появления перед аудиторией. Какая сила интеллекта, какая сила духа! Сколько бодрости! Редкостный случай, редкостный!»

Письма читателей

Господин редактор!

Недавно наше аюнтамьенто приняло решение истребить в санитарно-гигиенических целях всех городских голубей, и это вызвало у меня—и не только у меня—глубокое огорчение.

Для меня, скромного служащего, вышедшего на пенсию, отсутствие этих птиц—я не стыжусь признаться в этом—было бы невосполнимой потерей. Я лишился бы одного из немногих удовольствий, доступных мне на склоне лет, ведь эти совершенные создания природы составляют мне компанию всякий раз, как погода и состояние моего не такого уж крепкого здоровья позволяют мне подышать свежим воздухом на скамье бульвара, и я всегда приношу им кулек какой-нибудь крупы или хлебных крошек. Я понимаю, конечно, когда идет речь о санитарии в масштабах города, что могут значить привязанности одного из граждан, каковы бы ни были его заслуги в прошлом, тем более если теперь он, как и голуби, стал для общества паразитом. Поэтому я не осмелюсь протестовать против их истребления, а лишь предлагаю—с полным уважением к городским властям—следующее: не лучше ли было бы сначала принять меры к уничтожению крыс, заполонивших наши подвалы? Мне трудно

поверить, что они представляют меньшую угрозу здоровью граждан, чем мои пернатые друзья, обитающие на крышах.

*С почтением
Хенафо Фриас Авеидаño*

Господин редактор!

Меня поражает, в какой грязи содержатся городские улицы, в частности улица Буэнависта на пересечении с Авенида-де-лас-Акасиас, где, к несчастью, приходится проживать и пишущей эти строки. Мало того, что всю ночь напролет грохочут грузовики, что дома сотрясаются всякий раз, как под их фундаментом проносится поезд подземки; мало того, что сотрясают воздух реактивные самолеты, да и сами соседи потчуют друг друга музыкой, включая на полную мощность приемники и телевизоры. Как будто этого мало, те, кто обязан заботиться о чистоте улиц, по-видимому, навсегда забыли о нашем перекрестке, о нашем квартале, а может, и обо всем районе—я говорю о нечистотах, оставляемых на тротуарах и мостовых сотнями собак, которых их владельцы выгуливают не менее трех раз в сутки; эти нечистоты, скапливаясь у кромки тротуара, высыхают и перетираются ногами прохожих в пыль, которая поднимается при первом порыве ветра и оседает в наших легких. Ну можно ли это терпеть, господин редактор? Человек, конечно, ко многому привыкает, но нельзя не признать, что всему бывает предел.

Заранее благодарна за внимание.

Искренне Ваша Эуфемия де Мьер

Счастливые дни

У врат Эдема

Всякий раз, как на уроках Священной истории нам пространно и туманно расписывали несравненную красоту земного рая, я представлял себе не ботанический сад, слишком густой и мрачный, и не вечерний парк, слишком светлый и пустой, а зимний сад в нашем доме; ну что можно вообразить себе более прекрасное, чем эта внутренняя терраса, вернее, застекленный высокий патио, который дедушка почему-то (старики вечно все путают) упрямо называл печкой? Наверное, он так прозвал наш сад из-за того, что в солнечный день грелся там, как у печки в гостиной... В нашем зимнем саду росли чудесные папоротники, гиацинты и великое множество самых разнообразных пальм, мать ухаживала за ними с особой заботой, подолгу любовалась ими; в нашем саду, конечно, не было знаменитого древа познания—ему не хватило бы места,—зато в пузатом вазоне росло карликовое

апельсиновое дерево, приносившее плоды, правда довольно безвкусные, но такие для нас желанные. «Мальчики, эти апельсины не едят, на них только смотрят,—говорила нам мать,—не рвите их, взгляните, как они красивы среди темных листьев!..»

Рыбки в большом круглом аквариуме, такие забавные, тоже были только для того, чтобы на них смотреть. Даже канарейки с крыльями цвета соломы, точеными головками и черными бусинками глаз—и те предназначались только для созерцания; когда они принимались петь как одержимые, у мамы начиналась мигрень. «Мама, птицы, нарисованные на ширме, мне больше нравятся, а знаешь почему? Они не поют»,—говорил я ей в таких случаях, огорченный ее страданиями... В зимнем саду стояла лакированная ширма, и на ней были изображены китайский мандарин и множество птиц: одни взлетали, другие садились, третьи покоились на ветвях диковинных деревьев. «Да, но зато они не двигаются»,—отвечала мать.—Видишь? Всегда на одном и том же месте!» И задумчиво смотрела на ширму.

За ширмой она держала свои художественные принадлежности: мольберт, палитру, коробку с красками и кисти. Наша мать очень хорошо рисовала. Когда у нее возникало желание рисовать—а это случалось почти каждое утро,—она садилась за мольберт, и на холсте возникали чудесные цветы или вазон. Смотреть, как она рисует, было для нас праздником. Она выходила в сад в своем *matinée*¹ с бантами и кружевами. Прохаживалась между рядами растений, обрывала засохшие побеги и увядшие листья. А после завтрака—кофе и шоколад нам подавали в зимний сад—доставала кисти, подготавливала все остальное и выбирала место, а мы устраивались по обе стороны от нее, чтобы посмотреть, как она рисует. «Что ты будешь рисовать, мама?» «Посмотрим»,—отвечала она. Или ничего не отвечала. Мы глядели на нее с восторгом и нетерпением, но скоро—увы!—нам становилось скучно: спокойные, неторопливые движения ее руки никак не удовлетворяли нашего нетерпения. «Вот что, мальчики, идите-ка играть. Поиграйте в патио. Ступайте, не то ваша мама разнервничается и не сможет рисовать». Протестовать было бесполезно, и мы уходили.

Однажды, играя в патио, я нашел тонкую и совершенно гладкую, отшлифованную дощечку, и, конечно, она стала моей собственностью. Что бы из нее сделать?—спрашивал я себя. «Как ты думаешь, для чего она?»—спросил я Кике². Дощечка была не только красивой, но еще и загадочной, мы не знали, для чего

¹ Утренний домашний туалет (*франц.*).

² Уменьшительное от Энрике.

она... И тут мне в голову пришла блестящая мысль. «Мама, погляди-ка, что я нашел, какая хорошенькая дощечка, правда? Для чего она? Такая ровненькая и гладкая». Мать выглядела рассеянной и немного озабоченной, но больше рассеянной; повертела дощечку в пальцах, измазанных белой краской. Она куда-то собиралась, у подъезда ждала коляска. И я, следя за выражением ее лица через вуаль, свисавшую с полей широкополой шляпки, наконец осмелился: «Мама, а не могла бы ты нарисовать что-нибудь для меня на этой дощечке?» «Посмотрим»,—ответила она, возвращая мне дощечку. Она всегда говорила: «Посмотрим». Но на этот раз я воспринял это слово как обещание. Когда коляска отъехала, мы с Кике поднялись в зимний сад и стали думать, что бы такое попросить маму нарисовать на этой драгоценной дощечке.

На другой день после завтрака я первым делом повторил свою просьбу, вручив матери дощечку. Она внимательно ее осмотрела, словно видела впервые, а я дрожал—вдруг дощечка ей не понравится. «Правда, она годится?»—«Ладно, посмотрим, что с ней можно сделать».—«Но, мамочка... сегодня, сегодня же, милая мамочка, сейчас». Она улыбнулась. «Ну ладно, кавалер, а что же мне нарисовать для тебя?» Ответ у меня был готов: «Птичку».—«Птичку? Какую птичку?»—«Вот эту!»—радостно крикнул я, подскочил к китайской ширме и указал на одну из птиц, это был воробей. Тогда Кике сказал: «А я тоже хочу птичку, пойду искать такую же дощечку, как у него».

Мать очень тщательно укрепила дощечку на листе картона, лист поставила на мольберт и сразу замазала дощечку белой краской, пояснив мне, что это грунтовка, она нужна для того, чтобы масло не впитывалось в дерево. Иногда мать снисходила до объяснения подобных «технических» подробностей. Класть краски на белый грунт, добавила она, можно будет завтра...

Не знаю уж, сколько раз в тот день я бегал в зимний сад взглянуть на дощечку и все боялся: а вдруг завтра мать скажет, что грунтовка еще как следует не высохла? Это была моя главная забота в тот день, а у Кике была своя: он по всему дому искал такую же дощечку, как у меня, или хотя бы похожую, чтобы мать и ему нарисовала птичку. Такую, как у меня, он не нашел, ему попала только пустая коробка из-под гаванских сигар. Он выломал крышку, аккуратно повытаскивал из нее гвоздики и положил ее в воду, чтобы отмокла этикетка. Так мы дожили до утра следующего дня. Когда наутро собрались к завтраку, Кике показал матери тонкую кедровую дощечку, пахнущую смолой, но она сказала ему то, о чем я уже знал: что эта древесина слишком пористая и слишком ломкая, пусть он поищет что-нибудь

получше, а эта дощечка впитает в себя краски и, чего доброго, покоробится... Выпили кофе. Мать тотчас же устроилась перед ширмой и принялась за работу, а мы смотрели и ждали.

Я, конечно, был уверен, что мать очень хорошо срисует этого воробья, который, казалось, вот-вот запрыгает, однако при всей моей уверенности я следил за ее работой с тревогой. Мне хотелось подбодрить ее, и я хвалил каждый мазок, но лишь через час после начала работы я смог это сделать совершенно искренне. С этой минуты мой восторг все возрастал и, когда она закончила то, что сама назвала «заготовкой», достиг апогея. Я не верил своим глазам. По сравнению с птицей, возникавшей на дощечке, воробей на ширме казался мне маленьким, обыденным, неживым. На ширме сверкал лак, но сверкание это было холодным, а мазки на дощечке были теплыми, как тельце живого воробья. «Мама, как хорошо! Она у тебя красивей, чем на ширме, гораздо красивей!» Мне хотелось поцеловать руку матери, но я не осмелился прервать ее волшебную работу. «Тебе нравится?» — «Очень, очень нравится, но скажи, мама, когда краски высохнут, она уже не будет так блестеть?» Вот чего я боялся. Ибо накануне заметил, что белая грунтовка тускнела, по мере того как высыхала. Мать меня успокоила: «Понимаешь, когда картина будет закончена, мы покроем ее лаком, и она заблестит.»

Какое счастье! Я был на вершине блаженства. Можно сказать, я испытывал полное и абсолютное счастье. Мне не терпелось увидеть картину законченной, предвкушение блаженства жгло меня, как огнем, ведь радость заставляет нас страдать не меньше, чем горе. В ту ночь я уснул мертвым сном, едва коснувшись подушки. Когда, проснувшись наутро, я прибежал в зимний сад, мать и Кике уже завтракали. «Ты что меня не разбудил?» — упрекнул я брата. И побежал взглянуть на свою птичку.

«Что с тобой? Что с тобой, сынок?» — воскликнула мать, изменившись в лице, и бросилась ко мне. Не знаю, наверное, я закричал, а может, и нет, но, когда мать обратилась ко мне, я не мог произнести ни слова, как будто онемел. Мать взглянула на мольберт и увидела то, что увидел я: мой воробей был сверху вниз разрезан чертой, проведенной гвоздем или шилом. «Кто это сделал?» — сердито крикнула мать. А я зарыдал: «Мама, мама, мама, мама!» Прямо-таки захлебывался рыданиями. А она, таким упавшим, таким печальным голосом, что я, несмотря на мое горе, обратил на это внимание, сказала: «Знаешь, сынок, это ничего, не беда. Я это сейчас же поправлю, вот увидишь». — «Но она будет уже не такой, никогда не будет такой же». — «Будет, глупыш, будет. Точь-в-точь как раньше. Совсем такой же», — настаивала мать. Я понимал, что она говорит это мне в утешение; нет, конечно,

птичка уже не могла снова стать такой, как прежде.

Осталась ли она такой же? Забавно, я больше не помню ничего о своей дощечке: что было дальше и чем дело кончилось. Наверное, я вдруг потерял к ней всякий интерес. И мать больше не рисовала. Появились еще дети, мальчики и девочки, появились новые заботы. И с тех пор меня никогда не тянуло пойти в зимний сад и посмотреть на птиц, нарисованных на ширме.

Кража

Чего только нет в этой аптеке! Дядя Антолин, бедный мой дядя Антолин, спокойный и добродушный, сколько я его помню, всегда улыбался, расчесывая пятерней седеющую бороду, — он был добрым волшебником, царствовавшим в этой сказочной, полной чудес пещере. На верхней консоли рядом с окном, выходящим в небольшой патио, застыли на жердочках два набитых соломой филина и один живой, все трое глядят на меня неподвижным взглядом, а когда живой филин умрет, его тоже набьют соломой, и он все так же будет глядеть на меня стеклянными глазами. Подолгу смотрю я и на сверкающие чистотой банки под стеклом витрины, и на толстые стекла со скошенными краями на мраморе прилавка, и на маленькие весы с медными гирьками, и на величественный допотопный кассовый аппарат; а еще в стеклянном шкафу стояла бутылка с синей-синей жидкостью — ей предназначался мой первый и мой последний взгляд, всякий раз как я заходил в аптеку дяди Антолина. Все это, конечно, давным-давно унесла река времени, но тем не менее оно остается в моей памяти таким, как было, и останется в неприкосновенности на веки вечные.

— Мама, можно я схожу ненадолго к дяде в аптеку?

— Хорошо, но только на минутку. И смотри, не проси у дяди ничего, понял? Ничего-ничего.

Зачем просить? Он и без того всегда дает мне что-нибудь: горсть монет, коробку мятных лепешек, леденцов или драже. Аптека дяди Антолина — это волшебный грот, в котором можно увидеть сто тысяч чудес. Я всегда непременно вижу там какое-нибудь новое чудо. Что ждет меня сегодня? На этот раз я увидел то, что мне сразу же страстно захотелось получить в собственное пользование. Я замер от восторга перед коробкой с цветными открытками, яркими и красочными, как эстампы в художественном магазине, даже еще красивей: вот велосипедистка в шляпке с плюмажем, а вот голландская корова, петух, черно-желтый автомобиль с золотистыми фарами, пастух с лохматой собакой... В коробке уйма открыток, среди них много

одинаковых. Если бы только я мог попросить у дяди Антолина какие-нибудь из них, он, конечно, подарил бы их мне, он всегда мне что-нибудь дарит, сейчас он просто не знает, как они мне понравились. Но просить ничего нельзя. А вдруг он так и не догадается подарить мне их?.. Ждать? Нет, лучше соберу-ка я полный комплект и возьму с собой. Уходя, скажу: «Послушай, дядя, я их взял». Или: «Дядя, можно я возьму открытки?»

Но когда я собираюсь уходить, то вижу, что дядя углублен в чтение газеты. Я ему говорю: «Ну я пошел, дядя, до свидания». И он отвечает: «До свидания, малыш», а сам даже глаз не поднимает, уткнулся в газету.

И тогда я с легким сердцем отправляюсь домой. Спешу. Лечу, будто у меня выросли крылья. Так хотелось побыстрее добраться до дома, вынуть открытки из кармана и разложить на столе... Открытки действительно чудесные. Как они блещут! Разглядываю их одну за другой, перекладываю, пожираю глазами, обращаю внимание на каждую деталь. Просто чудо.

И вдруг чувствую, что мать стоит у меня за спиной и тоже смотрит на них. С опаской оборачиваюсь.

— Мама, посмотри, какие они красивые.

— Кто тебе их дал? — спрашивает она.

— Они были в аптеке.

— Тебе их дал дядя?

Мгновение колеблюсь. Нет, лгать нельзя.

— Они были там.

— Где это там?

— В аптеке.

— Но где именно?

— В коробке.

— Ты хочешь сказать, что взял их без спросу?

— Их там было много-много, мамочка, тысячи.

Вижу, как мать меняется в лице. После тягостного молчания слышу ее голос теперь уже не строгий, а печальный:

— Да может ли это быть? Как могло случиться, что ты совершил такой поступок? Господи боже! Да еще в такой день, как сегодня, после того как ты исповедался и причастился. Разве ты не знаешь, как называется то, что ты совершил? Не знаешь, что это самая настоящая кража? Конечно, знаешь, еще бы тебе не знать! Ты уже большой и прекрасно это знаешь.

«Кража — вот тебе на! — думаю я. — Взял несколько открыток у дяди, а он добрый, все равно бы подарил их мне, а тут — кража».

— Это, сынок, очень серьезно, — продолжает мать. — Никогда бы не подумала, что ты способен на такое. Это же воровство.

Я знаю, что она преувеличивает, для того чтобы я как следует усвоил правила поведения, эти пресловутые принципы; знаю, что

очень сильно преувеличивает, но от этого ее упреки удручают меня ничуть не меньше. А главное — плакали теперь мои открытки, тут ничего уж не поделаешь, этого следовало ожидать.

Голос у матери становится все печальнее, но вот в нем появляются торжественные нотки, и она приказывает:

— Ты сейчас же — сию же минуту, понял? — пойдешь и вернешь эти открытки дяде.

«И как это мне пришло в голову, — думаю я, — взять их просто так? Куда было торопиться? И потом — разве не мог я немного потерпеть и не раскладывать их сразу на обеденном столе? Я — дурак, безмозглый дурак».

— Если хочешь, мама, — предлагаю я, — пойду хоть сейчас или завтра утром и положу открытки на место.

— Слушай, что я тебе говорю, не то я все расскажу папе, и он тебя накажет. Не хотелось бы мне огорчать папу тем, что его сын, оказывается, нечист на руку — да, да, именно так. Поэтому слушай меня внимательно: ты сию же минуту пойдешь в аптеку и скажешь: «Дядя Антолин, я пришел вернуть открытки, которые украл у тебя из коробки. Я в этом раскаялся, прости меня».

Да, конечно, я раскаялся, еще как. Я должен был сообразить, чем дело кончится. Ну и дурак. Открытки были такие красивые, и мне ужасно хотелось оставить их у себя... Но ладно, ничего не поделаешь, только я их и видел. Раз свалил дурака, придется с ними расстаться. Пусть их у меня отберут, я согласен, а если это такой уж большой грех, пусть сожгут их в плите или разрешат вернуть незаметно, сунуть обратно в эту проклятую коробку. Но не тут-то было. Я должен, покраснев как рак, признаться, что я — воришка, мазурик, хотя на самом деле я вовсе не такой.

— Вот что ты должен сделать. И никаких возражений, понял?

— Я пойду завтра, мама. Сегодня я очень устал.

— Как это завтра? Сию же минуту, говорю тебе, и не заставляй меня повторять еще раз. Шагай!

Ну что я мог поделать? Пошагал.

Ноги мои вдруг отяжелели, я устал, задерживаюсь у каждой витрины, выбираю самый длинный путь, даже иду через фруктовый рынок. Открытки оттягивают карман, будто свинцовые пластины. К чему воображать, что вот возьму и не вернусь домой, а брошусь в пруд? Глупости, чепуха. Одни фантазии. Деваться некуда, надо пройти через стыд и позор. Как медленно я ни шел, вот уже и аптека. Дядя Антолин сидит за прилавком, еще с угла вижу его силуэт в глубине аптеки. Какой смысл оттягивать? Когда я войду, он немного удивится, снова увидев меня (или я не уходил?), а я скажу ему то, что должен сказать, и выложу на прилавок украденные открытки, он рассмеется и

подарит их мне, погладит по голове и скажет: ну что за вздор, какие глупости, эти открытки он и держал специально для меня, я могу взять и еще сколько захочу. Но мне уже не захочется никаких открыток. С великим трудом сдержу я слезы. Буду только упрямо крутить головой — если скажу хоть слово, слезы хлынут ручьем, — а он все будет настаивать и заставит меня взять хотя бы те открытки, которые я ему вернул, еще раз повторив, что держал их специально для меня и что дарит их мне, и я отправлюсь с ними в обратный путь. Но, подойдя к оросительной канаве, протекающей у дороги, останавлиюсь, осененный внезапной блестящей мыслью, и начну кидать открытки в воду одну за другой и смотреть, как их уносит течение... Тогда я уже знал наверняка, что никогда не смогу на них смотреть.

Новогодний вечер

Нас уверили в том, что в этот их Sylvesterabend¹, в канун Нового года, снимаются все запреты, все дозволено и даже полиция ни во что не вмешивается, ни на что не обращает внимания, кроме серьезных преступлений. И мы, жадные до жизни юнцы, с нетерпением дожидались великой вакханалии.

Мы приехали из южных земель, иссушенных и обожженных солнцем, для большинства из нас это был первый год студенческой жизни на чужбине, и все здешние обычаи были нам в диковинку, да и языком этой страны мы еще только овладевали. С превеликим трудом кое-как объяснялись, лишь бы удовлетворить нужды повседневного быта; проявляя великое терпение, с помощью словаря и интуиции начинали управляться и с науками, дабы не посрамить студенческое сословие; но в остальном страна, где мы жили, была для нас как будто за стеклянной стеной, сырая, зеленая и таинственная, дремучий волшебный лес; она окружала нас со всех сторон, манила к себе, делала нам знаки, звала настойчиво и властно, но нам никак не удавалось до нее добраться: мы отчаянно рвались к ней, как глупые мошки, летящие на свет, и снова и снова натывались на обманчиво прозрачное стекло.

Нетрудно догадаться, какого рода знаки мы воспринимали... Мы были, как я уже сказал, жадными до жизни юнцами, приехавшими из засушенных солнцем земель, и что тут говорить: если нас так настойчиво звали таинственные голоса из волшебного леса, болью отзываясь в нашей душе, если нас так неодолимо влекло очарование блуждающих лесных огней, то все

¹ Новогодний вечер (нем.).

это лишь потому, что и голоса, и огни принадлежали женщинам, чьи взгляды — при встрече на улице, из-за прилавка магазина, в амфитеатре аудитории, поверх стола в библиотеке — обещали так много, подавали надежду, но надежда эта никогда не сбывалась. Пустые, лживые обещания... Девушки появлялись перед нами повсюду, но тут же исчезали. Пышнотелые, красивые, пышнотелые до умопомрачения, белые, румяные, светловолосые, гордые, спокойные, добродетельные, равнодушные; и мы глядели на них во все глаза, мы — бородатые, волосатые, черноволосые, черноглазые, худые и угловатые, пыльные, жаждущие — глядели на них разинув рот. Мы пытались заговаривать с ними — и не могли, не умели, только потешно бормотали что-то невнятное и улыбались жалкой извиняющейся улыбкой. А их наше бормотанье слегка удивляло, может, даже забавляло, но, помедлив минуту в нерешительности, они поворачивались спиной или просто-напросто возвращались к своим делам и не обращали на нас внимания.

Но теперь приближался праздник, Новый год, а в новогодний вечер — как нам упорно внушали — все дозволено и никто ни от кого не требует строгого соблюдения правил хорошего тона.

Больше всех толковал нам об этом маркиз де Сен-Дени, жизнерадостная личность, неунывающий толстяк; правда, насчет его титула одни говорили, что это чистая выдумка, а другие — что за душой у него ни гроша и маркиз он только по званию, да и оно не французского, а португальского происхождения, никакой он не Сен-Дени, а Сан-Диниш. Но какова бы ни была его генеалогия, он выполнял роль нашего наставника. Хотя мы над ним и посмеивались, однако советам его следовали, учились у него. Как великий знаток и завсегдатай злчных мест, он из всех заведений рекомендовал нам выбрать для встречи Нового года «Францисканский погребок»: там просторно, никто не ожидает, что ты закажешь шампанское, там хранят верность излюбленному напитку немцев — пиву, знаменитому *Bockbier*¹, рекламой которого служит огромный козел² из папье-маше, возвышающийся на бочке посреди зала. Входная плата соответствовала нашим скудным капиталам — что возьмешь с живущего на стипендию бедного студента, — а демократический дух как нельзя лучше развяжет нам руки, замаскирует нашу *sans façon*³... К тому же с нами будет маркиз, всегда готовый, несмотря на свои годы, повеселиться в кругу молодежи.

По совету маркиза мы решили собраться к восьми часам вечера в заведении, где обычно проводили субботние вечера, — в

¹ Двойное мартовское пиво (нем.).

² Боск (нем.) — козел.

³ Бесцеремонность (франц.).

кафе-кондитерской «Бавария». Случилось так, что первыми на место встречи пришли—почти одновременно—маркиз и я. Тотчас стали подходить и остальные, главным образом новички, первокурсники, а те, кто жил здесь давно и уже пообвык, проводили новогодний вечер и встречали Новый год в какой-нибудь небольшой компании среди избранных друзей. И вот, подождав немного, пока соберутся все пожелавшие объединить свои одинокие души в пивной, которую выбрал для нас маркиз, мы вышли толпой из кафе-кондитерской и быстро зашагали к месту назначения—было довольно холодно,—вошли в пивную так же, толпой, громко разговаривая по-испански, пока старик швейцар считал наши входные билеты. В просторном зале было многолюдно. По случаю праздника гирлянды зеленых веток и разноцветных лампочек дополняли обычное убранство—картины, изображавшие традиционные сцены пиршества монашеской братии, и шутейные плакаты на местном диалекте или на исковерканной латыни, написанные готическими буквами. У ног грозного вздыбленного козла, рекламы Wockbier, соорудили подмостки для состоявшего главным образом из аккордеонов и скрипок оркестра, которому предстояло оживлять веселье. К потолку поднимался дым от трубок и сигарет, меж столиков деловито сновали официантки. Сгрудившись, мы помедлили у двери и в молчаливом ожидании оглядели зал. Столики, в обычные дни, видимо, стоявшие далеко друг от друга, теперь были сдвинуты тесней, с тем чтобы освободить место для танцев вокруг оркестра, и там уже толклись танцующие пары; сидевшие за столиками жестикулировали и пили; а мы стояли у двери, не осмеливаясь войти в бурлящую возбужденную толпу.

И вдруг—вот так штука!—мы видим, как один из нас выступает вперед. Кто? Да кто же это может быть, как не Лусио Гонсалес, зеленовато-желтый курчавый канарец, которого мы в шутку прозвали Курящим Павианом? Он приехал в эти холодные края изучать тропическую фитопатологию в знаменитом на весь мир институте. Лусио был парень что надо и не сердился на нас, а смеялся, когда мы говорили ему, что нас-то он не проведет и мы никому не скажем, но пусть честно признается, что он—обезьяна, сбежавшая от доктора Кёлера, который проводит опыты над животными в Тенерифе. И вот он, как взъяренный павиан, отошел прочь и теперь прыгал вокруг полногрудой нимфы, только что проплывшей мимо нас. Ему много не понадобилось: стоило почувствовать на себе полный любопытства взгляд—и он ринулся на приступ. Наш толстяк маркиз провожал его взглядом, пока он не затерялся в густой толпе танцующих, и, смеясь, одобрил его порыв. «Вот это по мне!

Молодец! Ребята, берите с него пример».

Но сначала мы захватили один из немногих свободных столиков, устроились вокруг него, кто сидя, кто стоя, и заказали выпивку. Пили залпом, высоко поднимая локоть и запрокидывая голову—так шикарнее,—пили пиво, водку, рейнвейн. Надо же было попасть в тон окружающим, здесь у всех блестяли глаза, каждый что-то говорил, размахивая руками, и никто никого не слушал. Смелей, ребята, смелей! И когда спустя некоторое время мимо нас прошла стайка девушек и мы перехватили несколько насмешливо-задорных взглядов, трое из нас—перуанец Сальдивар, король румбы Лукитас и не помню кто еще—встали из-за столика и пошли за девушками, чтобы пригласить их на танец. Но я, как и многие другие, предпочел посидеть еще за кружкой пива и подождать более благоприятного случая, мне забавно было смотреть со своего места, как вдали то появится, то исчезнет, то снова затеряется среди плотной толпы танцующих лохматая черная голова перуанца: он страстным до неприличия взглядом пожирал свою партнершу, белокурую валькирию, почти альбиноску, которую он серьезно и старательно кружил в вальсе.

«Вы обратили внимание, с какой похоронной миной отплясывает наш Сальдивар?» — заметил маркизу Васко, нахальный уругваец. Наш Сен-Дени поднял свои короткие толстые руки, как будто собрался толкать нас в круг танцующих, и весело крикнул: «А ну, кавалеры, все танцевать! Что за молодежь?!»

Но разве надо было нас еще подталкивать? И надо ли было подавать пример, как тут же сделал наш старик? Несмотря на свое пузо, он вытащил в круг молоденькую девушку, почти девочку, обхватил ее и начал усердно отплясывать, пыхтя и отдуваясь. Конечно, мы в этом примере уже не нуждались. Зал гудел от смеха, гомона, крика и веселой суеты, музыканты старались вовсю, но музыку трудно было расслышать. Приближалась ночь, пиво лилось рекой, и не только пиво, дым стоял коромыслом, и кто раньше, кто позже—все мы неизбежно должны были оказаться в кругу танцующих.

Как ни был я отвлечен отчаянными стараниями толстяка маркиза, прыжками и выкрутасами павиана Гонсалеса, мельканием в толпе перуанца, рука которого покоилась на пышном бедре валькирии, в какое-то мгновение я заметил, что из-за соседнего столика на меня посматривают две женщины. Возможно, они обсуждали мой странный для такого вечера рассеянный вид или строили предположения, кто я: египтянин, перс или еврей бог знает из какой далекой страны. Разговаривали они вполголоса, сдвинув головы, и в чертах лиц обеих я заметил такое сходство,

что решил про себя: конечно, это сестры, впрочем, нет, скорей мать и дочь, потому что одна из них была женщина в расцвете лет, еще молодая и очень красивая, а в другой заметны были робость, трогательная незащитность и вместе с тем гордость невинной девушки. Мне улыбались две пары черных миндалевидных глаз, улыбались спокойно и приветливо... И тут я замечаю, что сижу за столиком один, моих товарищей одного за другим поглотил водоворот танцующих; я один, и передо мной на столе пустые стаканы и кружки. Поднимаю свою кружку пива, глядя на незнакомок,—своего рода безмолвный тост. Они в ответ поднимают свои рюмки, улыбаются, и я понимаю, что теперь надо подойти к ним. На какой-то миг я заколебался, но старшая из женщин, мать, уже приглашает меня к своему столику дружеским кивком. И я, захватив с собой кружку с пивом, иду к ним. Сердце колотится в груди, голова кружится. Что это со мной, черт побери? Из моего сердца, готового лопнуть, вдруг выплескивается и разливается в груди страстное влечение к сидящей передо мной девушке—глаза робкой газели смотрят на меня ласково и чуточку боязливо. Пытаюсь что-то сказать, ну хоть что-нибудь, они ждут этого, но язык мой, скорей от волнения, чем от спиртного, словно задубел, заплетается, и я насилу выдавливаю из себя нечто невразумительное. И к тому же не могу понять, о чем спрашивает меня старшая из женщин. «Что? А, да!—спешу я ответить.—Да, я Spanier, из Spanien». Это я выпаливаю одним духом. А она, растягивая слово, произносит: «Тар-ра-го-на...»

Наступает молчание, и, чтобы нарушить его, я жестом приглашаю дам потанцевать. Они переглядываются, и встает мать—что ж, придется идти в круг с ней. Там, ощущая теплую мягкость ее груди, я замечаю, что на веках ее красивых миндалевидных глаз немало морщинок. И взгляд мой устремляется вдаль, отыскивая в тесных рядах столиков одинокую фигурку девушки, которой пришлось там остаться и которая теперь тоскливо ждет нашего возвращения; поворачиваясь в ее сторону, я всякий раз вижу ее профиль, она сидит все в той же позе. Как только музыка умолкает, не успев отзвучать последний аккорд, моя партнерша отделяется от меня. Я, по примеру других, попробовал оставить руку на ее талии, но она ловко высвободилась, и мне ничего не осталось, как плестись за ней к столику.

Завидев нас, девушка поднимает голову и улыбается. Не подумав ни о чем, в бессознательном порыве я беру ее за руку, она сначала сопротивляется, но скоро уступает, трепещущая и покорная, как пойманный зверек. Нет, я ее не отпущу, не должен отпускать. Свободной рукой делаю жест, приглашая ее потанцевать—оркестр уже начал следующий танец,—и одновременно

тяну ее за руку, чуть ли не тащу силой, так мне не терпится обхватить руками ее стройное тело, а мать смотрит, как мы идем в круг, не то весело, не то с беспокойством—во всяком случае, мне так показалось. Но мне уже все было нипочем, все на свете! Как в бреду целую ее волосы, лоб, брови, как она ни крутит хорошенькой головкой, нервно хихикая и стараясь уклониться от моей бушующей страсти. А когда наконец кончается музыка, спешит возвратиться к столику, чуть ли не бежит.

Как могу я рассказать, восстановить в памяти шаг за шагом, разложив по полочкам, все, что пережил в этот вечер? Девушка, помнится, после первого танца все время отказывалась танцевать со мной. Отказ за отказом, отказ за отказом, и я, не помня себя, опять схватил ее за руку и попытался силой затащить в круг, но тут мать, вероятно, сочла меня пьянее, чем я был на самом деле, а может, она просто сжалилась над моим безудержным юношеским пылом, не исключено также, что она немного завидовала дочери и ей самой хотелось потанцевать,—так или иначе, она взяла меня за руку и ласково, но решительно потащила в центр зала. И пока мы танцевали, я силился объяснить ей свои чувства, излить душу, рассказать обо всем, что распирало мою грудь, поминутно спрашивал, понимает ли она меня, и женщина, хотя наверняка не понимала ни слова, старалась успокоить меня, согласно кивала или же закрывала мне рот ладонью, которую я жадно прижимал к губам.

В голове у меня шумело, все вокруг смешалось. Вдруг я почувствовал, что кто-то хлопает меня по плечу, и обернулся—передо мной стоял маркиз, он что-то кричал, размахивая руками. Что такое? Я ничего не понял и перестал обращать на него внимание. Мне отчаянно хотелось снова завладеть девушкой, ничего другого я не замечал и не хотел замечать в окружавшей меня вакханалии. Раз два или три—а может, и больше—мне удавалось поймать ее руку, но, к моему великому отчаянию, мать ее тотчас приходила на выручку, предлагая взамен дочери себя. Куда там! Мне нужно было не роскошное тело зрелой женщины, а фигурка робкой и неподатливой девчонки.

В разгар всеобщего веселья звуки трубы из оркестра возвестили полночь, наступил Новый год, и взрыв ликования, потрясший своды зала, внезапно лишил меня последних сил. Возбуждение мое угасло, глаза закрылись, и я смутно помню, как чьи-то нежные пальцы гладили меня по лицу, а голова моя покоилась на теплых коленях. Больше я не помню ничего...

Когда я открыл глаза, было утро, откуда-то сверху на мое лицо падали солнечные лучи, и мне пришлось прикрыть глаза рукой. Я увидел, что лежу на полу рядом с опрокинутым стулом,

окутанным лентами серпантина. Надо мной возвышался все тот же вздыбленный козел—пейте Boskbier. Рядом увидел ножки столика. А прямо передо мной хохотали, хватаясь за живот, две пожилые женщины со швабрами. Уборщицы, повязанные косынками и вооруженные швабрами и ведрами с водой. Glückliches Neujahr! С Новым годом, паренек!

Аллилуйя, брат мой!

Ну вот, только этого мне и не хватало! Вы представляете себе, как бывает досадно, когда ваш автомобиль ни с того ни с сего остановится и, сколько ни крути рукоять, мотор не заводится, молчит как мертвый! И в довершение всего это случилось в воскресенье утром. А воскресенье и так мертвый день. Куда девать себя в погожее воскресное утро, ясное и свежее, если живешь один и заранее ни с кем ни о чем не договорился, ну хотя бы о поездке на пляж с друзьями или знакомыми? На это воскресенье я не смог ни с кем сговориться, да, собственно, и не хотел сговариваться, даже под каким-то предлогом отказался на неделе от приглашения на уикенд, который, правда, особых радостей мне не сулил—два дня на лоне природы с супружеской парой и их детьми,—но все же это было бы хоть какое-то времяпрепровождение. Но я не хотел связывать себя никакими обещаниями, пока не узнаю, свободна ли будет Ньевес; честно говоря, я до последней минуты, то есть до субботнего вечера, когда в последний раз позвонил ей уже без всякой надежды, не верил, что она в самом деле уедет, но она таки уехала, уехала со «своими»—она это особо подчеркнула,—на свадьбу куда-то в деревню. «Поезжай куда хочешь, мне-то что»,—сказал я; но если раньше в подобных случаях этих слов было достаточно, чтобы она отказалась от своих планов и потом только требовала, чтобы я возместил ей эту жертву, на этот раз так не случилось. На этот раз она отказала мне, причем весьма непринужденно: «Понимаешь, я не могу не поехать. Выходит замуж моя двоюродная сестра. Если не приеду, все обидятся. Да и что тут страшного? Всего только на уикенд. А в понедельник утром мне надо на работу, пропади она пропадом». Кислое выражение моего лица было ей нипочем, она только смеялась. Глядела на меня ласково-насмешливым взглядом и смеялась. Я предпочел бы, чтобы Ньевес была со мной откровенна и говорила все начистоту, спорила со мной, а если надо, и воевала бы. Но нет, в борьбу со мной она никогда не вступала. «Я, конечно, не буду просить,—говорила она,—чтобы ты женился на мне. Прекрасно знаю, что

на мне ты не женишься». «Ни на тебе, ни на ком другом я жениться не собираюсь,—отвечал я, хмуря брови.—Зачем об этом говорить? Если бы мне надо было жениться...» «... то, уж во всяком случае, ты не взял бы в жены какую-то негритянку, это уж дудки»,—шутила она. «Дурочка»,—говорил я с укором, смеялся и целовал ее смеющийся рот, но в душе злился на такое скрытое вымогательство. Впрочем, размышляя я потом, в конечном счете все они, как черные, так и белые, хотят лишь одного: выйти замуж. На это нацелены все их уловки, и для достижения цели каждая использует весь запас хитрости, каким располагает. Эта плутовка прекрасно знает, с какой стороны ко мне подойти: «Ну конечно, я понимаю, ты же беленький...»

И вот, когда на мои звонки уже никто не отвечал и мне пришлось отказаться от мысли провести воскресенье с ней, тут-то и навалилась на меня хандра. Полезли в голову всякие мысли, и в ту ночь я долго не мог уснуть. Прежде всего меня выводило из себя, что Ньевес такая уклончивая, неуловимая—всегда вывернется. Сейчас она там, конечно, веселится вовсю со «своими», а я тут... А я меж тем никак не мог отделаться от забот, накопившихся за неделю, и перед сном они одолевали меня, как назойливые мухи. Во-первых, денежные затруднения; подступали сроки платежей, и провалиться мне в тартарары, если я знал, откуда взять денег. Да если бы только это... К таким вещам я давно привык, и они не очень меня пугали, хотя, по правде говоря, бывают минуты, когда чувствуешь, что устал изворачиваться. Во-вторых, я не мог уснуть из-за этого идиота Онтанареса, его неприязнь ко мне в последнее время переросла, можно сказать, в откровенную вражду. Не будь он чем-то вроде начальства, что давало ему возможность навредить мне или по крайней мере испортить настроение, плевал бы я с высокой колокольни на этого Онтанареса со всеми его нападками. Но, к сожалению, я не мог пренебречь им, а, напротив, должен был держать ухо востро. Какой черт ему рассказал или что он там пронюхал о моей личной жизни, но стервец то и дело бросал на меня зло-ехидные взгляды, говорил со мной обиняками, а то возьмет и преподнесет мне что-нибудь; вот, например, в позапрошлую пятницу этот осел торжественно заявил: «Сеньор Имярек, нам с вами надо кое-что выяснить. Зайдите в понедельник ко мне в кабинет, как только приедете на работу, потолкуем». То, что он хотел мне сказать, оказалось вздором, пустячным делом, меня оно совершенно не касалось, не помню даже, о чем шла речь. Но это выяснилось только в понедельник. А Онтанаресу только и надо было, чтобы я весь конец недели думал и гадал, что бы это значило, и цели своей он, разумеется, достиг. Как я уже сказал, в ту

ночь я долго не мог уснуть, а наутро, едва проснулся, сознанием моим овладели все те же вчерашние невзгоды: ехидство и вражда Онтанареса, предстоящие платежи и выскользнувшая из моих рук Ньевес — кто тебя знает, чем ты там сейчас занимаешься!

Так что встал я в дурном настроении, а тут еще это проклятое колотье в боку, ничего страшного, как говорила, посмеиваясь, Ньевес («Ничего страшного, дурачок ты мой»), но, если это так, почему оно не исчезнет раз и навсегда? Я немного мнительный, не отрицаю. Врач не предписывает мне особой осторожности, но и не говорит, что, мол, ничего страшного. По-моему, он знает о моей болезни только то, что я сам ему о ней рассказываю: хоть и не часто, но кольнет вдруг и тут же отпустит, и так каждый раз. Кому это понравится? Теперь-то я к этому колотью привык и не обращаю на него внимания, а в те времена оно меня сильно заболело. И вот я встал, заварил кофе в электрической кофеварке, выпил его как-то машинально, не ощущая никакого удовольствия, и стал приводить себя в порядок, стараясь выполнить каждую процедуру не спеша. Но, как ни тянул время, очень скоро покончил с мытьем, бритьем и одеваньем, а передо мной было еще целое утро, воскресное утро, лучезарное и пустое. Что с ним делать? После обеда еще можно убить время, забравшись в какой-нибудь кинотеатр, хоть по воскресеньям там полно несносной ребятни, шушукающихся парочек и семей в полном составе; провести вторую половину дня, в конце концов, не проблема. Но что делать в это сияющее и бесполезное утро? Как убить время, несколько долгих часов? Бессмысленно послонявшись по квартире и выглянув на террасу, я попробовал включить приемник — ничего интересного, уселся в кресло с книгой — и поставил ее обратно на полку, так и не раскрыв, и наконец пришел к решению, которое напрашивалось с самого начала: вывел из гаража машину и поехал. Это был единственный выход. Перемена мест — лучшее развлечение. Плохо только, что на автомобиле в любое место попадаешь очень быстро. Но так или иначе, это выход. И я поехал, сам не зная куда, и вот, когда, исколесив полгорода по пустынным улицам — черт бы побрал эти воскресенья! — собрался свернуть на набережную, — бац! Только этого мне и не хватало: машина останавливается. Застрял на самом углу. Бывают дни, когда лучше не вставать с постели. Ну кто меня гнал?.. Не ахти какое происшествие, дело заурядное, это мне ясно, но все-таки бывают же такие дни!.. За каким чертом я поехал — и что теперь делать: все на свете закрыто, кому охота работать в воскресенье, а если какие-нибудь бедолаги где-нибудь и дежурят и удастся их отыскать, ничего они не смогут сделать.

Поковырявшись довольно долго в моторе наобум, попробовав

все, что в таких случаях пробуют, я так разозлился, что мне оставалось только пнуть в сердцах неподвижную хламину или сесть на кромку тротуара и заплакать. С отчаянием и яростью глядел я на бесполезную машину, хотя и сознавал, что злиться на нее глупо, как вдруг услышал рядом чей-то голос, вернее, глас небесный, суливший мне помощь свыше:

— Что случилось, друг мой? Не могу ли я вам помочь?

Ничьих шагов я не слышал. Но рядом со мной стоял, склонившись над моторным отсеком с поднятым капотом, какой-то пожилой человек.

— Вы случайно не механик? — спросил я.

— Нет, сеньор, я не механик. Но, может быть, смогу помочь вам. Машины, знаете ли, все равно, что наши братья во Христе: вдруг заболеют, и один господь бог...

И он начал трогать тут и там, ощупывать умолкнувший мотор. Но, как видно, недомогание моей бедной машины было очень серьезным и скрытым: ни на какое лечение она не реагировала. Она была слишком стара, одним словом — хламина.

— Иногда... — продолжал мой добровольный помощник. — Вы не поверите, но иногда стоит мне сосредоточиться и подумать, — тут он закрыл глаза, — и меня как будто кто-то толкнет, наступает прозрение, и рука сама тянется к какому-нибудь крафику или другой детали, что-нибудь пошевелю или нажму рычажок — и готово. Это трудно объяснить... Но бывает и так, что...

— Ну, сегодня, кажется, нам не везет, — мрачно заметил я.

Добрый человек посмотрел на меня с ласковой улыбкой. Белые зубы сверкнули на солнце, а черные глаза, тоже блестящие, глядели на меня с участием. Лицо его как будто сохраняло юношескую свежесть, и, если бы не седина в густых выющихся волосах, никто бы не подумал, что он — старик... Я протянул ему ветошь, и он, продолжая улыбаться, обтер руки, перепачканные машинным маслом.

— Большое спасибо, — сказал я. — Как бы там ни было, я вам очень благодарен.

— Жаль, — ответил он, — очень жаль, что я не смог быть вам полезным. — И добавил: — Но поверьте мне, молодой человек, не стоит из-за такого пустяка портить себе кровь.

Хоть я и пребывал в расстройстве, мне не хотелось показаться невежливым такому обязательному человеку. И я пояснил как можно учтивее:

— Нет, портить кровь себе я не собираюсь. Только это... досадно, не правда ли? Мелкая неприятность, не более. Откровенно говоря, зло берет. Но что поделаешь!

И в своем голосе я услышал беспомощные нотки. Улыбка моя,

должно быть, показалась ему вымученной и печальной.

— Вы, наверное, торопились, спешили куда-нибудь,— заметил он, оглядываясь, словно искал для меня спасения.

— Да нет... видите ли. По правде говоря, не спешил. Ехал просто так. Неважно, оставим это, выйду из положения.

Мне хотелось ответить любезностью на любезность этому услужливому человеку, и, чтобы не показаться сухим и даже грубоватым, каким я бываю всякий раз, как сталкиваюсь с какой-нибудь неприятностью (уж я-то себя знаю), я пустился в объяснения, попытался в общих чертах обрисовать обстановку, в которой оказался этим утром. У меня была только одна цель: держаться естественно, спокойно и не проявлять свойственной мне по временам сдержанности. Но очень скоро—быть может, потому, что мне не хотелось вернуться к своему одиночеству,—я стал доверительно делиться с ним моими невзгодами, поначалу в безличной форме: дескать, жизнь не часто балует нас, простых смертных, а потом—без лишних подробностей, разумеется,—рассказал и о моем невезении в последние дни.

Он слушал меня, кивая головой и глядя в землю. Сами того не замечая, мы с ним медленно пошли к набережной. Как только завернули за угол, перед нами предстало море—зеленое, синее, белое, сверкающее и искрящееся в это солнечное утро. На набережной никого не было. Солнце припекало уже чувствительно, но здесь жара смягчалась свежим морским ветерком. Мы уселись на скамью лицом к морю.

— Да, сеньор,—задумчиво произнес незнакомец после молчания,—так оно и есть, у каждого свои горести. Таков уж мир.

И вдруг он начал бормотать нараспев какие-то слова, почти не разжимая губ,—он пел что-то вроде гимна, мелодия показалась мне знакомой, но я никак не мог вспомнить, что это такое.

Так мы сидели довольно долго. Время от времени я искоса поглядывал на его склоненную голову, в которой было немало седых прядей, на его набрякшие веки, мигавшие от сверкания моря, на толстые дрожащие губы, из которых неслись тихие звуки бесконечной литании. Я подумал было, что он забыл о моем присутствии, и уже собирался встать, но тут он повернулся ко мне, положил свою темную руку на рукав моей белоснежной рубашки и с неожиданной живостью сказал:

— Не спешите, молодой человек. Куда вы торопитесь? Молодые вечно спешат.

Он был прав: куда мне спешить? Потом он добавил:

— Забудьте, забудьте обо всем, что неважно, и думайте лишь о том, что важнее всего.

Но он не пояснил, что именно неважно и что важнее всего.

Словами не пояснил, но ласково взял меня за плечо, и я подумал, что, по существу, он опять прав; я понял, что глупо изводиться из-за тех забот, которые меня одолевали, из-за досадных мелочей,—и понять это помогло мне море, такое безбрежное и спокойное в это воскресное утро.

— Идемте,—сказал он, вставая.

И я последовал за ним. Мы медленно пошли, не говоря ни слова, вдоль кромки прибоя.

— Разве не ведомо вам, молодой человек, что все в конце концов улаживается? — задумчиво спросил он.

А я не без горькой иронии ответил:

— Да, конечно, когда приходит смерть.

— Вот именно: когда приходит смерть,—серьезно подтвердил он. Но тут же, перейдя на веселый тон, продолжал: — Так что ж, пока наша смерть не пришла, позаботимся о поддержании жизни. Согласны? Тогда пойдемте: я приглашаю вас позавтракать со мной. Окажите мне эту честь.

Я не стал отказываться, хотя бы из приличия. Как я ни старался это скрыть, незнакомец прекрасно понял состояние моего духа, пожалел меня и не хотел оставлять одного. И я молча принял его предложение, ощущая собственную беспомощность и проникшись жалостью к самому себе, но твердо решил расплатиться по счету, прежде чем он успеет это сделать.

Однако момент этот так и не наступил, потому что он повел меня завтракать к себе домой, в дощатую лачугу, выкрашенную в зеленый цвет; на окошках с простыми, вязанными крючком занавесками стояли горшки с геранью.

— Лаура, со мной мой друг, он будет с нами завтракать,—крикнул он, отодвигая полог у двери, и тут же поспешно посторонился, пропуская меня. Донья Лаура тотчас подошла, протянула мне руку и посетовала: если б ей знать заранее, а то она может подать нам только рис, бананы и пиво.

Рис был отличный. Завтракали мы на свежем воздухе, в маленьком немощем патио—в жилищах бедняков это самое лучшее место. Мне сразу же сказали, что, если захочу, я могу провести здесь сиесту, отдохнуть. Выпили кофе. «Прекрасный кофе, сеньора!» — похвалил я. После второй чашечки, которую я выпил с наслаждением, как и первую, мы долго молчали.

Потом хозяин дома встал, не говоря ни слова, вошел в дом и вернулся с кларнетом в руке, глаза его лукаво улыбались.

— Ого! — весело воскликнул я. И мы оба рассмеялись.

Он поднял ладонь: подождите минутку. Стал передо мной, поднес мундштук к губам и стал пробовать инструмент, извлекая из него тягучие звуки. Донья Лаура меж тем исчезла в полутьме

дома, а я развалился в плетённом из ивовых прутьев кресле под освежающей сенью каких-то растений с огромными листьями. Хозяин играл с наслаждением. Меня развлекала и забавляла его манера исполнения: он помогал сверкавшему никелем инструменту всем своим телом, и мне казалось, будто я смотрю на неутомимые выкрутасы резвого и шаловливого ребенка: издавая высокие переливчатые звуки, музыкант пожимал плечами, лукаво подмигивал, потешно тряс головой, а ногой отбивал такт.

Но вдруг после одной из пауз кларнет издал не виртуозное тремоло юморески, а протяжную душераздирающую тоскливую ноту, так что я вздрогнул, сначала даже испугался, а потом замер в ожидании. Что бы это значило? У меня возникло такое же впечатление, какое бывает, когда возишься с приятелем, обмениваясь шутливыми ударами, и вдруг, когда ты меньше всего этого ожидаешь, получаешь сильный удар под ложечку... Я замер: что это такое? Кларнет во весь голос кричал о безысходном отчаянии, но первоначальная острота и пронзительность постепенно смягчились, стали глуше и затем сменились судорожными рыданиями, в которых время от времени возникали новые всплески отчаяния, тут же переходившие в тихую жалобу, и в усталом голосе кларнета все сильней звучали нотки самоотречения, он пел все тише, все печальней.

Я прикрыл рукой глаза: на них выступили слезы. И заметил, что хозяин дома тоже плачет: слезы текли по его щекам, смешиваясь с каплями пота. Тогда я опустил руку, устыдившись. Мы смотрели друг на друга, как двое потерпевших кораблекрушение, перед тем как их поглотит пучина. Наконец агонизирующий кларнет умолк.

Музыкант отер пот с лица рукавом, улыбнулся мне и глубоко вздохнул. Но, едва переведя дух, снова поднял кларнет, и из него полились торжественные, уверенные, спокойные звуки. От самоотречения мы перешли к утешительному забвению, перед нами возник грустный, но мирный пейзаж... Снова пауза, и снова неожиданность. Кларнет издал короткий крик, на этот раз — ликующий и радостный, и потоки счастья хлынули в мою душу, послушную теперь серебряному голосу кларнета, который в финале взвился высокой нотой вечной надежды и бесконечного ликования... Когда он умолк, я, сам не знаю, как и почему, встал и распростер объятия.

— Аллилуйя, брат мой! — воскликнул музыкант. — Аллилуйя!

Я молча обнял его.

И вскоре распрощался с этим добрым человеком и его женой. Не спеша направился к дому. Он был прав: в конце концов все улаживается.

СОДЕРЖАНИЕ

И. Тертерян. Путь Франсиско Аялы	5
Из книги «БОКСЕР И ЕГО АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	
Перевод Н. Трауберг	
Скончавшийся час	19
Полярная Звезда	27
Из книги «УЗУРПАТОРЫ»	
Немошный. Перевод Н. Матяш	37
Околдованный. Перевод С. Имберта	51
Инквизитор. Перевод С. Имберта	62
Объятие. Перевод Н. Трауберг	76
Сборник «БАРАНЬЯ ГОЛОВА»	
Послание. Перевод С. Имберта	95
Тахо. Перевод С. Имберта	118
Возвращение. Перевод Н. Снетковой	141
Баранья голова. Перевод Х. Кобо	180
Сборник «ИСТОРИЯ МАКАК»	
Перевод М. Куени	
Из жизни обезьян	221
Рассказ Мопассана	254
Встреча	263
«Наш безвестный коллега»	273
Из книги «О ПОХИЩЕНИЯХ, НАСИЛИИ И ПРОЧИХ НЕДОПУСТИМЫХ ВЕЩАХ»	
Похищение. Перевод С. Змеева	287
Из книги «САД НАСЛАЖДЕНИЙ»	
Перевод В. Федорова	
Вырезки из вчерашнего номера газеты «Лас нотисиас»	319
Счастливые дни	332
У врат Эдема	332
Кража	336
Новогодний вечер	339
Аллилуйя, брат мой!	345

Франсиско АЯЛА

ИЗБРАННОЕ

Составитель

Ирина Арташесовна Тертерян

